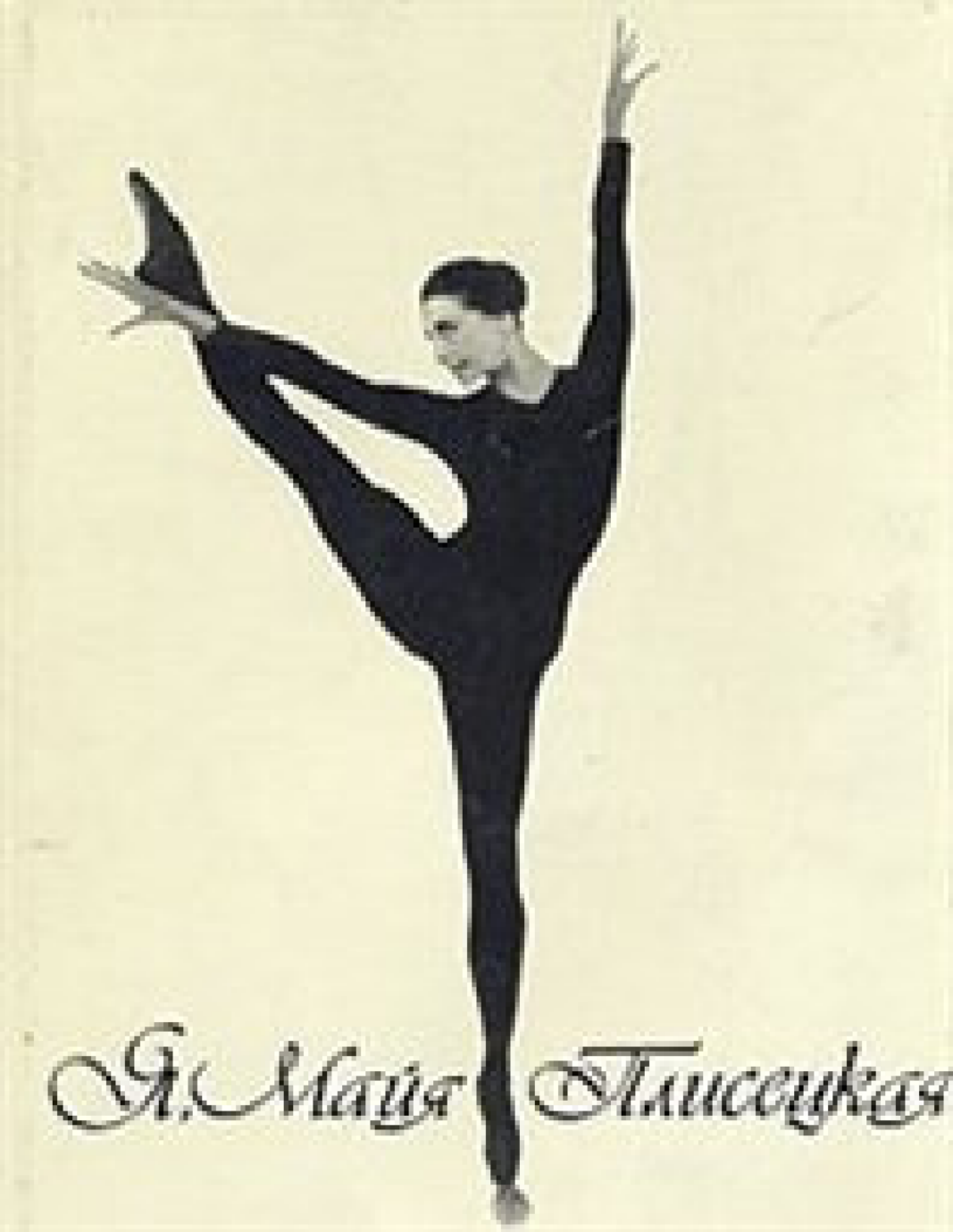


Я. Майя Плисецкая


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Так назвала свою книгу всемирно известная балерина. М. Плисецкая описывает свою жизнь, неразрывно связанную с балетом, подробно и со знанием дела пишет о главной сцене России — Большом театре, о том, почему его всемирная слава стала клониться к закату. Она пишет талантливо и весьма откровенно. Плисецкая проявила себя оригинально мыслящим автором, который высказывает суждения, зачастую весьма отличающиеся от общепринятых.

Первый и единственный в своем роде литературный труд станет открытием как для знатоков и любителей балета, так и для самой широкой читательской публики.

- Майя Плисецкая
  - Вместо предисловия
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Глава 10
  - Глава 11
  - Глава 12
  - Глава 13
  - Глава 14
  - Глава 15
  - Глава 16
  - Глава 17
  - Глава 18
  - Глава 19
  - Глава 20
  - Глава 21
  - Глава 22
  - Глава 23
  - Глава 25
  - Глава 26
  - Глава 28
  - Глава 29

- Глава 30
- Глава 31
- Глава 32
- Глава 33
- Глава 34
- Глава 36
- Глава 37
- Глава 38
- Глава 39
- Глава 40
- Глава 41
- Глава 42
- Глава 43
- Глава 44
- Глава 45
- Глава 46
- Глава 47
- Глава 48
- Глава 49

Майя Плисецкая
Я, Майя Плисецкая

Вместо предисловия

Эту книгу я писала сама. Потому и долго. За годы моей сценической жизни про меня наплели уйму небылиц. Что-то начинали с правдивого факта, переходили затем в полуправду, а кончали несусветной чепухою, враньем. Хорошо, когда еще незлонамеренным…

Первым желанием моим было восстановить правду. Правду моей собственной жизни. А через свою жизнь рассказать, как жилось артистам балета в первой стране социализма. В стране, которая была «впереди планеты всей» по танцевальному делу. Но как начать? С чего?

Начала с того, что наговорила на магнитофон одиннадцать кассет. Сумбурно, обо всем, вне хронологии. Знакомый журналист стал делать из моих записей книгу. Мою книгу. Понадобилось ему на то три месяца. Написал много, длинно, напыщенно. И, как мне показалось, мнимо умно. Все от лица некоей девочки по имени Маргарита. Он придумал этот ход, казавшийся ему необыкновенно удачным, из моей беглой реплики на магнитофонной кассете, что в детстве мне нравилось это женское имя.

Может быть, все это было придумано не так уж и плохо. Но ко мне, моим чувствованиям, моей душе, сути моего характера рыжеволосая девочка Маргарита отношения не имела. Совпадали лишь внешние признаки да события…

Нет, не моя это книга. Я отвергла ее. Журналист нестерпимо обиделся. Ссора. Первый блин комом.

Следующий журналист-писатель пошел путем разговорного диалога. Его вопросы — мои ответы. Что-то было занятно.

Но явный плагиат — беседы Стравинского с Робертом Крафтом. Их книгу я когда-то читала.

Будучи в Париже в гостях у Галины Вишневской на авеню Жорж Манд ель, я начала было пытать хлебосольную хозяйку, моего давнего друга, кто помогал ей в работе над книгою «Галина». Эта книга мне очень понравилась, и я привезла ее первое русское издание в Москву, чтобы дать почитать друзьям. Тогда это было небезопасно, так как «Галина» числилась у таможенников Шереметьева по разряду антисоветской литературы: Вишневская намордовала советскую власть по первое число. Обнаружили бы стражи коммунистической идеологии «Галину» в моем чемодане — были бы…

Галя повысила голос. Зазвенела решительностью:

— Да никто не помогал. Сама писала. И ты пиши сама.

Только сама. Я тоже начинала с поисков помощников, но проку в них не было. Одна путаница. Сама пиши!..

— Но как это делается? С чего начать?

— Ты дневников не вела?

— Вела. Всю жизнь вела. И сейчас веду.

— Так что тебе еще надо? Садись и пиши! Начинай. Не откладывай. Самой писать придется долго. Я писала четыре года…

Что ж, совет добрый. Надо ему внять.

Только мне всегда казалось, что книги пишутся людьми совершенно необыкновенными. Сверхумными. Сверхучеными. А тут балерина берется за перо. Тотчас приплыла из памяти старинная шутка. Как потонул в океане огромный корабль, почти «Титаник». Но два пассажира уцелели, выплыли. Министр — потому, что был очень большое дерьмо, и балерина — так как была глупа как пробка…

И еще толчок. Позвонил из Лондона один из издателей Ширли Маклейн — это она дала ему мои координаты — и на варварском русском языке сказал, что имеет интерес к моим мемуарам.

Я свою книгу еще и не начинала.

А Ширли сказала, что ваши мемуары закончены.

Те, которые журналисты сочинили за меня, никуда не годятся. Надо книгу писать самой.

Ну тогда sorry. Успеха. Пишите.

Тут я в самом деле и начала писать.

Без трех месяцев три года писала. Не три месяца — три года!.. Но за эти три года с моей страной произошли события абсолютно невероятные.

Когда я начала свои первые главы в феврале 1991 года, все еще шла, прихрамывая, перестройка. Прижимала цензура, существовал еще «единый, могучий Советский Союз». Флаг, герб, гимн, Первый Президент, Первая Леди и все такое… Называя что-либо своими именами, я внутренне, не скрою, моментами чуть подрагивала: это не напечатают, побоятся, заставят смягчить, подправить. Но все же писала.

Книга рождалась на самом сломе эпох. То, что вчера было смелым, даже непроизносимым, — устаревало вмиг, за прожитой день. Что-то вроде соревнования пошло, кто больше ругательств недавно еще всесильным организациям и высшим правителям отвесит. Новая конъюнктура началась. Конъюнктура на разрешенную смелость.

Нет, не угнаться мне за новоиспеченными смельчаками-ниспровергателями. «Отречемся от старого мира»! Поскорее вновь

отречемся!..

Бог с вами, отрекайтесь, честные люди…

Но все, что понарошку смело, — устаревает быстрее быстрого. И к последним главам своей книги я стала с ясностью ощущать — сменилась конъюнктура, другой ветер задул. Осточертела людям политика. Набили оскомину ругательства, черные помои. Надоело читать про козни и мерзости большевиков. Может, и мне, сознавая новую конъюнктуру, обойти все вмешательства КГБ в мою судьбу? Об одном святом искусстве, о балете вспоминать?..

Нет, не буду ничего менять. Ничего подправлять, подлаживать не буду. Как писалось — все так и оставлю… Ты сам уж, читатель, делай поправки на бешеные перемены трех необыкновенных лет в жизни на нашей земле.

Книгу свою я задумывала для читателя отечественного, русскоязычного. Но в то же время и для читателя западного, дальнего. Того дальнего, кто совсем мало знаком с закоулками и бредовыми фантазиями, маскарадами нашей странной, невероятной, неправдоподобной былой советской жизни. Что-то отечественный читатель знает назубок, куда получше моего.

Живописно дополнит. Что ж, пропусти эти страницы, мой бывалый соотечественник-дока, иди, двигайся дальше. Но многим дальним людям как раз это и интересно будет. Не писать же две книги!..

И еще. Я вспоминаю и события совсем недавние, которые отчетливо свежи в памяти. Читать о них сегодня, верно, что смотреть запись вчерашнего хоккейного матча, результат которого тебе уже известен. Ну а если читать об этом через годы? Позабудут многое люди. А я напомню. Участницей была.

И близкие мои за эти три года, о которых я писала в настоящем времени, в прошлое ушли. Умерла моя мать. Уже нет Асафа Мессерера…

Но не стану времена глаголам менять. Все, что в настоящем времени писала, — сохраню.

Значит, в путь, читатель. С Богом!..

7 февраля 1994 года, Мадрид.

Глава 1
ДАЧА И СРЕТЕНКА

Много книг начинается с рассуждений, когда кто себя помнит. Кто раньше, кто позже. Искать ли другое начало?..

Ходить я стала в восемь месяцев. Этого сама не помню. Но многочисленная родня шумно дивилась моим ранним двигательным способностям. От этого удивления и началось мое самопознание.

Бабушка моя умерла летом 1929 года. Угасание ее я помню очень отчетливо и ясно. Семья наша снимала в Подмосковье дачу. И бабушка, уже восковая и осунувшаяся, подолгу лежала на никелированной, нелепой кровати на большой лужайке перед домом. Ее взялся лечить врач-китаец. Он приходил в широкополой пиратской черной шляпе и делал бабушке какие-то таинственные пассы.

Тем летом небо послало мне свой первый балетный меседж. За дощатым, местами склоненным к густой траве забором стояла заколоченная темная дача. Она принадлежала танцовщику Михаилу Мордкину, партнеру Анны Павловой. К тому памятному лету он сам уже перебрался на Запад. А его сестра, жившая в маленькой сторожке, караулила дачу и разводила пахучие российские цветы. Их дурманящий запах сознание мое удерживает и поныне.

Я была ребенком своевольным, неслухом, как все меня обзывали. Спустила по течению ручейка свои первые сандалики. Вместо корабликов, которые усмотрела на старинной почтовой открытке. Мама долго убивалась. Достать детские туфельки было задачей неразрешимой. Иди, побегай по всей Москве. «Трудное время, трудное время», — причитала мама. Так я и слышу с тех пор по сей день — трудное время, трудное время. Бедная моя Родина!..

С канцелярской кнопкой доигралась до того, что она застряла в моем детском носу накрепко. Мама возила меня на телеге с говорливым мужиком к сельскому лекарю. Тот молниеносно принес мне облегчение.

Не терпела любвеобильных родственников, трепавших меня, словно сговорившись, за правую щеку. Все натужно умилявшихся, что я так подросла с нашей последней встречи. И еще не любила идти спать и насильно есть молочную лапшу, которой все те же родственники пичкали меня, приговаривая, чтобы росла крепкой. Однажды накормили до рвоты. С тех пор при словах «молочная

лапша» меня охватывает озноб.

В Москве мы жили на Сретенке, двадцать три, квартира три, на третьем, последнем этаже. Одни тройки. Это была квартира моего деда Михаила Борисовича Мессере ра, зубного врача. В ней было восемь комнат. Они следовали одна за другой и все смотрели немытыми окнами на Рождественский бульвар. С другой стороны помещался узкий коридор, упиравшийся в пахучую кухню, выходившую единственным окном в замызганный, заставленный фанерными ящиками двор. Все комнаты распределялись между взрослыми уже дедушкиными детьми. Лишь в самой последней обитал пианист-виртуоз Александр Цфасман. Он окончил Московскую консерваторию с медалью, но, помешавшись на входившем тогда в моду джазе, пустил классику побоку. Цфасман был большой любитель, говоря по Гоголю, «насчет клубнички». Всегда через длинный коридор пробирались к нему обожавшие его девицы. Тому способствовал коридорный полумрак с единственным источником света — засиженной мухами лампочкой без абажура под потрескавшимся потолком — лампочкой Ильича.

Я, неприкаянная, бродила по коридору и натыкалась на девиц-визитерш. Чтобы ребенок не выдал тайны, сосед вступал со мной в приглушенный диалог: «Майечка, кто тебе нравится больше — черненькая или беленькая?» «Беленькая, беленькая», — без раздумий определяла я. Всегда предпочитала я светловолосых.

Первым от лестницы был дедушкин зубной кабинет. Холодный, с кривыми половицами. Чуть накренившись, стоял ветхий, застекленный шкаф с врачебным инструментом. И главное действующее лицо — бормашина. Склонившись в разверзнутый рот посетителя, дед усердно жал ногой на стертую металлическую педаль. Она крутила колесо ремнем, который ежеминутно соскакивал. Сеанс прерывался.

Кабинет украшал чугунный Наполеон на коне. Для торжества момента. Знай, болезный, мы все не вечны. На стене висела большая цветная застекленная гравюра, изображавшая голову женщины с тяжелым пучком на затылке. У бедной женщины была вскрыта щека, и зрителю открывались все 32 зуба плюс внутренняя анатомия лица до самого уха. Это был сюрреализм, говоря нынешним языком, достойный кисти великого испанца Сальвадора Дали. Что-то очень похожее видела я несколько лет назад в южном испанском городке Фи-герас, где высится яичными скорлупами в небо музей Дали. Возле этого города он родился. А тогда я и не предполагала о скандальном художнике, а просто боялась одна оставаться в дедушкином кабинете-Ванной в

квартире не было. Точнее, была, но не для мытья. Там расположилась няня Варя с могучим усатым мужем Кузьмой — дворником нашего дома. Мыться всегда было проблемой. Воду долго, нудно грели на керосинке и примусе до подходящей температуры. Кран на кухне был какой-то разлапистый, и из него на всю кухню летели ледяные брызги. Чтобы усмирить кран, подставляли облупившуюся эмалевую доску с надписью: «Зубной врач Мессерер солдаты бесплатно». Доску эту принесли с улицы. Она красовалась у входной двери еще с войны 1914 года.

Еще одна деталь дедушкиной квартиры, запавшая в мой мозг. Рядом с кабинетом, в соседней комнате, висела в темно-вишневой деревянной раме неумелая копия знаменитой картины «Княжна Тараканова». Из тюремного окна хлестала вода, и мечущиеся мыши бежали по кровати, на которой в красивой театральной позе, в бархатном декольтированном платье стояла княжна. Она была в полуобморочном состоянии, с распущенными на плечи волосами. Этой картины я тоже боялась. И княжну было очень жалко.

В тяжелейшее для себя время, когда КГБ додумался зачислить меня в английские шпионки и оперативная машина с тремя добрыми молодцами колесила за мной по Москве и стояла ночами под окнами в Щепкинском — все двадцать четыре часа в сутки, — я вспоминала эту картину. Бедную княжну Тараканову. В бессильном отчаянии, боли от абсурда, лжи, подлости, идиотизма я хотела станцевать такой балет. Излить горечь свою людям.

Многими годами позже я говорила Ролану Пети о своих мучительных мечтах.

Глава 2
КАКОЙ Я БЫЛА В ПЯТЬ ЛЕТ

Какой я была в пять лет? Рыжая, как морковка, вся в веснушках, с голубым бантом в волосах, зелеными глазами и белесыми ресницами. Ноги были у меня крепкие, ляжки тугие. В самом младенчестве, стоя на кроватке с сеткой и держась руками за холодную искривленную палку, я приседала и вытягивалась в такт хриповатому голосу няни Вари (той, что занимала ванную комнату): а я маленькая, аккуратненькая, и что есть на мне пристаёть ко мне… Не исключаю, что, проделывая эти упражнения целыми днями, я здорово укрепила ноги. После колыбели ретиво бегала на высоких полупальцах, выбивая дырки на ботинках. Усталости не знала. Уложить меня спать стоило великих трудов.

Почему-то нравилось имя Маргарита. На вопросы: «Как тебя зовут, девочка?» — расторопно отвечала: «Маргарита». Любила ходить на рынок. Он был возле Сухаревой башни. Бе взорвали, когда мне было три года, но я ее помню. Там толпились горластые торговки, повязанные белыми косынками. Они нараспев предлагали свой аппетитный товар — тогда еще советская власть не отучила крестьян держать коров. Мать поручала мне — у нас с ней была такая вроде игра — пробовать масло и выбирать лучшее. Торговок забавлял мой вид. Рыжая, смешливая, с озорными глазами, ликующе радующаяся жизни. Масло было взаправду вкусное.

Все детские болезни меня не миновали. Я и в добром здравии кротким нравом не отличалась. А в болезни и впрямь была несносна. Но очень терпелива, боль сносила геройски. И до дня сегодняшнего — грозные шприцы, живительные блокады, токи, пытки хиропрактиков, сильнейшие массажи, что тоже есть обыденная балетная жизнь (без травм еще никто не обошелся!), — сношу стоически.

Наивно любила вальс Делиба из «Коппелии». Его играл на Сретенском бульваре по праздничным случаям духовой оркестр военных курсантов. Играл нестройно, но вдохновенно. Осенью, гуляя с нянькой по бульвару, я вдруг услышала знакомый вальс через черный громкоговоритель — радиоточку, висевшую на верхотуре деревянного столба. Я вырвалась из тугой нянькиной руки и начала неожиданно — для себя самой — танцевать. Импровизировала. Собралась и публика. Редкие зеваки. Нянька негодовала, но я ее не слышала. Этот крохотный рассказ звучит,

может быть, слащаво и искусственно. Но так было. Все сущая правда. Когда через пятьдесят-шестьдесят лет кому-нибудь вдруг взбредет в голову снять фильм о моей суетной, мятущейся жизни, прошу господ режиссеров этот эпизод исключить.

Мама была киноактрисой. Окончила ВГИК. Наискось от нашего углового дома был кинематограф, на фасаде которого висел гигантский, по моим детским представлениям, мамин портрет в немом фильме «Прокаженная». В том кинотеатре я смотрела этот фильм вместе с мамой. Громко, взахлеб рыдала, когда маму топтали лошади. Она была рядом, утешала, приговаривая: «Я здесь, я цела, я около тебя». Я зло вырывала руку и нешуточно сердилась, что мама мешает мне плакать.

Чтобы приручить, меня отдали в детский сад. Он помещался в нынешнем здании Моссовета, но вход с подворотни. Тогда этот дом был «ниже ростом». Говорят, что его надстроили по распоряжению Сталина.

Моя коллективная жизнь была недолгой. Все во мне, скорее от природы, противилось «общественной жизни». Из нас сразу стали делать маленьких ленинцев, октябрят, непрерывно восторгающихся своим «счастливым детством». С самой первой возможностью я убежала. Путь к дому занял часа полтора.

Советские люди воспитаны на притворном, ханжеском участии к детям. Медленно движется вереница автобусов по шоссе. Еле-еле. На каждом пришпилен большой кусок картона с надписью: «Осторожно дети». Спереди милиция, сзади милиция. Включены фары. Это я уже, как вы, должно быть, и сами поняли, про сегодня. А тем временем, в самый разгар зараженности Киева чернобыльским взрывом на третий-четвертый день, на Крещатике, с непокрытыми головами, на солнцепеке, пионеры с красными флажками много часов подряд репетируют счастливое шествие к первомайской демонстрации. И самодовольный министр здравоохранения, не поперхнувшись, лжет с телеэкрана, что никакой опасности нет. Детям ничто не грозит…

Гибельное ханжество это зарождалось в годы моего детства. За свой долгий путь по городу от скольких участливых ханжей я убереглась, увернулась, подстраиваясь то к одному, то к другому взрослому прохожему. Я-де не одна. Свой дом я нашла. Там царила паника. Из сада позвонили с испугом, что ребенок пропал. После маленькой моей революции в моссоветовский сад меня больше не водили.

Первый визит в театр я тоже нанесла в пятилетнем возрасте. Пьеса называлась «Любовью не шутят». Автора я не помню, да и не требуйте этого от маленькой девочки. Театр был драматический, музыки не было. Танца не было. Но я ушла,

пораженная в самое сердце. Долго потом снилась мне стройная красивая женщина в длинном черном, облегающем ее платье. Она стояла на рампе в луче света, за ней ширма, и слушала разговор, который не должна была слушать. Добрую неделю я была в ажиотаже, шумела, изображала всех действующих лиц. В первую очередь — женщину в черном платье. К концу недели терпению семьи пришел конец. Папа, не выдержав, шлепнул меня по попе. Я обиделась.

Следующим утром, за завтраком, я насупленно молчала. Отец затревожился. «Майечка, ты сердишься? Прости меня, я пошутил. Я тебя люблю». «Любовью не шутят», — в позе «черной женщины» театрально ответила я.

Глава 3
РОДСТВЕННИКИ

Когда второго октября 1958 года я вышла замуж за композитора Родиона Щедрина, Лиля Юрьевна Брик, жившая с нами по соседству в одном доме на Кутузовском проспекте, 12, сказала ему полушутя-полусерьезно: «Ваш выбор мне нравится. Но один изъян у Майи велик. Слишком много родственников по всему белому свету». И впрямь, родственниками Господь меня не обделил. Из кого состоит семья.

Главой семьи был мой дед, московский зубной врач, Михаил Борисович Мессерер. Его имя и профессию я называю во второй раз, ибо, ясно помня его характер, доставила бы ему немалое удовольствие. Родом он был из Литвы и образование получил в Университете Вильно. Родным языком семьи был литовский. В Москву дед перебрался — со всеми домочадцами — в 1907 году. Шестеро из его детей, включая мою мать, родились в Вильно.

Дед был небольшого роста. Густые брежневские брови, массивный нос, лысая круглая голова, упитанный, если не сказать толстый. Ходил с достоинством, игриво помахивая резной палкой с фигурным набалдашником, с которой редко расставался. Гордиться было чем. Пломбы его держались крепко. У мамы до сих пор три из них целы. А ей уже под девяносто. Второе занятие его жизни составляло деланье детей. Когда они были готовы, надо было давать имена. Вот тут приходила ему на помощь третья любовь его жизни — Библия. От двух браков у него было двенадцать детей. Все получили от него в приданое звучные библейские имена. Всем им в нашей советской, полной подозрений жизни имена эти принесли заботы да бедствия. Но звучат они, согласитесь, как стихи:

Пнина
Азарий
Маттаний
Рахиль
Асаф
Элишева
Суламифь
Эмануил
Аминадав
Эрелла…

Еще два мужских имени были такими заковыристыми и сложными, что память моя удержать их не смогла. Не обессудьте.

Я назвала их Вам, читатель, по старшинству.

Пнина. Умерла девяти лет от воспаления мозга. Дед не мог забыть ее, и я назойливо слышала о ней все мое детство. Портрет худосочной, длинноносой девочки висел над дедовой кроватью. Дед уверял, что она была сущая красавица.

Азарий. Взял себе сценический псевдоним и стал Азарий Азарин. Он был самостийно талантливый драматический актер и педагог. Одним из самых первых получил еще в двадгˆать девятом году звание заслуженного артиста республики.

Работал вместе со Станиславским, Немировичем, Вахтанговым, Мейерхольдом. Был тесно дружен с Михаилом Чеховым. Их переписка — реликвия в нашей семье. Перед самой смертью он прошел кинопробы на роль Ленина для фильма «Ленин в Октябре». Контражуром что-то в его фигуре действительно напоминало силуэт памятника незабвенному вождю. Говорю это с уверенностью, так как подобные монументы наводняли все площади и закоулки нашей необъятной державы. И Азарий был коренаст, круглоголов и совершенно лыс. В тридцать седьмом году, тяжело пережив варварское закрытие второго МХАТа, где он работал, и арест моего отца, он внезапно умер от разрыва сердца.

Маттаний. Погодка с Азарием, и тоже взял фамилию Азарин. Профессор-экономист. Его первая жена Марьяна в 1938 году написала на него истеричный политический донос из ревности. Его посадили на восемь лет. Сначала Маттания изуверски пытали в тюрьме, заставляя стоять на ногах по трое суток. Ноги невероятно раздулись. Ему грозили, что если он не признается в своих антикоммунистических злодеяниях, не выдаст сообщников, то его отправят в «Лефортовскую мясорубку». А уж оттуда никто живым не возвращался. Но он выдюжил. Намучив, его отправили в Соликамский концлагерь. Там оказался и известный актер Алексей Дикий, впоследствии освобожденный, принятый в Малый театр, сыгравший в кино роль Сталина и получивший в петлицу Сталинскую премию. Бывали и такие судьбы. В лагере они организовали полусамодеятельный театр заключенных, что спасло им жизни. Маттаний вернулся из лагеря совершенно больной. Стали поддувать легкие и испортили сердце. Он вскоре умер.

У нас дома в Москве, в кабинете Щедрина, долгие годы висит на стене посмертная маска Бетховена. Каждый раз, наталкиваясь на нее взглядом, я вздрагиваю. Как похожа маска на лицо Маттания. Они и умерли с Бетховеном в одном возрасте — в пятьдесят семь лет.

Рахиль. Моя мать. Небольшого роста, круглолицая,

пропорционально сложенная. С огромными карими глазами, маленьким носом-пуговкой. Черные, вороньего отлива волосы, всегда гладко расчесаны на прямой пробор и замысловатыми змейками заложены на затылке. Ноги прямые, с маленькой стопой, но не балетные. Было в ней что-то от древних персидских миниатюр. Потому, думаю, и приглашали ее сниматься в кино на роли узбекских женщин.

Снималась она в немых чувствительных фильмах недолго, четыре-пять лет, и сыграла с десяток ролей. В титрах фильмов ее величали Ра Мессерер. Жизнь намучила ее предостаточно. Она была и киноактрисой, и телефонисткой, и регистраторшей в поликлинике, и массовиком в самодеятельности. Модницей ее назвать было нельзя. Годами она носила одно и то же платье. Помню ее все летние месяцы в шифоновом голубом одеянии.

Был у нее и «пунктик». Родственники. Родственники ближние и дальние. Все родственники должны жить дружно, помогать друг другу, танцевать друг с другом и даже, если придется, друг с другом петь. Бацилла эта запала в нее от того же деда, который приходил в неистовое умиление от совместных танцев Асафа и Суламифь. Моего отца, так же как и меня до дня сегодняшнего, эта родственникомания раздражала и раздражает.

А характер у мамы был мягкий и твердый, добрый и упрямый. Когда в ˆтридцать восьмом году ее арестовали и требовали подписать, что муж шпион, изменник, диверсант, преступник, участник заговора против Сталина и прочее, и прочее, — она наотрез отказалась. Случай по тем временам героический.

Ей дали восемь лет тюрьмы.

Асаф. Он, конечно, с балетного Олимпа. Танцевал замечательно. От него воистину начался отсчет многих технических трюков, да и виртуозный стиль сольного мужского классического танца. Превосходный педагог. Класс его лечит ноги. Почти всю свою сознательную балетную жизнь каждым утром я торопилась в его класс. У него занимались Уланова, Васильев, Максимова… Мало кто знает, что учиться балету он начал поздно, лишь в шестнадцать лет, а в восемнадцать его зачислили в труппу Большого. Это что-нибудь да значит.

Человек он тихий, ровный, приветливый, и на муравья не наступивший. Но когда вспыхивает гневом, не постесняется сказать и заведомую глупость. В театре его все любят.

Элишева. Упрощенно Елизавета. Эля. Она была неудачница. Все у нее было сломано-переломано. Профессионально и ярко играла на сценах драматических театров Юрия Завадского и в Ермоловском. КГБ принуждал ее стучать на братьев-артистов, и,

когда она, обливаясь слезами, отказалась, ее выгнали вон из театра. Она восстановилась через суд. Но вновь назначенному директору дали команду снова ее убрать. Так было четыре раза. Суд, восстановление и новое увольнение, суд… Она мучительно, душераздирающе страдала и, затравленная, умерла от рака пищевода.

Суламифь. Мита сокращенно. Мои отношения с ней самые запутанные. И быть объективной потребуются усилия. Обещаю постараться.

Миниатюрная, темноволосая, живая как ртуть. Щурит глаза, когда смеется, и складывает лицо в гармошку. Громкоголосая, конфликтная в отношениях с людьми, нетерпеливая. Охотник бы из нее не получился.

Балерина была техничная, напористая (в жизни тоже напористая), выносливая, танцевала почти весь репертуар в Большом. Но чувства линии не было.

Делала людям много добра, но потом подолгу истязала их, требуя за добро непомерную плату. Потому люди сторонились ее — ничего, кроме горечи, попрекающий человек не вызывает.

У Миты я жила, когда мать посадили в тюрьму. И совершенно обожала ее. Не меньше, чем мать, иногда, казалось, даже больше. Но она, в расплату за добро, каждый День, каждый день больно унижала меня. И моя любовь мало-помалу стала уходить. Это она заставила меня разлюбить ее. Не сразу это удалось. А когда удалось, то навсегда.

Мита садистски жалила меня попреками. Ты ешь мой хлеб, ты спишь на моей постели, ты носишь мою одежду… Однажды, не вытерпев, совсем как чеховский Ванька Жуков, я написала матери в ссылку в Чимкент письмо. Запечатала его было уже. Мита почувствовала, что «перехватила», и приласкала меня. Тут же я ей все простила и письмо порвала.

Венцом притязаний было требование танцевать «Лебединое» с ее сыном, кончавшим хореографическое училище. И вся школа знала, что Миша получает дебют в Большом театре в роли Зигфрида с Плисецкой. На мое смущение и робкие возражения было отрезано: «Ты мне всем обязана. Это что же, я зря хлопотала за твою мать и воспротивилась, когда пришли забирать тебя в детский дом?..» Мой брат Александр все годы тюремных скитаний матери жил у Асафа. И ни разу ни он, ни жена его, художница Анель Судакевич, ничем не попрекнули его.

В семьдесят девятом году во время гастролей Большого театра в Японии Суламифь с сыном обратились в американское посольство и попросили политического убежища. Они остались на Западе.

Теперь, когда политический климат в России сменился, мой несостоявшийся партнер, мой единокровный кузен Миша Мессерер, приехал в Москву и подал на меня в Московский суд, чтобы отобрать у меня гараж, когда-то принадлежавший ему и Мите. Подал, даже не поговорив со мною. Как жгуче велико желание мести за мой отказ танцевать с ним тысячу лет тому назад…

Эмануил. Самый застенчивый, самый красивый из братьев и сестер Мессерер. Природа пометила его прелестной, кокетливой родинкой на щеке, словно у придворной французской маркизы. За тихий нрав в Нуле души не чаяли. К искусству отношения не имел, был инженером-строителем.

В сорок первом году, в начале войны, немцы стали бомбить Москву. Когда объявлялась воздушная тревога, люди спускались в метро и бомбоубежища. Власти в приказном порядке обязывали жителей домов поочередно дежурить на крышах. Тушить зажигательные бомбы, если немцы станут кидать их. По страницам журналов долго гулял снимок молодого Шостаковича на крыше консерватории, где он преподавал, в каске пожарного и с брандспойтом в руках. В тот роковой день была Нулина очередь. В дом попала фугасная бомба, и Эмануил погиб двадцати пяти лет от роду. Младший брат Аминадав искал его в дымящихся развалинах и нашел руку, которую узнал.

Аминадав. Самый маленький, субтильной комплекции. Похож на Асафа. Их часто путают. Но не танцует. Инженер-электрик. Человек, полный участливости ко всем. Полжизни простоял в длинных очередях за хлебом, сахаром, молоком, кефиром, картошкой… Потом, что доставалось, разносил родным в авоськах. Варил им обеды, приводил врачей, чинил водопроводные краны и дверные замки.

Советская власть затюкала его до крайности. Безответный, смиренный человек.

Жена от него ушла, так как из-за филантропии своей дома он никогда не бывал.

Эрелла. О ней ничего не знаю. Дед был совсем стар, когда его вторая жена Раиса родила девочку. В 1942 году Михаил Борисович Мессерер умер в эвакуации под Куйбышевом. Ему было семьдесят шесть лет, Эрелле — два.

О далеких предках своих вестей до меня не дошло. Знаю только, что жили они в Литве. Бабушка мамы, по материнской линии Кревицкая или Кравицкая, теперь уже никто не помнит, большую часть жизни провела в уездных судах. Она ходила пешком за двадцать километров в город, чтобы попасть на судебное заседание. Драмы судов заменяли ей театр. Семейное

предание гласит, что она жалела осужденных, носила им съестное, калачики, сопереживала, вставляя реплики из зала. Это была ее страсть. Ей не перечили.

Теперь об отце.

Внешность свою я унаследовала от него. Он был хорошего роста, ладно сложенный. Худощав, поджарист, строен. Ниспадавшие всегда на лоб чубоватые волосы отсвечивали рыжезной. Его серо-зеленые глаза — мои их копия — вглядывались в тебя пристально и настороженно. Даже на моей памяти веселая искорка пробегала по ним все реже и реже — время гряло страшное. А старые друзья по привычке все еще величали его студенческим прозвищем «Веселовский». Они-то помнили его весельчаком, заводилой всех розыгрышей, картежником, азартным бильярдистом. Не одному ему переломала советская система хребет, сломала судьбу, поменяла характер, лишила жизни.

Отец был уроженцем тихого яблоневого, пропыленного города Гомеля. Плисецкие берут истоки из тех щемящих душу негромкой красотой краев белорусских криниц. Родился он в самом начале века — 1901 году. А в восемнадцатом, семнадцатилетним подростком, «записался в коммунисты», вступил в партию. Как и все донкихоты той лихой годины, он исступленно верил в книжную затею — осчастливить все человечество, сделать его бессребреным и дружелюбным. В затею, абсурдность которой разумеет сегодня каждый юнец. За десяток лет до развязавшей языки перестройки я как-то сказала в запале одному старому музыканту, ненавидевшему все сопряженное со словом «советский»: «А мой отец был честный коммунист…» Каким же ледяным сожалением смерил меня его долгий взгляд. Если честные коммунисты тогда и были, то они были скудоумными, наивными донкихотами. За свое легковерие и прожектерство отец заплатил сполна. В 1938 году чекисты расстреляли его, тридцатисемилетнего, а в хрущевскую «оттепель» посмертно реабилитировали «за отсутствием состава преступления». Какая банальная заурядная история!..

Его старший брат (Лестер) в свои шестнадцать лет был куда дальновиднее, не забивал себе башку кудрявыми марксистскими теориями спасения человечества. За несколько лет до того, как стал «гордо реять буревестник» кровавой революции, скопив деньги на заграничный паспорт и пароходный билет усердным сбором обильных гомельских яблок, он благополучно достиг Нью-Йорка. Сколотил себе некоторый капиталец на ниве американского общепита, обзавелся семьей и наградил меня в далекой Америке двумя двоюродными братьями — Стенли и

Эмануэлем. Эта родственная связь ретиво шилась в строку моему идейному отцу на ночных пытках и допросах в подземельях Лубянки, моей растерянной матери с семимесячным младенцем в забитой рыдающими и воющими бабами камере Бутырской тюрьмы, мне, горемычной, «невыездной», невыпускаемой за границу и тщащейся достучаться в любую чиновную Дверь, чтобы просто спросить — за что?.. Я тогда и не ведала, что Стенли (американский вариант Плисецкого — PLESENT) очутился в самой верхушке команды президента Джона Кеннеди, в должности советника по юридическим вопросам… Ну есть ли еще более прямой путь у спрута американского империализма выведать через меня все тайны артистических уборных Большого, лукавого предназначения каждого подъезда, норму износа балетных туфель на спектакли, план и время текущих репетиций?..

Это сейчас легко шутить. А тогда не до шуток было.

Старший брат отца, сам того не ведая, взял на свою американскую душу еще один тяжкий грех перед российскими родичами. В тридцать четвертом году, за несколько месяцев до_иезуитского убийства Сталиным Кирова, он прибыл в Москву с визитом. Роль богатого заокеанского дядюшки доставляла ему откровенное наслаждение. Убогость нашей московской жизни сочила снисходительный скепсис. Отец, чтобы не ударить в грязь лицом, повез вояжера в наше кооперативное дачевладение в подмосковном поселке Загорянка. Двухкомнатный дощатый домик под сенью дурманящих свежестью лип казался нашему семейству царственной роскошью. Какие-то насупленные серолицые люди внимательно вслушивались в переполненном дачном поезде в обрывки фраз разговора двух братьев. Папа, как я сегодня ясно понимаю, не мог не представлять себе надвигающейся беды «за связь с иностранцами», но не хотел проявить себя трусом. Это было в его характере.

«Родственники за границей», так они именовались в вопросниках бесчисленных анкет, были великой провинностью. Все стремились скрыть их существование; замешкавшихся да смельчаков ждала жестокая кара. Лишь когда пришли годы хрущевской «оттепели», далекие родственники стали возникать как грибы после дождя. Дирижер Файер, успешно выдававший себя своим партийным сотоварищам за круглого пролетарского сироту, нежданно обрел за океаном родного брата Мирона. Актриса Алла Тарасова, верная дщерь коммунистической партии, припомнила о брате в Париже. Таких забывчивых оказалась целая куча. Слово это пишу намеренно. А тут в яви в 1934 году ходит по Москве, не таясь, единоутробный американец. Да еще после

своего отъезда, когда Плисецкие только-только вздохнули с облегчением — пришло-таки избавление, — наивный брат, ничегошеньки не понявший, не услышавший, не увидевший, обуреваемый внезапной ностальгией, стал слать отцу и сестрам любвеобильные письма. Вот была забава цензуре.

У OTija жили тогда в Ленинграде мать, две сестры — Лиза и Маня да младший брат Володя. И их судьбы были нелегки и печальны.

Володю я очень любила. Он был красив, безрассудно смел и замечательно спортивен. Профессиональный акробат и лицедей. Участвовавший в антрепризе знаменитой эстрадной певицы Клавдии Шульженко. Номер его назывался «трио кастелио», и трюки Володиного трио стали классическими. С первых же дней войны Володя оказался на фронте. Как спортсмена, Владимира Плисецкого определили в парашютный десантный полк. 31 декабря 1941 года, точно в день своего рождения (он был на два года моложе отца), Володю в упор расстреляли немцы при приземлении на парашюте…

Две сестры, Елизавета и Мария, более страдали от судеб своих близких. Муж Мани, как я ее звала, Илья Левицкий, крупный ленинградский инженер, по политическим доносам дважды подолгу сидел в тюрьме. И, выйдя оттуда, на чудо свое, живым во второй раз, первым же делом отправился в баню. Тут его и настигла смерть. В первый же счастливый день избавления.

Погиб в начале войны и двадцатилетний сын Лизы Марк Езерский. Погиб, как позже выяснилось, геройской смертью. После победы на месте гибели ему воздвигли обелиск. Лизу долго не пускали на могилу сына. Она была сердечница. Когда Лиза с материнским упрямством, втайне от домашних, все же добралась туда, — сердце ее не выдержало…

Так отозвалась сталинская эпоха на судьбах моих родичей с отцовской стороны. Хотя в коммунисты они не записывались. Без сомнения, что и российское путешествие старшего брата, и его любовь к эпистолярию были взяты НКВД на карандаш и много раз извлекались из пухлых «личных дел» в каждый переломный момент их жизней.

Масштаб вызова властям, если иметь в виду туристический приезд на родину старшего брата из Америки, яснее представится несведущему читателю, коли вспомню, как бежали врассыпную дети да внуки моих ленинградских теток от наведавшегося в Россию по стопам своего путешественника-отца моего американского кузена уже в брежневское застойное время… (Один свет в окошке — моя ленинградская двоюродная сестра Эра Езерская, дочь Лизы. Красивое, бесстрашное, участливое,

чистое существо.)

После всех трагических исчезновений отрезвевшие со страху Плисецкие оставляли без ответа родственные письма с броскими американскими марками и потеряли из виду историю жизни семьи Плезентов в Нью-Йорке.

Лишь в пятьдесят девятом году, после моего письма Хрущеву, наконец-то достигшего своего адресата, председатель КГБ А.Н.Шелепин вальяжно принял меня в грозном, холодном кабинете на Лубянке.

— Ваш дядя умер 7 апреля 1955 года в Нью-Йорке. Два его сына с семьями живут там же. Если они захотят встретиться с Вами, что ж, мы запрещать не будем. Это уж Ваше дело. Не бойтесь.

«Как они все это узнали? — стрельнуло у меня в мозгу. — Неужто следили, побывали на похоронах?»

Но я вовсе не хочу сводить всю трагедию моей семьи к родному дяде с американским паспортом в кармане клетчатого твидового пиджака.

Это был целый клубок стечений обстоятельств и грязной политики. Ниже я расскажу подробнее об аресте и убийстве моего отца.

А сейчас пойду дальше к следующей главе.

Глава 4
ШПИЦБЕРГЕН

Отец работал в «Арктикугле». В 1932 году Отто Юльевич Шмидт — типаж большевистского просветителя — с бородой похлеще Марксовой, «великий путаник», как обозвал его Ленин, чем спас от кровожадных лап Сталина, — назначил отца генеральным консулом и начальником угольных рудников на Шпицбергене.

Мы отправились на край света всей семьей. Отец, матцˆя и восьмимесячный брат Александр. Путь предстоял длинный-предлинный, с остановками и громоздкими пересадками в разных странах. Самолетами тогда обычные люди еще не летали. Поезд шел на Берлин через Варшаву, где на перроне мы с матерью встретились с сестрой бабушки, приехавшей из дальней литовской провинции специально повидать нас. Отец с маленьким сыном остался в вагоне. «Как Вы похудели», — громко и бестактно прокомментировала я ее внешность, приняв мамину тетку за бабушку.

Неизбывная любовь мамы ко всяким родственникам выплеснулась опять так горячо, что наш поезд благополучно ушел. Мы трое кудахтали и метались по перрону. На нашу удачу с соседнего пути отбывал местный поезд в нужном нам направлении. Мы с мамой вскочили на подножку в последний миг. Поезд уже двигался.

Вагон был красного едкого цвета с желтой загадочной для меня латинской надписью посередине. Рядом с нами — вагон был неплацкартный — во множестве сидели расфуфыренные полукрасивые дамы с надменным и змеиным видом. Мне казалось обидным, что блондинки злятся. Учтивостью они вовсе не отличались. И когда мы с мамой вышли на минуту в туалет, то, вернувшись, обнаружили на доставшейся нам скамейке распластавшуюся в сонной неге дебелую леди, и ухом не поведшую на наши робкие мольбы. Так и простояли мы возле нее весь перегон.

Отца мы догнали. Он был взъярен, но тихо сдерживался. Кругом заграница, а мы… Черт знает что!

Потом был Берлин. Через два года — в 1934 году — я еще раз проделала этот дальний путь, и вторично на несколько дней мы останавливались в Берлине. Это уже во второе путешествие рябило в глазах от нарукавных свастик на мундирах штурмовиков. Конечно, детские берлинские впечатления засели в

меня крепко. И серые глыбы домов, и кричащая аккуратность газонов, и моющиеся большими пенящимися швабрами строгие улицы, и чужеземные тумбы высоких тротуаров, и юбки-штаны на холеных модницах… Все было в диковину. Позже я насмотрелась фильмов, тиражировавших Берлин той поры. Все было так, да не этак. Чего-то мне всегда недоставало. А в моих глазах эти документальные кадры отпечатались навечно.

Обжигающим контрастом была моя новая встреча с Берлином в 1951 году на молодежном фестивале. Кругом зияли уродливые развалины. Города не было. И мне остро припомнилась его былая мощь и устрашающее величие.

Из Берлина комфортным поездом мы отправились через Данию в Норвегию. Гигантский паром проглотил наш состав как ни в чем не бывало. Это было похоже на ершовскую сказку, где Чудо-юдо Рыба-кит заглатывает пароходы с пассажирами и затем возвращает их по волшебному требованию Ивана-дурака целыми и невредимыми.

В Осло мы вышли на чистенькую привокзальную площадь в яркий, брызжущий слепящим светом пригожий день. Так и осталась в моей памяти норвежская столица веселым многокрасочным солнечным городом. У одной из витрин маленького симпатичного магазина мы остановились. Пышнотелая хозяйка, видя наш неподдельный интерес, увлекла нас с мамой в его звенящие крохотным колокольцем двери..

За дверями лежали несметные богатства. Все они были из шерсти. Цветастые теплые платья, широкие юбки, игривые рукавицы, костюмчики, прошитые золотой и серебряной нитью, пушистые кофты, связанные диковинной вязью сумки. У меня захватило дух. Мама долго комкала измятые бумажки, пересчитывая свое валютное убожество. На один детский костюмчик денег-таки хватило. Себе она ничего не купила. Хозяйка, растроганная нашей бедностью, сделала мне подарок — крошечный фарфоровый чайный сервизик, предназначенный маленьким девочкам для кукол. Бог весть, какими судьбами, но он у меня сохранился. И до сих пор стоит в столовой нашей московской квартиры.

Из Осло путь лежал пароходом в Баренцбург. Посмотри по глобусу, читатель, как долго нам нужно было плыть. Вез нас советский ледокол «Красин», два раза в год совершавший этот полярный марафон. По календарю было лето. Но все две недели плавания безбожно штормило. Сколько там было баллов — девять, десять, одиннадцать, двенадцать, — я не знаю. Но душу вывернуло наизнанку. Наш немудреный скарб, уложенный в несколько потертых чемоданов, ни минуты не стоял на месте.

Если у Гоголя летали гробы, то у нас с крыльями были чемоданы.

Из кают нос никто не высовывал. Я все время тщилась что-нибудь да увидеть в окошке круглого мутного иллюминатора. Но кроме бесконечных высоченных волн, ничего ни разу не разглядела. Капитан парохода ссудил отца древним патефоном с ввинчивающейся заводной ручкой, чтобы скоротать время. Пластинка у капитана нашлась лишь одна — отрывки из оперы «Кармен». Придерживая постоянно стремящийся улететь патефон рукой, мы сотни раз прослушали гениальные мелодии Бизе. Десятками лет позже, на репетихрлях «Кармен-сюиты», память моя добавляла к нотам завывание штормового ветра и удары свирепых волн о корпус корабля…

Первое, что я увидела, когда ледокол причаливал к пристани, — бесконечно длинную, совершенно отвесно поднимающуюся в гору деревянную лестницу. Лестница вела к стоявшему на вершине большому бело-голубому дому. Там жили норвежцы. Нам выделили помещение в доме советской колонии. Он располагался на самом краю поселка. Дальше сразу начинались горы.

У нас были две комнаты. В одной в зимнее время постоянно горела сильная электрическая лампа, изображавшая небесное светило. В бесконечные черные полярные ночи человеку так не хватает солнца. Я пишу сейчас эти строки в Нерхе, в Андалузии, на сказочном юге Испании, где в феврале пьяняще цветет миндаль и белое солнце застит глаза. Щедрин пишет фортепианный концерт по заказу «Стенвея». Меня опять отовсюду окружают горы, но такие иные. Как прекрасна твоя земля, Господь!

У лета в Заполярье совсем другая цена. Всему радуешься вдвое, втрое. Когда на мох выползали карликовые сиреневые цветы, от умиленности схватывало дыхание. В этом моховом цветнике я как-то нашла раненого альбатроса. Он не мог лететь. Пять дней кряду я носила ему еду, а на шестой застала мертвым. Все было особенным. Радуга через горы. Ее хотелось трогать, ласкать, касаться, так она была близка, нарядна, определенна, в красках: воистину, синий, как василек, красный, как кровь, оранжевый, как апельсин, зеленый, как июньская трава в Подмосковье. И роскошь северного сияния. Шесть месяцев тьмы — тяжко. Но полярный день — радость неизбывная. Шесть месяцев света.

Чего было на Шпицбергене в переизбытке, так это снега. Чистый, белый, хрустальный, светящийся снег. С лыж я не слезала. Не чувствуя времени, до середины ночи я слетала, карабкалась ввысь, вновь слетала с причудливых извилистых гор.

Зазвать меня домой не было никакой возможности. Часто склоняемое в разговорах слово «Грумант-Сити» — это был второй после Баренцбурга город на острове — захватило мое детское воображение. Я намерилась дойти до него на лыжах. И пошла. Шла я долго. Валом повалил снег. Стена снега. Впереди видно ничего не было. Сплошное снежное месиво. Меня хватились. Мама работала на Шпицбергене телефонисткой и ей быстро удалось поднять тревогу. Послали лыжников с натренированной собакой. Я же, устав, решила передохнуть, села на лыжи. Снег стал превращать меня в андерсеновскую деву. Начала засыпать, впала в сладкую дрему. Моя спасительниц умниц-овчарка Як (имя ее вспомню, если разбудить среди ночи) — раскопала меня из снежного сугроба и поволокла за шиворот к людям. Так я родилась во второй раз.

Еще помню шпицбергенские ветры. За минуту они сбивали человека с ног, и его заносило снегом. В такие шквальные дни люди ходили цепями, держась за руки, человек по двадцать-двадцать пять. Шли медленно, словно через снежное болото.

Природа запомнилась мне отчетливее, чем люди Они казались все на одно лицо из-за одинаковой многослойной теплой одежды, да и ветры дубили их лица на один манер. Работать в полярных шахтах приезжали те, кому нужен был хороший заработок. Как принято говорить — длинный рубль. Не всякий согласится ехать за тридевять земель в студеные края, проводить день за днем под землей при свете карбидки, дышать угольной пылью. Приезжали с женами, кое-кто брал и детей.

Потому «живого материала» хватало на целые самодеятельные спектакли. Без привлечения со стороны — да со стороны, кроме медведей да альбатросов, никого не привлечешь — баренцбурговцы даже осилили постановку оперы Даргомыжского «Русалка». На роль Русалочки, произносившей знаменитый пушкинский текст «а что такое деньги, я не знаю», определили меня. То ли из нашего махрового советского подхалимажа — отец, как-никак, консул, то ли я и впрямь была артистична. Нескромно скажу, была. Если и подхалимничали, то не промахнулись. Я с шиком сыграла свою крошечную роль. Чудом сохранилась выцветшая фотография, где сняты участники оперы. И я в их числе. Пьер Карден, готовя для издания мой фотоальбом, остановил свой выбор и на этой любительской карточке, невзирая на ужасающее ее качество. А вкусу Кардена верить можно. Это было мое первое выступление с театральных подмостков перед публикой.

Столкнулась я в Баренцбурге и с людской бессмысленной жестокостью. По весне к пристани приплыл на льдине

симпатичный белый медведь. Вблизи открывшейся воды на деревянной платформе стояло несколько бочек с мочеными яблоками. Словно в краснопресненском зоопарке, медведь деловито стал лапой вынимать из бочки лакомства. С вершины лестницы я с оравой сверстников, как в гипнозе, не шелохнувшись, пристально наблюдала за ним. Медведь был изящный, с длинным розовым языком, красными глазенками, совсем небольшой, похоже, не взрослый. Внезапно прозвенел выстрел — и медведь замертво плюхнулся в воду, очерчивая бездвижным телом своим кровавый круг. Откуда возник злой человек с ружьем, зачем он застрелил медвежонка в упор? За что? Пожалел яблок?..

Коли я вспомнила про яблоки, расскажу о том, как под Рождество норвежские власти прислали отцу подарок. Фанерный ящик, полный апельсинов. Отец, не дав мне насладиться редким для северных мест фруктом, распорядился тотчас же снести посылку в шахтерскую столовую. Мама причитала. Свой ребенок без витаминов, а ты скармливаешь их по столовой. Отец так жестко посмотрел на мать, что она замолкла на полуслове.

В большей из наших двух комнат стояла застекленная буфетная горка, заставленная красивыми палехскими шкатулками. Все два года я попрошайничала у отца одну из них для своих детских игр. «Они не мои, — терпеливо осаживал папа, — они государственные». Я пишу эти две крохотные детали вовсе не для того, чтобы представить своего отца неким героем и альтруистом. Просто поведение его так разнилось от поведения нынешних партийцев, тащащих, волокущих в свои барские хоромы все без разбору. Государственное, кооперативное, подарочное, все, что пожирнее, послаще, подороже. Он, к сожалению, к моему очень большому, великому сожалению, верил в коммунистическую утопию. Верил, что можно поставить знак равенства между словами «мое» и «наше». Не хотел или не мог увидеть, что между «мое» и «наше» миллионы световых лет. Что коммунистическая затея враждебна и противна человеческой натуре. Что она вопиюще антибиолог ич на!..

…В начале нестерпимого морозного декабря тридцать чет-? вертого года на заднике сцены шахтерского клуба, затерявшегося во льдах Шпицбергена, висел в черном крепе намалеванный шахтерской рукой портрет Кирова. Его убили в Ленинграде. Был митинг всей советской колонии, положенный по такому случаю.

Гневную речь хриплым от волнения голосом держал заместитель отца Пикель. Он слыл первым оратором в Баренцбурге. В 1937 году Пикель был одним из главных участников очередного звериного сталинского процесса. И был

расстрелян.

Только сейчас, к склону прожитой жизни, стала высвечиваться мне некая страшная связь имен. Пикель был секретарем у Троiрхого. Все, что хоть краем, хоть косвенно было связано со словом «Троцкий», выжигалось Сталиным каленым кровавым огнем. Отец всю жизнь дружил с Пикелем. И мать часто повторяла мне, что отец был верным в дружбе. Когда Пикель остался не у дел, без работы, в политической опале, отец взял старого друга в свою команду на Шпицберген заместителем. До Шпицбергена Пикель директорствовал в Камерном театре Таирова. Разгром, учиненный талантливому театру, был, выскажу свою мрачную догадку, связан и с политической родословной Пикеля. Как гибель Мейерхольда всегда кроваво отсвечивает во мне все тем же именем — Троцкий: посвящение Мейерхольдом одного из своих спектаклей Троцкому упорно засело в коварной, мстительной, палаческой памяти Сталина.

Знал ли отец, предчувствовал, брала ли его жуть, отодвигал ли он обреченные мысли, что ценой верности в дружбе будет его жизнь? Брать Пикеля на Шпицберген было смертельным риском. Так все, увы, и произошло. Следующим рейсом, когда началась навигация, приплыли на «Красине» два персональных — для отца — сыщика-осведомителя. Те, кто снаряжал их, чувством юмора не обладали. Ибо фамилии их звучали, как в провинциальном водевиле. Рогожин и Рогожан. Потом их имена присутствовали в деле отца в качестве карающих свидетелей. И я сама наткнулась на два этих имени во второй бумаге с реабилитацией М.Э.Плисецкого — «расстрелян по ложному доносу». Но это был уже 1989 год. А тогда, в Баренцбурге, я дружила с их милыми дочерьми-пионерками…

И еще я помню Пикеля в Москве. До Шпицбергена. У него дома, в кругу веселящейся семьи. Его полноватую хохотушку жену, повторившую позже мученический конец мужа. Помню ослепительную, разряженную в пух и прах новогоднюю елку.

Еловые ветки клонились к полу под тяжестью тьмы сверкающих игрушек. Лучились огромные разноцветные шары. Я спросила в экстазе: «А можно шарики кокать?» — «Можно», — беззаботно ответил Пикель. Я с визгом восторга кокнула об пол большой серебряный шар.

А в тридцать седьмом-тридцать восьмом и Пикеля, и моего отца кокнул Сталин.

Глава 5
Я УЧУСЬ БАЛЕТУ

Вернусь к лету 1934 года. После двухлетнего зимовья на Шпицбергене отцу дали отпуск. Длинным, утомительным путем, опять через всю Европу, мы всем семейством вернулись в Москву. Тут подоспел и ностальгический родственный визит заокеанского дядюшки, о котором я уже повествовала. Но одна из главных забот семьи состояла в том, что меня порешили определить в Московское хореографическое училище. Если пройду экзамены. Мой успех в «Русалке» сыграл в решении родителей не последнюю роль. Да и изводила я их каждый божий день нещадно, танцуя, изображая, шумя, лицедействуя, словно наша баренцбургская квартирка была подмостками театральной сцены.

Дождливым июньским утром (не был ли это конец мая?) Мита привела меня на балетный экзамен. Меня обрядили по такому торжественному случаю во все белое: белое вискозное платьице, белые носочки, пришпилили к моим рыжим косичкам тщательно отутюженный большой белый бант. Увы, приличествующей случаю обуви в моем гардеробе не оказалось — плоские каждодневные коричневые сандалии чуть-таки подпортили мой подвенечный вид…

В то время страну еще не успел обуять балетный бум. Это теперь все хотят учиться «на Анну Павлову» у музы Терпсихоры, танцевать «Лебединое» на сцене Большого для американского президента, гастролировать по миру. Вот бы записаться на Трехгорную мануфактуру или Завод Ильича. Так нет тебе, подавай им Рампу.

А в те «стахановские» годы все мечтали парить краснозвездными сталинскими соколами в поднебесьи, дрейфовать к полюсу, ставить рекорды перелетов, начертанных сухой, параличной рукой вождя, сидеть на расколовшейся льдине, тонуть с челюскинцами, рапортовать «задание Родины выполнено, дорогой товарищ Сталин»…

Судите сами. Все дети партийных вождей были летчиками. Участвовали во всех воздушных парадах в Тушине. Были в самых первых рядах бойцов за классовую ленинскую галиматью. Оба сына Сталина — Яков и Василий — профессионально летали. Дети Микояна — летали. Дети Фрунзе — летали. Слава летчика Чкалова затмила Александра Македонского, Наполеона и Тамерлана. Начала подбираться аж к божественному лику самого Иосифа Виссарионовича. Впрочем, по новейшим, недавно

раскрытым документам это стоило талантливому асу жизни. Возносить до небес Сталин предпочитал мертвых. Это я пишу для западного читателя, так как мои соотечественники знают все еще до первого чтения букваря.

По тому, куда определяют своих отпрысков наши диктаторы, можно безошибочно судить о времени, его направленности, шкале почитаний. То-то толпятся вереницей бронированные «ЗИЛы» и «Чайки» вдоль Фрунзенской улицы, обретшей тренировочные зеркальные залы нынешнего хореографического училища. Зудит крамольная мысль. А не перенесли ли балетное училище с угла Пушечной и Неглинной на Фрунзенскую, чтобы громоздким государственным машинам было комфортабельней парковаться на замысленных еще до проекта самого здания просторных стоянках? И крошечные дочки да внучки сильных мира сего, выскальзывающие из лимузинов, могли бы ловчей достичь личного кабинета улыбчивой, руки простершей директрисы и там скинуть свои господские шубки…

Но что был мой экзамен. В тридцать четвертом году заявлений было мало. Что-то около тридцати, если меня не подводит память. Но уж никак не тыща, как теперь. От по ступавшего требовались лишь годные физические данные, крепкое здоровье, музыкальность — непременно! — чувство ритма. Мы дансантно ходили под музыку, темпы которой намеренно часто ломали, чтобы определить — слышит ли тело эти перемены. В особой цене была природная артистичность. Мою судьбу решил незатейливый реверанс, отпущенный мною приемной комиссии.

Перекинусь — в скобках — совсем в сегодня. В июле 1991 года испанский король Хуан Карлос I вручал мне высший орден Испании. Теперь я exsima donna Майя… Вышколенные придворные, следящие за этикетом двора, загодя пытали меня вопросами — буду ли я держать в ответ благодарную речь? Я пообещала:

— Моей речью будет реверанс…

Они недоверчиво согласились. Я сдержала свое слово. Все программы телевизионных новостей несколько дней кряду «цитировали» благодарный спич, все показывали и показывали мой танцевальный поклон Королю, Королеве Софии, высшему свету.

…Приемную комиссию возглавлял тогдашний директор школы Виктор Александрович Семенов, бывший танцовщик — премьер Мариинского театра. Он женился на юной звезде первого выпуска Вагановой Марине Семеновой (своей однофамилице) и переехал с ней в Москву.

В семьдесят шестом году я была в Америке и нанесла визит легендарной Ольге Спесивцевой в доме для престарелых артистов под Нью-Йорком (все такие визиты свершались под покровом тревожной тайны, чтобы не стать темой рапорта соглядатаев КГБ, сопровождавших нас каждый раз в переизбытке).

Спесивцева стыдливо отмалчивалась, стесняясь своего полуневольного положения. И задала мне чистым не старческим голосом, вовсе без акцента, лишь один вопрос: «А Витя Семенов жив?» Что-то сокровенное тенью прошло по ее благородному лицу, окаймленному аккуратным укладом седых волос, расчесанных, как на всех ее артистических фото, на прямой пробор.

Так вот «Витя Семенов» после моего реверанса единолично принял волевое, как теперь говорят волюнтаристское, решение:

— Эту девочку мы возьмем.

Судьба моя была решена. Я стала учиться балету.

Сейчас мы многое утеряли из естества выбора своей профессии, в том числе танцевальной. По ребячьему телу опытным глазом можно прочесть и потенции танцевальной формы, и будущие перемены детского тела лукавой натурой, и просто углядеть ответ на гамлетовский вопрос: быть или не быть танцором. Ныне до школьного экзамена родители проводят с телом ребенка гуинпленовские истязания, заставляя дитё продемонстрировать сраженной в самое сердце комиссии сверхвыворотность, сверхгибкость, сверхраздир. Для этого нанимаются частные наставники, тренеры, посещаются гимнастические залы, водные бассейны. Ребенок является на экзамен подготовленным, но изможденным, очумелым. Все насилия над организмом, да еще в детстве, потом выходят боком. К сорока годам «вымученные танцовщики» становятся хромыми инвалидами, ходят с палками.

Может быть, я старомодна. Но я предпочитаю отбор природы усердию и старательности.

Меня определили в класс к Евгении Ивановне Долинской.

Я выписываю ее имя с добрым душевным теплом. Это удача, когда самый первый педагог вызывает в ребенке любопытство, заинтересованность. В отличие от детей нынешних мы совершенно ничего не знали, никаких азов. Ни первой-пятой позиций, ни плие, ни препарасьон. Все терпеливо вкладывала в нас Долинская. Все упражнения мы делали лицом к балетной палке. Весь первый срок. Конечно, это было скучно, нудно. Сразу хотелось танцевать. Вовсе не учиться. Но… не сразу Москва строилась.

Долинская хорошо играла на рояле. И позже, когда она

ставила для нас маленькие балеты, часто садилась к инструменту и складно, внятно доносила до нас музыкальные фразы. В прошлом она солировала на сцене Большого в характерных партиях. Была артистична, привлекательна, но чуть громоздка. Терпением ее Господь наделил сполна. Не помню случая, чтобы она сорвалась, вспылила, среагировала на чью-либо заторможенность, непонятливость. И это отношу к ее достоинствам.

Мне она симпатизировала. Каждый раз занимала в своих милых, непретенциозных хореографических миниатюрах. Я станцевала у нее русскую бабенку на музыку книпперовского «Полюшко-поле». На мне был длинный расписной сарафан, рябоватый платочек клинышком, матерчатые подсафьяновые сапожки. Я в охотцу отбивала незатейливые дроби, жестикулировала, кокетничала, подмигивала, чем немало потешила нашу училищную публику.

Другой номер Долинской был на «Серенаду» Чайковского. Позже я услышала эту музыку в знаменитом творении Баланчина, и она дохнула на меня балетным детством, доброй душой Евгении Ивановны. В этом номере Долинская заняла четырех девочек, в том числе и меня, и мы в царстве некой абстрактной пасторали, в обликах грациозных, мифологических пастушек купались в лучах солнца, неба, ловили упархивающих бабочек…

Долинская тянулась к хореографическому творчеству. Ее школьные постановки помогли ей в осуществлении и более серьезных замыслов. Полнометражного балета поставить Е.И. так и не дали, попросту говоря, не допустили. Хотя долгие, долгие годы на сцене Большого шло «Лебединое» (старое «Лебединое», как мы называли), первый акт которого был поставлен Долинской. Участвовала она и в оперных премьерах. Ставила танцы, пантомимы. До нынешнего времени благополучно продержалась ее пастораль в «Пиковой даме». Ставила она танцы и в «Русалке». Кстати, моя вторая «Русалка» на сцене филиала, где я на дне реки теперь уже бессловесно солировала среди кордебалетных водорослей, была поставлена Евгенией Ивановной.

Но главный успех в хореографии Долинской я разделила с Леней Швачкиным в действительно пикантном номере a la russe «В селе Малом Ванька жил, Ванька Таньку полюбил». Швачкин обладал недюжим артистическим даром, юмористической пластикой, и мы с азартом, соревнуясь друг с другом, отчебучивали занятные коленца, гримасничали, флиртовали, ритмично лущили семечки, плевались, конфузились…

Но я чуть опередила события. Это было на третьем году

обучения.

Не могу не упомянуть и своей первой встречи в своем первом классе с Леонидом Вениаминовичем Якобсоном. С ним я проработала — отрывочно, увы, — всю свою жизнь. И отношу это к дарам судьбы. Ниже я буду рассказывать о Якобсоне подробнее. А сейчас лишь о нашей первой встрече.

Леонид Вениаминович занял меня в своем номере «Конференция по разоружению». Что была за музыка, пытайте, не вспомню. А номер был такой. Десять-двенадцать исполнителей. Словно ООН тех лет. Каждый танцор изображает представителя различных государств. Из участников вспоминаю Володю Левашёва, танцевавшего глупого английского лорда в цилиндре. Мне же досталась роль китайца. Я была меньше всех ростом. Появлялась из-за кулис в соломенной остроконечной шляпе на угловатых якобсоновских глиссадах. Чего-то все время боялась, крутила головой по сторонам, кося глазами. Пряталась в итоге под стул. Все это должно было изображать никуда не годящегося правителя Китая генералиссимуса Чан Кайши. Какой он маленький, смешной и никчемный. С тех пор воды утекло много, но мир все разоружается и разоружается, конференции собираются, распускаются и так, видимо, до тех пор, пока наша планета не взорвется…

Кроме балета нас учили обычному уму-разуму. Русский язык, арифметика, география, история, музыка, французский язык. Написала, и дрогнула рука. Это надо же так учить ц так учиться, чтобы совершенно ничего не мочь. Ни сказать* ни понять. Хотя вся профессиональная балетная терминология основана на французском. И давая класс хоть на Марсе, я обойдусь 15–20 французскими выражениями. А по музыке пиком моего познания была миниатюра Бетховена «К Элизе». Это я заучила накрепко. Могу сыграть и сегодня.

Первый год был для меня совсем кратким. Отпуск отца кончился, он и так задержался дольше положенного. Надо было возвращаться на Шпицберген. Дома вслух долго дискутировался вопрос, как быть со мной. В итоге порешили. Мы вновь всей семьей до конца навигации едем в Баренцбург. В Москве оставить меня было не с кем. Мита и Асаф — в продолжительном концертном турне. Общежития в училище тогда не было.

Вновь чемоданы, поезда, Берлин, немецкие газоны, паром, качка, безбрежные высокие волны, снег, дощатая лестница, альбатросы, стужа, ветер.

Глава 6
ОПЯТЬ В ШКОЛЕ И АРЕСТ ОТЦА

Живописать Шпицберген во второй раз не буду. Хватит. Ничего там не поменялось. Только снегу стало больше да перебрались в квартиру попросторнее.

Полярная ночь в этот раз длилась тягуче долго. Я вновь носилась на лыжах. Сердила родителей. Отец становился все раздражительней и угрюмей. Что-то его гнело.

В ночных сновидениях иногда мерещилось мне тесное, но приветное здание хореографического на Пушечной. Размытыми тенями являлись мои новые балетные подружки. Голубоглазая Муза Федяева, хохотушка Аточка Иванова, сосредоточенная на арабесках Таня Ланковиц, раскосая полукровка Надя Мальцева… Я везла им в громоздкой банке заспиртованных шпицбергенских морских чудищ. То-то подивятся. Словно у щенка, подергивались во сне мускулы ног. Тело упомнило уроки Долинской.

Я скучала по танцу. По струганому, тщательно отмытому полу классного зала, по волглой от пота репетиционной палке, по старинному, потрескавшемуся углами зеркалу, в котором можно было судить-рядить свои первые позы, по горьковатому запаху переполненного разгоряченными людьми зала…

По весне, видя мое томление, отец решил с первым же ледоколом отправить меня с оказией на Большую землю, в Москву. Я и открыла новый путь со Шпицбергена на материк через Мурманск.

Моим сопровождающим оказался заболевший цингою бухгалтер, досчитавшийся с шахтерскими нормами до полного нервного истощения. И фамилия у него была приличествующая клиническому случаю — Золотой. То ли моя зловредность да ирония, то ли он и взаправду свихнулся. Все время бухгалтер все и вся пересчитывал. Губы складывались в вереницу цифр.

На пароходе я его жестоко изводила. Пряталась, пропадала, находилась и опять исчезала. Он окончательно порастерял со мной свое и без того хлипкое здоровье…

К концу учебного года я уже, по существу, не поспела. А во втором классе педагог сменился. Вместо Долинской класс взяла Елизавета Павловна Гердт. У нее я прозанималась шесть лет.

Елизавета Павловна была дочерью Павла Андреевича Гердта, солиста Его Императорского Величества. Такое звание в Мариинском театре, если верить Е.П., носил только он. Это что-то в пересчете на советские регалии вроде Героя Социалистического

Труда. Но при государе императоре всероссийском, который положил ему вольготную пенсию — 800 рублей золотом в год. Неплохо. Нынешние властелины переняли у царствующей фамилии меценатство к балетному люду. Но без пенсий. И имеют свое собственное разумение о балетных тонкостях.

Молва приписывает Александре Федоровне Романовой, императрице Российской, шумный и гневный уход из ложи, когда Вацлав Нижинский предстал перед публикой Мариинского театра в туго обтянувшем мужские чресла шелковом трико. В таких сегодня каждая вторая модница разгуливает по центру города. Эту эстафету понимания, что хорошо да что плохо в балете, что положено, что нет, императрицы дней нынешних перехватили твердою рукой!..

…Итак, моя учительница Е.П.Гердт.

Матерью ее была балерина Мариинки Шапошникова. «Вышла я вся из балету…» Советскую власть люто, но тихо ненавидела. На мой перманентный, каверзный вопрос: «Почему Вы не уехали в 1917 году?» — однообразно, таясь, ответствовала: «У Зилоти в санях мне не хватило места…»

Мужем Е.П. долгое время был дирижер Гаук. С ним она и подвиглась из Ленинграда в Москву. Тихие были оба, благородные, вежливые. Но в один прекрасный день Гаук_вовь_ пылал страстью к Улановой и даже оказался ненароком на некоторое время ее жильцом. Е.П., недолго думая, вскрыла себе вены. Ее откачали. И трусоватый Гаук быстрехонько вернулся восвояси. В старое стойло. При Сталине не очень-то разгуляешься со своими фрейдистскими склонностями.

Но я все отдаляюсь. Какой она была учительницей? Ломаю голову. Обойти острые углы, отговориться или исповедаться, в коий раз обрушив на свою голову громы и молнии?..

Человек она была славный. Ровная, незлобивая, доброрасположенная. С людьми крупномасштабными, яркими сводила ее жизнь. Рахманинов, Зилоти, Глазунов, Куприн, Карсавина, Коровин, Клемперер, Блок. Куда более. И общение с ней всегда было интересным, увлекательным. Но в балете она разбиралась слабо, скажу мягче, не до конца. Так мне показалось это после того, как я вкусила острого ясновидения вагановской школы. Обе вышли из недр Мариинки. Обе прошли одну муштру. Обе учились у одного педагога, обе дышали одним колдовским воздухом северной столицы. Обе жили только балетом. Но аналитической мудрости, профессионального ясновидения природа Гердт не отпустила. Она видела, что это правильно, а это нет, но объяснить, научить, что, как, почему, «выписать рецепт» не могла. Диагноз она ставила верно, но как лечить — ведать не

ведала…

«Ты висишь на палке, как белье на веревке», — а что надо сделать, чтоб не висеть?

Ваганова сказала бы прозаично — «переложи руку вперед». И балерина, как по мановению волшебства, обретала равновесие.

Это называется школой. Простецкой, для постороннего загадочной фразой можно все поставить на свои места. Вот крохотный пример. Ваганова любила говорить:

— На весь урок зажми задницей воображаемый пятиалтынный, чтобы он не вывалился…

И балерина на всю жизнь училась держать зад собранным, сгруппированным, нерасхлябанным. А отсюда идут правильность осанки, верность положения вертлутов, спины. У Вагановой был глаз ястребиной точности. У Гердт этого не было.

До меня дошел рассказ, как впервые в России, в самом конце прошлого века, итальянская балерина Пьерина Леньяни заключила коду «Золушки» тридцатью двумя фуэте. Глазевшие из-за кулис господа петербургские артисты раскрыли рты. Этого трюка еще не видели.

Следующим утром на классных занятиях все тщились, разогревшись, исполнить хоть три-четыре. И падали. Кстати, рассказала мне этот случай сама Е.П со слов отца, Павла Андреевича, бывшего одним из действующих лиц тех далеких конфузных для государства российского событий. И тут Ваганова, выйдя на середину, став в четвертую позицию, про-шепелявя при этом себе под нос «она делала так», — с ходу, без срывов, прокрутила все тридцать два. Один к одному…

Всю мою жизнь меня поедом ела тоска по профессиональной классической школе, которую мне толком-то с детства не преподали. Что-то я знала, что-то подсмотрела, до чего-то дошла своим умом, послушалась совета, набила шишек. И все урывками, от случая к случаю. Вот бы в 10–12 лет объяснили тебе все разом!..

Несколько лет назад, к моей очень круглой дате, японское телевидение подготовило милый красочный фильм из моих последних выступлений в Токио. Прислали мне в Москву видеокассету. Проглядев ее, я удовлетворенно крякнула и сказала в сердцах Щедрину:

— Кажется, только теперь я научилась танцевать…

И сказала правду. Но поздновато, черт возьми.

Я знаю, что что-то подобное было у Щедрина и с композиторской школой. С его консерваторским профессором Шапориным. Тоже утерял он немало времени на изобретение велосипеда. Но уж судьбы назад не вернешь.

И еще один курьез, связанный с Елизаветой Павловной. О нем мало кто знает. Будучи как-то с Щедриным на даче у Шостаковича в Жуковке, уже прощаясь, влезая в пальто, я внезапно услышала ироничный вопрос Дмитрия Дмитриевича:

— Как там моя дорогая Елизавета Павловна?

— Хорошо.

— Вы знаете, я оставил им с Гауком на хранение рукописи моих симфоний — Четвертой, Пятой, Шестой, а Гердт их потеряла.

— Как так?

— Так уж, видите ли, так сказать, получилось… Следующим утром я уже атаковала Елизавету Павловну.

— Правда ли, что сказал Шостакович?

— Да, — пролепетала Е.П. своим инфантильным намеренно девственным голоском. — Мы с Александром Васильевичем эвакуировались в начале войны на Кавказ. Я положила Митины ноты в самый крепкий чемодан вместе со своими лучшими туфлями. Туфли были замечательные, неношеные. На Курском вокзале в суете, чуть я отвернулась, какой-то разбойник унес чемодан с моей обувью. Такая досада. Там были и Митины рукописи…

Оригиналы симфоний Шостаковича были безвозвратно утеряны. Так Елизавета Павловна провинилась перед историей музыки.

Кто учился вместе со мной, сколько нас было?

Было нас человек 25–30. И мальчики, и девочки. Вместе. Сейчас вспоминаю. К подругам моим, доперечислю. Нелли Шабурова, Лида Меньшова, Вера Логвина, Тата Черемшанская, Ида Сонина, Прушинская, Холщевникова, Эрик Володин, Май Власов, Юра Соболев, Малышев, Беркович, Вдовченко, Павел Гетлинг, Герман Мюнстер…

Каждое имя — своя судьба. Большая толика моих однокашниц пошла в кордебалет Большого. Мальчишек многих поубивали на войне, а обладатели немецких фамилий были сосланы. Не вышло из них танцоров. Эрик Володин стал солистом, переиграл уйму характерных ролей. Лида Меньшова с красивой, породистой внешностью подвизалась на ролях королев, владетельных принцесс, матрон. Муза Федяева танцевала и сольные партии. Делала это достойно. Но «школы» нам не хватило всем…

Судьбы педагогов наших тоже были невеселы. Мои дорогие «несчастливцевы», по Островскому. Учителя географии, физики — Альтгаузен и Хейстер — погибли. Борис Алексеевич Нурик, вдалбливавший в нас четыре правила арифметики, умер на улице

при странных обстоятельствах…

А теперь я перейду к страницам печальным и страшным.

Летом 1935 года отца внезапно вызвали в Москву. Я встречала мать с отцом и четырехгодовалым братом Алой на забитом озлобленными мрачными людьми Казанском вокзале. Сколько же горя, слез перевидала за те кошмарные годы привокзальная площадь, кощунственно названная по-бодрому: Комсомольская. На ней издревле расположились три главных вокзала Москвы. Казанский, Ярославский, Ленинградский. Зодчие Тон, Щусев и Шехтель, проектировавшие архитектуру зданий, и в малой толике не полагали, сколько неисповедимых людских российских судеб будет сломано под сенью их творений, на открытых небу перронах…

Отец был рассеян, серого цвета, весь погружен во что-то, чего я не знала. Мне не хочется сегодня изображать из себя вундеркинда, понимавшего, что происходит в моей каторжной стране. Этого не понимали и самые прозорливые из взрослых. Понимал лишь параноик Сталин, творивший кровавое зло.

Спектакль разыгрывался по нотам. Нежданно вызвали. Но не для того, чтобы казнить. Напротив. Дали новую квартиру. Определили на солидную должность в управлении «Арктикугля». Выделили персональную машину. Черную «эмку». При ней завсегда аккуратно одетый, внимательный, очень внимательный шофер. Отметили в приказе наркома угольной промышленности. Но почему же так невесел отец? Какие предчувствия его одолевают?

Новая квартира показалась мне странною, даже после богемной многолюдной жизни на Сретенке. Располагалась она в Гагаринском переулке, 3/8, в двухэтажном деревянном старинном особнячке. На втором этаже, со скрипучей лестницей. О каждом приходе гостя лестница оповещала задолго до стука в дверь.

Квартира была как бы отдельная, но и общая — одновременно. Мы заняли две комнаты. Одна изображала столовую, другая — спальню. Но из нашей столовой путь вел и в две другие «отдельные» квартиры. Чтобы попасть в них, надо было пройти через нашу столовую. Все друг за другом наблюдали. Блюли. Вольно-невольно. По сто раз на дню здоровались. Кстати, обе соседские семьи последовали чуть позднее трагическим путем отца…

Отец пропадал сутками на работе. Мать нянчилась с братом. Я каждый день проделывала путь на Пушечную, в школу. Гагаринский переулок как раз напротив метро «Дворец Советов». Ездить было удобно. А из замысленного большевиками Дворца с

Лениным на самой макушке, как известно, тоже ничего не вышло. Одно название да почтовые марки. Только попусту взорвали старинный красавец-храм Христа Спасителя… Опять погорячились. Почва не та. Теперь на этом месте полощут свои дебелые телеса в бассейне «Москва» труженики Москвы и Московской области. Но водные испарения открытого, масштабного, подогревающегося круглый год бассейна здорово, кстати, всем Рембрандтам и Рубенсам, хранящимся как раз насупротив бассейна в уникальном Пушкинском музее (сколько же во мне яда, сама дивлюсь).

В один из вечеров отец вернулся раньше обычного. И, не поужинав, лег прямо в одежде на постель. Лежал бездвижно, целую вечность, заложив за голову свои длинные руки, уставившись в потолок. Стылая, гнетущая тишина. Я подошла, села на край постели.

— Тебе нездоровится, папа? ' — Меня выгнали из партии, дочка…

I Кто выгнал? За что? Почему? Что за партия такая? Отчего { отца мучают? Он же хороший человек.

\ Ночью отец с матерью глухо шептались. Вслух ничего не скажешь — кругом уши.

Тут подоспело светопреставление с великой сталинской конституцией, которую, люди знают, сочинял убиенный Бухарин. Мы слушали речь вождя из Большого театра всем семейством плюс братья-соседи (никуда от Большого театра не уйдешь). Это был уже декабрь 1936 года. Сталин говорил неторопливо, цедил — ему-то спешить вовсе было некуда, — с криминальным грузинским акцентом, почти по слогам. Зал, ликуя, подолгу аплодировал. Рукоплескания наша черная картонная радиотарелка воспринимала с трудом. Что-то безбожно трещало, трыкало, искрило. Никто не проронил ни слова. Ни соседи, ни мы.

Машина с чистеньким шофером перестала приезжать за отцом по утрам. Отец отсиживался дома. Стал бриться от случая к случаю. Часами пролеживал на кровати. Не отвечал на вопросы. Ничего не ел. Весь осунулся, почернел. С работы его уволили.

Телефон, ранее трезвонивший без умолку, особенно в ночи, замолк. Никто к нам больше не приходил. Отец стал зачумленным. Его боялись.

За несколько дней до Первомая отца куда-то вызвали. Он пришел воспрявший, помолодевший:

— Мне дали гостевые билеты на кремлевскую трибуну. Мы идем с тобой, Майечка, 1 мая на Красную площадь, на демонстрацию.

Я затрубила в трубу, превратив в таковую свои ладони. Ура!! Какое платье надо надеть? Мать принялась мастерить что-то эклектичное, но торжественное…

Это было 30 апреля 1937 года. На рассвете, за несколько часов до Первомая, под самое утро, часов в пять, лестница заскрипела под чугунной тяжестью внезапных шагов. Отца пришли арестовывать. Эти аресты на рассвете теперь уж многократно описаны в литературе, сыграны в кино, на театральной сцене. Но прожить это самой, поверьте, очень страшно. Незнакомые люди. Грубость. Обыск. Весь дом вверх дном. Ревущая, цепляющаяся, беременная — с пузом, растрепанная мать. Надрывно кричащий, разбуженный, спросонья, маленький братец. Одевающийся дрожащими руками, белый как снег отец. Ему неловко. Отрешенные лица соседей. Разухабистая понятая с зажженной папиросой в зубах дворничиха Варвара, не упускающая случая подольстить властям («скорее бы вас всех перестреляли, сволочи проклятые, враги народа!»). И я, одиннадцатилетняя, худосочная, напуганная, плохо понимающая, что, собственно, происходит, с арабесками и аттитюдами в детской башке. С десяток раз примерившая перед зеркалом свой новый первомайский наряд на Красную площадь, который предстояло надеть на себя через каких-то три-четыре часа. Надеющаяся, что это ненадолго, каких-то несколько дней, и жизнь вернется в привычное русло. И отец, старающийся меня утешить — все образуется…

И последнее, что я слышу из уст отца, перед тем как дверь за ним захлопнется навсегда:

— Слава Богу, наконец-то разберутся…

Сейчас, когда, бывает, я проезжаю мимо злосчастного углового дома на Гагаринском, я холодею. Меня не оставляет чувство жути. Сам-то дом, в отличие от своих жильцов, благополучно сохранился.

Глава 7
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ МАТЕРИ

Квартиру в Гагаринском и дощатый домик в Загорянке у нас сразу не конфисковали. Это сделали позднее. Мать мытарилась просительницей по приемным НКВД. Родственники причитали. Но в тряпочку. Соседи перестали нас замечать. Дворничиха Варвара гневно молчала. Я же исправно ездила метрополитеном имени еще одного сталинского бандита Кагановича в свою балетную школу. Утром — туда, вечером — обратно.

В школе отношение ко мне, к счастью моему, не поменялось. Не на одну меня обрушилось горе. Многие в классе тоже лишились родителей. На тот же милый сталинский манер.

Отец Аточки (ласкательно от Артемии) Ивановой расстался с жизнью прилюдно. Он был участником — жертвой — процесса над Зиновьевым. Его фамилия — Иванов, самая распространенная в России, — мелькала в газетных перечнях мнимых заговорщиков в самом конце черного списка. Не без умысла, думаю. Как бы намекая, что заговор массовый и тем особо опасный. Будьте бдительны, советские люди.

Отец тезки моей Майи Холщевниковой просто исчез, канул в воду. Тоже ранним предрассветным утром.

Отец Гали Прушинской повторил Дантов круг моего отца. Был тоже вызван в Москву, обласкан. «10 лет без права переписки». Так и отвечали матери моей на все ее настырные безнадежные вопросы…

Но были в классе ученики, чьи близкие стояли и по другую сторону баррикад. Не те, кого судили, а те, кто судил, кто исполнял приговоры «чрезвычайных троек». Моя однокашница Валя Болотова горделиво оповестила класс, что дядюшка ее прошлой ночью сидел в кузове грузовика на мертвом Пятакове. Поделом ему!.. Трупы расстрелянных под покровом ночи свозили в потаенные кладбищенские ямы.

Дочему нас оставили в школе? Не выгнали? Отчего позднее приняли в Большой театр, театр императорский? Этот вопрос я не раз задавала самой себе, близким своим. Сверстники мои хорошо помнят, как Сталин в одной из речей возвестил миру, что «сын за отца не отвечает», ˆети отвечали, да как! Воспоминания младших Якиров, Тухачевских, Рыковых, Бухариных, Уборевичей, Косиоров теперь известны. Кое от кого из уцелевших я услышала о пережитых муках изустно. Нсˆ детей фигур не столь заметных оставляли в покое. Не трогали. Т1оглядывали попристальнее, но

не трогали. Все мы были как на ладони. В отделе кадров каждый год, а то и дважды, триж-ды «освежали» твою анкету. А в анкете уж не спрячешься. Где твой отец, где твоя мать, когда родился, где служит, по какой статье репрессирован, в каком году. Этих анкет я заполнила за свою жизнь — тысячи. Перед каждой поездкой. Перед каждой, читатель. А вопросы все те же — твои отец, твоя мать, когда родился, где служит, по какой статье репрессирован.

Но все-таки я благодарна судьбе. Я училась любимому делу. Участвовала во взрослых спектаклях. Выходила на сказочную сцену Большого. Под звуки великолепного оркестра. На меня ставили танцы. У меня была чистая постель. Не голодала. Клеймо дочери «врага народа» не погубило моего жизненного призвания. Я избежала преисподней советского детского дома, куда меня хотели было забрать. Это взаправду заслуга Миты. Я не попала в Воркуту, Освенцим, Магадан. Меня мучили, но не убили. Не сожгли в Дахау…

Познание балета шло дальше.

Стараюсь вспомнить. Но что было? Каждый день класс, каждый день плие, тандю, рон де жамб, большие батманы, фондю, дребезга пианино, пот, стертые в кровь пальцы… ариф метика, география, заколдованный злыми духами французский, зоология. Будни, будни, будни.

На третьем году появились новые предметы, которые пришлись по душе. Характерный танец и исторический танец. Их вели две писаные красавицы — балерины Большого. Надя Капустина и Маргарита Васильевна Васильева. В характерный танец входили испанский, мазурка, цыганский, русский, венгерский. Цыганский у меня получался плохо, а испанский пошел. Вот аж откуда берут истоки моя Кармен, «Дон Кихот», Лауренсия, нынешнее испанское привольное житье. А исторический танец был так далек от всего окружавшего нас, словно отдохновение от сует.

Усердно посещала я все генеральные новых спектаклей Большого — и балетных, и оперных. Хорошая была традиция. Одну генеральную сыграть для своих, для училища, для костюмерных мастерских, для пенсионеров. Артисты знали, что в театре коллеги, были раскованны, играли в радость, вдохновенно.

Тогда было принято, что и дети участвуют в текущем репертуаре. С этого опыта мы набирались великого. Я танцевала фею-крошку в «Спящей», цветы в «Снегурочке» Римского, кошку в «Аистенке».

Летом нас свозили в пионерский лагерь, всей кучей. А там — утренняя зарядка, линейка, подъем флага, надсадные горны,

бравые вожатые, рапорты, вечерние костры. Словом — мы пионеры. Это как гитлерюгенд. Дисциплину соблюдать, верность Родине множить…

Мать, чтобы было на что жить, начала распродавать вещи. Одну за одной. Она была на седьмом месяце беременности, когда отца забрали. Пока я маршировала под зазывную музыку Дунаевского в летнем пионерском лагере, мать родила в июле моего младшего брата. Молоко у нее пропало. В деньгах постоянно была большая нужда.

В начале марта 1938 года, точную цифру дня не могу вспомнить,ˆМита танцевала «Спящую». В театральном архиве нетрудно отыскать программку того вечера. На все спектакли тетки я не ходила, но на этот мы собрались пойти с мамой. Решили купить цветов. Правильнее сказать — достать, дело было непростым, особенно по московской весне.

И вот цветы у нас в руках, дома, в проходной квартире в Гагаринском. Сейчас я мучительно напрягаюсь, чтобы вспомнить, как получилось, что вечером в театре я внезапно оказалась совсем одна. Без мамы. С большим букетом крымских мимоз. Просто выпадение памяти. Есть у меня в характере и поныне дурацкая способность погрузиться целиком в свои мысли, отрешиться от мира, ничего не замечать кругом. Я не люблю этой своей черты. Так было и в тот мартовский вечер.

Спектакль заканчивается, поклоны, аплодисменты. А где мама? Ведь мы были вместе.

Я иду с цветами к Мите домой. С поздравлениями. Она живет рядышком с театром, сзади, в Щепкинском проезде, в доме Большого театра. Там, где потом в большой коммунальной квартире долгие годы буду жить и я. Взяв цветы, Мита внимательно, пристально всматривается в меня серьезными темными глазами. И внезапно предлагает остаться ночевать. При этом она плетет какую-то чепуху, что маму срочно вызвали к отцу и она тут же, прямо из театра, не досмотрев спектакля, вечерним поездом куда-то умчалась. Я ей, естественно, верю. Я и сейчас легковерна. А в 12 лет поверишь в любую несуразицу.

Так я поселилась у Миты. Я не понимала, что мать в тюрьме. Что ее тоже арестовали. Тоже в самый неожиданный, неподходящий час. А разве люди уже придумали подходящий час для арестов? Для казней, кажется, да.

Я долго не понимала, что телеграммы «как бы от мамы» слала сама же Мита с главного почтамта на Мясницкой (тогда еще улица того же самого Кирова, совсем как Кировский театр, все перекрещено). Клянусь, что только много позже поняла, что отвратительные стриженые женщины, пахнущие потом так

сильно, что после их визита надо было открывать все форточки, приходившие к нам и придирчиво, подозрительно выспрашивавшие меня про маму и Миту, были из детского дома. Куда меня, бездомную сироту, отпрыска «врага народа», надлежало отправить.

Квартира в Гагаринском была опечатана, а затем конфискована со всем немудреным нашим скарбом. Пропали мои подвенечные уборы — платьица, носочки, банты, сандалики. Как они, эти убийцы, делили между собой вещи, мебель, посуду, обувь, утварь жертв своих? Ночами, или на рассвете, или посеред дня? Пялили ли на себя их жирные жены чужие ношеные одежды или таскали на базарную толкучку?..

Несколько долгих лет я не знала всей правды про мать и отца. У других все было ясно, дело плохо. Но у себя самой все должно было обойтись, кончиться хорошо. И мать с отцом, в праздничных костюмах, здоровые, красивые, смеющиеся, внезапно войдут в тесную Митину комнату на Щепкинском, обнимут меня, порадуются.

Бабуля, мать моего отца, тоже получала подложные письма, которые в этом разе слали ей ее дочери, сестры моего отца. Письма были как бы от сына Миши, с обращениями: «Дорогая мамочка, у меня все хорошо, я скоро вернусь и приеду навестить тебя в Ленинград. Как ты?..»

Сколько таких святых обманов свершалось тогда на этой несчастной, забытой, проклятой Богом, залитой кровью Российской земле…

Глава 8
ЧИМКЕНТ

Хотелось бы мне рассказывать про «Спящие», «Лебединые», как я кидала большие батманы, про красивых партнеров. Но с какого конца ни взглянешь на свое детство, все оборачивается к политике, к сталинскому террору.

Горестная одиссея матери стала известна мне позже. Она сидела в Бутырской тюрьме с грудным ребенком. Бутырка высилась возле самого центра Москвы. Люди обходили мрачное здание стороною. И поныне тюрьму не снесли, и она узкими решетчатыми окнами грозно косится на прохожих — ой, спонадоблюсь еще, от сумы да тюрьмы не зарекайтесь, православные люди. На века не изгладится из людской памяти это страшное слово «Бутырка»…

Отца уже не было в живых. Его расстреляли 7 января 1938 года. Семья узнает этот день лишь в 1989 году по тексту справки, пришпиленной скоросшивателем к немногословному казенному документу о реабилитации.

Но допросы матери следователи вели так, словно папа был жив. Все в настоящем времени. Мать стояла твердо на своем. Не дрогнула, не впала в панику, упрямилась. Характер для этого у нее был подходящий. Я уже писала об этом. Ничего не признала, не подписала, ни в чем не созналась. Ей зачитали: восемь лет тюрьмы.

Из тюрьмы жен «врагов народа» отправляли этапом в Сибирь. «Этапом» означает — теплушка для скота, с одним крохотным, с ладонь, решетчатым оконцем для воздуха. Заключенных сортировали. Мать оказалась в многолюдной компании «преступниц» с грудными детьми. Могу себе представить и без ее рассказов — детские плачи, запахи, ад кромешный. Вагон забит до отказа, ни присесть, ни повернуться. Поезд шел черепашьим шагом, сутками. Останавливался на всех полустанках. Стража лязгала запорами. Прошел, шепотом, слух, что везут в Акмолинскую область, в Казахстан. Но то, что все жены уже вдовы, в голове не умещалось.

Мать притулилась у самого окошка. В кулачке ее мусолилась крохотная записка на обрывке газеты, где серой от спички был нацарапан адрес Миты да еще уместились четыре слова: «Везут лагерь Акмолинскую область». На пустынном переезде, где поезд опять ненадолго приостановился, мать разглядела в окошко молодую строгую женщину в телогрейке с железнодорожным

флажком в руке. Их взгляды встретились. И мать щелчком пробросила под ноги женщине комочек своей записки. Стрелочница не среагировала. Словно и не заметила. Поезд тронулся…

Слава вам, добрые люди. Вы всегда находились в моей стране в тяжкие годины. Неисповедимыми путями это письмо-крик за тридевять земель дошло до адресата. Сама ли эта простая женщина, кто-то из близких ее, чистых людей, задушевных товарок, но из рук в руки — поверьте мне, в 1938 году это был сущий подвиг — вручили родным слезные материны каракули. Значит, не верили-таки люди во вредителей, агентов иностранных разведок, убийц. А верили в добросердие, вспомоществование, участие.

…Эти страницы я опять же пишу в Испании. Я сейчас здесь живу. Пишу на пляже, в маленьком местечке Херрадура, что в 60 километрах от Малаги. Рядом Африка. Я сижу в уютном кафе «Виепо», на набережной Андрее Сеговиа, прямо на берегу моря, только что уплетя за обе щеки с Щедриным нежного кальмара. Утром этот деликатес целехонький плавал рядышком в Средиземном море, ничего не подозревая дурного. Как же извилиста, непредсказуема жизнь. Как далека, безмерно далека дистанция от маминой тюремной теплушки до прокаленного южным солнцем андалузского пляжа. Но вернусь в осеннюю Москву 1938 года…

В России всегда был в почете человек с орденом. Это известно по рассказам моего любимого писателя Николая Семеновича Лескова. В «Продукте природы» Лесков произнес вещие слова — будь у меня заместо пряжки настоящий орден, я бы один всю Россию перепорол (цитирую по памяти, в Херраду ре Лескова с огнем не сыщешь). А Асафу и Мите как раз подбросили по орденишку. За творческие достижения. К двадцатилетию бессмертного Октября. Асафу — Трудового Красного Знамени, а Мите — «Знак почета». В те годы орденов было мало. Не то что теперь — все орденоносцы, у всех иконостас до пупа. И оба, навинтив награды на грудь, ринулись на выручку сестры. Обили пороги всех приемных, исписали прошениями тонны бумаги. И добились-таки своего. Маму из лагеря перевели на «вольное поселение». Это послабление пришлось ой как кстати. В ГУЛАГе мать заставляли таскать тяжести, двигать неподъемные тачки, и она получила жестокую грыжу.

Мита явилась за мамой к начальнику лагеря со своим орденом-выручалкой в петлице. Очаровала его, влюбила в себя. Так, по крайней мере, она вела рассказ о своем спасительном визите. За колючей проволокой мучились шесть тысяч «врагинь

народа» — это был женский лагерь жен арестованных мужей. И запася с ь выписками из судебных протоколов, перевезла маму с дитем в близлежащий затрапезный казахский городишко Чимкент.

Тут уж я могу вести эту «печальную повесть» дальше от первого лица. В конце лета 1939 года — у меня шли каникулы — я получила разрешение от властей навестить маму.

Мита по своей орденской книжке купила железнодорожный билет. И я отправилась одна в путешествие. Теперь в южном направлении.

В те годы вся страна была на колесах. Вокзалы, поезда были переполнены людьми. К кассе не подойдешь. Марафонские, многодневные железнодорожные моционы — скажем, Москва — Владивосток и обратно Владивосток — Москва — сохранили немало жизней. Старший брат еще одной моей подружки, комсомольский активист, ездил так почти два года. На деньги родителей. И уцелел. Волна ежовских казней чуть откатилась назад, и он вернулся домой невредимым. Но не всем так потрафило счастье. Щупальца чекистов были цепкие, и в большинстве случаев поездки были лишь оттяжкой неминуемого, гибельного конца.

Я села в поезд с тощим узлом белья и кой-каким съестным провиантом для мамы. Дорога предстояла длинная. Снабдила меня родня и деньжатами. Деньги были зашиты в полотняный мешочек, который скрытно висел под одеждой на шее на тесьме. Опасайся жулья, наставляла тетка. Поезд был не скорый, почтовый. Подолгу стоял на каждой захудалой станции. Показалось странным, но везде и всем торговали. Ведрами стояли яблоки. На выцветших газетах лежали жареные куры, брикеты свиного сала, теснились бурые крынки топленого молока, грудились мешками семечки подсолнухов, топорщились тыквы. Как въехали в Казахстан, в руках торговцев появились верблюжья шерсть, урюк, изюм, горками были сложены великанские дыни, арбузы. Куда это все сейчас подевалось? Как же обнищала моя страна теперь, до чего довели долгие годы безрассудного большевистского эксперимента. Сохлого бутерброда не сыщешь…

Мама встречала меня на вокзале. Я сразу углядела ее большие, смятенные глаза, просчитывавшие череду тормозящих вагонов. Она осунулась, постарела, волос подернулся сединою, пережитое отразилось на ее облике. Мы не виделись без малого полтора года… Спрыгнув с подножки еще на ходу, я бросилась к ней на шею. И повисла всем телом. Обе мы плакали. Вокзальный люд обратил на нас внимание.

Что являл собой город Чимкент? Пыль до небес, до самого

солнца, одноэтажные мазанки, вьючные ослы — главный городской транспорт.

Мать нашла пристанище в крохотном сарайчике для кур с земляным полом, попросту курятнике, который, по доброте душевной и за недорогую цену, сдал ей тщедушный говорливый бухарский еврей по имени Исаак. Он был обладателем однокомнатного белого домика, куцего огорода, толстенной, молчаливой, словно немой, жены Иофы и крошечного дитяти Якова, всегда почему-то бывшего по уши в говне.

Исаак, как и надлежит ученому еврею, всех и обо всем выспрашивал. В этом случае, думаю, без инициативы НКВД, просто из генетического любопытства. Где папа, за что его арестовали, сколько лет мама замужем, почему я такая худющая, ем ли фрукты, сколько суток ехала от Москвы, душно ли в вагоне, что везли проводники, подсел ли кто по пути, была ли в Мавзолее, что можно купить в московских магазинах, видела ли Сталина?..

Мама, чтобы жить, давала уроки танца в каком-то клубе. Показала танец четырех лебедей. Ее опыт в немых узбекских фильмах пригодился. В вольной жизни она танцу не училась, но часто посещала спектакли Большого и что-то запомнила. Малолетний брат уже начал ходить и стал совсем похож на карликового казахченка. Тюбетейка шла к его чернявому лицу. Мухи, захватившие город Чимкент в полон, доставляли ему нестерпимые неудобства. И он мокрым полотенцем вершил смертную расправу, каждый раз роняя на земляной пол с невысокой полки жестяную кружку с зубными принадлежностями. Трехметровое помещение не располагало к подобным баталиям.

Я ходила с матерью отмечаться в отделение милиции, куда ей надлежало являться два раза в месяц. Она должна была быть на глазах блюстителей порядка. Неровен час, убежит.

В городе обосновались многие сосланные интеллигенты. Врачи, инженеры, писатели, учителя. Все было перемешано. Какая-то абракадабра. И вроде все в порядке вещей, и так и быть должно. Я до конца не понимала, почему мама здесь, ссыльная она или вольная, зачем отмечаться, почему не вернуться в Москву, когда к нам приедет отец…

В одну из нестерпимо знойных ночей мне не спалось. Совсем зажрали мухи. Я засыпала, просыпалась вновь, погружалась в тревожную полудрему. Маленький брат начал плакать. Мать вскочила с лежанки и стала его укачивать, что-то бессловесное напевая. Я опять погрузилась в сон. Сколько прошло времени — не знаю. Но, резко очнувшись, я увидела в проеме оконца ясно очерченный силуэт моей матери, грозившей кому-то кулаком.

При этом она бормотала что-то.

Что с тобой, мама?

Спи, доченька, спи…

В летнем саду устраивали самодеятельные концерты. Поздними вечерами. Жара в тот год стояла совершенно нестерпимая. И на сцене, и в зале были ссыльные. Развлекали друг друга. В одном из концертов танцевала и я. Мама настояла, чтобы я явилась на публику. Ты выходишь из формы, будешь бояться зала. Не забывай, ты должна стать хорошей танцовщицей. У тебя есть талант.

Какой-то понурый ссыльный играл мне на аккордеоне попурри из балетов Чайковского. Я импровизировала, вставала на пальцы, ломала торс, чередовала арабески. Туманное предвосхищение будущего «Умирающего лебедя», но в ссыльном чимкентском варианте, под аккордеон. Успех сорвала. Некая пышная дама в момент аплодисментов внезапно истошно закричала из первого ряда. Я расслышала:

— Она приезжая. Не пускайте ее танцевать. Это профессиональная балерина.

В этом концерте участвовала ее дочь. Тоже с поломанной судьбой, исчезнувшим отцом, и дама, ревнуя, желала успеха лишь ей одной. Люди остаются людьми. Завсегда. Поэтому-то коммунизм — абстрактная чушь.

Отпущенные мне властями 20 дней подошли к концу. Надо было возвращаться в Москву. Расстроенная, потухшая мать, посерьезневший малютка-брат, вся семья добродушного Исаака, толстая Иофа, набравшая в рот воды, не проронившая вновь ни единого слова, мамины никудышные балетные ученики провожали меня на пропыленном, грязном, оккупированном озверевшими мухами чимкентском вокзале. Обратно я ехала нагруженная среднеазиатскими гостинцами. Везла дыни, арбузы, шерсть, румяные яблоки. Не удалось вождю всех народов оборвать ни родственные связи, ни тягу людей друг к другу, ни прекрасную обыденность человеческого общения. Я опять ехала к балету.

Глава 9
КОНЦЕРТ В ЧК

Москва встретила меня осенними тоскливыми заморозками. Поезд пришел на белесом рассвете, и мамин брат Нодя, так и не добившийся помощи от сонных носильщиков, тащил все свертки, короба, чудеса казахской флоры на своем горбу.

Я опять жила у Миты. А брат Александр у Асафа. По понедельникам — традиционный выходной в Большом и хореографическом — я ходила навещать восьмилетнего среднего брата. Он рос вместе с сыном Асафа и Анель Судакевич — Борисом. Борис Мессерер сейчас известный театральный художник. Это он сделал отличные декорации к «Кармен-сюите», которые были успешно протиражированы во множестве постановок по миру. А тогда Анель, опасавшаяся зловредных простуд больше всего на свете, рядила обоих мальчишек в добрую сотню одежонок, и оба, взмокшие, неповоротливые, шли со мной в кинотеатр «Центральный» на Пушкинской площади. Там тогда шел американский фильм «Большой вальс» о творце классического венского вальса Иоганне Штраусе. Фильм шел долго. И каждый понедельник я с Аликом или втроем с Борисом в двадцатый раз безотрывно глазели на смеющееся счастливое белоснежное лицо голливудской звезды певицы Милицы Корьюс. Субтитры, сопровождавшие фильм, мы знали наизусть. Фильм казался верхом совершенства. У каждого в детстве был свой фильм. Мой фильм был «Большой вальс».

В шестьдесят шестом году во время выступлений в «Шрайн-аудиториум» в Лос-Анджелесе ко мне за кулисы зашла полная высокая женщина, чье лицо что-то остро мне напомнило. Боже мой, это Милица Корьюс. Идол моего детства. И идол бросается ко мне и на хорошем русском языке обрушивает шквал комплиментов. Я ей в ответ свой шквал. Так и стоим мы, прославляя друг друга, добрую четверть часа.

Милица не знала, что Сталин, всю свою диктаторскую жизнь неравнодушный к полным поющим женщинам, был покорен «Большим вальсом» не меньше меня. Вот те раз. Наши вкусы сошлись. Вождь дал указ кинопрокату выпустить «Большой вальс» широким экраном. Пусть подданные его империи потешатся в коем разе голливудской продукцией, отвлекутся на мгновение от заговорщицких козней империалистов да заодно полюбуются на женские прелести его заморской пассии под звуки штраусовских мелодий.

Мы подружились с М плицей. Она родилась в Киеве и там провела свое детство. Кровей в ней, видимо, намешано было много, но истоки культуры были славянские Странный мир. Пол-Голливуда говорит по-русски. В следующие мои приезды, вплоть до ее внезапной смерти, она старалась не пропустить ни одного моего спектакля. Реагировала бурно, кричала «браво» — ее серебряный голос я всегда различала в гомоне возгласов толпы балетоманов, сгрудившихся у рампы. Последней уходила из зала. Так она мне до конца и не поверила, что была непостижимой богиней для целой нации, прекрасной инопланетянкой, лучиком счастья в самые тяжелейшие годы истории рабского государства. Вижу сейчас ее недоверчивое, добрейшее, тронутое распроклятым возрастом прекрасное лицо. Я взаправду грезила тобой, Милица!..

Но сеанс длился лишь полтора часа. За дверями кинотеатра уже сгущались ранние московские сумерки. Советская жизнь продолжалась.

В училище начались репетиции к важному концерту. Концерт и в самом деле грозил стать необыкновенным. На сцене клуба НКВД. Вот какая чертовщина, читатель. Где хореографическое училище — где клуб НКВД. Почему чекисты воспылали желанием увидеть юную балетную поросль, посмотреть 6–7 классы педагога Е.П.Гердт? Можно только предполагать. Тогда я об этом не задумывалась. Но готовились все участники с превеликим старанием.

Е.П. в мои способности всегда верила. И поручила мне с Маем Власовым исполнить главные партии в III акте «Пахиты». То есть станцевать саму Пахиту. Это было первое отделение вечера. Второе составляли сольные номера отовсюду. Помимо собственной «Мелодии» Рахманинова, которую поставил мне со старшеклассником Славой Голубиным Алексей Чичинадзе (он был потом хороших два десятка лет худруком театра Станиславского и танцевал со мной «Лебединое озеро» Владимира Бурмейстера), припоминается эффектнейший вальс Равеля в постановке Леонида Якобсона. Его танцевала, и танцевала замечательно, моя одноклассница Муза Федяева.

НКВД — организация могучая и совсем не бедная. Одних вещиц сколько понаграбили, конфисковали у люда. Но на оркестр денег не хватило. И все мы танцевали под рояль, за которым восседала худая, как музейный скелет, наша лучшая училищная пианистка Екатерина Шлихтинг.

Все лезли из кожи, чтобы отличиться перед морозящей кожу аудиторией. На поклонах я силилась разглядеть лица сидевших в зале людей. Люди ли? Нет ли среди них тех, кто топал по скрипучей лестнице в Гагаринском, рылся в нашем бельевом

шкафу, листал папины книги на полках, заталкивал отца в «черный ворон»? Или тех, кто конвоировал мать в Казахстан и сегодня, по два раза в месяц, отмечает ее в районном отделении милиции пыльного Чимкента?..

Глава 10
«ЭКСПРОМТ» ЧАЙКОВСКОГО

Мать освободили в апреле 1941 года, и она с моим младшим братишкой наконец-то вернулась в Москву. До начала войны оставалось два месяца. Вся родня встречала ее на перроне того же Казанского вокзала. Пролили море слез. Тискали друг друга до одури. Радости не было конца. Освободили досрочно. Помогли хлопоты!..

Я готовилась к следующему концерту. Хотелось показать матери, что времени зря не теряла. Продвинулась вперед. Мать прямо с корабля на бал стала расспрашивать меня о балетных занятиях. Что выучила нового…

Последний чимкентский год был для нее нелегким. В один из визитов в милицию, чтобы отметиться, ее направили за какой-то никчемной формальностью в дальнюю комнату. Там восседал представительный и приветливый мужчина. Справился о здоровье, о детях, как учится навещавшая ее дочь. Мать почувствовала недоброе. Ощетинилась, словно еж. Дальше разговор был банальный. Вы нам должны помочь, это важно, сообщать о настроениях, разговорах окружающих, что думают ссыльные родители ваших балетных учеников в клубе, кто ходит к домовладельцу Исааку. Делать это надо в письменном виде, химическими чернилами, разборчиво, аккуратно. Попросту говоря, стучать надо.

Уж если в Бутырке мать не сломали, не учли природного упрямства ее характера, то уж приветливому гражданину она наотрез отказала. Как ни запугивал он ее, категорически объявила — можете расстрелять меня и моих детей, но я этого делать не буду. Когда вербовщики сталкивались с подобной твердостью, то либо по-скорому сживали со свету, либо «отцеплялись» (люди даже слово на этот случай подобрали). Но длилось это не один месяц, и нервов ей потрепали много.

Объявился у нее и ухажер. Задним числом мать положила, что он тоже был из органов. И это был заход с другого котра, другой сценарий. Новоиспеченный Ромео, естественно, тоже ссыльный, был пылок и словоохотлив. Приносил цветы (не за казенный ли счет?). Хотел жениться и усыновить всех нас троих. «Мужа Вашего, к сожалению, уже нет в живых, я Вас люблю страстно, пересмотрел когда-то на воле все Ваши фильмы, Вы — любовь моей жизни, детям нужен отец». Мать его резко прогнала. Она верить не хотела, что отца убили. И ждала его и в Чимкенте,

и потом в Москве. Ждала всю жизнь. Как Сольвейг. Вздрагивала на каждый нежданный звонок в дверь, трель телефона, незнакомый голос в передней. Не дождалась…

Я спрашиваю себя, не усугубляю ли драму своей семьи? Не злоупотребляю ли черной краской в повествовании? Но все это было. Все правда. Так было прожито. Выстрадано. Оставило рубцы на сердце. Я не хочу сглаживать острые углы, утаивать гадливые подробности. Так жило мое поколение. Я его дитя. Не лучше, не хуже. Судите тех, кто «посеял» такие нравы.

Школа готовилась к выпускному вечеру. Первый раз он должен был состояться в сопровождении оркестра Большого на сцене филиала. Раньше такие вечера практиковались лишь в стенах училища. Нововведение удачное. Была определена и дата — 21 июня 1941 года, суббота. Главными участниками были те, кто заканчивал в этот год учение. Выпускники сильные: красавица Инна Зубковская, будущая прима Кировского театра, Виолетта Прохорова — в замужестве Элвин, Неля Кузнецова, Голубин, Левашёв. Не хочу отвлекаться от рассказа о том памятном концерте, но чуть забегу вперед. Виолетта Прохорова была умнее всех (ее фамилия исходила от знаменитой в России прохоровской мануфактуры). Сразу после войны, в сорок пятом году, она вышла замуж за англичанина и перебралась на Запад. Неля Кузнецова последовала ее путем, но замешкалась: железный занавес захлопнулся. Из Большого ей пришлось перейти в театр Станиславского, а ее мать, работавшая билетершей, тотчас лишилась места в Государственном академическом. Нелин американец уехал на Запад один. Влюбляйся в верный момент, не мешкай.

Концерт был в трех отделениях. Ученики младших классов участвовали тоже, для антуража. Я танцевала в атом концерте «Экспромт» Чайковского в постановке Якобсона. Это было чудно удавшееся хореографу па-де-труа. Партнерами моими были Швачкин и Евдокимов.

Танец описывать безнадежно. Но попытаюсь. Все было якобсоновское. И классика, и — нет. Швачкин и Евдокимов — сатиры. А я — нимфа. Сатиры, как им и положено, передвигались на воображаемых «копытцах». В руках у них были опять же воображаемые флейты-пан. Они играли на них, чуть касаясь губ. И это был танец. Нимфа шалила, дергала сатиров за бородки, скользила по изгибам их рук, качалась в ломких наклонах. Поверьте, поэтичный номер.

Я оторвалась сейчас от бумаги и силюсь, закрыв глаза, припомнить тот малый балет. Что-то всплывает в сознании, что-то ушло навечно. Как чуден механизм человеческой памяти.

Часто меня спрашивают: как Вы запоминаете движения, их чередность? А как чтецы, актеры запоминают поэмы, стихи, сотни страниц прозаического текста, роли, монологи? Как музыканты запоминают целые симфонии, сонаты? Как физики держат в голове вереницы головоломных формул, десятизначные цифры? Я не смогу объяснить, как тело запоминает временами труднейший пластический текст. Зачастую весь балет за всех исполнителей годами держишь в голове. А другой раз мучаешься, напрягаясь вспомнить, куда идет нога, левая рука, локоть в вариации, которую танцевала вчера. Это как номер телефона, набранного тобою сотню раз, который внезапно стерся в памяти, выветрился, хоть убей. Объясните нам, умные мужи, что такое есть наша память…

Мы все трое упивались тем якобсоновским номером, совсем не ленились в репетициях. Когда был прогон в училище под рояль и аудиторией были лишь педагоги да заглянувшие ненароком ученики, мы и то сорвали аплодисменты. Мой терпеливый педагог по фортепиано, добрейшая Юрченко, простив мне всю мою неизбывную лень, подошла с влажными глазами и поцеловала, так искренне… Жена Касьяна Ярославича Голейзовского, великого хореографа, великого страдальца (о моих встречах с ним я расскажу позже и подробней), Вера Васильева расчувствовалась не на шутку. Она была, к слову говоря, прелестной танцовщицей и прожила с Голейзовским долгую мученическую жизнь. Трогательно танцевала первой в Москве Марию в «Бахчисарайском фонтане». Была утонченно музыкальна. И внешность ее запоминалась: форма ног — копия Анны Павловой, лицо — двойник Греты Гарбо. Так вот, много, много лет позже на моем юбилейном вечере она к поздравлениям прибавила: «Лучше всего в жизни ты станцевала в школе «Экспромт» Якобсона. Ты никогда мне так не нравилась…»

Широко известна поставленная Лавровским «Вальпургиева ночь» на музыку Гуно. И по праву, это удачная работа. Но не было бы ее, не будь поставлен Якобсоном «Экспромт» Чайковского. Я просматриваю это влияние со всей очевидностью.

Московская публика приняла номер восторженно. Может быть, это был — смело говорить — пик концерта. Мы кланялись без конца. Мать была в зале, и я сумела разглядеть ее счастливые глаза, лучившиеся из ложи бенуара. Она видела меня на сцене филиала после долгой разлуки под звуки оркестра, которым вдохновенно дирижировал Файер. Он делал это взаправду бесподобно. Публика без удержу аплодировала, мы все кланялись и кланялись, выходили за занавес на рампу. Она была счастлива. Асаф, поздравляя, язвительно покривился: «Ты кланялась как

любимица публики, надо быть поскромнее».

Но поздно быть поскромнее, когда зал тебя принял, вознаградил за удавшуюся работу. Может быть, с того вечера я и поняла высшую цену поклонам. Как важен этот ритуал. Я исповедую и поныне, что поклоны — составная часть спектакля. Публика должна унести с собой не только впечатление от танца, но и весь имидж танцовщика, как виньеткой обрамленный пластическим благодарным ответом публике за приятие. От кометы в руках зрителя должен остаться хвост. Простите за дерзкое сравнение.

В «Экспромте» Якобсона я впервые полно вкусила и расположенность публики, и радость успеха, пьянящий рокот аплодирующих ладоней, и азарт первопрочтения, но и вняла в некоторых глазах недобрые прищуры зависти. Со всем этим я прошла всю свою жизнь.

Теперь, из дали прожитых лет, я вижу, что тот памятный предвоенный вечер на сцене филиала Большого нес для меня особое значение. В тот день я шагнула из робкого балетного детства в самостоятельную, взрослую, рисковую, но прекрасную профессиональную балетную жизнь.

На рассвете следующего дня началась война.

Глава 11
ВОЙНА

Я хорошо запомнила первый день войны. На улицах люди грудились возле громкоговорителей, транслировавших героическую музыку и сообщавших свежие новости. Кое-где трамваи прекратили свои маршруты, так как большие группы людей шли по путям к центру города. Лица несли тревогу и напряжение. Кое-кто был подвыпивши. Даже беспечные понимали, что дело войны — убивать людей. И кто уцелеет, кто погибнет — дело судьбы. Только сейчас опубликованы истинные цифры жертв страшного столкновения двух мощных народов. Вот лишь одна, меня потрясшая. 97 процентов моих соотечественников, родившихся в 1923 году, на два года прежде меня, — были убиты, пропали без вести. Уцелело лишь три процента.

Я была наивна, хотя где-то глубоко под ложечкой тоже холодело. Мы успокаивали себя, что война кончится скоро. Через два-три месяца. Ну, не дольше, чем с финнами. Муж Миты Борис Кузнецов был мрачнее мрачного. Он предсказывал наихудшее. Но делал это лишь дома, среди своих. Своими, помимо меня и Миты, была еще мама. Я забыла сказать, что после Чимкента она тоже поселилась у тетки, устанавливая на ночь раскладушку возле самой двери. Младший брат спал на ней вместе с матерью. Средний — Алик — по-прежнему жил у Асафа.

Начались воздушные тревоги, звук воющей сирены ворвался в нашу жизнь. Немцы ночами бомбили Москву. Весь город погрузился в кромешную темень. Размалевали Кремль, Красную площадь, Большой театр. Маскировка. В небе плавали заградительные цеппелины — ловушки для германских бомбардировщиков. Окна заклеили крест-накрест бумагой. Впрочем, зачем я все это живописую. Документальных кадров хроника сохранила во множестве…

Весь театр и школа склоняли новое для ушей слово «эвакуация». Куда будут отправлять, когда, с семьей ли, без. Мита трудилась в поте лица, чтобы первой выведать сокровенный секрет маршрута. Она всегда была «впереди прогресса» и не хотела изменять своим принципам и в этом разе.

В один из сентябрьских вечеров вошла в дом, торжествуя: «Театр едет в Свердловск. Мне сказал по секрету такой-то, — голос был пригашен до шепота, — а уж он-то все знает».

Какими путями удалось ей достать четыре билета (два

детских) в общий вагон поезда Москва-Свердловск, узнать мне было не суждено. Но она их достала. И мама, я, два брата вновь отправились в путь… Все с того же Казанского вокзала. Нам удалось выехать из Москвы в конце сентября, задолго — по счету тех дней — до панического 17 октября 1941 года, когда немцы уже вплотную подошли к Москве.

И путешествие поездом, и житье в Свердловске были сплошными мытарствами. Но так мучилась вся страна, и я не ропщу.

В Свердловске мы разместились в квартире инженера Падуче ва. Его фамилию я запомнила. В тесную трехкомнатную обитель, помимо нас, исполком поселил еще одну семью с Украины. Четыре женщины, четыре поколения. Прабабушка, бабушка, мать и семилетняя дочь. Сам инженер — человек добрый и безответный — с пятью домочадцами остался ютиться в дальней третьей комнате. Так и жили мы: 4х4х6, почти как схема футбольного построения.

Но и это не оказалось пределом. В одно прекрасное утро в падуче векую квартиру сумели втиснуться еще двое. Родной дядя инженера с десятипудовой женой. Они тоже были из Москвы и тоже эвакуировались «по счастливому случаю». Вы будете сомневаться, но жили мы мирно, подсобляли друг другу, занимали места в километровых очередях, ссужали кирпичиком хлеба в долг или трешницей до получки…

Мать с превеликим трудом устроилась регистраторшей в поликлинику. Помню ее в деревянном некрашеном окошечке в белом халате. Оттуда она давала мне «стратегические» команды, в какую очередь встать и какой талон иждивенческой продовольственной карточки следует «отоварить».

Я долгими часами стояла в очередях, наслушалась печальных и трогательных военных повестей, замысловатых судеб. Сдружилась с такими же эвакуированными горемыками, как и я. Обуглившимися черными истуканами с впавшими глазами немо стояли уже и вдовы, получившие похоронки военкоматов.

Очереди были за всем. Без исключения. Люди стояли, стояли, стояли, отпрашивались уйти ненадолго, возвращались, вновь стояли, судачили, жалобились, тревожились на перекличках. Самая голосистая, бедовая прокрикивала порядковые трех-четырехзначные цифры. Очередь откликалась хриплыми, продрогшими голосами: двести семьдесят шестой — тут, двести семьдесят седьмой — здесь… Девятьсот шестьдесят пятый — ушла куда-то. Вычеркивай!..

Писали номера на руках, слюнявя огрызок химического карандаша. Отмыть цифру не удавалось неделями. Что-что, а

химический карандаш делали отменно едким. Цифры разных очередей путались на ладони — какая вчерашняя, какая теперешняя…

Так и стоят по сию пору в очередях мои терпеливые, покорные соотечественницы и соотечественники в больших и малых городах некогда богатейшей, а ныне разграбленной, разоренной страны.

Одну очередь запомнила я остро. В середине лета во дворе продуктового магазина с грузовика с довоенным еще прозвищем полуторка сгрузили ящики с яблоками. Яблоки были зеленые, карликовые. Но толпа собралась мгновенно. Яблок с начала войны не выдавали. Под грубые окрики толпа образовала замысловатую рисунком длиннющую очередь, километров пять длиною. Я оказалась сравнительно недалеко от начала очереди. Но яблок мне не досталось. Не хватило. Никогда больше в жизни мне так не хотелось съесть яблоко. Каких я только не перевидала потом лакомых сортов. Но тех свердловских, «военных» яблок я забыть не могу.

Зима в Свердловске лютая. После шпицбергенских метелей организм и не думал принимать стужу пообвычнее. Кто-то из полярных путешественников сказал, что человек может привыкнуть ко всему — кроме холода. Это правда. Да и как привыкнешь. Пальтецо драповое — чуть коленки прикрывает. Ноги в часовых стояниях зябли отчаянно. О балете было забыто.

Поддерживали меня посещения театров. В Свердловске в тот военный год подобралась неплохая команда в театре оперы и балета. Из постановок упомнила «Гугеноты» Меербера и нигде, кроме Свердловска, не шедший балет Асафьева «Суламифь» по Куприну. Саму Суламифь танцевала аристократичная, совершенно сложенная с головы до пят, привлекательная вагановская ученица Нина Младзинская. Муж ее тоже стал жертвой террора 1937 года, а сама Младзинская, пройдя тюрьму, лагерь и сибирскую ссылку, чудом провидения оказалась в свердловском театре. На сей раз дивная красота ей помогла. Она замечательно начинала в Ленинграде, и мне не приходится сомневаться, что была бы примой в своей родной Мариинке. Но судьба ее была сломана.

Полюбилась мне и свердловская оперетта, считающаяся и поныне лучшей в Союзе. Весь кальмановский репертуар — «Сильва», «Марица»…

Вы спросите, как я попадала в театр. Опять же понурая очередь и — самый дешевый билет на галерку. А билеты были дешевые баснословно. Да и до самого недавнего времени билет в первом ряду партера Большого театра стоил лишь 3 рубля 50

копеек. Это при том, что килограмм помидоров в те же дни на рынке — 10–15 рублей. Вот и выбирай. Съесть салат из рыночных помидоров — или четыре раза сходить в Большой. В Свердловске я выбирала пищу духовную.

В своих прогнозах Мита промахнулась. Большой эвакуировали в Куйбышев, а балетную школу в маленький городишко Васильсурск на Волге. Эта нечаянная промашка мне обошлась втридорога. Ровно год, с пятнадцати с половиной до шестнадцати с половиной лет, я балетом не занималась. Это был для меня год стояния в очередях.

Мало-помалу меня охватила паника. Еще такой год — и с балетом надо распрощаться.

В попавшейся на глаза газетной заметке было написано, что остававшаяся в Москве часть труппы показала премьеру на сцене филиала Большого. Сам Большой был закрыт. Потом дошли вести, что и часть училища не уехала. Занятия продолжаются. Меня как током ударило. Надо ехать в Москву. И, словно чеховские три сестры, я стала твердить себе: «В Москву, в Москву, в Москву…» Но как? Нужен специальный пропуск. Влиятельных знакомых — никого. Идти по учреждениям да объяснять почему и зачем — трата времени. Кто будет слушать девчонку про балет, тренировки, физические кондиции, учителей?..

Я решилась на отчаянный шаг — пробраться в Москву нелегально. Мать паниковала, отговаривала: «Тебя заберут, арестуют». «Пускай, — горячилась я, — время уходит, я истомилась, задеревенела, заскорузла…»

Купить билет на поезд было нелегко. Он стоил дорого, денег — в обрез. Да и без пропуска билет не продадут. Рукою провидения оказался шахматист Рохлин, взявшийся мне помочь. Он был мужем балерины Валентины Лопухиной, которая через несколько лет тоже протянет мне руку помощи. Их обоих уже нет в живых. Но я помню добро вашей семьи, отзывчивые, славные люди.

Из Свердловска поезд шел пятеро суток. Весь путь я решала, сойти ли перед Москвой на последней остановке и дальше идти пешком? Или сыграть ва-банк — в многолюдье вокзала скорее проскочишь? Повторю, пропуска на въезд в Москву у меня не было. Решила рискнуть. И выиграла. Пристроившись к хромому старцу и поднеся его саквояж, чему он сердечно обрадовался, подыграв мне со всей искренностью, я проскользнула через военный патруль у дверей вокзала. Роль подростка при старом инвалиде мне удалась на славу. Я — в Москве.

На трамвае, с пересадками, я добралась до Митиной квартиры на Щепкинском. Я знала, что Мита не поехала с

театром и осталась в Москве. Но сообщить ей о своей попытке пробраться в столицу возможности не было никакой. Я свалилась как снег на голову. На мою удачу, Мита сама открыла мне дверь и всплеснула руками. Ты откуда? После приветствий и объятий мой взгляд упал на белую булку, которую почему-то именуют у нас французской, лежавшую на круглом обеденном столе. Есть хотелось отчаянно. Подводило живот, тошнило. А французскую булку я видела так давно, что забыла о ее существовании на свете.

— А можно ее кушать?.. Мита прослезилась.

Проговорив целую ночь напролет, поутру мы вдвоем пошли в помещение училища на Пушечной. Сердце мое колотилось, как после трудной сольной вариации. Вот-вот выскочит. Моему приходу обрадовались. Никто и не стал допытываться, как я добралась в закрытый город. Был ли у меня пропуск, с мамой или без.

Последний, выпускной класс вела Мария Михайловна Леонтьева (Е.П.Гердт была в эвакуации), тоже бывшая танцовщица Мариинского театра. Пишу и дивлюсь сама — все мои истоки из Петербурга. Хотя и по рождению, и по складу характера я сущая москвичка. Мария Михайловна согласилась меня взять, не страшась пропущенного мною года.

— Ты должна будешь лезть из кожи, чтобы наверстать упущенное. Твои данные — тебе в помощь. Я в тебя верю. Восстанавливайся…

На работу я набросилась с ожесточением. Мне нравилось опять стоять у станка, выполнять задаваемые комбинации, видеть себя в зеркале. За свердловский год я вытянулась, но исхудала изрядно. Больше четырнадцати лет дать мне было нельзя.

Леонтьева оказалась покладистой, внимательной учительницей. Она знала историю моей семьи и проявляла ко мне тепло и участливость. На мариинской сцене М.М. перетанцевала все партии солисток — двойки, тройки, всевозможных солирующих фей. Она понимала в балете и цепким глазом ухватывала наши промахи. Особенно заботилась, чтобы спина была профессионально прямой. Говорила М.М. басом, так как была заядлой курильщицей. Всегда аккуратно, гладко причесанная, подтянутая, спокойная. С Леонтьевой я прозанималась чуть более полугода. Подходил срок выпускного экзамена. Ни о какой сцене, оркестре речи быть не могло. Мы должны станцевать в шестом — самом просторном — зале училища по сольной вариации, а до нее проявить себя в общем классе. Я приготовила с М.М. вариацию повелительницы дриад из «Дон Кихота».

Настал день экзамена. Это был конец марта 1943 года. Война продолжалась. Мама была еще в Свердловске. Все ждали открытия второго фронта. Ругали союзников за затяжку. Радовались сообщениям Информбюро об отбитых обратно у немцев городах. Слушали звенящий голос Левитана, зачитывающего по радио приказы Верховного Главнокомандующего.

В шестой зал набилось много народу. Но специального ничего не было. Комиссия за узким столом, знакомые лица, тандю, батманы, середина, прыжки, пальцы… Все было сугубо по-деловому, без цветов и оваций. Все мы знали, что в театр нас зачислят. Оставшаяся в Москве часть труппы нуждалась в пополнении. Но волнение было, как без него…

Настал мой черед. Моя вариация. Я вся натянулась, как тетива лука. Изготовилась. И вдруг слышу чужую музыку. Наш пианист перепутал порядок вариаций. Я не шелохнулась. Со старанием и темпераментом звучит «не моя» музыка. Я стою. Легкий шум в шестом зале. Леонтьева властным окриком останавливает концертмейстера.

— Играйте Дриаду. Плисецкая танцует повелительницу…

Все проходит гладко. Экзамен сдан. Мне ставят пятерку. Школа позади. Война продолжается. Но теперь впереди моя собственная война. За место в жизни.

Глава 12
ПЕРВЫЙ ГОД В ТЕАТРЕ

Когда меня приняли в труппу, театр только вернулся из эвакуации из Куйбышева, теперь уже обратно переименованного в Самару, — на сцене царствовали Марина Семенова и Ольга Лепешинская. Великими княгинями были Суламифь Мессерер, Софья Головкина, Ирина Тихомирнова. Между ними и делился балетный репертуар. На закате своих карьер уже дотанцовывали Викторина Кригер, Любовь Банк, Анастасия Абрамова, Любовь Подгорецкая. Им премьеры не доставались.

Ведущими танцовщиками были Алексей Ермолаев, Асаф Мессерер, Михаил Габович, Александр Руденко, Юрий Кондратов.

Репертуар составляли обычные для всего мира названия. Вам перечислить? «Лебединое озеро*', «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Коппелия»…

Знаменитый российский писатель прошлого столетия заметил однажды в сердцах — вот за что я люблю балет, так за постоянство (вспоминаю по памяти). Скоро я без малого пятьдесят лет на сцене, а репертуар тот же: «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Спящая красавица»…

Зарплату мне положили самую низкую: 600 рублей. Что после первой послевоенной девальвации потеряла ноль и превратилась в 60.

Приход новой балерины всегда дело тревожное. Потес ниться никто не хочет. К тому же художественным руководителем балета в военное время был мой дядя Асаф Мессерер, совмещавший трон руководителя с танцем. Он человек щепетильный и выдвигать племянницу считал недостойным. Щепетильный, щепетильный, но жену свою Ирину Тихомирнову двигал энергично — дома его ожидали «штурмы Измаила». Так я сразу попала в родственный переплет. В последнем классе хореографического училища, когда каждый артист был на счету — напомню, что главная часть труппы была в эвакуации, — меня ставили на сцене филиала в сольные партии. Я танцевала па-де-труа и невест в «Лебедином озере», три фрески в старом «Коньке-Горбунке» АТорского, двух подруг Китри в «Дон Кихоте»…

Первый раз — уже как артистка Большого театра — я увидела свою фамилию «Плисецкая», перечисленную в числе других, синими чернилами на замусоленной всяческими объявлениями доске расписаний возле балетной канцелярии, где мне надлежало исполнить одну из восьми нимф в польском акте оперы «Иван

Сусанин». Доска эта оповещала артистов не только о занятости в репертуаре, но и о делах более внушительных: политическом часе, куда явка была обязательна, выдаче талонов на обувь и съестные продукты, распределении подарков от Рузвельта, времени сбора на ноябрьскую демонстрацию, примерке костюмов в мастерских Большого театра, заседаниях месткома… Я огорчилась. Мой разговор с Асафом был краток.

Я раньше не танцевала в кордебалете…

А теперь будешь.

Так началась моя театральная жизнь.

Ослушаться я не могла, но протестовать — протестовала. Вставала вместо пальцев на полупальцы, танцевала без грима, перед началом не грелась. Сам Асаф танцевал с Лепешинской сатира. Наша восьмерка прямо на спектакле не громко, но слышно, ритмично подпевала на мотив глинкинского вальса: «Асафчик мой, красавчик мой». Я не одна творила акт мщения.

Для того чтобы не разучиться танцевать, я стала брать много концертов и «обтанцевала» все концертные и клубные сцены Москвы. Там уж я отвела душу. «Умирающий лебедь», «Мелодия» Глюка, «Элегия» Рахманинова. Моими партнерами были Вячеслав Голубин и Юрий Кондратов. Деньги платили малые, и ждать их через филармоническую кассу приходилось месяцами. Но надо было одеваться, кормиться, помогать братьям.

Концерты были главной статьей дохода и всего артистического мира. Там участвовали рядом с начинающими звезды первой величины. Козловский, Максакова, Лемешев, Норцов, мхатовцы — Качалов, Андровская, Яншин, Москвин, Жаров из Малого театра, Хенкин из Театра сатиры, Татьяна Бах — прима московской оперетты.

Из моих коллег хорошо помню Екатерину Гельцер. В театре она уже не танцевала, но в концертах участвовала лет до восьмидесяти. Колоритна она была необычайна Шляпы ее были вызывающи, носила она их совершенно набекрень, так что увидеть, есть ли у нее второй глаз, не было никакой возможности. Орден Ленина прикручивала на лацкан серой каракулевой шубы, чтобы мальчишки, по ее же словам, с меньшим гиканьем носились за ней по улице. В паспортный отдел милиции сдавала свое фото из «Лебединого озера» — в пачке и перьях. Меня она спрашивала терпким низким голосом: «Дитя мое, где ты достаешь красный стрептоцид, которым красишь волосы?» На мой ответ: «Я не крашусь, Екатерина Васильевна, я правда рыжая, это мои собственные» — она неизменно сердилась: «Ты знаешь, кому ты врешь?»

Концерты были поспешные, суетные, но милые. Все

прибегали впопыхах, взмыленные, нервно торопили конферансье — надо было поспеть на следующий концерт. Я была никому не известна, и мой номер передвигали и передвигали к концу. Ноги остывали. На одном из самых первых подобных выступлений конферансье, уже не помню, кто это был, все переспрашивал за кулисами наши имена.

— Значит, Майя Плисецкая и Вячеслав Голубин в «Мелодии» Рахманинова. Все правильно?

Конечно, как в старом театральном анекдоте, он объявил нас Майей Голубиной и Вячеславом Плисецким.

Сцены бывали тесные, узкие, без всякой глубины, с тусклым освещением, скользким неровным полом. В «Мелодии» Глюка, где балерина то и дело парит в высоких поддержках партнера, я скрывалась от удивленных глаз публики, которая теряла меня из виду, так как увечные софиты, прикрытые стыдливо тряпьем, спускавшимся с планшета, проглатывали меня целиком.

А публика была замечательная. Плохо одетая, «отоваривавшаяся», евшая по карточкам, недоумытая, но жадная до малейшего проявления искусства, шедшего с убогой доморощенной сцены. В этих концертах и были мои первые «бисы» Лебедя. Публике я нравилась. Успех всегда был большой, хлопали долго и дружно. И вскоре от устроителей концертов приглашений было множество. Я тоже начала спешить, беря по 3–4 концерта в свободный от театра вечер. Успевала после сцены снять лишь свою белую пышную пачку, на балетное трико обувала валенки. Дело было зимой, а на лебединые перья повязывала теплый платок из грубой шерсти и сломя голову устремлялась на следующий концерт. По-спортивному говоря, я набрала на концертах немало очков, не говоря о некотором опыте.

Но вернусь к театру. На моем небосклоне блеснул лучик света. К какому-то очередному юбилею комсомола (кажется, ему стукнуло двадцать пять) — от этих цифр и тогда была в голове каша — по всей стране развернули шумную кампанию «по выдвижению молодежи». Трещали, пустозвонили во всю ивановскую. Разве мог театр остаться в стороне? Выдвинули и меня.

С репетитором А.Монаховым, бывшим танцовщиком из Ленинграда, строгим густобровым господином (он набил себе осанку на балетных королях и влиятельных вассалах), я за две репетиции слёта выучила прыжковую мазурку в «Шопе-ниане» и станцевала ее с громовым успехом. Прыжком меня природа не обделила, и я перелетала сцену за три жете. Так поставлено у Фокина, и это делают все балерины. Но я намеренно старалась в

пике каждого прыжка на мгновение задержаться в воздухе, что вызывало у аудитории энтузиазм. Каждый прыжок сопровождался крещендо аплодисментов. Я и сама не предполагала, что этот маленький трюк придется так по душе зрительному залу. Успех был взаправду большой. На следующие «Шопенианы» кое-кто из балетоманов уже шел на «Плисецкую». Можно было и нос задрать.

На втором или третьем спектакле, раскланиваясь, я углядела в темноте свода директорской ложи Агриппину Яковлевну Ваганову. Она только-только приехала в Москву и присматривалась к «трудоустройству» в Большом. Встречи и кратковременная, увы, работа с Вагановой перевернули все представления мои о технологии и законах танца! Прекращение наших занятий с ней, ибо, не отличаясь сговорчивым характером, она вскоре вернулась в Пермь (тьфу ты, пропасть, опять зарапортовалась: Пермь-Молотов-Пермь, с переменами названий старинных городов на имена усопших или еще «беззаветно трудившихся» вождей), — незаживающая рана моя. И, как всякая рана, ноющая к непогоде, я во всякий затруднительный подходящий и неподходящий момент моей профессиональной жизни, да и просто бессонными ночами корю и корю себя, что не нашлось у меня решимости последовать за ней, приготовить с ней «Лебединое озеро». Я помню ее слова с точностью: «Приезжай, мы сделаем «Лебединое» так, что чертям тошно станет».

Марина Семенова, когда бывала в благорасположении, твердила мне с укоризною: «Поезжай, ведь она умрет, и ты себе никогда этого не простишь». Так я себе этого и не простила по сей день.

Теперь все по порядку. После «Шопенианы» Агриппина Яковлевна пришла на сцену. Я ей явно приглянулась. На следующий день она назначила со мной репетицию. Мы прошли всю мазурку от первого движения до самого конца. Несколько комбинаций она буквально «позолотила», поменяв ракурсы поворотов тела, положения головы и абрисы рук. Она связала логикой переход из движения в движение, сделав ой как удобной всю вязь комбинаций. Она обратила мое внимание на определяющую важность толчкового мгновения. Толчок должен быть красив и неприметен, говорила она, помнится, мне. Впрочем, не говорила, а показывала, жестикулируя на интернациональном «балетном языке», понятном лишь нашей танцующей гильдии. Она сфокусировала внимание как раз на тех местах, которые были для меня заминкой. Все было по делу, в самое яблочко. Непосвященному читателю очень трудно втолковать, как тремя-четырьмя словами, скупым жестом можно достичь поразительного результата. После репетиции с Вагановой

я преобразилась, меня не узнали…

Монахов обиделся. Началась привычная для театральных кулис борьба самолюбий. А тут еще я не там и не так расписалась в явочном на спектакль листе, и помреж Коновалов, услужливый к сильным мира человечек, написал на меня рапорт. Я — нарушительница дисциплины. Объяснения не помогли: комсомольское бюро тоже вознамерилось «искоренить безответственность», потерзать жертву для наглядности примера. Вот я и попала еще раз на ту облезлую доску объявлений возле балетной канцелярии. Балетная канцелярия располагалась тогда на первом этаже, и все проходящие мимо видели мой позор, мой первый конфликт с начальством. Это «висение» на доске лишило меня подарка от Рузвельта, так карали тогда провинившихся балерин. Я говорю о малой каре. Но в тот момент свиная тушенка и шерстяная юбка были мне здорово нужны. С этого объявления и пошла моя политическая неблагонадежность.

В театре царила строгая субординация. Место под солнцем, то есть маленькие артистические трюмо с запирающимися ящичками для хранения балетных туфель, трико, хитонов, тесемок, теплых гетр, грима, распределялось с превеликой тщательностью. Если ты первый год в театре, «катись» на четвертый этаж. В бенуаре, вровень со сценой, в тесных артистических уборных располагались почтенные этуали.

Носиться по этажам, по ступенькам высоких лестниц, на сквозняках — вреднее вредного. К тому же от этих скаканий мне разбередило колено. Тут я смекнула, что всеми правдами-неправдами надо обосноваться в бенуаре. Замечу в скобках, что на весь театр было два узких ненадежных лифта — вместо положенных шести человек в него втискивались девять-десять-одиннадцать, и он со скрежетом застревал, а потом бесконечно чинился.

Добрая душа нашлась — не стоит село без праведника. Наша солистка Валя Лопухина, светловолосая приветливая женщина с красивыми, хорошо выработанными той же Вагановой ногами, с большим, дугою выгнутым подъемом (кстати, знаменитое на весь балетный мир «па-де-Диан» было поставлено Вагановой на Лопухину), предложила мне воспользоваться двумя правыми ящиками своего стола. Пишу об этом с такой подробностью и потому, что за этим трельяжем я просидела сорок шесть лет, и потому, что с этим связаны курьезные детали.

На каждое подобное место ежемесячно полагался один кусок дурно пахнущего псиной хозяйственного мыла и шелковое розовое трико, рвущееся, как паутина. На спектакль же вручалось крохотное вафельное белесое полотенце с порцией лигнина для

снятия грима. На полотенце едко-оранжевыми нитками были вышиты нетвердой рукой две пузатые буквы Б. и Ж. Мы, ерничая, расшифровывали их: Большая Жопа. На деле они означали что-то совсем маловразумительное — Большой Женский.

К концу моего первого театрального сезона Асаф стал добрее. Для концертов он поставил мне с Руденко вальс на музыку Годара. Это был добротный, истинно концертный номер, нравившийся публике.

Так бывает в череде театральных будней, что одна за другой приболели все балерины и некому было танцевать «Щелкунчика», которого Вайнонен поставил первоначально для сцены филиала. Асаф предложил выучить роль Маши в кратчайшие сроки. Я, пылая счастьем, согласилась. Музыка Чайковского к «Щелкунчику» нравилась мне и нравится по сей день несказанно. От нее брызжет красотой, лукавой улыбкой, светом театральной рампы… Ваганова на репетициях бывать не могла, так как, простуженная, сидела дома. Мы только обсудили с ней план предполагаемой работы по телефону.

Репетировала я с Елизаветой Павловной Гердт. Я уже знала па-де-де второго акта, так как танцевала его в выпускном классе школы в филиале. Остальная партия пришлась мне по душе, и я запомнила ее молниеносно.

Лишь на самую последнюю репетицию в зал вошла Ваганова. Взаимной приязни у Вагановой с Гердт никогда не было. А.Я. просидела всю репетицию почти до самого конца. Но после какого-то ничтожного замечания Гердт она не выдержала и вставила тихую, но, видимо, недобрую реплику. Е.П. залилась краской. Так и не получилось ничего из нашего совместного репетирования. Но «Щелкунчика» таки я станцевала. (Партнером моим был Александр Царман, танцовщик опытный и уникальный. Он танцевал в «Лебедином», к примеру, чередуясь от спектакля к спектаклю, — па-де-труа, Зиг фрида и шута. Царман хорошо играл на рояле и, уйдя на пенсию, долгие годы был режиссером, ведущим спектакли. И делал это очень надежно.)

Коли я вспомнила о Екатерине Васильевне Гельцер, грех не вспомнить мои впечатления о тогдашних примадоннах Большого балета.

На Марину Семенову я бегала еще девчонкой. Наш класс числился ее поклонниками. Но это была любовь на расстоянии. При близком рассмотрении она являла собой довольно пышнотелую, с маленькой, складно посаженной головой, сильным торсом женщину времен крепостного театра Параши Жемчуговой. Ни крепостного театра, ни самой Параши Жемчуговой я, конечно, отродясь не видела. Не видела даже

литографий. Но воображение мое всегда соотносило внешность Семеновой с той давней страницей русского театра. Она была крепостной, но с царственной статью. Вот кому бы сыграть Екатерину Великую, проспали наши режиссеры, проспали. В лице ее было что-то лисье, недоброе, она редко улыбалась, ее наградой был брезгливый прищур глаз. Тень на ее лице я читала как отзвук недавних мрачных событий ее жизни — в 1938 году арестовали и расстреляли ее тогдашнего мужа Карахана, нашего посла в Турции, а ее саму держали под домашним арестом.

Танцевала она ослепительно.

Стальные ладные ножищи, безукоризненно выученные Вагановой, крутили, держали, вертели ее лепное тело на славу. Семенова была первым выпуском Вагановой, и та открыла Марине первой все ведомые ей технические законы танца. Много позже Семенова как-то спросила у меня: «Ты замечала когда-нибудь, что у меня нет плие и коротковаты руки?» Я удивилась. «Это работа Агриппины». В Семеновой был гипноз присутствия на сцене. Когда она выходила, никого больше не существовало. Но характер ее был вздорный, коварный, не кроткий. Она рано стала лениться, манкировала класс, грелась перед спектаклем душем вместо станка и потяжелела. Но я застала ее волшебные спектакли.

Лепешинская, напротив, вовсе не была моим идеалом. Роста она была скверного, руки и ноги короткие, голова всегда напоминала мне маску ряженого на масленичном гулянии. Пальцы-крохи никак не улучшали пропорций тела. Отлично понимая это сама, она непременно держала в руках на сцене какой-либо театральный атрибут. Зонтик, веер, платочки, цветочки. Короче, ее физические данные расходились с моими представлениями о красоте женского тела в балете. Но у нее был азарт, напор, бесстрашие, динамичное вращение. Она без оглядки кидалась с далекого разбега «на рыбку» — в руки партнеру. Гусев и Кондратов, поочередно исполнявшие с ней эффектный вальс Мошковского, были как раз партнерами сильными, надежными и ловили ее без единого промаха. Публике была по душе авантажность Лепешинской, ее жизнерадостность. Хотя не скрою, последнее было для меня ненатуральным.

Она была шумная общественница, энергичнейший неутомимый член партии, входивший во все бюро, комитеты, президиумы. Ольга Васильевна не пропустила ни одного случая, чтобы не взобраться на трибуну и громогласно не высказать в тысячный раз свою принадлежность к партии большевиков и поучить уму-разуму всех и вся «в свете последних партийных решений».

И еще она была генеральская жена. Ее мужем был устрашающий чекистский генерал Райхман, входивший в ближайшее окружение Берии. Кончил он, как и положено, плохо, его посадили. Но в соломенных вдовах она не ходила долго. Следующим владельцем генеральского кителя был седовласый, барственный генерал армии Антонов, начальник генерального штаба СССР. В театре ее справедливо боялись и, несмотря на улыбки, которые она расточала, без преувеличения, каждому, замолкали на полуслове, при ее появлении стишали голос. Особенно когда в заполненной людьми директорской ложе она снимала телефонную трубку и отчетливо, звонко спрашивала невидимого на другом конце провода абонента: «Алло, это Кремль?»

Другая любительница влиятельных генералов была Софья Николаевна Головкина. Она тоже громогласно занималась общественной работой и тоже обогатила партию большевиков своим членством.

Танцевать она совсем не умела. Пируэты и шене крутила криво, но не падала. Как Пизанская башня. В ней не было ни темперамента, ни блеска. Во время танца она помогала себе пухлым ртом, словно жуя резинку, — хотя в те времена американцы еще не изобрели «чуингам». От ее спектаклей веяло скукой и серостью. Публика томилась и аплодировала скудно. В солистки она выдвинулась, деля в юности своей супружеское ложе с маститым балетмейстером Федором Лопуховым, бывшим краткое время до войны руководителем балета ГАБТа. Женитьба эта была непродолжительной, но оставила некий след в истории московского балета пикантными пояснениями Головкиной на комсомольском собрании…

Если забежать чуть вперед, то, закончив свою танцевальную карьеру провальным «Дон Кихотом» (ах, как сладко потом повторять несведущим, что я ушла вовремя), она с головой погрузилась в педагогическую деятельность. Тут уж имя ее замелькало и замелькало в газетах. Знаменитая в прошлом балерина передает свой опыт, молодежь учится у прославленных танцовщиц, зеленая улица молодым…

Но молодежь была не простая, не с улицы. Особыми талантами к балету, о боги, оказывается, были наделены с рождения дети да внуки сильных мира сего. Прок от них был большой. Нужно новое помещение — пожалуйста, в нем зимний сад — извольте, гимнастические залы и бассейн — разумеется. Но уж и, конечно, удобные подъезды для черных бронированных «ЗИЛов» и «Чаек».

Фамилиями вождей наших, да министров, да замов я могла

бы заполнить две-три страницы. Вот самые звучные. Фурцева, Андропов, Устинов, Громыко, Рыжков, Косыгин, Председатель Совмина Тихонов, прокурор страны Рекунков, не смею произнести — Горбачев… Сама Раиса Максимовна своим высоким попечительством освещала этот образцово-показательный храм советской Терпсихоры да подсобила мигом с училищным театром.

Но не подумайте, наивные, что быть директором хореографического училища лишь радости да лучезарные встречи с заморскими басурман ными правителями. А как быть с отпрысками тех, кого система наша вышвырнула без жалости на очередном историческом пленуме ЦК с кремлевских вершин на задворки пенсионного прозябания? Вот тут не упусти момент, не подведи меня, нюх мой, ни минутой позже захлопнуть перед носом зазнавшегося дитяти, возомнившего себя Павловой и Нижинским (под умильными взглядами дружного педагогического коллектива!), дубовую дверь моего директорского кабинета, который зарвавшиеся родители превратили в затрапезную раздевалку. Но это очень уж впереди…

Викторина Кригер жила только балетом. Сухая, поджарая, угловатая, словно наэлектризованная. Тоже, впрочем, не любившая пропускать всяческих собраний, ибо и она была держательницей краснокожего партийного билета. Можно предположить, что в коммунистки она записалась со страху, чтобы как-то уравновесить свою, сквозящую во всем, набожность да немецкое происхождение предков. Они обе с Гельцер, так же как и моя учительница Гердт, вышли из обрусевших немецких фамилий.

В мой первый сезон она исступленно танцевала фею Карабос, не щадя своих пальцев. И на репетициях она ничего не делала вполноги — все танцевала в полную силу. Между собой мы ее величали «Викторина стальной носок». Возраста она была самого неопределенного, но всегда пахуче надушенная, аккуратно причесанная, будто только вставшая с кресла парикмахера. Я беззлобно конфликтовала с ней, по своей же задирчивости, но она была редкостно незлопамятна и с первых шагов моих выказывала мне свое профессиональное расположение.

Ее религиозность множилась паническим суеверием. Доморощенная гадалка предсказала ей смерть в лифте. С тех пор она обходила каждый лифт далеко стороной, поднимаясь по всем высоченным лестницам только пешком, чем здорово подкрепила, по сегодняшним ученым данным, свое здоровье. Если услышишь где-то на пятом ярусе стук каблучков, гулко доносившийся из лестничного пролета, — не ошибешься, это Кригер.

Квалификация гадалки была посрамлена. Викторина Владимировна дожила до восьмидесяти пяти лет и умерла в постели. Я отношу к ее высшим достижениям Мачеху в прокофьевской «Золушке». Роль эту она воплотила с блеском и юмором.

Туся Абрамова (ласковое от Анастасии) была женственна и смешлива до крайности. Миловидна, большеглаза, лучезарна. Когда я сейчас перебираю в памяти своей балерин того времени, то вижу, что многие из них были просто красавицами Любовь Банк, к примеру, словно мраморная камея. Не хочу сказать, что сейчас извелись ладные, привлекательные балерины. Может быть, и во мне звенит ностальгическая нота. Но какая-то порода, кажется мне, ушла из стен театра…

Иные солистки почти не оставили в моей памяти художественного следа, да и судьбы наши перекрещивались редко.

В сорок четвертом году в балет пришел новый руководитель. Он правил нами без малого четверть века. Леонид Михайлович Лавровский, как и многие, приехал в Москву из Ленинграда. С ним вместе прибыла его жена, темпераментная балерина Елена Чикваидзе, — «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной…»

Почти одновременно в театр вошла и Уланова. Ее мужем был московский режиссер Юрий Завадский. Вместе с его театром — Театром Моссовета — она эвакуировалась в Алма-Ату.

Близился конец войны. На одном из балетных спектаклей в темноте бронированной правительственной ложи шевельнулись рыжие усы Сталина. О том, что это не пригрезилось, можно было судить по наводнившим весь театр, все кулисы охранникам в штатском, похожим друг на друга как две капли воды, топтавшимся и бдительно озиравшим всех с ног до головы…

Столица собирала муз.

Глава 13
КВАРТИРА НА ЩЕПКИНСКОМ

Итак, в 1943 году я окончила хореографическое училище, была принята в Большой театр, станцевала несколько заметных партий и получила свою первую награду. Мне дали десятиметровую комнату в коммунальной квартире, в доме Большого театра в Щепкинском проезде, 8. Название «Щепкинский» не от слова «щепка», а по фамилии знаменитого в прошлом веке актера Малого театра Михаила Щепкина. На Театральной площади в самом центре Москвы стоят три театра — Большой, Малый и Центральный детский.

Я не знаю, где еще в мире есть три театра на одной площади. Так она и называлась, Театральная, пока не стала имени Свердлова, так же нелепо, как кировский балет.

С обратной стороны знаменитой квадриги коней с колесницей Аполлона и располагался тот достопамятный дом. Ночами, после спектаклей, в этот тесный проезд выносились и вносились громоздкие, пыльные, зловонные декорации с гулким грохотом, помноженным ночной тишиной. Урчали грузовики. Летели, швырялись кресла, столы, деревья, двери, стены, окна, лестницы, вазы, люстры, балконы, сфинксы… Сочно звенел непременный мат. Так было каждонощно до трех-четырех утра. Вот когда меня отучили спать!

Комната моя ютилась в большой, нескончаемой общей квартире, расположившейся на втором этаже этого трехэтаж ного здания (первый этаж занимала строительная контора, второй и третий отдали артистам. Теперь там театральная столовая). В длинный, несуразный коридор выходило семь дверей. Но комнат было девять. Жили в квартире 22 человека. На всех был один туалет, запиравшийся на кривой крючок, сделанный из простого гвоздя. И одна кухня, где притулились друг к другу разновысокие горбатые столы из шершавых досок — каждая семья владела одним столом. Газовых конфорок было четыре, и приходилось покорно ждать своей очереди, чтобы сварить суп или вскипятить чайник. Ванная была тоже одна. Пользовались ею по строгому расписанию. Хорошо, что театр был напротив, в полминуты хода. Кое-кто из нетерпеливых жильцов бегал в Большой театр по малой нужде.

За первой дверью затаились две комнаты. Там жила певица Боровская, первоклассное колоратурное сопрано. У нее был муж, работница Катя и чеховский шпиц по имени Умка. По утрам она

распевалась, и вся квартира наизусть выучила ее вокальные экзерсисы.

Боровские жили богато. Петербургская мебель, старинная люстра с канделябрами, строгие портреты в толстых рамах красного дерева, карточный столик, над которым навис большущий кружевной розовый абажур. Это мне казалось уже пределом шика. Раньше она пела в Мариинском театре, потом ее пригласили в Москву. Правительственная столица магнитом стягивала лучшие силы. Особенно хорошо она пела вердиевскую Джильду, но вид ее, увы, подкачал, что-то в ней мне напоминало таксу.

В следующей комнате жили трое Челноковых. Как они попали в дом Большого театра, одному Богу известно. Глава семьи был летчиком и в конце войны летал бомбить Берлин. Над ним, в глазах моих балетных подружек, витал ореол героя. Жена его томилась ожиданием, охала да ахала, а сын Сережка безмятежно пил, и пил сильно.

Третью комнату занимала Нина Черкасская, артистка кордебалета. Все ее физические данные противились балету — толстые кривые ноги, жидкое тело, горбатый нос попугая, но она там проработала всю жизнь. В те времена в балете всякое бывало. Ее муж Вася тоже пил, и тоже пил сильно. Он любил в подпитии на кухне шепотком жаловаться соседям на несправедливости жизни. Что-де прошел всю войну, а вместо благодарности его заставляли где-то не там работать, в особом благорасположении даже намекал, что «стучать» отказался… Еще у Нины была рябая работница Нюра и три вялых, жирных кастрированных кота. Все спали в одной комнате. В следующей — четвертой — жил Петр Андреевич Гусев, известный артист балета, педагог, бывший когда-то директором нашей балетной школы, хореограф (на склоне лет он даже сыграл в кино Мариуса Петипа). Был он позже и художественным руководителем Большого балета. Я вспоминаю его добром — это он пригласил тогда Вахтанга Чабукиани поставить «Лауренсию». Были и у меня светлые дни. Существует фильм «Мастера русского балета», где Гусев исполняет Гирея в «Бахчисарайском фонтане», а я танцую Зарему. Его жена Варя Волкова танцевала в кордебалете, была красива, но подслеповата и глуховата. На нашей полутемной, задымленной жареной картошкой кухне она постоянно всех обо всем переспрашивала, чем вносила еще большую сумятицу в нашу коллективную жизнь. К Гусевым ходила приходящая работница — нянька со своей дочкой, пестовавшая маленькую русоволосую Таню Гусеву. Вся воспитательная работа тоже проходила на кухне. Нянька приучала Таню к хорошим манерам, отваживая ее от

облюбованного места в коридоре, где та повадилась сидеть на горшке. Сам Гусев был острослов, и кухня покатывалась со смеху.

Их соседкой была моя тетка Мита с мужем Борисом Кузнецовым, профессором и доктором каких-то технических наук. Он был сдержан, немногословен, ослепительно красив, и если бы родился в Голливуде, то «зашиб» Роберта Тейлора.

В двух угловых выходящих на шумную Петровку комнатах обитала семья драматического тенора Федотова. Он пел все первые партии в классических операх, и пел хорошо. Но был толст и брюхат, как принято и поныне в теноровом мире. Его жена была немкой и преподавала немецкий язык в школе. В войну она сказалась эстонкой — так как всех немцев «предупредительно» высылали в Сибирь. Это было не трудно, ибо их домработница Альма в действительности была эстонкой. Альма безбожно плохо говорила по-русски. Склонных к гигиене квартирных детей она усердно предостерегала: «Без ма миный вопрос ванна зашикать нельзя, а то одна мужчина купалась, купалась и утонула». Кастрюля у нее была «якопчена», что означало закопченная. Мы же, грешные, думали, что кастрюля принадлежит Якобсону, гостившему частенько у Гусевых.

Большие страдания доставлял сын Федотовых Рудик. Его насильно и мучительно учили музыке. Он каждый божий день годами разучивал одну и ту же пьесу, спотыкаясь в одном и том же такте ее. За тонкой, чуть накренившейся стеной Рудикина пьеса была слышна так отчетливо, что создавалось впечатление, будто он аккомпанирует Боровской прямо в моей комнате. Но главная беда пришла, когда его стали учить пению. Голоса у него от природы не было никакого. То, что досталось слушать жильцам, было надрывным оглушительным криком. Хорошо, что в один счастливый день это испытание закончилось — Рудик увлекся кино. Его многочисленные жены долго не задерживались. Голос его им тоже не приходился по вкусу. Но шум от них зачастую дополнял все разноголосые звуки нашей квартиры.

Большинство жильцов моей квартиры номер двадцать три перебрались потом в первый кооперативный послевоенный театральный дом на улице Горького. Так уж распорядилась судьба, что в 1963 году мы с мужем выкупили у Боровской ее трехкомнатную кооперативную квартиру, где живем и по сей день. До нас ее снимал дирижер Кирилл Кондрашин.

Будничная фонограмма нашей жизни была бы неполной в моем рассказе, если бы все не было еще до краев наполнено пронзительно резкими, беспрерывными звонками единственного — на всех! — телефона, который был привинчен на стене в коридоре. Люди, нам звонившие, никак не считались со

временем. Звонки раздавались и глубокой ночью, и ранней ранью. Мы были оповещены о всех мельчайших подробностях жизни друг друга!

И еще приходили гости. Иногда в коридоре впопыхах я наталкивалась на писателей Леонова, Катаева, Вишневского, Кирсанова — последний увел у меня два тома из собрания сочинений Пушкина, о чем я печалюсь по сей день, — сатирика Ласкина, скрипача Мадатова, кинорежиссера Романа Кармена, пианиста Гилельса…

Соседский мальчик, живой и трехжильный, круглыми сутками носился сломя голову по коридору на самодельном велосипеде, часто давя замешкавшихся жильцов, курсировавших между кухней и комнатой. Петр Гусев, любивший поспать, время от времени выскакивал в коридор и срывающимся нервным голосом требовал тишины. Мальчик был самолюбив и отвечал на эскапады Гусева листовками, которые подсовывал жильцам под двери, — «Тетрушка-пердушка»…

Я прожила в этой квартире до 1955 года, пока мне не отдали двухкомнатную квартиру номер двадцать четыре дирижера Файера на той же лестничной площадке.

Глава 14
ПОСТИГАЮ АЗБУКУ ТЕАТРА

Лавровский начал с «Жизели». Адановский балет давно шел в Ленинграде, на московской сцене это была премьера. Лавровский ставил «Жизель» на Уланову, пришедшую с ним в театр, как я уже писала, почти одновременно.

Я впервые увидела Уланову в 1939 году. В Москву приехал Риббентроп. На подписание злополучного пакта. Во все времена знатных гостей потчевали балетом. Да, впрочем, делают это и до дня сегодняшнего. С чем-чем, а с балетом, дескать, у нас завсегда полный порядок. В Москве в ту пору суперзвезд не было. Семенова все еще числилась женой «врага народа», и допускать ее до праздника советско-германской дружбы не следовало. Кому-то из чинов пришла мысль вызвать из Ленинграда Уланову со своим извечным партнером Сергеевым. Что ж, и в головах чинов бывают светлые мысли.

Нас с Галиной Сергеевной часто сталкивали лбами. Противопоставляли, наушничали, сплетничали. Я хочу со всей правдивостью припомнить свое первое впечатление от нее.

Меня поразили ее линии. Тут ей равных не было. Ее арабески словно прочерчены тонко очинённым карандашом. У нее была замечательно воспитанная ступня. Это бросилось мне в глаза. Она ею словно негромко говорила. Руки хорошо вписывались в идеально выверенные, отточенные позы. Меня не покидало ощущение, что она беспрерывно видит себя со стороны. Во всем была законченность и тщательная продуманность. Резко бросилось в глаза различие ленинградской и московской школы. За весь спектакль она ни разу ничего не «наваляла», что постоянно разрешали себе делать москвички, — это было, по правде говоря, в порядке вещей.

Я отдала предпочтение «белому» акту. Одетте. «Тихость» образа была ближе ее естеству, чем апломб и демонизм дочери злого чародея. Хотя выглядела она в затянутом лаковом черном паричке привлекательно. Парики редко кому к лицу, но к фасону лица Улановой парики очень ладились. В «черном» акте мне недостало в ней шика, размаха и отличности от белого лебедя. Не хватало контраста. Я явственно видела, что оба образа танцует одна балерина. Позже я сама в этой партии стремилась к эффекту зрительского неузнавания. Ну хотя бы первые две-три-четыре минуты. Но корить Уланову за то, что она оставалась Улановой, я не буду.

Спектакль этот запомнился мне и атмосферой. Удалось достать билет в бельэтаж. А Риббентроп сидел совсем близко от меня в царской ложе (так по старинке мы величаем и поныне центральную ложу театра). Он был сед, прям, породист. От большого кольца на его руке шло такое сияние, что рябило в глазах. Каратов тыща! Он намеренно играл бликами своего ювелирного чуда, барственно уложив длиннопалые руки на бордюр ложи. Куда делось это кольцо, когда его повесили в Нюрнберге? А тогда, еще живой и могущественный, он с благосклонностью и вниманием взирал на сцену и, не скупясь, хлопал Улановой.

Второе впечатление от Улановой пришло в 1940 году, на декаде ленинградского искусства в Москве. Такие показушные декады очень любили большевистские вожди. Они, наверное, их и придумали для человечества. Хотел бы француз поприсутствовать в «Гранд-опера» на славной декаде марсельского искусства в Париже или парижского в Марселе? Эта форма показов соответствовала неправде всей нашей жизни. На экранах ломящиеся от яств столы в «Кубанских казаках», а в жизни существование впроголодь, грязь, темень, водка. Дружба народов, дружба народов, а в жизни поножовщина, резня, мракобесие, расизм.

Но была в этой парадной форме демонстрации искусства и своя польза. Они — эти парады — мобилизовывали творческих людей до крайности. Все работали на пределе (а то, глядишь, орденишко не достанется да на заключительный банкет не позовут). Тут уж и про все болезни позабудешь. Температура хоть сорок два, а танцуй, порхай, улыбайся. Да и собирали эти декады силы самые лучшие.

Так и стоит перед глазами этот фейерверк ленинградского балета, который мне довелось увидеть в тот последний, предвоенный год.

«Ромео» впервые смотрела Москва. Уланова танцевала Джульетту. Этот вечер стал для москвичей настоящей худо-жест веной сенсацией. Весь ансамбль действующих лиц был на подбор. Но Уланова выделялась.

Идя на спектакль, я ждала увидеть еще один Балет Балетович, хотя молва донесла и до моих школьных ушей несметные похвалы постановке. Но увиденное затронуло меня сильно.

Многое было ново и непривычно. И партия балерины в первую очередь. Уланова нигде не переходила с поверхностного рассказа сюжета на вереницу знакомых каждому по балетному классу движений — плие, пассе, алясекон, перевести в арабеск… Все эти движения, конечно, были, но я их не замечала. Драма

шекспировской пьесы рассказывалась ею вне связи с балетной лексикой. Чья это была заслуга? Постановщиков, Прокофьева, замечательной выучки вагановской школы или самой Галины Сергеевны? Все помогло, но дар неба, думаю, был решающ.

Я пишу о своих первых впечатлениях об Улановой. Ниже я расскажу о ней подробнее.

Теперь вернусь к «Жизели».

Лавровский устроил смотрины труппе. Прилежно ходил в наши утренние классы, перебирал каждого маленькими сверлящими глазками. Он всегда был подтянут, аккуратен, свежевыбрит, одет с иголочки. Сидя спиной к широченному балетному зеркалу, временами гневно косился на пианиста, мазавшего не по тем клавишам от присутствия нового босса.

И мы видели в зеркальном отражении аккуратно подстриженный затылок Лавровского.

С самой Жизелью вопросов у него не было, как не было их и с Альбертом. Придя в театр, партнером своим Уланова избрала Михаила Габовича — элегантного танцовщика, красавца, отзывчивого и участливого в жизни человека.

(Кстати, курьезная деталь. Когда меня еще не было на свете, Асаф дал пристанище в дедушкиной сретенской квартире Габовичу, который крестился, приняв православие в церкви у Сретенских ворот. Его отец, ретиво исповедовавший иудаизм, выгнал еретика из дому. А крестными матерью и отцом были тоже два балетных персонажа — Горшкова и Иван Смольцов.

И без курьезов. В первые панические дни войны, когда безо всякого разбору военкоматы призывали и отправляли на фронт каждого, что лишь увеличивало статистику убиенных, Габович смело отстоял многих танцовщиков. Мне рассказывал Юрий Гофман, впоследствии один из премьеров Большого, как потрясло его появление Габовича на бруствере окопа, в драповом штатском пальто, приехавшего на линию фронта, чтобы его вызволить. Габович в первые военные годы нес на себе бремя руководителя балета филиала. Мы не должны забывать о таких движимых благородством поступках.)

Лавровский назначил меня и Лялю Банке на роли двух вилис. Мы были чем-то схожи, овалом лиц, вытянутостью фигур. Позже наши пути разошлись, и она играла Капулетти-мать во всех спектаклях, когда я танцевала Джульетту. Нам обеим причиталось по небольшой вариации. Свою вариацию я готовила с Вагановой. Та показала мне такой прием исполнения ранверсе, что я сорвала аплодисменты. Если правильно скоординировать тело, то получится буквально все: мы невежественны и делаем многое по наитию.

Лавровский остался нами доволен. Так, по крайней мере, мы обе порешили. А для меня вилиса была своеобразным эскизом, наброском к Мирте, о которой мечталось. Но прежде мне надлежит рассказать о моих последних занятиях с Вагановой.

Какое-то время она давала класс, в который я прилежно ходила. Пишу «какое-то время», ибо очень скоро, окончательно перессорившись с Лавровским, с которым она и по Ленинграду была на ножах, Агриппина Яковлевна уехала. Позже я перекидывалась с ней при редких кратких встречах ничего не значащими разговорами о погоде да самочувствиях. Правда, в 1951 году, будучи в Ленинграде, я еще раз, и теперь уже совсем последний, была в ее гениальном классе. Я тогда танцевала на мариинской сцене «Лебединое озеро», и Ваганова была в театре. В обоих антрактах она заходила ко мне, что-то советовала и позвала на следующее утро в свой класс. Там я услышала наивысшую из ее уст похвалу: «Не так плохо».

В классе ее все нешуточно боялись. Она была требовательна и безжалостна. Все смотрели ей в рот и ловили каждое указание. Дорожили занятиями с нею. Агриппина Яковлевна чуть шепелявила и припечатывала балерин такими прозвищами, что шли они, говоря по Гоголю, и в «род и в потомство».

Меня она звала «рыжая ворона». Рыжая, потому что я рыжая, а ворона — потому что прозевывала некоторые ее классные комбинации. И ей приходилось повторять их мне, чего она до крайности не любила. Знаю, что моя природная невнимательность и несосредоточенность может раздражить хоть всякого. Но то, что А.Я. мирилась с этим, не повышала голоса, было и впрямь удивительно. Валя Лопухина, поделившаяся со мной по-сестрински местом в артистической, как-то заметила: «Грушка к тебе относится небывало, другую она бы уже давно выгнала из класса».

Мирта виделась мне персонажем сил потусторонних. Станцевать ее «управляющим кладбищем», «директором-распорядителем» по оживлению вилис, мне никак не хотелось. Она не должна была быть живой и привычной. От нее должен был идти в зал леденящий холод и ужас. В детстве моя тетка Эля читала мне историю Венеры Ильской. Как мраморная статуя, воздвигнутая в старом дворцовом парке, влюбилась в юношу. И он, помолвленный со сверстницей, шутя надел на мраморный палец обручальное кольцо. Конечно, все кончилось очень плохо. Что-то вроде «Каменного гостя» наоборот. Но история эта запала в меня глубоко. И станцевать мраморную богиню было привлекательно. Такой я ее и делала. Делала не значит меняла самовольно движения. Но старалась придать каждому па свой

задуманный смысл. Все арабески, пор-де-бра — через королевское величие, значимость, ворожбу, мистерию, тайну.

На Мирте произошла моя артистическая встреча с Улановой. Я увидела ее теперь уже в сценическом пространстве. Могу судить с близкого расстояния, не с кресла зрителя.

Во втором акте Г.С. сумела стать тенью. И выражение глаз, и мимика, и жесты были бестелесны. Временами, в увлеченности действием, мне начинало казаться, что это не Уланова вовсе, а ожившее по магии волшебства мертвое, парящее женское тело. Пола она вроде бы не касалась.

Замечу в скобках, что была свидетельницей такого «балетного» разговора. Кто-то перечислял природные изъяны Г.С. - шаг-де мал, прыжок не велик, завернутый пах, а техника… И вдруг Семенова, сама судья злющая и уничижительная, но иногда справедливая по «гамбургскому счету» искусства, отпарировала: «Галька легкая, а это тоже техника».

Быть на сцене легкой — редкий дар. Всегда и слышишь «бряцание» балетных туфель об пол. Уланова, как я заметила, всегда танцевала второй акт «Жизели» в мягких туфлях, чтобы исключить малейшую отвлеченность от образа. На репетиции она через оркестровую яму обратилась своим тихим голосом к дирижеру Файеру: «Уберите в конце моей вариации барабан. Мне это мешает». Но дело — для меня — вовсе не в туфлях, не в барабане. Весь спектакль не покидало ощущение, что она касается пола реже, чем предписано смертным законом земного тяготения Ньютона.

Лавровский, уж не знаю из каких соображений, ставил меня Миртой только на спектакли с Улановой. С другими Жизелями я дела не имела. Это мне нравилось. А роль самой Жизели мне танцевать так и не довелось. Может быть, единственную из генеральных ролей классического репертуара.

Меня без конца вопрошали: почему Вы не танцуете Жизель? У меня так и не сложилось за жизнь убедительного ответа. Наверное, если бы очень хотелось, я бы своего добилась, станцевала, но что-то во мне противилось, сопротивлялось, спорило. Уж как-то не вышло.

Следующей была «Раймонда». Но это было не сразу, не тотчас. Были будни, классы, репетиции, спектакли, обиды, была театральная жизнь. Хочу припомнить, да, может, это и интересно будет с вершин дня сегодняшнего, как я постигала азбуку Большого театра.

В середине второго сезона мне прибавили зарплату. Первоначально было 600, теперь стала целая тысяча (опять напоминаю, что в девальвацию один ноль убрали — значит, 100!).

Я и впрямь была много занята в репертуаре. Кроме упомянутого, были еще феи Сирени и Виолант, повелительница дриад в «Дон Кихоте», танец с колокольчиками в «Бахчисарайском», который балетмейстер Ростислав Захаров поставил на меня. И была прокофьевская «Золушка», где я танцевала «Осень», тоже первой и тоже Захарова.

Перед премьерой «Золушки» театр накалился добела. Музыка, зазвучавшая на планете впервые, была непривычна. Оркестранты, то ли от лености, то ли от испорченности марксистскими догмами — что искусство принадлежит народу, — почти взбунтовались против Прокофьева. И раньше его партитуры упрощали и переоркестровывали в стенах нашего театра. Хрестоматийный пример, теперь уже помещаемый в каждом музыкальном учебнике, — «Ромео», переоркестрованное музыкантом оркестра Борисом Погребовым, на потребу косным и глухим танцорам. Громче, громче, мы ничего не слышим, почему так тихо, верещали они со сцены…

Прокофьев ходил на все репетиции и, двигая желваками, интеллигентно молчал. Мне его жалко было. Нелегко, наверное, это все вынести. Мне же «Золушка» пришлась по душе. В музыке «Осени» мне слышался шорох увядших листьев, гонимых ветром, промозглый дождь, тоска. Много позже «Золушка» свела нас с Родионом Щедриным.

В квартире моих друзей Лили Юрьевны Брик и Василия Абгаровича Катаняна появился магнитофон. Тогда большая редкость. И Катанян начал составлять маленькую фонотеку с записью голосов друзей дома. Природа наделила меня, спасибо Богу, хорошим музыкальным слухом и памятью. И я напела Брикам почти всю «Золушку» для домашней фонотеки. Так, для курьеза. С Щедриным мы знакомы еще не были, но он тоже был частым гостем тогда на четвертом этаже старого московского дома в Старопесковском переулке, без лифта. Они дали прослушать ему мое «хореографическое» пение — я изображала и погребовские барабаны (Погребов был ударником в оркестре), и звенящие флейты, и пленительные, терпкие прокофьевские мелодии. Брики говорили, что Щедрина пение мое потрясло. Ну а дальше…

Другой причиной ожидаемой премьерной грозы был извечный вопрос — кому танцевать первый спектакль. Репетировали Уланова и Лепешинская. Семенову не подпустили и близко. На стороне Улановой был танец, на стороне Лепешинской — дирекция. Победила Уланова. Она танцевала премьеру. А Шостакович написал похвальную рецензию на «Золушку», где упомянул и меня. Все история.

Уланова и Лепешинская переодевались в просторной артистической в бенуаре. Кроме них в ней обитали Тина Галецкая, Чидсон, Люля Черкасова и Елена Михайловна Ильюшенко. По театру эту уборную именовали «клубок змей». Вот где судачили зло и безжалостно.

Позже я репетировала с Ильющенко, кстати, она была женой известного кинорежиссера Сергея Юткевича, некоторые свои партии и, заходя за ней, слышала такие реплики. Уже стоя на пороге, она обращалась к остающимся: «У меня было четыре мужа, одиннадцать абортов, не перепутайте». Повздоривших между собой двух танцовщиц о праве на ведущего солиста: «Не шумите, девочки, мы все здесь родственницы». Лепешинской, зачастившей в один «высокий» дом, что было тут же замечено, Галецкая сказала: «Что это ты, Леля, повадилась в наш подъезд на последний этаж, там ведь живет геройский летчик Юмашев». — «Он еще и художник, и пишет мой портрет». «Нас тоже лепили», — обронила Ильющенко.

А Уланова всегда молчала. Она умела молчать. Что молчание золото, ей было известно много лучше других.

Я была в дни ленинградской декады немой свидетельницей такого случая. За несколько дней до открытия что-то привело Г.С. в хореографическое училище на Пушечной. Я со стайкой подружек разговаривала на лестнице, запруженной верещащими детьми школы. Была переменка. Из-за тяжелой входной двери, которой замороченные учением бледные дети надрывали кишки, незаметно вошла Уланова. Она была в серой беличьей шубке. Весна стояла холодная. Мы замолкли на полуслове.

Поднявшись по ступеням до владений нашего угрюмого швейцара Кузьмы, она направилась в гардероб. Не тут-то было. Бдительный служитель охраны, перекормленный вдосталь советским радиовещанием да газетными сообщениями, полными сталинской истерии о подстерегающих нас на каждом углу шпионах, споро ухватил «незнакомку» за рукав. «Ты куда, гражданочка?» Любая бы назвала тотчас свою фамилию. Тем более с удовольствием козырнув таким именем, как Уланова. Но Г.С. не ринулась в неравную схватку, а, отодвинувшись, замерла. Спасение пришло. Кто-то шумно вступился за нее, коря нерадивого стража за его хореографическую необразованность…

Но вернусь в театр.

Центром мироздания была директорская ложа. Попасть в нее можно было через подъезд номер 16 — директорский. Артисты там не раздевались. Вешалка была комфортная, просторная… «Для тех, кто почище будет-с», как говаривал гоголевский Осип.

Две мраморные лестницы. С ковровыми дорожками, как

водится. В те сталинские времена на них было и пылинки не приметишь. Это сейчас след ищи да грязища не просыхают. Верхняя лестница вела в директорские кабинеты. А нижняя приводила заробевшего посетителя в обитую красным рисунчатым атласом ложу. Несколько кресел с золотыми подлокотниками. Мраморный стол с серебряным лебедем, просуществовавший благополучно столетия. В углу мраморный же камин с зеркалом. На нем теми же столетиями стояли неприподъемные позолоченные инкрустированные часы с секретным боем. Но не достояли. Совсем недавно их умудрились украсть. Как вор осуществил это технически, ума не приложу. Поднять да пронести часы через весь театр по силам разве что лишь трем сказочным богатырям. За изящно закамуфлированной дверью тут же и туалетик. Вдруг кому невтерпеж — «кто почи…»

Во вспоминаемые мною времена по ложе бесшумными жизелевскими тенями медленно передвигались некие люди в штатском. Дежурные капельдинеры в форме ГАБТа, а все тоже были из того же ведомства. Охрана. ГБ. Театр-то императорский!

Зайти туда всегда было жутковато. Тебя просвечивали, пронизывали насквозь.

Секретарем директорской ложи была умная, полная, сосредоточенная женщина — Серафима Яковлевна Ковалева. Она идеально монтировалась с торжественностью обстановки. Проработала она на этом месте более четверти века. Знала всех и обо всем. Теперь это называется компьютер. Обеды любила домашние. Отлучаться от боевого поста надолго было не положено, а до Щепкинского, 8 — рукой подать. А там добрый, хлебосольный до могущественных персон дирижер Файер живет. То-то он все напевал: «Люблю дирее-ееекцию».

Да и у каждого подъезда свое предназначение. Сейчас все поменялось, входи да выходи, откуда сподручнее. А тогда каждый топай через свою дверь. Там уж ты примелькался, тебя бдящие дяди уже знают. «Здравствуйте, Майя Михайловна», а сам в пропуск твой театральный с советским вольным гербом взглядом упрется и сравнивает твое изображение с живой физиономией. Точно, она. Проходите, пожалуйста. Все очень вежливо, но не впопыхах, размеренно.

…Война победоносно кончалась.

В зрительном зале сверкали пуговицами военные мундиры. Штатским быть стало стыдновато. Многие артистки старались идти в ногу со временем. Кое-кто, побросав своих Довоенных мужей, сломя голову повыходили замуж за генералов. Любимица Сталина на драматической сцене актриса МХАТа Алла Тарасова оставила великого Москвина за полной ненадобностью. Теперь

она появлялась на кремлевских раутах с бравым генералом-летчиком Александром Семеновичем (бывшим ей по плечо). В Большом тоже шла стремительная охота за генералами. У кого звезд в погонах поболее. И замелькали у нашего 21-го подъезда генеральские лампасы да заскрипели соловьями начищенные до блеска сапоги. Нельзя отставать от моды — генералиссимус наш, по свидетельству очевидцев, любил поскрипывать новыми хромовыми сапожками.

А я начала репетировать «Раймонду». Я была еще девственна, и мне было не до генералов. «Раймонда» шла нелегко, но об этом рассказ в следующей главе.

Глава 15
«РАЙМОНДА»

И я начала после брошенной вскользь реплики Улановой, что записывает все станцованные ею спектакли. Так и помечала почти все сделанное мной. Конечно, за вычетом, когда ленилась. Многие акценты сегодня я бы поставила по-иному, на другом сосредоточила бы внимание. Но помощь оказали они мне неоценимую. Много в них горечи, несуразностей времени, черствых, мерзких людей. Трудно взбиралась я по театральной лестнице наверх. Больно отбила себе все бока. Но тем ценнее осуществленное.

…Война закончилась. Салюты. Толпы. Радость. Слезы. Последний год войны комсомольское бюро много раз направляло меня с другими артистами театра на выступления в военных госпиталях. Я никогда не отказывалась. Как и все без исключения, подчеркну — без исключения, — была комсомолкой. В комсомол вступали, достигши четырнадцати лет. Механически. Все мы свершили этот немудреный обряд вступления в стенах хореографического училища. Обещали «верно служить Родине», «приближать своим трудом коммунистическое будущее», «выполнять предначертания партии». Ну и выполняли каждый как мог…

Но в этих госпитальных концертах я всегда танцевала в полную ногу, с сердечной, душевной отдачей. Лица калечных юнцов, окаймленные несвежими бинтами, были чисты, беззащитны, распахнуты в мир. Все, что мы им танцевали, играли, пели, они воспринимали так серьезно и восторженно, словно пели им Шаляпин и Галл и Курчи, танцевали Павлова и Нижинский, играли Лист и Паганини. И всегда меня тревожил вопросительный смысл выражения их глаз. Я жалела этих парней.

«Раймонда» досталась мне, как говорится, по случаю. Очередная барабанная кампания за «выдвижение молодежи» заставила дирекцию театра дополнить список исполнительниц балета Глазунова и моим именем. Премьера уже прошла. Я устремилась как бы вдогонку.

Лавровский определил мне в партнеры Руденко — Жан де Бриен и Гусева — Абдерахман. Репетитором была Е.П.Гердт. Когда-то она сама танцевала Раймонду и хорошо помнила всю балеринскую партию. К тому же Глазунов был немножко влюблен в Елизавету Павловну, слал ей цветы, катал на тройке по морозному Петербургу под медвежьим пологом с цыганами. Она,

чуть смущаясь, утверждала, что пиццикатная вариация второго акта была написана Глазуновым для нее и ей посвящена. Но репетировала она скучно. Замечания были не по делу. «Не высовывай язык, заправь тесемку…» Если бы не советы Гусева, сердившие Е.П., я бы так и протанцевала весь балет с сутулой спиной. А царственная осанка Раймонды должна сверкать с первого появления до конца спектакля. Непременно.

Гусев репетировал замечательно. Предлагал усложнить некоторые поддержки, сделать их современнее. Я была увлечена. Во время одного сложного поворота Гусев внезапно почти сбросил меня на пол, упал ничком и завыл. Завыл буквально, по-звериному. Спазмы свели ему икру и бедро. Репетиции прекратились…

— Милая соседушка, такое может случиться и на спектакле. Я тебя подведу. Стыд будет, срамота. Бери другого партнера.

Так Гусев ушел со сцены.

Легко сказать, бери. Партнеров назначает главный балетмейстер. Хозяин. Иди допросись.

Тут, на свою беду, я должна вместить в сюжет моего рассказа еще одно действующее лицо.

Заведующим балетной труппой был Шашкин. Товарищ Шашкин Сергей Владимирович. Он был из того многочисленного сонма беспринципных, увертливых — схвати, не удержишь, выскользнет — чиновников, которых породила советская система. Дело свое хорошо исполнять не умеешь — руководи. По-партийному. В кармане партбилет толщиною с «пламенное сердце».

Начинал он как танцор кордебалета. Но данных никаких. Квадратный, тяжелый, с большой головой, нос с пол-лица, маленького роста. Но ни одно собрание не обходилось без его патетических речей. Усердие Шашкина не осталось незамеченным. Его продвинули на руководящий пост. Заведующим балетной труппой. Обретя немалую власть, он покуражился над нами вдоволь. Позже он работал заместителем директора Госконцерта — и там оставил память по себе недобрую.

Моя просьба о перемене партнера была воспринята им как своевольный каприз. Так он и настроил Лавровского, что делал всегда с лукавой «достоверностью». «Отлежится Гусев, возобновишь репетиции». Пауза длилась долго, бесконечно долго. Так мне тогда казалось. Лишь когда Гусев перебрался в Ленинград, Лавровский назначил мне в партнеры Алексея Николаевича Ермолаева. Репетиции возобновились. Но времени было упущено много.

Я не хочу на страницах рассказа о своей жизни ни с кем сводить счеты. Но кивать на козни неких безымянных недоброжелателей я не буду. У каждого была фамилия, имя, чиновье кресло. Рукопашной баталии — в открытую — у меня с Шашкиным никогда не было, но сотнями неприметных каверз он доставлял мне нещадные муки. То надо заменить некую балерину, выучив небольшую, но трудную партию, — опять репетиции «Раймонды» побоку, то целую неделю заняты все пианисты — опять репетиции «Раймонды» побоку, то надо три часа трястись в автобусе, чтобы принять участие в полусамодеятельном шефском концерте для «тружеников села», — опять репетиции побоку.

Я ломаю голову, почему он так невзлюбил меня, чем я вызвала в нем такое неприятие. Не личной несовместимостью, не несхожестью вкусов. Он, в том сомнений у меня нет, исполнял чью-то недобрую волю. В эти же стрессовые месяцы я, содрогнувшись, ощутила сеть невидимой паутины, начавшей меня опутывать.

Внезапно объявилась страстная поклонница моего таланта. Звали ее Полей, хотя в паспорте, в который я однажды случайно взглянула, стояло имя Тамара. Она без конца убирала мою комнату на Щепкинском, скребла вылинявший пол, перебирала вещи в шкафу, готовила обед, мыла посуду… Деньги за работу брать наотрез отказалась — все из любви к искусству. И, ясное дело, исспрашивала меня о политике, семье, близких… Я отмалчивалась. Так же внезапно, как она возникла, она и исчезла. Бесследно.

Лет через пятнадцать на одном из приемов в иностранном посольстве я ощутила на себе чей-то пронзительный взгляд. Резко повернувшись, я встретилась глазами с той бесшабашной Полей-Тамарой, мывшей полы на Щепкинском. Она была хорошо причесана, изящно одета, стройна. Мы поздоровались. Но она отошла. Больше я ее не встречала.

Моя соученица по школе Тата Черемшанская, о существовании которой я напрочь забыла, нанесла мне непредвиденный визит, без предупреждающего телефонного звонка, просто так, вспомнила. И тоже все исспрашивала, что я знаю о судьбе отца, как мать, держу ли камень на сердце, что — настроение. И тоже исчезла. Тоже навсегда…

Но вернусь к репетициям. Ермолаев очень разнился с Гусевым. Он заранее просчитывал реакцию публики, избирал самый эффектный ракурс каждой позы к зрительному залу, придирчиво контролировал себя и партнершу словно со стороны. Был погружен в музыку. Но работали мы горячо, слаженно.

Руденко, напротив, отлынивал, ленился. На каждую репетицию опаздывал. Потом десять минут нудно рассказывал, где и кто его задержал. Каялся чистосердечно. Начинал вяло греться. Опять что-то невнятно бубнил. Ухватить нить его речи было невозможно. Я нервничала. Невозмутимая Елизавета Павловна и то теряла терпение: «Ну, Саша, начинай же…»

«Раймонду», как и большинство балетов, вел дирижер Файер. Быть может, на сцене концертного зала он не сорвал бы бурных оваций, но в балетном деле Файер был дока. Всегда ходил на рояльные репетиции, контролировал темп, мог подсказать запамятовавшему танцору балетную комбинацию. Музыкальная память у него была беспримерная. Все балеты он вел наизусть, без партитуры. «Раймонду» в том числе. Именно память помогла ему в конце его артистического пути, когда он совершенно ослеп. И тогда он увлеченно, громко посапывая на весь партер, дирижировал и клас-сикой, и новыми балетами Прокофьева, Хачатуряна. Любил медленно, по-черепашьи, передвигаться по кулисам театра, широко растопырив руки, с поводырями. Поводыри всегда были женского полу и прехорошенькие. Слыша в пути дробный стук каблучков, Файер старался ощупать встреченное тело весьма обстоятельно. По торсу безошибочно узнавал экзаменуемую, хотя, крепко держа свою жертву, взволнованно вопрошал: «Кто это, кто это?..» Потом называл по имени и отпускал на свободу. И вот день долгожданной премьеры. Е.П. в строгом черном платье с жемчужным колье на шее, с насупленным, скуластым Гауком в аркаде директорской ложи. Файер из дирижерской торжественно плывет к пульту. Ермолаев проверяет в сотый раз свои ястребиные позы. Руденко что-то лопочет режиссеру сцены. Я канифолю в ящике возле первой кулисы свои розовые туфли. Заправляю накрепко тесемки. Мелькает бочкообразная тень Шашкина. Лавровский, одетый с иголочки, как английский денди, целует меня в щеку и желает успеха.

Музыка.

Выход Раймонды…

Моя премьера проходит шумно, с редким для непремьерного спектакля успехом. Решаюсь так написать, ибо в журнале «Огонек» на одной странице с репортажем о победах футболистов московского «Динамо» в Англии, после портретов великого Боброва, Бескова, Хомича, Семичастного, — мои шесть балетных поз из «Раймонды». И седьмая — такая нелепая, со смущенной полуулыбкой — фотография в жизни. «Фото Г.Капустянского». И маленькая заметка о появлении новой балерины в труппе Большого театра. Я по-детски счастлива.

Через неделю на Щепкинский почтальон приносит ворох разномастных конвертов с письмами на мое имя. Предлагают руку и сердце, признаются в любви, просят взаймы денег, объясняют, что родственники. Похоже, я стала знаменита.

Глава 16
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

Подступаю к «Лебединому». В жизни моей этот балет. Чайковского сыграл решающую роль. Я станцевала его более восьмисот раз. И танцевала тридцать лет: 1947–1977. Это как годы рождения и смерти на гробовом обелиске. Тридцать лет — целая жизнь.

Вот самые памятные города, где «Лебединое» шло с моим участием. Москва, Нью-Йорк, Харьков, Париж, Ленинград, Буэнос-Айрес, Минск, Хельсинки, Киев, Лондон, Одесса, Милан, Рига, Вашингтон, Уфа, Рим, София, Токио, Ванкувер, Мюнхен, Тбилиси, Баку, Ереван, Монреаль, Кельн, Варшава, Лос-Анджелес, Сидней, Мельбурн, Филадельфия, Будапешт, Каир, Мехико, Сан-Франциско, Сиэтл, Берлин, Детройт, Прага, Белград, Питсбург, Ташкент, Чикаго, Казань, Торонто, Осака, Бухарест, Лима, Пекин…

В Большом театре я танцевала три версии, три постановки «Лебединого озера». Редакцию Бурмейстера в театре Станиславского. Вариант Березова в Миланской «Ла Скала», тбилисскую постановку Вахтанга Чабукиани…

Тугой на ухо балетмейстер Юлиус Райзингер заказал прилежному Петру Ильичу написать уйму музыки впрок, на целых два балета (первая постановка «Лебединого», как известно, в репертуаре не удержалась, провалилась). А теперь каждый постановщик, стремясь, совсем по Гоголю, показать, что он тоже-де «умный человек», переставляет порядок номеров — коли их в избытке, — открывает купюры, выбрасывает целые музыкальные эпизоды, режет по живому, сокращает, добавляет, укрупняет, меняет, превращает быстрые темпы в медленные и наоборот… Настоящее бедствие. Переворачивается Петр Ильич в гробу или махнул на невежд рукою?..

При этом главные танцевальные эпизоды — «черное», «белое» па-де-де, невесты, па-де-труа, три лебедя, танец маленьких лебедей — берутся напрокат у гениальных первопроходцев Петипа, Горского или Иванова. «Собственное видение» дальше претенциозных новшеств в канве незатейливого сюжета не идет. Зато пропечатать свою фамилию крупно, на весь город: «постановка такого-то», со всеми мыслимыми и немыслимыми званиями, забыв про давно усопших Петипа, Горского, Иванова, — плевое дело. Никто из балетных критиков-эрудитов за мертвецов не вступится, совесть не замучает — «нам как

аппендицит поудалили стыд» (Вознесенский). А труппа так запугана своим диктаторишкой, наполеончиком, что промолчит, если самозванец себя и в авторы музыки запишет. Рот откроешь — никуда в басурманские гастроли не поедешь. Навечно. Будешь сидеть дома. Все умные стали, молчат…

Меня могут укорить, зачем же ты танцевала те версии «Лебединого», что были не милы сердцу. Следовало гордо отказаться. Мы, исполнители, рабски зависим от балетмейстерского диктата. Главный балетмейстер для нас первонаперво — начальник, только потом — творец. Отец-Бог, отец-сын, отец-дух святой. Все бунты с руководителем кончались выключением тебя из повседневного репертуара. Балерина без практики, без рампы молниеносно теряет форму. Это смерть.

Но я отвлеклась.

Я считала и считаю поныне, что «Лебединое» — пробный камень для всякой балерины. В этом балете ни за что не спрячешься, ничего не утаишь. Все на ладони: два образа — кстати, когда-то «черный» и «белый» акты танцевали две разные балерины, — вся палитра красок и технических испытаний, искусство перевоплощения, драматизм финала. Балет требует выкладки всех душевных и физических сил. В пол ноги «Лебединое» не станцуешь. Каждый раз после этого балета я чувствовала себя опустошенной, вывернутой наизнанку. Силы возвращались лишь на второй, третий день.

Мне самой интересно будет вспомнить, как шла работа над первым «Лебединым». Вот краткие выписки из моих дневников сорок шестого-сорок седьмого года.

6 сентября 1946 года. «Очень бы хотелось танцевать «Лебединое озеро», но Лавровский говорит, что коварная обольстительница Одиллия у меня не получится…»

октября. «Все же начала репетировать с Гердт. Преображенский — принц…»

ноября. «Лавровский все же не дает «Лебединое». Говорит, что сначала надо вырасти!..»

«…И опять начали 20 января 1947 года, и опять прекратили до марта».

«Наконец, 13 апреля состоялся просмотр-прогон во втором зале…»

«27 апреля 1947 года я танцевала свою премьеру «Лебединого». Спектакль был дневной. Я не верила сама себе, что танцую, что исполнилась мечта. Все участвовавшие в спектакле аплодировали мне после каждого акта на сцене…»

Опускаю все интриги и интрижки, новые злокозни Шашкина (объективности ради скажу, что в этот раз мучил он меня чуть

меньше), все пошлые театральные перипетии. Театр — не церковь. Да и в церкви, наверное, есть свои Яго…

Репетиции начались с «белого» адажио. Только тогда мы не говорили слово «белое», а называли цифру — адажио второго акта. Деление на «черное» и «белое» пришло в Большой с Запада. Иностранные труппы, начавшие нас навещать с конца пятидесятых годов, перекантовали «дочь Злого Гения» Ротбарта Одиллию в черную лебедицу. Это деление у нас привилось.

Адажио заучилось быстро. Я танцевала в шести лебедях, потом в трех и глазами уже давно знала весь балеринский текст. Финал акта — уход Одетты — я просто сымпровизировала. Вышло недурно. И Елизавета Павловна сказала: «Так и оставь. Ты взаправду будто уплываешь. Публике уход должен понравиться». На прогоне я от старания добавила амплитуду и волнообразные движения рук-крыльев. Получился своего рода маленький трюк. Кто-то из присутствовавших артистов негромко, но слышно сказал вслух: «С этого ухода Плисецкая соберет урожай…» Голос был женский.

В премьерном спектакле на аплодисменты в этом месте я все же не рассчитывала. Но они были. И немалые. И все восемьсот раз в любой точке планеты аплодисменты закрывали негромкую, затихающую, поэтичнейшую музыку Чайковского.

Третий акт, «черный», шел не так гладко. Технически он труднее и замысловатее. Самый вероломный кусок — сольная вариация. К этому моменту ты уже порядком подустала, выходишь на паузу на центр сцены. Яркий слепящий свет. На сцене ох как людно — и кордебалет, и миманс, и оттанцевавшие невесты, все действующие лица. Ты в центре внимания. Надо показать все, на что способна. Это словно экзамен, конкурс. Глаза труппы жгут вопросом — в какой балерина форме. Публика затаилась. Пора начинать…

Петипа (обычно вариация танцуется в его постановке) «накрутил» трюк за трюком — «два тура с пятой, открывается нога, тур в аттитюд…» — и пошла писать губерния. К финальной позе в глазах темно. А впереди еще две коды. Фуэте и две быстрые диагонали. Позже я заменила фуэте, которое у меня стабильным не было, — не хватало школы — на стремительный круг. Но на прогоне и премьере фуэте получилось без задоринки, «на пятачке».

Четвертый акт больших трудностей не представлял. На душе облегчение — главное позади, технических задач немного. Здесь основное — поэзия и трогательность драматического образа. Финальная музыка балета своим накалом помогает актерской игре. Знаменитая лебединая тема Чайковского, которая у всех

ныне на слуху, звучит в полный голос, со всей мощью…

Моя премьера, несмотря на дневное время, собрала чуть ли не всю театральную Москву. После оркестрового прогона поползла молва, что «Лебединое» Плисецкой удалось. В этом балете надо ее посмотреть. В зале было много громких имен. Сергей Эйзенштейн передал мне через нашу танцовщицу Сусанну Звягину изящный комплимент: «Скажите Майе, что она блистательная девица». Ну а балетный мир прибыл в полном составе. Судили-рядили…

Лавровскому работа понравилась. И он стал ставить меня во все мало-мальски серьезные оказии. В дни праздников либо к приезду важных гостей.

Для гостей я натанцевалась всласть. Кого только не угощали «Лебединым» со мною. Маршала Тито, Джавахарлала Неру и Индиру Ганди, иранского шаха Пехлеви, американского генерала Джорджа Маршалла, египтянина Насера, короля Афганистана Мухаммеда Дауда, приконченного позднее, императора Эфиопии Селассие, сирийца Куатли, принца Камбоджи Сианука… Остановлю перечень. Он занял бы целую страницу. Но об одном «высоком госте» расскажу подробнее.

В Москву наведался Мао Цзэдун. Великий кормчий народов Востока. Чем его потчевать? Никаких сомнений — порадуем Председателя Мао революционным балетом «Красный мак». Но когда пожалует партийный вельможа, сообщено не было. Дирекция давай ставить «Мак» через день. День танцует Уланова, другой — Лепешинская. А Мао все не идет. Вдруг звонит Лавровский (было воскресенье): «Завтра выходной отменяется. Ты танцуешь «Лебединое» для Мао Цзэдуна (то есть в понедельник), уж не подведи». На календаре 13 февраля 1950 года.

Охрана в тот день была удесятерена. Думали, что и Сталин пожалует на балет со своим закадычным дружком. Стража просто бесновалась во бдении. Особый пропуск, который успели отпечатать ретивые блюстители за ночь, проверялся у каждой без исключения двери. Его надо было держать при себе в лифе пачки на груди.

Вы понимаете, что перед «Лебединым» надо хорошо разогреться. И вот я предъявляю и предъявляю свой пропуск стражам, извлекая глянцевый кусочек картона из своей груди и упаковывая его обратно. Надо добраться до шестого этажа, где тренировочный зал. И там безмолвный страж в обвислом пиджачке. Я греюсь, а он не спускает с меня глаз. Но взгляд суровый, бдительный, бесполый. Размялась. И по второму разу — тем же стражам, тот же пропуск.

Но Сталин не пришел. Дела всемирной революции отвлекли

вождя пролетариата от хореографии. А щекастый Мао — тут как тут, в царской ложе.

И перед выходом на сцену, там, где у нас ящик с канифолью, те же безликие, бесполые чекисты, буря тебя глазами, все сверяют твой пропуск с твоей сомнительной личностью.

И я танцую все «Лебединое» со специальным пропуском в груди — оба адажио, вариации, уход, фуэте. Не покидает мысль: вдруг на шене или прыжке пропуск выскользнет и ворошиловские стрелки в ложах примут его за новейшее взрывное устройство и откроют по мне огонь. Чем не Кафка…

В конце спектакля растроганный Мао шлет на сцену гигантскую корзину белых гвоздик. Выясняем — Председатель сам пожелал зреть «Лебединое». Для благоверного китайца красный мак — символ наркотика, порока. Не все то революционно, что «алеет»…

В «Лебедином» у меня было много партнеров. Грешно будет не помянуть их добрым словом. Начну с первого.

Владимир Преображенский проделал со мной всю черновую предварительную работу. Когда учишь новый балет, терпение партнера, уже танцевавшего свою партию, стоит многого. Володя был терпелив и корректен. Вся нервотрепка с отменами репетиций, их переносом, новыми назначениями воспринималась им спокойно и обыденно. Я нервничала и металась, он успокаивал меня, брался похлопотать. И взаправду препирался с Шашкиным, шумел, попрекал. Да и с Лавровским не боялся повздорить.

Преображенский был совершенного атлетического сложения, и несколько преуспевающих московских скульпторов избрали его своей моделью для работы. Полуобнаженные атлеты со станций метро и парков культуры, красавчики-паиньки рабочие, мужественные воины с открытыми лицами были все пугающе схожи с моим первым партнером в «Лебедином». Он держал надежно и старательно.

Слава Голубин был моей первой любовью, и наши «Лебединые» таили для нас обоих нечто большее, чем очередные декадные спектакли. Он хорошо начинал, вел несколько балетов. Но стал пить, и это сломало ему карьеру и жизнь. Тридцатитрехлетним он наложил на себя руки, повесившись на водопроводной трубе унитаза в туалете своей квартиры. Еще одна горькая человеческая судьба.

Юрий Кондратов, тоже рано ушедший из жизни, держал замечательно. У него было редкое врожденное ощущение баланса балерины на ноге. Я «крутила» с ним по десять-двенадцать пируэтов и могла бы «крутить» еще, если бы музыка Чайковского

это позволяла.

Множество «Лебединых» было станцовано с Николаем Фадеечевым. Это когда я уже стала «выездной». Коля был невозмутим, аристократичен. Я любила с ним танцевать, так как наши характеры дополняли друг друга. Вывести его из равновесия было невозможно. За репетицию более десяти слов он не произносил. Его уравновешенность действовала на меня целительно. К сожалению, с годами он потяжелел, прибавил в весе. Кулинарные пристрастия и круглосуточный аппетит не могли не сказаться. В еде он отказывать себе никогда не умел.

Александр Годунов был могуч, горделив, высок. Сноп соломенных волос, делавший его похожим на скандинава, полыхал на ветру годуновского неповторимого пируэта. Он лучше танцевал, чем держал партнершу. Человек был верный, порядочный, совершенно беззащитный, вопреки своей мужественной внешности. Сенсационная история с его бегством из «коммунистического рая» была подготовлена бесприютным нищенским существованием в Большом. Его терзали, тоже долго не выпускали за границу, не давали танцевать. Он сидел без копейки денег, что по его широте и гордыне было мучительно. Даже свой угол он получил только незадолго до побега. Я лишилась Зигфрида, Вронского, Хосе. Пусть теперь судьба будет к тебе милостива, Саша!..

Другой Саша.

Александр Богатырев.

Красивый, как древнегреческий бог, идеально сложенный, романтичный. Партнер безупречный, внимательный. С ним танцевать — как за каменной стеной. О сольном танце заботившийся менее, чем о комфорте балерины. Исступленный воин за правду. Не щадил себя, вступаясь за попранных. Театральная машина и ее водитель-волкодав обрушили на Богатырева пестрый водопад инсинуаций, лжи, черной клеветы. Он отстреливался до последнего патрона. Неравная борьба подорвала его силы, иссушила душу. В спектакли его стали ставить раз в два-три месяца, и то по «пожарным случаям». Он покинул сцену непростительно рано.

Леонид Жданов, Юрий Гофман, Марис Лиепа, Владимир Тихонов, Алексей Чичинадзе в «Станиславском», Джон Марковский в Ленинграде, Николай Апухтин и Валерий Ковтун — мои киевские партнеры в «Лебедином», Константин Сергеев, с которым довелось танцевать в Китае. Может, я забыла кого?..

…Наверное, я танцевала «Лебединое озеро» несовершенно. Были спектакли удавшиеся, были с огрехами. Но моя манера, принципы, кое-какие танцевальные новшества привились,

утвердились. «Плисецкий стиль», могу сказать, пошел по миру. Со сцены, с экрана телевизора нет-нет да и увижу свое преломленное отражение — поникшие кисти, лебединые локти, вскинутая голова, брошенный назад корпус, оптимальность фиксированных поз.

Я радуюсь этому.

Я грущу…

Глава 17
ФЕСТИВАЛИ МОЛОДЕЖИ

«Лебединым» мое положение в театре на порядок укрепилось.

В перечислениях новых послевоенных имен, «подающих надежды талантов», когда разговор заходил о балете, кургузый список начинали с меня. Эта «обойма» имен путешествовала из газеты в газету и предопределила выбор участников на грядущий летом 1947 года Фестиваль демократической молодежи в Праге.

Показушный праздник дружбы молодежи «братских социалистических стран», по плану кремлевских вождей, должен был стать грандиозным голливудским шоу, внушавшим миру, как лучезарно счастливы люди в сталинской тюрьме народов. Каждые два года иная столица порабощенной Сталиным Восточной Европы обязана была перенять эстафету этой дьявольской игры.

Итак, я подаю надежды. Прага — уже заграница. Предстоит первое иностранное турне. Надо оформлять документы. Что это значит? Писатель-провидец Салтыков-Щедрин еще в девятнадцатом веке итожил — российский человек состоит из души, тела и бумаг. Ну уж а в 1947-м…

Перво-наперво надо заполнить анкету. Анкета на четырех страницах. Добрые полсотни вопросов обо всех и обо всем. Был ли в плену, жил ли на территории, оккупированной немцами, как долго, происхождение родителей, девичья фамилия матери, ее послужной список и, конечно, все об отце. Нас, отобранных, заставляли заполнять анкету всем скопом, в уставленной выцветшими красными, «переходящими» знаменами комнате комсомольского бюро. Это была мука. Утаить про отца — невозможно, писать правду — никуда не поедешь. Что делать? Мои соседи, скрипя перьями, шустро царапают. Я все колеблюсь. Пишу, как есть, но марко, неразборчиво. Наверное, не поможет.

Так и вышло. Все уехали, я в Москве. Через день вызывают на собеседование в ЦК комсомола. Про что только ни спрашивают, я верчусь, как уж на сковородке. Не сказать бы лишнего. Кажется, пронесло. Утром вдогонку лечу с лощеным комсомольским клерком в Прагу. Он все молчит. И вдруг проговаривается: «Вы давно враждуете с Лепешинской?» Я виновато улыбаюсь. Что может это означать? Лепешинская тоже в молодых и уже в Праге. Мотив комсомольского вопроса неизвестен мне и поныне. Поломаем голову вместе, читатель.

Никакого балетного конкурса в Праге и в помине не было. Кроме москвичей съехались танцоры из Ленинграда, Киева,

Тбилиси, Ташкента — «дружба народов». Иностранцев не было. С кем соперничать? Соревновались лишь спортсмены и музыканты. Музыкантов обижать не стали, по нескольку советских разделили первое и последующие места. Все вернулись лауреатами, все оправдали надежды. И все же в Праге в первый раз ярко блеснула звезда Мстислава Ростроповича.

Танцоры лишь выступали перед публикой, как обычно. На первой репетиции «белого» адажио «Лебединого», неудачно взяв форс на пируэт, я со всего размаху угодила локтем прямо в нос Голуби ну. Он должен был быть моим партнером на фестивале. Звук был жуткий. Я сломала Славе нос. Открытый перелом. Со швами во все лицо Голубин вернулся в Москву. Танцевала все с Кондратовым.

В том году Прага еще выглядела зажиточно. Частные лавки, маленькие шопы, рынки не страдали от отсутствия товаров. Но денег у нас не было. Кормили всем стадом, по-комсомольски. И мы лишь глазели да облизывались. И все равно контраст был ощутимейший. Московская удавка на чешской шее еще не затянулась. Это предстояло вскорости.

По-одному «в город» ходить было запрещено. Ходи группами, не менее трех человек. Тут уж наверняка один донесет. Возили нас в автобусах. В сотый раз нестройно, но преданно всю дорогу голосили Новикове кий гимн молодежи: «Дети разных народов, мы мечтою о мире живем». Соглядатаев было во множестве. Не запоешь, значит, несогласный, ненадежный. Без голоса, а затянешь…

Много было встреч на фабриках и заводах. Речи без конца. То по-русски, то по-чешски, то еще по-каковски. Потом концерт. Народные ансамбли, присядки, гармошки, частушки. Между частушек устроители втискивали два-три балетных номера. Мой черед. Плюс что-то сольное для вокала либо скрипки, виолончели. Живем хорошо. Классика, мол, тоже у нас в почете, и звезд «прогрессивная советская система» производит в изобилии. И под конец всеобщее братание. Присутствующие дружно берутся за руки, пропевают тот же новиковский гимн, в экстазе скандируют: «Сталин, Сталин, мир, мир, дружба, дружба…»

Я прямо в пачке, перьях, не сняв грима, держу за руки рослого грека с миловидной гречанкой — у них национальный флаг на майках — и силюсь петь со всеми. Старание мое удваивается, как вижу совсем близехонько внимательные глаза лощеного комсомольского клерка. Будет, без сомнения, писать обо мне отчет — как вела себя в первом зарубежном вояже.

Гуртом возили нас автобусами на стадионы «болеть» за своих. Слушать свежеиспеченный Гимн Советского Союза — побеждали

беспрестанно соотечественники. Одаренных атлетов взаправду было много. Светловолосые, с аскетическими крестьянскими лицами, задубленными потом, ветрами, погруженные фанатично лишь в спортивное состязание, — были милы мне, симпатичны. Но в женских соревнованиях иногда первенствовали сокрытые гермафродиты. Проверки на истинность пола на фестивалях в те времена не было. На этих смотреть было жутко. Вроде баба, бугорки на груди, но вглядишься — мужлан мужланом. Зайдет такая в женский туалет, смерит тебя взглядом, дел своих не доделаешь, бежишь сломя голову. Не ровен час…

Двумя годами позже был Будапешт, затем Берлинский фестиваль. Но суть не менялась. Заведенный в Праге порядок оставался незыблем.

В Будапеште состоялось какое-то подобие конкурса, но опять же между своими. Под конец провозгласили, что пять танцоров разделили первую премию. Золотая медаль — на пятерых. Я в их числе, в алфавитном порядке. Все советские, все из Москвы. Первоклассная пара из Тбилиси получила серебро — живи в столице, — тоже поделив его на целую компанию.

Эта скудоумная верноподданническая политика — раздавать все премии советским участникам — держалась долгие-долгие годы. Хорошо танцевать, петь, играть на рояле, ходить по проволоке в цирке могут лишь посланцы Страны Советов. Первой родины социализма. Все остальные, как ни натужься, ни сверкай, — должны быть похуже. Ну уж братья-социалисты, куда ни шло, на вторую премию могут потянуть. Но из мира империализма — ни-ни, упаси Бог. У капиталистов образование плохо поставлено. Там и талант покупают за деньги. Скотины, продажные.

Первой ласточкой здравого смысла была победа Вана Клиберна на пианистическом конкурсе Чайковского в Москве. Но каких трудов это стоило! Я знаю закулисные баталии Эмиля Гилельса (председателя жюри), ультиматумы, требования, наскоки — мы долгие годы жили в одном кооперативном доме на Горького и во дворе, бывало, обсуждали накоротке последние новости. Как его вызывали к министру, винили в отсутствии патриотизма, стыдили, грозили. Если ты такой несообразительный, то хоть подели первое место с советским участником. Объяснения, что по таланту Клиберн на голову выше остальных, в расчет не принимались.

То же было и в хореографическом мире. Это я свидетельствую как двукратный член жюри московского балетного конкурса. Наши контрольные ведомости с цифровыми оценками тем же вечером тщательно изучались в Министерстве культуры и

докладывались «наверх». Голосование было тайным, но подконтрольным. Изъявляй свою волю, а мы поглядим, какой ты патриот, как любишь Родину. Министерские махинации иностранным членам жюри были непонятны. Голову им морочили сильно. Чтобы не очень «рыпались», прикрепленные к каждому персональные переводчики скармливали килограммами черную икру, заливая просоленные глотки столичной водкою. За казенный счет, разумеется. А после государственных яств спится слаще сладкого. Маленькие иностранные бунты за справедливость иногда имели место, но совсем редко. Порции икры удваивались, персональная машина гостя менялась на более комфортную, с рессорами помягче. Бунтари обретали равновесие. Не дурили. Джерри Роббинс, совсем под утро, вконец затолмуженный, миролюбиво отказался голосовать, объявив, что не понимает, что, собственно, происходит. Это был случай исключительный.

«Объективность» советских конкурсов обросла легендами. Зарубежных соискателей в конце концов отвадили к нам ездить. Теперь в путь пускаются лишь косолапые дети миллионеров да перевозбужденные графоманы. А это в помощь натренированной вусмерть советской братии. Достойных нынче калачом не заманишь.

В первых фестивальных загрантурне было вдоволь иди-отств. Все стремились показать в полную мощь свою лояльность к власти, преданность «бессмертным идеям коммунизма». Скажет кто глупость, но нашу, советскую, — не смолчат, поддакнут, головою покивают. Хорошо говорит, верно. А кто подметит что толковое, дельное у чужого, тотчас дадут отпор, осудят. Взвизгнула как-то, увидя из окна автобуса пушистого сенбернара, а наш руководитель (по балетному цеху) хореограф Захаров тут как тут. Отпор мне дает: «Плисецкая, — говорит, — не восхищайтесь заграничной собакой. У нас собаки породистее». Звучит как курьез. Но никто не улыбнется. Правильно говорит Ростислав Владимирович, дело. А слушателей — сопровождающих — полделегации, треть автобуса. Крутом тебя уши, глаза. Чуть что — домой отправят. Никуда никогда не поедешь. И отправляли ведь! Этой кары боялись пуще всего. Такого «навесят», всю жизнь не отмоешься.

В берлинском фестивале запомнились детали. «Умирающего лебедя» мне довелось танцевать в распахнутых кузовах четырех сдвинутых вместе грузовиков. Видавший виды пол автомобилей служил сценой. Танцевала я «Лебедя» и на траве свежевыстриженного газона. Балетные туфли потом были зеленые-зеленые. Как обувка у лешего.

Навеял мне Берлин 1951 года и грусть. По этим, тогда не раскореженным еще, улицам шли мы с отцом, не ведая, как распорядится нашими жизнями судьба. А теперь…

Я пишу о фестивалях, ибо они были моими первыми зарубежными гастролями, первым концертным опытом за границей.

Глава 18
МОИ ТРАВМЫ. МОИ ВРАЧЕВАТЕЛИ

8 апреля 1948 года в Большом шла «Шопениана». Балет вела Семенова. Я танцевала мазурку. Ничто не предвещало лиха. В заключительной коде, на повороте, когда солисты следуют друг за другом в сисонах, Семенова со всего маху наскочила на меня. Удар был неожиданный, и я упала. Резкая пронзительная боль. Не могу встать. Все продолжают танцевать, обходя меня стороною. Нестерпимая боль в голеностопе правой ноги. Кажется, я сильно подвернула ногу. Все танцуют. Я лежу на полу.

Правый голеностоп неправдоподобно пухнет на глазах, словно в фильме Диснея. Я не шелохнусь. Хорошо еще, что до закрытия занавеса какая-то минута с секундами. Но тянется она целую вечность. Как относительно ощущение времени.

Занавес закрывается. Меня уносят в женскую кулису. Солисты раскланиваются. Глухо слышу аплодисменты зала.

Слава Голубин и Руденко, скрестив четыре кисти в подобие кресла, несут меня в артистическую. На голеностоп страшно смотреть. Он весь синий, вздутый. Не разрыв ли связок? Доктора в театре нет. Надо добираться в свой Щепкинский, благо близко. Меня приносят домой. Корчусь от боли.

В училище меня терзало колено. Мое левое проклятое колено. По-ученому — болезнь Гофа, или «собственная связка наколенника». Теперь думаю, что от неправильной постановки ног. Когда ступня упирается не на мизинец, а на большой палец — вся нога разворачивается вовнутрь. Тело давит на колено, а оно опорное и толчковое.

В четырнадцатилетнем возрасте я обила пороги всех тогдашних московских светил-ортопедов. Молила об исцелении. Теперь их портреты на стенах травматологических клиник повсюду, в ЦИТО. Восславленный профессор Бом, к которому я добралась через посредство его дочери Таты, учившейся в последнем классе хореографического, тщательно осмотрел колено. Куда ни нажмет — больно. Заставил исполнить низкое плие. Я не смогла. Бом с сожалением покачал головой и объявил свой приговор: «Надо менять профессию, девочка. Ты балериной не будешь. Колено выправить нельзя…»

Теперь те светила-исцелители пребывают в ином мире. От них остались лишь розовые легенды да строгие портреты по коридорам, пахнущим карболкою. А я еще танцую. Сорок семь лет танцую. Прыгаю, прогибаюсь, верчусь. Колено выдержало как

миленькое. Какое счастье, что не вняла совету великого прорицателя, пошла к знахарям.

Спас меня массажист Никита Григорьевич Шум. Он лечил спортсменов, и кто-то, как мой последний шанс, его порекомендовал. Это был огромный человечище, человек-гора, с руками, как широченные деревенские грабли. В двадцатых годах он выступал в цирке на манеже борцом. Всегда в красной маске, и так и прозывался — «красная маска». На разминке уложил однажды великого Ивана Поддубного на лопатки. Непобедимый чемпион так рассвирепел, что без правил схватил Никиту и швырнул за барьер. От удара ключица, как спичка, сломалась и осталась кривая, безобразная на всю жизнь. Шум принимал, конечно, нелегально — знахари-самородки в медицину и близко не подпускались, были вроде вне закона в сталинском материалистическом раю — в крохотной без окон комнатушке под лестницей, невдалеке от Белорусского вокзала.

Никита Григорьевич часа полтора медленно-медленно прощупывал мне все колено. Он никуда не спешил. В напряженной тишине я слышала лишь гулкие, дробные лестничные шаги снующих туда-сюда жильцов. Затем тягуче произнес: «Будешь ходить ко мне две недели каждый день, мне надо три-четыре часа твоего времени. Снова будешь танцевать, колено отживеет…»

Две полных недели он колдовал над моим бесперспективным, безнадежным коленом. Разминал, правил, грел парафином, клал компрессы, жег холодом, вытягивал, варил снадобья. И все мерно, без спешки. Иногда спрашивал про танец, про семью. Но голос его я слышала редко. Шум был неразговорчив (простите за каламбур). Я доверилась ему и медицински, и по-человечески и рассказала про мытарства моих близких. На пятнадцатый день чародей разрешил мне начать заниматься. Колено было обессиленное, но совершенно здоровое. Надо расплачиваться.

О цене уговору не было. Дяди и тетки вскладчину собрали некую сумму, которую я через несколько дней после конца лечения принесла Никите Григорьевичу в сверточке, смастеренном из театральной афиши. Без всякой позы, не распечатав моего свертка, совершенно просто он отказался взять деньги:

— Тебе они сгодятся самой. А мне подбрасывают футболисты. На жизнь и курево хватает…

К нему обращались и другие танцоры. Он всем помогал. Творил настоящие чудеса. После войны его устроили работать массажистом в Большой. Он обзавелся к тому времени семьей, разжился комнатой попросторнее. Выглядела она как обитель

волшебника. Весь потолок был завешан засушенными лечебными травами, свисавшими почти до полу. Круглолицая, полненькая, в теле, жена, такая же неразговорчивая, как и хозяин обители, ловко сновала между травяными топорщившимися хвостами, никогда их не задевая. За ней тенью следовала маленькая Никитина дочь Ольга. Запах в комнате стоял пряный, дурманящий.

Артисты боготворили Шума. Когда его могучая фигура высилась в кулисах, мы танцевали смелее, без оглядки. Никита в театре, чуть что — вызволит. Его внезапная смерть в 1954 году горестно поразила нас всех. Такие люди не должны умирать! Этакую человеческую мощь природа, казалось, изваяла на целый век, а тут смерть…

На панихиде было море цветов. Огромный венок положила на его гроб Уланова, которой он тоже не раз чудодейственно помогал. Много плохих, злобных людей на страницах моей книги. Наша каторжная советская жизнь плодила и множила негодяев, подонков. Но на этой странице я вспоминаю о добрейшем человеке, несшем страдальцам исцеление с открытым, святым сердцем.

Вернусь к своей вспухшей, синюшной ноге. Шум был в отъезде. Какая-то футбольная команда со всесильным партийным покровителем, уговорив дирекцию, увезла массажиста с собой в важное турне. Кубок Союза или что-то в этом роде. Куда обратиться? Кроме Шума, я не верила никому. Так и отлеживалась, пытая посетителей своих вопросами, не вернулся ли Никита Григорьевич?..

Всю сценическую жизнь травмы не обходили меня стороною. Я рвала икру, защемляла спинной нерв, вывихивала сустав голеностопа, ломала пальцы, разбивала стопы. Каждая из этих травм отодвигала от меня премьеры, отменяла съемки, срывала гастроли. Каждая была трагедией. Не хочу, чтобы книга надолго задержала внимание читателя на моих профессиональных страданиях. Но еще один эпизод вкратце опишу.

Я умудрилась станцевать на сцене Большого три взаимоисключающие постановки хачатуряновского «Спартака». Собственно, премьер последние годы у нас с гулькин нос. Все повторяемся, перелицовываем — дескать, новое прочтение — да дуемся от гордости.

Начала с коварной куртизанки Эгины (хореография Игоря Моисеева), потом воплотила Фригию — верную жену предводителя рабов (работа Леонида Якобсона, весь балет на полупальцах). И опять вернулась к продажной Эгине (фамилию постановщика писать охоты нет). Эта последняя была превоз-

несена у нас до небес, при прямом навязывании своего убогого «революционного» вкуса дряхлеющими членами брежневского Политбюро. Сам стократно орденоносный бровястый генсек, поговаривают, «мудро указал» на схожесть бунтаря Спартака с выдуманными ловкими писателишками лжеобразами большевистских вождей. Дескать, коммунисты не с Марса к народам мира спустились, а имели прародителей еще до Рождества Христова. Кто прокукарекает «ура» вполголоса, не угадав коммунистического пафоса в истории Древнего Рима, тот вроде враг народа. Пой «аллилуйю» да вопи «ура» до хрипу…

На репетиции хореография отторгалась телом. Что-то было искусственным, нелогичным. Я форсировала себя. Отступать не хотелось. Еще скажут — кончилась, не может. В адажио с Крассом в аттитюде надо было взять носок ноги в руку и оттянуться от держащего в противовес партнера. Мышцы спины при этом перекручивались, словно прачечный жгут. Повторяла неловкое движение по десятку раз. И… надорвала мышцы. Пять спектаклей я все же станцевала, но ощущение чужеродного куска дерева в спине не уходило. В танце, что бы ни делала, отзывалось беспокойством, как отнесется к этому спина.

Мне предстояли любопытные гастроли в Аргентине. Был 1978 год. Там вот-вот открывался чемпионат мира по футболу. Слава моя была в зените, в Аргентине я уже побывала, и тамошняя публика меня приняла. Устроители чемпионата замыслили, чтобы Майя Плисецкая сделала первый символический удар по мячу в первом матче чемпионата. С воодушевлением я согласилась.

За три дня до вылета, собирая вещи, я сняла чемодан с высоких антресолей. Что-то в спине пошевельнулось, я сморщилась, насторожилась. Но, кажется, отпустило. Ночью внезапно обрушилась нестерпимая боль. Боль была такая пронзительная, что бесконтрольно начали стучать зубы, била лихорадка.

Щедрин вызвал «скорую помощь». Добродушная, участливая врачиха сделала несколько уколов. О поездке речи быть не могло. Я впала в забытье. Щедрин сидел на телефоне. Нужен гениальный специалист. Катя Максимова, только что тяжко переболевшая с той же спиной, дала ему телефон Владимира Ивановича Лучкова. Он ей здорово помог. Созвонившись, Щедрин привез Лучкова к нам домой. Он произвел отличное впечатление. «Через два дня вы полетите, а теперь начнем лечение…»

Что он только со мной ни делал. Взаправду полегчало, и я, похрамывая, отправилась на другой конец земли.

Пересадка была в Париже. Уже после первых четырех часов

полета боль стала возвращаться. В Париже весь день я отлеживалась в квартире добрейшего нашего дипломата Н.Н.Афанасьевского (его жена Лариса играла на скрипке в оркестре Большого театра). Поздним вечером, уже полуживую, они отвезли меня в аэропорт и посадили в самолет аргентинской авиакомпании. Двадцатичасовой перелет в Буэнос-Айрес истерзал меня всю. Опять начали стучать зубы. Встречавшие были поражены моим видом. Какой чемпионат, какие танцы! Импресарио Давид Цвилик рвал на себе волосы: «Крах, разорение!..»

Я лежала в отеле «Эсмеральда», косясь одним глазом в телевизор на открывшийся без меня чемпионат. Боль сводила с ума. Местный доктор Душацкий сделал мне варварский укол в бедро, после которого я сутки выла на весь отель. Переговаривались с Щедриным по телефону. Он донимал Лучкова вопросами. Телефонные советы не действовали. Может быть, прилет Лучкова помог бы, но советскому врачу «оформлять поездку» в Аргентину надо было бы добрых полгода. Тогда Щедрин созвонился с Мельбурном. Там жил легендарный хиропрактик Френк Фостер. Он магически поставил меня на ноги в 1970 году во время австралийского тура. Тот согласился немедленно прилететь, купив дорогостоящий авиабилет за свой счет. Вот какие есть еще люди на планете Земля!

Лечение Френка помогло, и я станцевала последний из запланированных спектаклей. Станцевала опасливо, вполноги. Увы, это уже было не в Буэнос-Айресе…

Импресарио, стремясь поправить свои финансовые дела, объявил в прессе, что Плисецкая выздоровела и дважды станцует обещанную программу в театре Колон. Сверх плана. Кто еще не сдал в кассу билеты — они действительны.

Журналисты набивали битком репетиционный зал и сообщали в прессе малейшую деталь о моем самочувствии. Ажиотаж был великий!..

Френк Фостер последний раз проманипулировал со мною в бассейне Благословил. И улетел домой, в Австралию. Больше отсутствовать в своей клинике он не мог, пациенты протестовали.

Настал день спектакля.

Все нервничали. Я не показывала виду, но в самой глубине души понимала, что это безрассудство, что зря согласилась на провокативное предложение. Нерв спины до конца не долечен, надо лететь домой, а не потакать авантюре.

Положила грим, хорошо разогрелась. Помялась. Все вроде нормально. Пошла надеть хитон Айседоры, которой открывался вечер. И вдруг, возле самой двери, как подстреленная птица,

почти потеряв сознание от внезапной яростной боли, упала на пол. Правое колено онемело и совершенно потеряло чувствительность. Боже, какие страдания!..

Мрачный человек из дирекции театра вышел за закрытый занавес на публику и в гробовой тишине объявил: «Спектакль отменяется. Плисецкую «скорая помощь» отвезла в госпиталь».

Зал тяжело охнул. Сама этого я уже не слышала. Говорю со слов своего партнера по тем гастролям Валерия Ковтуна.

Вернувшись на щите в Москву, я легла на целый месяц к Лучкову в больницу.

Обстоятельно и серьезно лечил меня Владимир Иванович. Сделал множество блокад, на которые он был великий мастер. Потом отправил на вытягивание в пятигорский санаторий, на радоновые ванны.

Эту невеселую, долгую, мучительную повесть можно продолжить еще и еще. Не скоро удалось мне оправиться после жестокого кризиса. Эту часть рассказа заключу тем, что лишь через три месяца Лучков разрешил мне встать на пальцы, а через четыре — танцевать в сборном концерте «Лебедя». Сам он сидел в первом ряду партера, и перед выходом я разглядела в окантованную холодной железкой дырочку занавеса его, словно посыпанное мукой, застывшее в напряженном ожидании лицо. Талантливый врач волновался больше моего. Разве можно забыть такое…

Воспоминания о травмах набегают одно на другое. Всякий срыв и кропотливое исцеление от него — целая повесть…

…Премьера «Чайки» со сломанным вторым пальцем левой ноги во Флоренции. Перед каждой репетицией, каждым спектаклем я замораживала палец хлорэтилом, битый час кропотливо «улаживала» ступню в балетный туфель, вырезая ножницами атлас немыслимым рисунком.

…И та же «Чайка». Уже в Москве. На «полетах», открывающих представление, где меня в кубе черного бархата возносят и низвергают четыре невидимых публике кавалера в черных костюмах, черных масках, черных перчатках, — все адажио идет в непроницаемой темноте, в лучах лишь белый верх моего торса да распластанные руки, — один из четырех, Лева Трубчиков, при первом же развороте оступается, придерживает мою ступню на миг дольше положенного и… Чертов вывих. Опять заморозка в двухминутном интервале в кулисе, хлор-этил, тугая повязка, и я, обливаясь холодным потом, танцую весь спектакль на ватных ногах.

…Очередная — тысячная — перелицовка «Лебединого». Заболтавшись на сквозняке верхней сцены — там жестоко сквозит

по полу, — с остуженными ногами, начинаю репетировать. Экая дура. Теперь икра. Порыв. Миша Габович-младший сносит меня вниз. Массажист Готовицкий, всегда во хмелю, обжигает разорванную икру хлорэтилом до самой кости. Не пожалел казенного зелья, родимый. Струпья кожи, открытая сочащаяся пунцовая рана. Не подступиться. Гипс накладывают, лишь когда кожа начинает подживать. Упущено время. Пыточно валяюсь дома в постели. Ковыляю на костылях в нужник. Хирург Голяховский два-три раза в день приезжает ко мне через всю Москву из ЦИТО. Пять месяцев вычеркнуто из жизни…

…Седой как лунь, озаренный легендой, польский профессор Груца, к которому я несколько раз специально летаю в Варшаву, чинит мое перетруженное колено. Применяет только-только входящие в медицину токи Бернара…

Сколько же дней из прожитых, из станцованных я провела в офсайде, вне игры! Цифра получится устрашающая. Найти в себе силы к возрождению из пепла всегда ох как нелегко.

Глава 19
КТО-КОГО

Вернусь в театр. В свою жизнь 1948 года. К концу сезона — для меня пятого — в мае нам назначили нового директора. Александр Васильевич Солодовников. Его «царствие» — темная полоса моего театрального существования. Если и раньше все давалось через усилия, преодоление, то изначальное недоброжелательство с самого верха превратило мою жизнь в каждодневное неравное борение. Сейчас я могу домыслить, что кто-то, еще более высоко сидящий, задал ему программу моего «торможения». Но тогда все для меня замыкалось на Солодовникове.

Невзрачный, сутулый, в больших очках, в вечно жеваном костюме с оттопыренными карманами, всегда в белой рубашке, всегда при галстуке. Можно запечатлевать для вечности на любую доску передовиков производства. И еще портфель, с которым он никогда не расставался. Словом, руководящий советский человек с портфелем.

Солодовников начал «антиплисецкую» деятельность со статьи в газете. О молодежи Большого театра. Всем сестрам раздал по серьгам, всех восхвалил, напутствовал. Меня же не упомянул вовсе. Словно Майи Плисецкой ни в театре, ни в природе не существует. Немногочисленные газеты люди читали в те времена по-особому — не всяко слово в строку пишется, все что-то да означает. Совсем на китайский манер. В каком порядке перечисления, кто за кем, кто с инициалом, кто по имени, кому прилагательное, а кому и целая фраза отпущена. Кто «талантливый», кто «одаренный», кто просто «молодой». А тут на тебе — фотографии в «Огоньке», «Лебединое», золотая медаль на фестивале, а исчезла, испарилась, пропала без вести. Театральный мир не обошел статью Солодовникова вниманием. Кто встревожился, кто недоумевал, кто тихо сочувствовал, кто начал сторониться, избегать. Позже это повторялось со мной не один раз. Только масштабы были посерьезнее.

Пошла к директору объясняться, носить камень на сердце — тяжелее. Но попробуй пройди в директорский кабинет через церберов. Десятки раз тщусь объяснить, для чего, зачем, по какому поводу. Долгожданная аудиенция. Очки поблескивают, хмурятся.

— Какая статья? Ах, эта. Но она про молодых. А вы — зрелый мастер. Ведете репертуар.

Я тороплюсь заметить, что другие «названные» на 10–15 лет меня старше, со званиями. Я лишь пятый год в театре. Солодовников встает из-за стола. Разговор окончен. У него государственные заботы, а тут…

Предыдущий директор Федор Пименович Бондаренко, на эру которого пришлись первые мои годы, не встревал в детали — кому что танцевать, солировать, петь. И человек он был мягкий, доступный, незлобивый. В 1948 году этаким «либералам» в императорском театре не место. Только расправились с Зощенко, Ахматовой, выпороли проштрафившихся композиторов-формалистов, всяких там Шостаковичей, Прокофьевых, Хачатурянов. Надо и в театре порядок навести, укрепить дисциплину. И Солодовников взялся за эту работу оголтело, засучив рукава. Я не знаю, как было в опере. Но в балете он стал контролировать состав каждой тройки, шестерки, а уж балеринские партии Лавровский не смел определять один, без директора. Тут зоркий партийный глаз нужен. А то всякие, с неблагонадежным семейным прошлым…

Но балетмейстеры по-прежнему старались занять меня в своих постановках, стремясь обойти «генеральный план строительства балета», по Солодовникову, стороною. Захаров ввел меня в симпатичную партию Девы в «Руслане». Это была первая брешь в солодовниковском бастионе. Танцы в опере бдительный партийный рыцарь оставил без должного внимания. И еще артистки болели, подворачивали ноги. Так и на «Лебединое» пришла во мне вновь нужда, я заменяла надолго захворавшую Семенову. Даже железная Головкина, из которой, по гремевшему тогда по школам стиху Николая Тихонова, можно было ковать большевистские гвозди, простудилась, заболела ангиной и уступила «Раймонду». Живем, курилка! Правда, в будничные дни меня нет-нет да выпишут на невест в «Лебедином» или другие не балеринские партии. Читаю свою фамилию на канцелярской доске. У меня свой ответ. Беру бюллетень. Хворая, мол. Кто кого.

А есть еще комсомол. Многолюдные собрания. Там Плисецкую пропесочивали с остервенением за пропуски политчасов, отлынивание от диалектической учебы. Два раза, еле продрав самой ранью глаза, свершив подвиг, примчалась, взмыленная, к девяти утра в наш театральный выходной (благословенный понедельник) в Дом работников искусств на Пушечной. Там повышают знания основ марксизма-ленинизма недоумкам от искусства. Нудные, пространные лекции читают. Что напророчил волосатый Маркс российским пролетариям на сто лет вперед, как боролся Энгельс с прохвостом Дюрингом, апрельские-майские-июньские-июльские тезисы Ленина с

броневиков Финляндского вокзала, божественные откровения усатого Сталина. И прочая абракадабра. Ничего не понимаю. Хлопаю слипающимися глазами, изображаю неподдельный интерес. Дремлю. На третий раз меня не хватило. Лучше выспаться, во вторник спектакль. А вот и наказание. Гневные отповеди комсомольцев и партийных активистов, мои коллеги беснуются хлеще всех. Прогульщица, аполитичная особа, злонамеренный элемент. Что-то лепечу в оправдание. Шум всеобщего осуждения. Потом добрый месяц мое имя красуется на доске приказов возле канцелярии, выставленное на общий обзор. Такая-то пропускает, не посещает… Ах так? Теперь и взаправду ходить не буду. Кто кого!

10 января в самом начале нового, 1949 года у Файера день рождения. Сталкиваюсь с ним на нашей лестничной площадке, и он, расчувствовавшись, внезапно зовет меня вечером на Семейный праздник. Вчера как-никак дирижировал мне «Раймонду». Вроде триумф был.

Кто же гости?

Голованов с Неждановой, авиаконструктор Яковлев (Вы на ЯКах летали, читатель?), певец Лемешев, Екатерина Васильевна Гельцер. Сидим — едим винегреты с крабами, водочку потягиваем, закусываем зернистой икоркой — от крабов и черной икры ломились тогда прилавки. Террор террором, борьба с космополитизмом на гребне, а жратвы полно. Логика, ясно, дурацкая. Но что было — было.

Звонок в прихожей. Сам Солодовников. Снял шубу и со всеми за ручку. На мне его фальшивая улыбка сходит с лица. Легкий оборот к Файеру. А это как понимать? Файер в замешательстве скороговоркой:

— Это соседка, это соседка, соседка…

Меня так больно колет мизансцена, что через десять минут я неслышно ухожу, не попрощавшись. Я гордая. Зачем со мной так. Живой не сдамся. Кто кого!

Но времени в этот сезон у меня более обычного. На предложение Касьяна Ярославича Голейзовского поставить несколько концертных номеров и показать их в зале Чайковского отвечаю радостным согласием. Быка — за рога. Послезавтра первая репетиция в хореографическом. Начнем с Шестого вальса Шопена.

В 1992 году Голейзовскому 100 лет. Ярчайшая, ни с кем не перекликающаяся фигура в истории русского балета, стоящая совершенно особняком. Экспериментатор, выдумщик, фантазер, оригинал, чудак.

Звучнее всего имя Касьяна Голейзовского гремело в 20-е

годы. Тогда на сцене Большого он ослепительно поставил «Иосифа Прекрасного» на музыку Василенко. Кстати, у Василенко кончал Московскую консерваторию отец Щедрина Константин Михайлович. Это между прочим.

«Иосиф Прекрасный» был настоящей сенсацией. А еще в 1916 году, до большевистского еще переворота, Касьян Ярославич удивил православный мир массовым шоу полуобнаженных дев, водящих сплетенными руками волнообразные чудо-рисунки. Через двадцать с лишним лет в Голливуде этот трюк получил название «герлс». А начались «герлс» в России, с Голейзовского.

А что же делал их создатель в 30-40-е годы? Работал ночным сторожем в гастрономе по соседству с пристанищем. В сталинской империи безработных не было, каждый гражданин обязан был состоять на службе. А кто возьмет на работу зловредного модерниста, вольнодумца, слыхом не слышавшего о социалистическом реализме. И не желавшего слышать. Жена его Вера Петровна Васильева танцевала в Большом балете, и на ее зарплату и оклад сторожа семья скудно существовала и растила сына иконописца Никиту.

В 1959 году, приехав в Ленинград на концерт Щедрина, я сильно расхворалась в гостинице «Европейская». Лежала в постели. Молоденькая горничная, узнав, что я балерина, рассказала мне о жившем неделю назад на том же этаже московском хореографе Голейэовском (богатая самодеятельная клубная труппа выписала его на какую-то постановку).

— Какой же интересный человек. Сколько повидал, мир весь объездил. Жил в Испании несколько лет. Про каждый замок там знает.

А Голейзовский, кроме деревушки Бёхово, что на Оке, где он каждое лето собирал грибы и причудливые корни кустарников, да Москвы с Петербургом, нигде не бывал. Он был классический невыездной! Но бешеная фантазия его носила, метала по миру, жила годами в Испании, бродила по закоулкам Парижа, молилась в пагодах Таиланда, упивалась красавицами Китая, охотилась с аборигенами Австралии. Он никогда не лгал, но всегда без удержу фантазировал.

Но, как ни прискорбно писать, творческого романа с великим Голейэовским у меня не вышло. Конечно, я тому виною, моя индивидуальность. В Голейэовском исполнителю надо до конца раствориться. Исполнитель — слепец, Голейзовский — поводырь. Я этого не смогла, мое непокорное нутро лезло из всех щелей и вступало в конфликт с хореографом.

Тот концерт мы исподволь готовили три с лишним месяца. Состоял он из пяти балетных номеров с музыкальными

прослойками.

«Спящая» в чудаковатой интерпретации с полоумным принцем Дезире (Леонид Жданов). Вальс Шопена с пианистом Юрием Брюшковым посредине сцены. Я — облако, то скольжу вокруг музыканта, то ластюсь к инструменту. Боготворимый им всю жизнь Скрябин (я и поныне не знаю, дружил ли он с ним в реальности, как любил рассказывать, или это тоже была фантасмагория: Скрябину было сорок два, когда он умер, Голейзовскому — двадцать три). Миниатюры Лядова. И бестолковый (прости, Господь, наши согрешения) номерище на советскую тему. Без патриотического оброка концерт не мог бы состояться. Моим партнером был громоздкий, атлетичный Лапаури. Он изображал мерзкого фашиста, я — смелую партизанку. Мы десяток минут в белых балдахонах катались, ползали друг за другом по полу, таились, боролись. Но в конце, как и подобает непобедимому советскому воину, я его варварски душила. Немец дергался в конвульсиях и замирал. Наконец-то встав в рост, я сбрасывала балдахон, и зал видел, что герой-победитель — женщина. Кто кого?

Повидавшая виды и насмотревшаяся, наслушавшаяся всех футуристов века досыта, Лиля Юрьевна Брик, с которой я годом раньше свела знакомство через журналиста Владимира Орлова и его жену Люсю (мы познакомились в ваннах Мацесты, где я долечивала свой вывих), — и то была в полном недоумении.

Но как благодарна судьбе я за те чудесные три месяца работы с Голейзовским. Как рванули они меня вперед!..

В 1959 году Касьян Ярославич поставил мне испанский танец на музыку Щедрина. Премьера тоже была в зале Чайковского, и Родион сам был за роялем (эта пьеса теперь репертуарна и названа композитором «В подражание Альбенису»). Но шедевр опять не родился.

Зато какой шедевр сделал Голейзовский для Васильева — «Нарцисс» на музыку Черепнина. Я задыхалась в счастьи каждый раз, глядя на этот бесподобный номер. А вереница скрябинских миниатюр, шапоринское «Заклинание», наконец, полнометражный «Лейли и Меджнун» (музыка Баласаняна), поставленный мастером на исходе дней его, когда художественная цензура партии чуть ослабила свои щупальца. И все же этот одержимый, наполненный до краев творческим воображением художник не смог до конца осуществить себя в страшной советской стране.

Из этой темной полосы выводит меня опять же «Лебединое». На один из спектаклей, доставшихся мне по замене, пришел тогдашний министр культуры Лебедев. Куда же Лебедеву еще

ходить — только на «Лебединое». Кресло это именовалось тогда не министерским, а председательским. Председатель Комитета по делам искусств при Совете Народных Комиссаров СССР. Бог-царь артистов и музыкантов.

Спектакль в тот вечер мне удался. Атмосфера наэлектризована, как на премьере. Публика захвачена, долго рукоплещет. Цветы, крики «браво». Лебедева представление увлекает. Он расхваливает меня направо и налево. Через третьи руки узнаю, что наш влиятельный Председатель настоял на включении «молодой балерины М.Плисецкой» в число артистов, рекомендованных Комитетом искусств на торжественнейший концерт в Кремле в день семидесятилетия Сталина. До концерта еще далеко, почти целый месяц, — это конец декабря, все может двести раз поменяться. Но что-то внутри твердит — это состоится, ты победишь.

Кто кого…

Глава 20
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТАЛИНА

Историки назовут эту дату без раздумий. 21 декабря 1949 года. Заводилы-коммунисты по всем континентам планеты бесились от подлого усердия, как величественнее отпраздновать день рождения кровавого тирана. Замороченным трудящимся ежечасно внушали, что день сей выше по значению Рождества Христова. Наши братские советские народы ломали головы, какой сюрприз приготовить благодетелю человечества к светлому празднику. Даже открыли музей подарков венценосному вождю. Газеты печатали океаны телеграмм и писем, адресованные «дорогому Иосифу Виссарионовичу». Все «изгалялись» в подхалимаже, какие бы еще слова выдумать, как бы поисступленнее лизнуть, отличившись, рябую да усатую диктаторскую морду. Поэты слагали оды, композиторы — песни, пряхи-умельцы ткали ковры. А артисты мечтали об участии в юбилейном правительственном концерте.

Это сейчас я так думаю. А тогда все застилал сам факт участия в юбилейном светопреставлении.

Новости доходили волнами. То видели меня в августейшем списке, то имя мое выпадало, опять возникало. Подразумевался, конечно, отрывочек из «Лебединого». Так порешил Лебедев. Но вышло по-иному.

На «Дон Кихота» театр пригласил из Тбилиси Вахтанга Чабукиани, танцовщика, слава которого гремела вровень с именами Улановой, Семеновой. Пусть все знатные грузины в преддверии праздника планеты принесут и свое искусство великому компатриоту.

Выставили весь первый состав, а Уличную танцовщицу — эпизод второстепенный, но броский — танцевать некому. Черкасова, наша прыжковая солистка, хворала. Сколько раз мне довелось играть роль палочки-выручалочки!

За две репетиции я осилила «танцовщицу». И, обрядившись в наспех придуманный самой черный с оборками костюм, подбитый красными воланами (раньше «танцовщицу» изображали в белой кофте с монистами и зеленой юбке), лихо исполнила партию. Успех — громовой. Все хвалят. Ноги были легкие, и прыгала я до самого поднебесья. Публика выла. Коли так, порадуем Генералиссимуса к семидесятилетию чемпионским прыжком.

Шашкин вызвал меня в свой мерзкий кабинетах возле канцелярии.

Тебе выпадает высочайшая честь. Будешь участвовать в кремлевском концерте 22 декабря. Это поручение коллегии.

(Что за «коллегия», Создатель?)

Надо станцевать прыжковую вариацию из «Дон Кихота». Репетиции каждый день в Большом зале консерватории.

Начались многочасовые бдения. Ни класса, ни завтрака, сиди битый день на скрипучих креслах консерватории. Жди, когда вызовут. В партере полно сосредоточенных, внимательных господ-наблюдателей. И комиссия, и коллегия, охрана НКВД — все тут как тут. Сверяют физиономии артистов с их «личными» делами по отделу кадров.

Каждый номер гоняют по сто раз. Репетируют поклоны, выход, уход, реверанс к богу. Тут пишу бог с маленькой буквы, Сталин был роста мелкого.

Все поют и поют дуэтом Козловский с Михайловым. Народную песню. Вот-вот сорвут голоса. В полную силу, отлынивать не дадут. Вера Давыдова, от тайной страсти к которой пылало кавказское сердце полководца народов (Москва полнилась слухами), повторяет и повторяет свою бархатную арию. Арий поменяли немало, силятся подобрать самую-самую… Валерия Барсова, знаменитое колоратуро той поры, тяжелая, приземистая, зябко кутается в оренбургскую шаль. Голос устал, похрипывает. Зал консерватории не самый теплый в Москве. Томится Лепешинская. Без нее правительственные концерты не обходились. Сталин ей симпатизировал, прозвав «стрекозой» (опять же слухи).

К тому же составители концертов никогда не забывали, что грозный муж балерины — соратник людоеда Берии. Генералов НКВД боялись нещадно.

Со мной опять все неладно. Прыжковая вариация — совсем кроха, каких-то сорок секунд. Не успеет юбиляр со званными гостями рассмотреть молодое дарование, полюбоваться техникой прыжка. Назавтра велят повторить соло дважды. Прыгаю вторично, теперь с другой ноги. Опять нехорошо. Музыка та же, как шарманка.

Следующий день просто сижу. Танцевать не зовут. Похоже, выкинут из концерта.

Лавровский предлагает комиссии «художественное» решение. Пианисту сыграть прыжковую вариацию Лауренсии, а мне дважды пропрыгать «Дон Кихота». Эрудиты соглашаются. Я с трудом свожу концы с концами: сама танцую, сама балетмейстер. Но сцена консерватории привольная, широкая, прыгаю во всю мощь. Стараюсь. Вылететь из концерта нельзя. Затопчут, засмеют: не подошла. Рыльце, похоже, в пуху…

Комиссия-коллегия довольны. Подзывают, спрашивают, не лучше ли одеться в пачку красного цвета. День-то красный, великий для человечества. Ясно, соглашаюсь Предложите танцевать хоть в маскировочном халате, покорюсь. Обратного ходу нет. Засмеют, растопчут.

А какого цвета, товарищ Плисецкая, будет головной убор, в тон? А прическа? Всем интересуются, гады. Бдят.

Юбилей справляли днем позже календарного дня рождения.

Теперь все по порядку. С мелочами, деталями, страхами.

Начало концерта определили в б вечера (может, в 7, не помню). А в театр надо явиться к двенадцати. Это уж точно. Гримироваться следует в театре. Лишнего с собой ничего не брать. Костюмы лучше надеть тут же Мы взмолились, остынем, не настроимся. На дворе декабрь. Холодище Оперные во фраках, в платьях в пол. А в пачке с голыми ляжками чувствуешь себя за шесть часов до выхода неприютно. Разрешают. Дармоедов, нас конвоирующих, целая рота. На лицах глубокомыслие, преданность, рвение.

Положили тон, намазались. Подвели глаза. Причесались. Я пришпилила красную розу набекрень. Цветок стражи внимательно прощупали глазами. Взаправду бумажный.

Потом долго сидим в ложе дирекции. Торжественно молчим.

Соревнуемся в изображении искреннего душевного трепета на лицах. Все сверхпатриоты, но кто самый…

Кроме артистов Большого, пианиста Гилельса, солистов из ансамбля Моисеева несколько выступающих от республик. Нужно во всем блеске показать нерасторжимую дружбу братских народов. Помню азербайджанца Бюль-Бюль, Тамару Ханум из Узбекистана.

Бесшумно является гонец — машины поданы. Гуськом медленно двигаемся к первому подъезду. Рассаживаемся. Пересчитывают. Все на месте.

Едем.

У ворот Кремля долгая проверка. Разговор вполголоса. Внимательно, не спешно смотрят содержимое сумок. Осторожно перебирают — трико, туфли с лентами, обувной рожок. У аккомпанирующих листают ноты — от корки до корки. Все в норме Ничего подозрительного. Можно двигаться дальше.

У входа в артистический подъезд процедура повторяется с удвоенным старанием. Пропуск сверяют со списком, список с руководителем (в каждой машине свой), руководителя с пропуском, твой пропуск с загадочными цифрами и печатью с театральным документом. Он, ясное дело, при тебе. Долгое сличение черт лица на фото с реалией. Опять взгляд на штемпель

«22 декабря 1949 г., Кремль».

Проходите.

Проходим.

Распределяют по тесным артистическим. На дверях имена. Опять долгая проверка. Вам, наверное, скучно читать это. Но время до выхода на сцену длилось бесконечно.

Перешептываюсь с Лепешинской. Есть ли здесь туалетная комната? Есть, рядом дверь. Выхожу. Стражники в коридоре встрепенулись. Это еще что такое?.. Виновато, тенью, захожу в туалет. Хоть там никого. Приволье, свобода. Может, разве кто невидимый?..

По очереди, опершись на стол, греемся в тесной комнатке Вдвоем не разминуться. Вроде готовы. Ждем, когда позовут.

Все уборные собственной персоной обходит генерал Власик с вышколенной стайкой стройных адъютантов — начальник личной охраны Сталина. Не здоровается, лишь жестко, пристально вглядывается до самой селезенки так, что мороз по коже.

Начинается концерт.

Торжество проходит в Георгиевском зале Кремля. Артисты по очереди ныряют в приоткрываемую двумя светловолосыми гренадерами кованую пудовую дверь. А по коридору — прожекторами — сверлящие, жгущие насквозь глаза. Много глаз.

Ящичек с канифолью тоже под охраной. Специальный страж стоит. Натираю туфли. Поддраживаю. Запугали вусмерть. Не до танца. Ведет концерт Балакшеев. Эхом слышу свое имя. Ирина Михайловна Головина, чин ее и должность могу лишь предполагать, панически шепчет: «Постарайся, Майечка, вовсю…» Дверь приоткрывается. Ныряю.

Слепящий свет.

Все в золоте.

В первом ряду спиной к сцене за длинным праздничным столом вполоборота ко мне размытое моим страхом и ярким светом усатое лицо императора. Рядом с ним Мао. Встаю в препарасьон, звучит рояль. Ну, Господи, пронеси!

Первый прыжок. Катастрофа. Пол паркетный, натертый до блеска воском. Только бы не упасть, поскользнувшись. Это единственное, о чем я думаю.

Как станцевала, хорошо, плохо ли, не понимаю. Но устояла, не грохнулась. Слышу глухие аплодисменты. Сталин, наклонившись, что-то говорит Мао Цзэдуну. Между ними, как на переводной картинке, всплывает лицо безымянного переводчика. О чем говорят вершители судеб? Кланяюсь, натужно улыбаюсь и, как приказали, не задерживаясь, ныряю в приоткрывшуюся бело-золотую дверь. Ловлю себя на мысли, что опустила при реверансе

глаза в пол. Признаюсь через годы — встретиться взглядом со Сталиным мне было просто страшно. Интуитивно.

Никто не реагирует. Все заняты следующим номером. Обессиленная, медленно бреду в свою комнатуху. Бездвижно, долго сижу перед зеркалом. Лицо осунулось, не мое. Отшпиливаю красную розу. Мертвецки устала. Отдышусь, потом переоденусь…

В утренних газетах краткое коммюнике ТАСС о праздничном концерте в Кремле. И моя фамилия там. Это победа. Можно теперь и побороться за свое будущее. Того глядишь, дадут станцевать что-то новое…

Глава 21
ТАНЦУЮ «ДОН КИХОТ», ТАНЦУЮ В ОПЕРАХ ГОЛОВАНОВА

Новым стал «Дон Кихот». После Уличной танцовщицы учу Китри. Эта партия, как и «Лебединое», прошла через всю мою жизнь. И еще Персидку в «Хованщине» с Николаем Семеновичем Голованом за пультом.

После «рождественского» концерта к семидесятилетию Сталина недоброжелатели мои чуть поджали хвосты. Шашкин стал здороваться первым и даже щерить щель тонкого рта в подобие улыбки: не подвела Плисецкая, держалась молодцом (молва о вощеной сцене Георгиевского зала Кремля докатилась до балетных ушей труппы). Даже Солодовников заглянул на один из моих спектаклей в директорскую ложу и помахал, изображая дружелюбие, из-за бордюра программкой.

Набравшись храбрости, я завела с завбалетом унизительный для меня разговор о прибавке зарплаты. С 1945 года она была заморожена. И я, ведя главные балеринские партии, получала ставку третьестепенной солистки. Листая свои дневниковые записи тех лет, наткнулась на слезную фразу: «Невесты»… в третьем акте моего «Лебединого»… получают на целую тысячу больше меня. Кого просить?..» И вот решилась, попросила. Материальная сторона была важна, но вторична. Я по-прежнему не упускала каждого шанса участия в изнурительных концертах. Это был основной источник существования семьи. Но сторона престижная, вопрос моего положения в иерархии балетного коллектива, ясно, была решающей.

Улыбок мне теперь ссужали больше, но робкую просьбу оставили без внимания. Да, да, мол, конечно, помним, не забываем, ценим, но в настоящий момент трудно, понимаете, будем стараться, думать, не беспокойтесь… Вот такой был разговор. Фига с маслом.

Но Китри дали без волокиты. Окунулась в работу с головой. Репетитором была Ильюшенко. Я уже упоминала ее. Острая на язык, всегда невозмутимая, аккуратная. Одевалась обычно во что-то «гороховое», клетчатое. Величала меня Елена Михайловна на репетициях не иначе как «стихией». Тщательно следила за исполнением текста балетмейстера. За отсебятину казнила праведным гневом. Партнером был Юрий Кондратов.

Афиши в театре выходили декадами, три раза в месяц. И

когда вышла очередная афиша с 1 по 10 марта 1950 года, то, увидя свое имя в «Дон Кихоте» в партии Китри в последний декадный день 10-го, я возрадовалась несказанно. Неужели станцую Китри без привычных палок в колеса!

Спектакль прошел успешно. Я была на подъеме. Легче работается, репетируется, когда тебе не строят каждодневно козни. Тассовское упоминание фамилии «Плисецкая» в коммюнике о праздничном концерте в день рождения Сталина продержало меня на плаву добрых полгода.

Были на премьере и курьезы. В первом акте, заканчивая в вариации туры по диагонали, я утеряла равновесие и в финальной точке оказалась идеально в музыку на полу. Словно так только и нужно. Век будешь репетировать, а такое не отчебучишь. Публика оценила мою находчивость и хлопала всласть. В сцене «Сон» я опоздала на восемь тактов с выходом — режиссеры не предупредили, что «Сон» идет тотчас вслед за «Лесом». Я услышала музыку, побежала к кулисе. Пробежка уложилась ровно в восемь тактов. Но и это вполне обошлось. Амур к девятому такту разворачивается лицом ко мне А я тут как тут. Словно он меня вызвал. Все гладко. В финальном па-де-де двадцать восемь фуэте прокрутила идеально, а на последние четыре повело в сторону. Финальная поза пришлась не на центр.

Кланялась долго. Когда занавес закрылся, вся труппа — кто на сцене — разразилась аплодисментами. Уланова зашла за кулисы, сказала приветливые слова и подарила мне книжку о Марии Тальони, надписав на титуле «Майе Плисецкой желаю большой жизни в искусстве». Она была оживленна и взволнованна.

Был и еще один зритель, что стало известно мне много позднее Тринадцатилетний Рудольф Нуриев, оказавшийся ненароком проездом в тот вечер в Москве Когда петербургские друзья позднее рассказали мне это, я поинтересовалась его реакцией.

— Нуриев после первого акта плакал, — был ответ.

При встрече я спросила у Руди, правда ли это либо лишь дружеское преувеличение.

— Неправда. Я не плакал, я рыдал. Рыдал от счастья. Вы устроили пожар на сцене..

И была «Хованщина».

В те годы главным дирижером театра работал могучий музыкант Голованов. Муж легендарной Антонины Васильевны Неждановой (ее имя носит уютная улица в центре Москвы, где жили Шостакович, Хачатурян, вся Московская консерватория, Гельцер, Мейерхольд, Берсенев, Ермолаев, Обухова, Максакова,

там расположен и Союз композиторов…).

У Голованова были свои собственные счеты с советской системой. Сам он был из духовенства, ходил всегда при бабочке, в черном лоснящемся сюртуке, в подбитой енотом шубе начала века. Кончал Московскую консерваторию у Василенко как композитор, но увлекся дирижированием, и в исполнении русской музыки равных ему не было. В начале 30-х годов Сталин печатно обрушил на Голованова изничтожительную, патетическую реплику, обозвав наивные диктаторские наклонности дирижера «головановщиной». (А какой дирижер не диктатор?) Дескать, ликуйте, люди, живете вы, по счастью, в самой демократической свободной стране Не позволим никому попирать рабоче-крестьянское равноправие..

Голованова чудом не посадили. Может быть, легендарная слава жены отвела угрозу? Впрочем, разве что когда-либо остановило Сталина? Я строю свои догадки. Тиран любил игру в кошки-мышки. Любил, когда в придворной художественной свите ненароком мелькали освященные талантом личности, иногда аж графского звания (писатель — граф Алексей Толстой, граф Игнатьев — автор мемуаров «50 лет в строю»), либо отпрыски духовенства (дирижер Голованов, певец Максим Дормидонтович Михайлов).

Посадить не посадили, но из театра выгнали. Нечего насаждать дореволюционное барство в главном театре страны. Голованов всплыл на радио. А потом снова вернулся в театр. Как все двигалось за кулисами жизни, мне неизвестно. Но Голованов во второй раз взял жезл главного дирижера.

Николай Семенович приметил меня еще на «Садко». Я танцевала поставленную Лавровским для подводного акта оперы Римского-Корсакова милую вариацию Рыбы-иглы. Делала я это, очевидно, музыкально, так как Голованов, ругавший всех и вся по-прежнему разве только не площадными словами, со мной был милостив и приветлив. Свидетельствую, как с дирижерского подиума на весь театральный зал неслись на сцену через остановленный им оркестр к любимице вождя Вере Давыдовой слова вовсе не комплиментарные:

— Ну что Вы воете, как волчица?..

Забалованная сталинскими подхалимами донельзя, любимица в слезах убегала с репетиции.

А Веронике Борисенко, яркому сочному контральто, дородной, полногрудой любимице главного музыканта — идеолога при сталинском дворе Жданова, не гнушавшегося при этом покрасоваться на людях в генеральском кителе, хлестал:

— Это Вам ваши генералы-ухажеры говорят, что чисто поете.

А я Вам говорю — ни одной живой ноты…

И эта дородная любимица в слезах малыми шажочками оставляла сцену. Трудно поверить, но Голованову все сходило.

Он и определил меня в состав персидок в «Хованщине».

Щедрин до сего дня уверяет, что природа одарила меня абсолютным слухом. Нот я не знаю (почти). Не мне судить. Но музыку слышу, хорошо помню, отличаю многие полутона в звучании оркестра. Абсолютный не абсолютный, но слух у меня и правда есть. Точнее можно сказать — музыкальность. Этому я отношу голововановскую расположенность к себе.

Танцы в «Хованщине» ставил Сергей Корень. Он вошел в летопись русского балета как бесподобный исполнитель Меркуцио в московской постановке «Ромео» Лавровского. Балетмейстерских опытов у Корня не так много, и «Персидка», думаю, самый удачный.

Всю партию Сергей Гаврилович Корень ставил на меня. После слов князя Ивана Хованского: «А вы там, на женской половине, персидок мне позвать» — я, во след женскому кордебалету, должна была первой вплыть в боярские хоромы мятежного московского вельможи. В музыке томление, нега, страсть (слово «секс» мы с Корнем тогда отродясь не знали). Я с голым пупом а-ля танец живота, в шифоновой шали лишь поначалу, постукивая ладошкой о ладошку, словно о бубен, скольжу кругами, разжигая страсти Хованского. Разжигаю, разжигаю, в музыке большое крещендо, я — как лотос на ветру, князь теряет самообладание, бросается ко мне… Хор поет величальную «белому лебедю, ладу-ладушеньки»… Тут-то и всаживают ему нож в спину. Бунт подавлен.

Все, что поставил Корень, мне очень нравилось. И музыка необыкновенно хороша. Но когда начались репетиции под оркестр с Голововановым, гусиная кожа стала покрывать все мое тело. В кульминации, которую я затаенно, жадно каждый раз весь вечер ждала, поток мурашек леденил мою спину. Относила это я целиком к Мусоргскому. Но когда за пульт однажды встал другой дирижер — на замену Голованову- и наступил черед моих мурашек на кульминацию мелодии… они не появились. Та же музыка, тот же темп, тот же оркестр. И ничето-ничегошеньки. Нет мурашек. Тогда я и поняла, что значит дирижер.

Репетировала Персидку и Лепешинская, хотя включилась в работу позднее меня. На последних оркестровых Голованов был джентльменом. Вся опера шла по разу, лишь персидок он повторял дважды. Один раз — Лепешинская, один раз — я. Подошли генеральные. И Голованов открыто высказал свое предпочтение. Три генеральные и два первых премьерных

спектакля отдали мне. Он действительно никого не боялся. Кое-кто глухо ворчал:

— Мы еще вспомним ему «головановщину»…

В этом же году умерла Антонина Васильевна Нежданова. Они прожили с Николаем Семеновичем целую жизнь вместе, но она была много его старше Голованов тяжело, депрессивно переживал кончину жены. Театр решил 9 октября провести концерт в ее память. Встретив меня в коридоре первого этажа театра, Голованов попросил принять участие в вечере Мне показалось уместным танцевать «Умирающего лебедя».

В глубине сцены на белом фоне, весь в цветах, высился огромный портрет Антонины Васильевны. И тогда, исполняя «Лебедя», близясь к самому финалу номера, я спиной к залу простерла руки вперед к ней, словно прощаясь. Медленно загасили свет. Голованов был растроган.

Через короткий срок Николая Семеновича тоже не стало. Я храню о нем память.

Глава 22
ЖИЗНЬ НА ПЕРЕКЛАДНЫХ И КОНЕЦ ЭРЫ СТАЛИНА

Следующие два сезона были вполне для меня заурядными. Но танцевала я много. И в театре, и особенно в концертах. Колесила на перекладных по всей стране. Деньги зарабатывала. Север, запад, юг, восток. Реактивных самолетов тогда не было. Перелет Москва — Ереван занимал, к примеру, четырнадцать часов. Сегодня это звучит дико.

Сервис наш — советский. Разъедающие запахи бензина и пота пассажиров, оглушительное тарахтение моторов, незапирающаяся дверь в туалет. Грязь. Окурки. Шелуха семечек. Еду брали с собой. Качало воздушные посудины немилосердно…

Прилетали на гастроли, как было заведено, в самый последний момент. Публика в зале, а я, отупевшая после тряски, по дороге из аэропорта цепляю на свою оглохшую башку лебединый убор.

Еще вообразите советские гостиницы той поры.

Теплая вода — два часа в сутки. Всегда такая рыжая, что потом никак дома не отмоешься. Мыло возили с собой. В закутке — кипяток в ржавом жбане, при нем мятая кружка привинчена, на цепи. Это дохлое сооружение и есть гостиничный буфет. На каждом этаже дежурная (а то и две). Сверлят тебя злыми глазищами — не украла ли заезжая актерка наволочку или занавеску, не зашел ли кто к ней в номер попрать коммунистическую мораль. Уезжаешь, все перечтут, проверят, распишутся — можно отворять выходную дверь. И в каждой гостинице, в каждой без исключения, обязательно ремонт. Стучат молотками с восхода солнца, гвозди забивают в твою бедную головушку. Этот рок с ремонтом преследует меня всю жизнь, по всему свету. Это только со мной такая чертовщина, читатель, или вам тоже достается?..

Поездок были сотни. В харьковскую оперу, на семилетие освобождения Смоленска от немцев, на юбилей сталинского садовода Мичурина, который наобещался вождю народов скрестить такие сорта ячменя с виноградом, что будут плодоносить в тундре на берегу Ледовитого океана. Минск, Рига, Таллинн и — Рязань, Брянск, Калуга. Ленинград, Киев и — Серпухов, Орел.

Остановлюсь в перечне Я объездила всю страну. Избегала

только Сибири. Лететь больно далеко. Да и слою страшное. Не тянуло туда.

Но что было делать. На мизерную театральную зарплату — не проживешь. А за каждую поездку платят наличными. И куда лучше, чем в театре. Намучаешься смертельно, но зато деньги в сумочке есть.

Труднее всего было выкроить время между занятостью в репертуаре и репетициями. Я всегда старалась спланировать поездку вокруг понедельника — нашего выходного. Нелетная погода. А она в России всю осень, зиму, весну — нелетная. Вылет задерживается. Сидишь в аэропорту, в захарканном зале ожиданий, клопы жрут, зябнешь, нервничаешь — не опоздать бы на утреннюю репетицию…

По весне в театре тоже начали ремонт. И труппа выступала в Зеленом театре Парка культуры Горького. Позже в Голливуде сделали кинобоевик про шпионов всех мастей и народов в этом самом парке Парк прославили. Но к нам — балету — это отношения не имело. Знали бы голливудские сценаристы, что в Зеленом театре Уланова танцевала «Красный мак», я — «Лебединое», наверняка накрутили бы с три короба…

Московские вечера холодные стылые часто моросит дождь. Приходилось незаметно добавлять что-то утепляющее Уланова под свою китайскую шелковую пижамку поддевала шерстяную кофточку. А я пару раз танцевала в двух трико. Поклонники огорчались — никак, растолстела.

Нового я в эти годы сделала немного. Танцевала Зарему в «Бахчисарайском», Вальпургиеву ночь в «Фаусте». Начала репетировать балет «Рубиновые звезды», к постановке которого присту пил Лавровский. Музыку написал Андрей Мелитонович Баланчивадзе — родной брат великого хореографа Джорджа Баланчина, — всю жизнь проживший в Грузии (я уже успела прогуляться по маленькой нью-йоркской улочке вблизи Бродвея, носящей имя американского Баланчина). Сталинский железный занавес развел братьев на десятилетия по двум континентам. Свиделись они только в годы брежневского застоя. Хореограф осуществил себя до конца. А композитор даже с невинным балетом сел на мель.

Сюжет балета был маловразумительный, но вполне угоднический к советскому режиму. Дело происходило на Кавказе. Героиня носила имя Джейран, и ее, естественно, репетировала Еле на Чикваидзе, жена Лавровского. Я числилась во втором составе, но вся работа приходилась на Чикваидзе.

Любовный треугольник, один из соперников — русский, второй — грузин. Фронт, подвиг, героическая гибель, девичья

верность, возвращение с победой. Словом, «нерушимая дружба народов», которую провозгласил на века прозорливый Сталин. Сейчас эта дружба расползлась по швам, залита кровью. Но тогда под дулами пулеметов все сидели смирнехонько, подыгрывали монарху в его марксистской антиреалии.

Выстроить действие с заведомой фальшью было трудно. Лавровский, нервничая, без конца менял стержень конфликта: то погибал русский, то грузин, то Джейран намеревалась броситься со скалы, то возвращались целехонькие с фронта оба…

Артистов запутали вконец. Михаил Габович порвал ахилл, в пожарном порядке главную роль поручили другому. Им стал Юрий Жданов.

С грехом пополам дошли до чистового оркестрового прогона с публикой. Фактически генеральная.

Бесшумно, настороженно прибыла многолюдная цековская комиссия.

После запрещения оперы Мурадели «Великая дружба», постановления 1948 года о формалистах в музыке, смрадных жданов-ских речей, гражданских казней Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна, Мясковского комиссия сама была с полными штанами от страха. Опять действие развертывается на Кавказе, опять автор музыки с грузинской фамилией, опять, опять…

Спектакль закрыли. Сочли за благо не доводить дело до премьеры. Но деньжищ ухлопали прорву.

Где же бдительность руководителей? Где были? Дремали?

Был снят директор театра Солодовников (я радовалась, враг повержен) и председатель Комитета по делам искусств Лебедев (это жаль, он вроде благосклонно ко мне относился). Что поделаешь, сыграли вничью, 1:1. Их кресла заняли многоопытные чиновники Анисимов и Беспалов.

История с «Великой дружбой» известна широко. Но публичная порка других спектаклей на сцене Большого осталась у исследователей в тени. А ведь после «Великой дружбы» официоз партии газета «Правда» громила оперы «Богдан Хмельницкий», «От всего сердца» и краем коснувшийся меня балет «Рубиновые звезды». Хотя «Звезды» партийцы душили через подушку, по-тихому.

Я ничего не забыла?..

В мае 1951 года отмечался 175-летний юбилей Большого театра.

В России юбилеи всегда в чести. Направо-налево раздают звания, премии, орденишки, грамоты. Как замаячит какая круглая дата, люди приходят в смятение и беспамятство — не упустить бы

шанс свой, урвать, что достанется. Выгрызть. Следующий юбилей подойдет не скоро. Состаришься. Начинаются отчаянные интриги, подсидки, многие руки не ленятся подметные письма писать. Кто прыток — прорвется на прием к важному партийному лицу, грязью зальет всех и всякого. И нашему театральному юбилею предшествовала доносная чехарда.

Балет выдвинул меня на звание «заслуженной артистки». Но комсомольская организация бурно возражала. Политически незрела, мол. Своенравна. Но профсоюзная организация вякнула «за» — ездила по госпиталям, в шефских концертах плясала.

Начались тяжбы.

Новое начальство читало мою фамилию в тассовском перечне участников сталинского юбилея. Заприметило мое имя. Это и решило судьбу еще одного маленького сражения. 27 мая 1951 года я поднялась на несколько ступенек ввысь, стала «Заслуженной артисткой Российской Федерации». Список награжденных объявляли во всеуслышание по радио. Отныне в каждой программке, афише я значилась под этим титулом.

На Ленфильме начали снимать первый советский балетный фильм «Мастера русского балета». Видеокассету с ним можно купить и сегодня в Америке и Европе Судьба мне улыбнулась, и я запечатлелась в нем в роли Заремы в дуэте с Улановой — Марией.

Но улыбка судьбы была обратной стороной ее гримасы к бесподобной ленинградской балерине Алле Шелест. Это еще одна ученица Вагановой, и одна из самых одареннейших. Фильм весь снимался на базе балета Кировского театра. Я одна в нем из Москвы.

А дело было вот как. Готовилась к съемкам Шелест. Но за несколько дней до начала работы над фильмом Алла попала в автомобильную катастрофу. Ноги-руки остались целы. Но ветровое стекло, разбившись, порезало ей лицо. Вдобавок сильный удар о стояк кабины сломал нос Какие тут съемки. В пожарном порядке вызвали из Москвы меня.

Много раз, беря интервью, мне по всему свету задавали один и тот же вопрос кто из балерин, на Ваш вкус, на вершине балетного Олимпа? И всю жизнь я называла три имени. Семенова, Уланова, Шелест. Их назову и сегодня. Лучше балерин за свою жизнь увидеть мне не довелось. Павлову и Спесивцеву живьем я не застала. По сохранившимся наивным кинокадрам и фотографиям могу утверждать, что это были великие танцовщицы. Но меня спрашивали о моих зрительских впечатлениях из зала. И я отвечала. Семенова, Уланова, Шелест.

Уланова и Семенова оставили о себе легенды. Их имена не

нужно было комментировать. А имя Аллы Шелест в мире не знают. Меня всегда переспрашивали. Кто третья? Шелест? Из Кировского театра? Какой спелинг ее имени? Ш? е? л? е? с? т?? Правильно?..

Жизнь бывает несправедлива к таланту. Но поэт, композитор, художник пробьются через века. Если у них термоядерный заряд, конечно.

Пролежала «Неоконченная симфония*' Шуберта на чердаке венского дома пятьдесят два года. И ничего, не испортилась. Не взял шедевр тлен. Рисовал Ван Гог свои подсолнухи и ландшафты. Издевались над ним, в лицо смеялись. Ничего. Выдюжил. Только вздорожал до миллионов в цене. Повесилась Марина Цветаева в Елабуге. Одна-одинешенька, никем, совсем никем не признанная. Но настал, «как драгоценным винам», ее черед. Хмурится грустное лицо Марины с витрин книжных магазинов по всему свету. Корит. Где же вы были, люди, когда я веревку к крюку прилаживала?..

А балеринам — горше. Прошел их век, кончился, ничего не осталось. Пустота. Кто рукоплескал им, слал корзины роз — уже в могиле. Не поделятся своим восторгом с балетоманами.

В редчайших случаях, когда балерина гениальна, не меньше, — фотография, даже самая старомодная, скажет знатоку многое. Птица, и когда сидит, видно, что птица.»

Многие роли Шелест я не могу забыть. Жиэель, Эгина, та же За рема. «Слепая» в постановке Якобсона заставляла меня плакать. А выжать из коллеги слезу ой как трудно.

Но сценическая судьба Шелест была несчастливой. Всю жизнь что-то приключалось с ней в последний момент. Рушилось. Она сама трунила над своим злым роком, что в девятилетнем возрасте собралась с одногодкой-мальчиком в кино. Нарядилась в лучшее выходное розовое платье. В кулачке зажала деньги, которые родители дали на сласти и билет. Внезапно мальчик столкнул Аллу в грязную лужу, вырвал деньги и с гиком убежал. Она сидела мокрая, перепачканная в липкой глине, уязвленная в самое сердце нестерпимой обидой, и горько рыдала. Так и сложилась вся ее последующая жизнь…

Годы расцвета Шелест пришлись на время, когда никто из России никуда не ездил. Премьер было мало. Худруком Кировского балета был Сергеев, и все, что делалось, делалось на его жену Наталью Дудинскую. Для Шелест на светофоре всегда был зажжен красный свет. В сорок с небольшим ее незаметно вывели на пенсию.

У Шелест был дар необыкновенного перевоплощения. На сцене она была немыслимо красива. Божественно красива. После

представления затухала, снимала грим, вставала под душ. И когда проходила через толпу наэлектризованных ею поклонников, запрудивших тесный артистический подъезд, то ее не узнавали. Она шла домой одна. Так была неприметна.

…Я опять отвлеклась. За морозными окнами театра и Щепкинского, 8 еще продолжалась сталинская эра. Только год на календаре поменялся — с 52 на 53. Шла вакханалия разоблачения врачей — «убийц в белых халатах». По воле зловещего замысла НКВД все они были евреями. Агентами сионизма. Мрачными тенетами муссировались страшные слухи, что Сталин намерен переселить все иудейское племя на Дальний Восток, в Биробиджан. Он уже выселил целые народы — немцев Поволжья, крымских татар, чеченцев, ингушей. За одну ночь выселил! Опыт у советской карательной службы на сей счет был хороший. Что ждет меня?..

Из поликлиники Большого театра вышвырнули за дверь отоларинголога Валю Фельдман. Оперные в ней души не чаяли, она лечила их несмыкания связок.

Разве можно работать при императорском учреждении дочери врага, убийцы-терапевта профессора Фельдмана, который пропечатан в черном списке в газетах! И поделом — уже сидит в тюрьме. Парторг театра, некий товарищ Яковлев — парторгов слали со стороны, этой стороной всегда были НКВД и ЦК, — на многолюдном собрании артистов в Бетховенском зале Большого потрясал сжатыми кулаками…

— Бдительность, бдительность и еще раз бдительность. Враги у нас под носом, дочь убийцы Фельдман свила гнездо в нашей поликлинике…

Но Господь смилостивился. 2 марта 1953 года Левитан зачитал ледяным голосом бесперспективный бюллетень о здоровье подлинного убийцы — Сталина. Похоже, мы осиротеем.

Четвертого я стояла в афише в «Раймонде». Состоится спектакль? Или отменят?..

Все вполголоса спрашивали друг друга. Никто ответить не мог. Шашкин, осунувшийся от усердия, накручивал диски телефонов. Но никакой команды «сверху» не поступило.

«Раймонду» я, однако, станцевала. Кое-кто из знакомых, кому я оставляла просимые билеты в кассе, на спектакль не пришел. Испугался. Билеты пропали. Как еще все обернется. Выздоровеет вдруг чудотворный гений, и соседи донесут, что в самый решающий, трагический момент истории семья NN развлекалась, безыдейные балетики посещала…

Пятого Сталин умер. К Колонному залу, где лежало его тщедушное усатое тельце, потекли безбрежные толпы людей.

Мне, как участнице концерта в день его семидесятилетия, выдали «драгоценный» пропуск. Партком, похоже, счел нас знакомцами.

Через станцию метрополитена «Охотный ряд», что напротив нашего театра (жила-то я на Щепкинском, 8, близехонько), мне удалось влиться, предъявив пропуск сомкнутой вдвое шеренге солдат, в человечье море.

Колонный зал, бывший зал Дворянского собрания, где по новой большевистской традиции отпевают и оплакивают советских вождей, обит черным крепом. На сцене, за кисейной черной занавеской, симфонический оркестр. Неясный силуэт дирижера. Звучит тягучая, медленная классическая музыка. Кажется, Бетховен. Я приближаюсь к гробу. Задуренная оголтелой пропагандой, утираю набежавшую слезу. Как же мы теперь жить-то будем? Пропадем, погибнем. За спиной, внезапно, мужчина полушепотком:

— Теперь-то тебя никто не боится…

Я в ужасе, даже не оборачиваюсь. Наверное, провокация. Испытывают.

Вечером дома, с приличествующей случаю Великой Потери постной физиономией, сажусь за ужин. Но мать с кухонными тарелками веселая, ликующая, не скрывает радости:

— Сдох-таки тиран…

Как не страшно произнести такое вслух! Я внутренне содрогаюсь…

Но начинается новая эра. Эра без Сталина.

Глава 23
ПОЕЗДКА В ИНДИЮ

Эта глава — трагикомическая. Слякотной осенью того же 1953 года меня вызвали на Неглинную улицу. К товарищу Беспалову Н.Н. Теперь у нас был не Комитет по делам искусств, а Министерство культуры. Страна семимильными шагами двигалась к коммунизму. С министерствами ей двигаться сподручнее. Быстрее добредем.

Министром после смерти Сталина был назначен боевой партизан Пономаренко. В войну ведомое им партизанское соединение лихо пускало под откос немецкие эшелоны. Тут рукой подать до искусства. Но Пономаренко витал в небе. А Беспалов сидел на Неглинной, через улицу от Большого, нами, смертными, руководил (точный чин его я не упомню: то ли Зам, то ли Первый Зам).

Я в его кабинете. В витиеватом разговоре Беспалов желает понять, созрела ли я для настоящей поездки за границу. Фестивали в Праге, Будапеште, Берлине были пробой. Репетицией, так сказать. Ковали социалистическую сознательность.

Окольно спрашивает, какой политический строй в Индии, какой город — столица, многочислен ли индийский рабочий класс?.. А потом сразу обрушивает:

— Тут у нас сложилось мнение включить Вас в артистическую группу в двухмесячную поездку по Индии. Справитесь? Я назначен руководителем…

А я бы с Австралией справилась, с Новой Зеландией совладала бы. Даже с островами Фиджи. Но туда пока поездки не предвидится. Не начали еще их народы справедливой борьбы за социальное равенство. А индусы зашевелились, с интересом стали взирать, только-только высвободившись от английского владычества, как восходит заря счастливой жизни над Великим соседом. Советским Союзом то есть.

Собеседование с Н.Н.Беспаловым было только началом.

Еще для поездки требовались две письменные рекомендации от членов партии. За меня поручились Михаил Габович и Ольга Моисеева, артистка кордебалета. Если б я что натворила, с них содрали бы шкуру. И опять анкеты с сотнями вопросов, медицинские справки, решения всяческих бюро.

Но через игольное ушко я в сей раз прошла. Включена в поездку.

Таких счастливцев отобрали тридцать шесть.

Певцы Большого Максим Дормидонтович Михайлов и Лео кадия Масленникова. Опять же пианист Юрий Брюшков (помните концерт Голейзовского?). Скрипачка Каверзнева. Группка танцоров из хора Пятницкого (русские народные плясы, дробушки в расписных сарафанах и рубахах навыпуск). Певец из Азербайджана Бейбутов (народные восточные мелодии). Узбекская танцовщица Тургунбаева (аккомпанементом был бубен). Мой партнер в этой поездке Юрий Гофман. Популярные в то время народные певицы сестры Федоровы — русский джаз-голл (все они потом дружно перебрались на Запад, повыходя по очереди замуж). Итого — сборная солянка, помесь французского с нижегородским. Концерт часа на четыре, досмотреть его до конца деликатным индусам было не под силу. Но терпели, мучились.

И… сопровождающие.

Сам Беспалов. Незаменимый, везде поспевающий Шашкин, востроносая переводчица, верткий администратор, выдававший мизерную деньгу. Кто-то еще… И два официальных представителя ГБ (государственная безопасность). Щербаков и, кажется, Столяров. От них пришли мои серьезные беды. После Индии я шесть лет была невыездной. Здорово съездила. Ничего не скажешь.

В обжигающе морозный декабрьский день вся наша семидесятидвуногая депутация (нас было, напомню, 36) отправилась из Москвы поездом в Вену. Там пересели в другой поезд до Рима. Из Рима надо было самолетом лететь до Дели (через Карачи). Но два дня в Риме нам от судьбы выдались. После Шпицбергена, Чимкента, Свердловска попасть в Вечный город даже на семидесяти двух ногах — радость.

Что описывать Рим! Я вдыхала, дивилась, восхищалась… Но отойти чуть в сторону, задержаться у фрески Микеланджело было нельзя. Сопровождающие, как назойливые мухи, контролировали буквально каждый шаг твой. Да еще с усердием присоединились работники советского посольства. Все в длинных габардиновых макинтошах. Все одного цвета. И все-таки узникам, рабам показали Рим. Довообрази мое состояние, читатель.

Летим. Минуем Карачи. Выходим на трап самолета в Дели в тридцатипятиградусную жару. Темноокие индийские красавицы в сари надевают тридцать шесть венков на тридцать шесть советских шей. Незнакомый говор. Воркотня переводчиков. Склоненные в «намаете» хозяева — принимающая сторона. Беспалов держит ответный спич, через слово поминая усопшего Сталина. Но уж без прежнего трепета. Еще для проформы. Нас везут в гостиницу. Дорога из Москвы заняла шесть дней.

Послезавтра первый концерт.

Индусы расщедрились, и каждому артисту, кто со званием (а я артистка теперь «заслуженная»), предоставили отдельный номер. Вот приволье… Но не тут-то было. В соседнем номере разместились чекисты. Щербаков и опять, кажется, Столяров. Второго я помню смутно — у него какое-то другое задание было, следить за кем-то еще. А Щербаков, это было как день ясно, — мой персональный сторож. Чуть скрипну дверью, Щербаков голову из своего номера высовывает. Взглядом мерит. Куда я — туда и он.

Слежка была омерзительна и очень утомляла. Войду в магазин, словно из-под земли вырастает Щербаков, наклоняется через плечо, шумно дышит, доглядывает — чем интересуюсь.

Вы много по магазинам ходите. Вообще вещи надо выбирать быстрее. Это не Москва, — учит меня Щербаков хорошим манерам, приблизив почти вплотную потное лицо в гостиничном лобби. У него дурно пахнет изо рта.

Задерживаюсь после приема с популярными киноактерами Раджем Капуром и Наргис. Они хотят сфотографироваться со мной на память. Щербаков нервно переминается с ноги на ногу и люто косится на циферблат часов.

Не надо от группы отделяться. Вы же в коллективе. Долго лясы точите, — выговаривает мне Щербаков в легковой машине на обратном пути.

Скидываю в музее, в сторонке, намявшую за день пальцы туфлю. Присаживаюсь на скамью. Ходить устала.

— Опять Вы отделились от всех. И обувь снимать не положено. Туфли Ваши в пыли. Аккуратнее чистить надо, — шипит мне в ухо Щербаков, едва мы выходим из музея на улицу в заливающийся солнцем день.

Я несколько раз срываюсь в ответ. Сносить два месяца эти нравоучения человечьего терпения не было. После каждого срыва мой сыщик становился мрачнее и злобивее. Я понимала, что совершаю глупость. Отыграется мне больно. Но масштаб расправы был мне все же не очевиден.

Каждый день шли концерты. Мы побывали во многих городах. Индусы из классического репертуара принимали лишь моего «Умирающего лебедя». У «Лебедя» был постоянный успех. Все остальные номера, включая мои собственные (а я танцевала па-де-де из «Дон Кихота», вальс Хачатуряна, адажио из «Золушки»), публика встречала только с вежливостью. Им было важно знать, что это означает, про что это. А про что па-де-де из «Дон Кихота»? Я и сама не знаю.

Индусы люди непьющие. Михайлов же пел лишь пьяные

песни. «Широкая масленица», «Налей-ка по чарке еще», «Сдвинем бокалы», «Сладка водочка да наливочка». Голос у него зычный, мощный, звон в ушах стоит. Индусы пугались. Да мимикой певец доигрывал недостающее, изображая последнюю стадию опьянения. Индусы и вовсе недоумевали, глубже вжимались в кресла.

Пространная ария из «Проданной невесты», проплаканная Масленниковой, сочувствия не вызывала. Скрипичные и фортепианные миниатюры публика лишь терпела, украдкой позевывая и скрипя стульями.

И все-таки нас принимали дружелюбно и сердечно.

Три раза, целых три раза, на концерты приходил Джавахарлал Неру. Один раз с ним была Индира со смуглым мальчуганом в аккуратной белой индийской курточке. Это был Раджив, теперь уже разорванный на куски бомбой террористки. Если бы люди могли заглядывать в свое будущее!..

На приеме после одного из концертов в Дели я сидела по правую руку от Неру, так распорядился его протокол. Премьер несколько раз начинал заговаривать со мной то по-английски, то по-французски, смотря умнющими вопрошающими глазами. Но я, неграмотная, как и все население моей страны — кому да зачем в Советской тюрьме могли сгодиться иностранные языки, беду кликать? — пробавлялась междометиями и жестами.

Неру подозвал переводчика-индуса и задал мне несколько занятных вопросов. Знаю ли я, что лебедь самое верное из живых существ на земле, что когда самец погибает, то самка, взмыв высоко в небо, камнем бросается на землю, не раскрыв крыльев, и разбивается насмерть. Что лебедь в смертельной агонии громко горестно стонет, можно сказать поет, — звуки осмысленные и мелодичные. Что лебединое чувство семьи должно стать образцом для человечества.

Принесли дымящийся проперченный плов, и Неру стал аппетитно есть его концами своих тонких аристократичных сандаловых пальцев, изящно сложив их в щепоть, жестом пригласив меня следовать его примеру. Прозвучала реплика, сказанная через замершего, как мумия, за нашими спинами полиглота-индуса:

— Это блюдо есть вилкой и ножом — все равно что любить через переводчика.

Я принялась смачно поглощать вкусный плов пальцами.

С другого стола истуканом смотрел на меня Щербаков. Волком смотрел. Кусок застрял в горле. И тут соглядатай бдит. Жрал бы на дармака, подлая душа, не отвлекался. На площади Дзержинского таким пловом, небось, не накормят.

После ужина Щербаков бесшумно, как рысь, оказался возле меня.

О чем премьер-министр разговаривал с Вами? Почему Вы не позвали нашего советского переводчика?

Неру спрашивал меня про Вас…

Вы всерьез или…

Все едят, а один не притронулся. Может, он верующий, постится?..

Щербаков понял, что я издеваюсь. Побелел от злости.

Но это были цветочки. Ягодки поджидали меня в Бомбее. После первого концерта на сцену, минуя растерявшихся индусов-дозорных, пришла и стала искать меня бывшая ученица Вагановой Воробьева. Откуда она взялась здесь? Как оказалась? Раскидала судьба российских людей по всему белу свету. Годами позже я встречала «пропавших без вести» солдат войны и на Тайване, в Северной Ирландии, Перу. Запрятались они в дальнюю даль от сталинских ищеек, стремясь выжить. Не хотелось им класть головы на плаху, мыть золото на Колыме, околевать за Полярным кругом.

С Воробьевой я знакома не была. Миг бомбейской встречи свел нас первый и последний раз в жизни. Наспех представившись, сказав, что живет в Индии с войны, она бросилась мне на шею и, обливаясь ручьями слез, наговорила комплиментов. Это был взрыв чувств от встречи с балетной классикой, родной речью, позабытыми соотечественниками. В полотняном халатике, шлепанцах на босу ногу, только-только обтершись мокрым полотенцем, в каплях воды, я, смущаясь, внимала ее сбивчивой речи.

В порыве чувств Воробьева протянула мне свою вытканную индийской парчой зеленую замшевую сумочку. Там были конфеты.

— Это все, что у меня есть с собой. Возьмите на память… В проеме двери возник Щербаков.

Обняв меня на прощание, Воробьева торопливо ушла.

— Что Вам всучила эта предательница? Зачем взяли? Почему говорили с ней? Конфеты наверняка отравленные. Это опаснейшая провокация…

Щербаков вошел в раж. Наконец-то! Вот они, эмигрантские козни, подкуп, яд. Будет теперь, что доложить по начальству в Москве. Обезвредил провокатора. Звездный час поездки. Не зря потратилось рабочее государство на его суточные, отработал их сторицей. Теперь и в чине повысят…

Эти дармоеды-соглядатаи, не знающие ни слова ни на одном языке, во всякой поездке — пыточная традиция захлебнулась

лишь в 1990 году — искали малейший повод, чтобы раздуть целое дело, сочинить историю, выставить себя в геройском свете, очернить артиста. Хотел, мол, остаться, сбежать. Если бы не мы, наша зоркость.

Коли поездка проходила гладко — все были шелковые, паиньки, безответные, молчаливые, то тогда чекисты выдумывали туфту: как плелась паутина вражеского заговора около советского человека, как он чуть было не поддался, дрогнул, проявил слабость. Прельстился на посулы. И сгинуть бы ему, горемыке, в бездонном омуте иностранных разведок. Но Органы разглядели все козни и происки… Правдоподобие истории обычно зиждилось на том персонаже (или тех), кто выехал за границу со скрипом. В чьем личном деле были зазубрины, темные пятна. Хотя и стерильных людей оговаривали не за понюшку табаку, писали свои доносные «телеги».

Я и по сей день не знаю, была ли слежка Щербакова ретивым выполнением начальственного наказа. Либо это был садист, мерзавец, действовавший по наитию. Дорого дала, чтобы хоть краем глаза заглянуть в свое пухлое личное дело, настряпанное кагебистами!

Сколько жизненных сил выкрали у меня эти люди без чести и совести.

А персонаж я была подходящий. Есть чем поживиться. Неблагополучная биография, ершистый, нетерпеливый, независимый характер, захлестывающая через край горячность. Щербаков и вновь, кажется, Столяров, без сомнения, изучали мое личное дело, мусолили его страницы.

…Щербаков резко выхватил зеленую сумочку. Выгреб конфеты и вышвырнул их в распахнутое в ночи окно. — А сумочку я еще изучать буду…

Я понуро выглянула вниз. На улице темень. Конфет не видно. Одна завалялась — белеет возле фонаря. Поднять, что ли, когда спустимся? Никакие они не отравленные Глаза у Воробьевой были чистые, светлые Может, их слезы омыли?..

Но конфеты так и остались на мостовой. Я боялась ослушаться.

Назавтра в Бомбее опять шел концерт советско-индийской дружбы. Михайлов стращал индусов русским похмельным застольем. Бейбутов выводил сладкие фиоритуры. Пятницкие девчата, соблазнительно сверкая изнанками сарафанов, сбивали каблучки немыслимыми дробушками. Брюшков длинно играл Шопена. Я танцевала своего «Лебедя». Гастрольная жизнь продолжалась.

И были еще магазины, покупки.

Если я упущу из внимания самую важную, самую главную, основную цель всякой поездки любого из моих соотечественников за границу — «прибарахлиться», «отовариться», «приодеться» (как только перевести это на иностранный язык), — я безбожно согрешу против истины. Индия — первая моя несоциалистическая, всамделишная заграница, и магазинную школу я проходила здесь.

Никто никогда не писал на эту гнусную запретную тему. Все стыдливо потупляли глаза. И взаправду в этой унизительной магазинной беготне было вдоволь позора. Но кто был виною тому?

Мы — запуганные, затюканные, нищие, с медвежьими отечественными товарами запруженных толпами универмагов? Или наша власть — надменная, ханжеская, изолгавшаяся, в добротных шевиотовых костюмах из специальных цековских ателье?..

Деньги всегда были малые-малые, смех один. Но в эту водевильную сумму надо было умудриться втиснуть все свои бесчисленные желания.

Обувь нужна? Нужна. Демисезонное пальто? Позарез. Приличный чемодан на разъезды? Давняя мечта. Шелковая кофточка под строгий костюм? Вот бы найти за четверть цены. А подарки домашним? Без них не вернешься. Сувениры приятелям? Обязательно… Вот и ломаешь голову — ночью, в автобусе, а то и на сцене И ухитрялись ведь. Сводили концы с концами. Кое-как. Но сводили. Вот она, эйнштейновская теория относительности применительно к командировочным первой страны социализма!..

А в магазинах, как перед смертью, все равны. И солидный Беспалов, не доехав на черном лимузине за квартал до отеля, ныряет, ссутулившись, в торговый ряд. Жена на порог не пустит. И идейный Шашкин, горячий обличитель империалистического рвачества и капиталистического образа жизни, уйдет с репетиции, сославшись на зубную боль, а сам туда же Про артистов не говорю — они как на ладони. Что с них возьмешь. И даже аскетичные гебешные стражи — Щербаков и, окончательно вспомнила, Столяров, которые нерувский плов не попробуют, лишь бы задание Родины выполнить, — уйдут со спектакля, по очереди, тайно, скрытно, спешно (к концу представления надо быть на боевом посту), — за теми же туфлями, демисезонными пальто, чемоданами, кофточками, чулками, сувенирами… жены список в Москве на покупки составили. Без желанных вещиц дверь не отопрут.

Два индийских месяца подошли к концу. Все, что я купила на командировочные рупии, уместилось в прочном новеньком

саквояже Кроме безделушек и сувениров содержимое его составляли расписные цветастые материи. Буду платья выходные шить.

Опять дорога в шесть дней. Опять Дели, Карачи, Рим. Поезд, Вена, поезд.

Заснеженная, мерзлая Москва. Я вернулась в хмурую российскую зиму. В новый, 1954 год. Что меня ждет? Так я впервые съездила за границу.

Застывшее доселе время свершило первый шаг. Хрущев, заручившись поддержкой маршала Жукова, опережающим ударом смел с исторической сцены главу карательных органов ГБ. Берия был арестован и расстрелян. Государственный переворот осуществился под покровом новой премьеры Большого — оперы Шапорина «Декабристы». Вся смутная история страны «вьется возле моего театра». Из песни слова не выкинешь.

В Москву все чаще стали наведываться заморские гости — главы иностранных государств. Вроде как «оттепель» началась. Всех их водили в Большой. На балет. И всегда почти — «Лебединое». Флаги повесят. Гимны сыграют. В зале свет зажгут. Все поднимутся. Главы из царской, центральной ложи пухленькой тщедушной ручкой москвичам милостиво помашут — мир, дружба, добрые люди. Позолоченные канделябры притухнут… и полилась лебединая музыка Петра Ильича.

С высокими гостями в ложе всегда Хрущев. Насмотрелся Никита Сергеевич «Лебединого» до тошноты. К концу своего царствия пожаловался он мне как-то на одном из приемов:

— Как подумаю, что вечером опять «Лебединое» смотреть, аж тошнота к горлу подкатит. Балет замечательный, но сколько же можно. Ночью потом белые пачки вперемешку с танками снятся…

Такие у наших вождей шутки в ходу были.

А где гости — там и приемы. Новая мода пошла гулять по Москве По приемам ходить. Если во времена Сталина иностранные посольства и слали по особым случаям именитым артистам полоумные приглашения на адрес театральной дирекции, то неминуемо застревали они в сите энкаведешных спецотделов театра. Да никому здравомыслящему и в голову не могло взбрести топать в посольское логово. Разве что жизнь надоела. Оттуда прямым ходом путь один — в Сибирь, на муку.

А тут позвонят тебе по внутреннему телефону на репетицию, пять раз извинятся:

— Майя Михайловна, для Вас на четверг приглашение есть. Зайдите, будьте добры, как закончите, в ложу дирекции…

Зайдешь, а тебе совет дают…

— Ходить не рекомендовано. Впрочем, сами решайте. Но я бы

не пошел. Мы, на всякий случай, уже сообщили, что Вы заняты. Но — сами решайте…

Невольно приходит на память история, как популярного тенора Сергея Лемешева подвыпившие члены Политбюро одолевали заказами — спойте то, то или то… И как миролюбец-демократ Сталин третейски прекращал партийный «базар»:

— Не надо неволить артиста. Пусть поет, что ему вздумается. Я полагаю, что ему хочется исполнить для нас «Сердце красавиц» из «Риголетто»…

Но бывало и наоборот.

Звонили из Министерства иностранных дел, Майя Михайловна. Очень важно, чтобы Вы были завтра на приеме у французов. Сам посол — Ваш большой поклонник.

Я мнусь, мямлю, ссылаясь на назначенную репетицию. От этих приемов — одни неприятности.

— Репетицию мы попросим перенести. Балетная канцелярия пойдет навстречу. Обязательно на приеме надо быть!..

Слишком поздно я смекнула, что у двух могущественных организаций — КГБ и Министерства иностранных дел — два разнящихся интереса.

МИДу для дипломатических козней и далеко просчитанных затей светские пустопорожние рауты позарез нужны. А КГБ исправно делает свою черную работу — следит, подслушивает, доносит. Объектом деяний обоих ведомств я как раз и стала. Станцую «Лебединое» — иностранцы хотят со мной познакомиться, восхититься, о жизни поговорить, есть ли у меня в предплечьях кости, поинтересоваться.

А КГБ добавляет и добавляет компромата в мое перепухшее досье: с чужеземцами дружбу водит, лишнее говорит, вольнодумствует, политикой партии тяготится, да и декольте сомнительное. Жена глубокоуважаемого товарища NN совершенно правильно выразила свое неудовольствие. А жена глубокоуважаемого товарища NN размером с морскую корову. В ее вечернем туалете все шесть маленьких лебедей вольготно разместятся.

Рядом с номенклатурными женами я воистину белая ворона. Как ни сяду, ни улыбнусь, ни подвинусь — все по-людски. Партийные жены злятся, бесятся, ревнуют. У них все по-коровьи, по-носорожьи. После каждого приема, чувствую, врагов и, главное, врагинь у меня добавилось…

Мало-помалу по театру начал пробегать освежающий ветерок — новые веяния: намечается концертная поездка в Швейцарию, потом во Францию. Оба раза в числе участников стояло и мое имя. Но потом как-то «рассасывалось», в самый последний

момент. Ехали другие А я — «позарез нужна театру». Так мне объясняли наши авторитеты. Нужна так нужна. Другой раз поеду.

Пока ничто меня не настораживало. Съездила в Индию, два парчовых платья себе пошила, выходные туфли еще не сносились. А искусство и в Москве есть кому демонстрировать. То Аденауэра Хрущев приведет, то магната Херста, то финна Кекконена. И новые работы увлекают.

Лавровский ставит «Каменный цветок» Прокофьева — его посмертный опус. Кончил Сергей Сергеевич эту партитуру точно в день своей смерти. Пятого марта 1953 года. Так и простился великий композитор с жизнью в один день с великим палачом Сталиным. Последний сарказм Прокофьева, как иронизировали остряки-оркестранты.

Я танцую Хозяйку Медной горы. Уланова — Катерину. Ермолаев — кутилу-купца Северьяна. Шедевра, судя по всему, у Лавровского не сладилось. Танцы были однообразные, безликие. Да и главная роль мастера Данилы (ее воплощал Преображенский) вышла почти пантомимной, ходульной. Данила все постукивал, постукивал молоточком по плоским театральным холмикам, изображавшим малахитовые кладези Уральских гор — вековую пыль кулис только подымал, — а танцевать толком так и не станцевал. И массовые сцены были блеклые, вялые. Но первозданная лепка оригинального сильного образа волшебной хозяйки гор, основанная на звонкой, зазывной мелодии прокофьев-ских трубных гласов, меня очень увлекла. Не гоже, может, сказать, но партия Хозяйки Медной горы вышла самой последовательной, самой запоминающейся, удачнее всего прочерченной.

А Якобсон ставит на меня «Шурале» на музыку татарского композитора Яруллина. Эта работа на сцене филиала.

Самого композитора уже давно нет в живых. Совсем в молодом возрасте его в первые месяцы войны убили на фронте — друзья-коллеги душевно постарались. Нечего по тылам отсиживаться, ноты царапать. Родину надо идти защищать. Называлась эта бойня «народным ополчением». Военкоматы кучами сгребали цивильных людей всех возрастов, не имевших понятия о винтовках, пулях, стрельбе, да и безоружных — без охотничьего ружья даже, — и кидали навстречу танкам и артиллерии. Не умением — так числом. Прямо вопреки фельдмаршалу Суворову. И гибли на заснеженных, морозных полях сотнями тысяч обреченные на смерть несчастные люди в кровавых бессмысленных мясорубках. Немцы-то и думать не думали, что идущие на них по минным полям в атаку без выстрелов многолюдные цепи совсем не вооружены. И стреляли

по живым мишеням солдаты вермахта без промаха, как на учениях! Сколько же поубивали попусту талантов в пекле первых месяцев той войны, скольких гениев лишилась российская земля, их породившая. Вот так был убит и Яруллин. Как облегчилась бы задача Сальери сгноить Моцарта в самом начале пути. Послать его через свои высокие, влиятельные связи в «народное ополчение», австрийскую родину защищать, опрятный город Зальцбург…

Но я печально отвлеклась.

Премьера «Шурале» состоялась 29 января 1955 года. Я танцевала девушку-птицу Сюимбике, недоброго лесного лешего Шурале с азартом сыграл Левашёв, а героическую роль Али-Батыра — мой постоянный партнер тех лет Юрий Кондратов. Балет Якобсону удался, публика приняла спектакль очень доброжелательно. Как и в каждой своей работе, Якобсон и в «Шурале» был оригинален и изобретателен. Не буду перечислять многочисленные находки хореографа, вспомню лишь, как задал он мне интереснейшую задачу сценического перевоплощения: то я заурядная деревенская девушка, то длиннокрылая печальная птица. Все прев ращения были лишь через пластику, танец, никаких трюков света. Рассказать о Якобсоне еще будет черед. А теперь о том, что происходило вне сцены и репетиционных залов.

Мимо меня «просвистели» еще три поездки. В Голландию, Грецию и Китай.

Сюжет до противного повторялся: «Вы включены в концертную группу» и… в последний момент едут другие. Аргументы прежние: на Вас весь репертуар, в следующем месяце — важные высокие гости, москвичи хотят Вас видеть, театр, театр, театр… Но глаза у новой надзирательницы в балете Аллы Цабель, которая излагает мне каждый раз немудреные «объяснения-близнецы», — свинцовые, лгущие. Мою голову начинают теснить подозрения.

Я тогда по глупости думала, что это завистливые театральные интрижки. Не хотят подружки-балерины моего «мирового признания» допустить. То ли кто-то из «сильных» в театре против меня действует, то ли выше — в Министерстве культуры.

Добиваюсь приема у директора (до сентября пятьдесят пятого им был Анисимов). Нервные панические метания:

— Что Вы, Майя Михайловна, что Вы! Все Вас любят. Ценят. Вы наша гордость. Тут злого умысла нет. Так уж получилось. В следующую поездку обязательно отправитесь. Я Вам клятвенно обещаю…

— Все уже косятся, Александр Иванович. Мне не так и ехать хочется, как перед людьми неловко.

— Поедете, Майя Михайловна, непременно поедете…

Время проходит. Предлагают из министерства поездку в Швецию и Финляндию на спектакли с Кондратовым. Долго, муторно оформляюсь. Все справки несу — обещал же директор. Два дня остается. Похоже, еду. Мой индийский саквояж уже собран. Мама допекает, что мало теплых вещей взяла. В Скандинавии еще зима…

За день до отъезда в репетиционный зал поднимается Цабель. Теперь она наша заведующая вместо Шашкина, который «ушел на повышение» (простите, это советский жаргон). Алла Цабель была характерная солистка. В моих «Лебединых» танцевала «испанский», но прославилась более на партийном поприще Теперь она на пенсии и руководит.

— Должна Вас огорчить. Паспорт не успели оформить. Вместо Вас с Кондратовым поедет Стручкова. Раиса Степановна только вернулась из заграничного турне, и документы у нее в порядке.

Сердце у меня обрывается. Зачем сборами занималась… Зачем уши в кабинете Анисимова развесила. Зачем надеялась…

Скомкав репетицию, бегу на свой Щепкинский. Буду министру звонить. Издевательство. Мерзавцы. Лгунишки.

Министр у нас новый. Партизана Пономаренко сменил философ Александров. Продержался философ совсем недолго, но беспорядку успел наделать большого. Его со скандалом сняли из-за просочившейся на божий свет молвы, что проводил он темные московские ночи в сексуальных оргиях с молоденькими, аппетитными советскими к иноактрисами. Разве откажешь любимому министру? По счастью, низкорослому, лысоватому философу любы были дородные женские телеса. Тут его вкус с Рубенсом совпадал. Тощие, костлявые балеринские фигуры никаких вожделенных чувств у министра не вызывали. Большой балет остался в первозданной невинности.

Два дня звоню. Полных два дня. С утра до ночи. Осточертела министерским секретаршам. Но не отступлю. Буду звонить месяц, год, пока Сам трубку не возьмет. Добилась. Слышу в потрескивающем телефоне слабый александровский голосок:

— Не волнуйтесь. Выясним. Поможем.

Прошу Александрова, чтобы принял. Мне и про зарплату надо ему сказать — ее так и не прибавили, получаю меньше всех. И про квартиру. Мои сверстники — Кондратов, Стручкова, оперные — получили раздольные отдельные квартиры в высотных сталинских домах (на Котельнической, у Красных ворот). А я все в Щепкинском ючусь.

Уломала. Примет меня министр послезавтра в четыре Делаю

себе на бумажке заметки. Ничего не забыть.

Без десяти четыре я уже в приемной. Жду, нервничаю. Ровно в четыре секретарша отворяет мне дверь. Вхожу. Из-за стола поднимается невзрачный тусклый человечек — вылитый Кот в сапогах. Мурлыкает:

— Это недоразумение Зачем так нервничать. Вы — наша надежда. Все главы иностранных государств Вашим талантом восторгаются. В обиду не дадим. Я Вас видел в «Дон Кихоте» и горд, что человеческое тело способно выказать такую красоту и изящество… (Начитался, философ, воспоминаний, как Ленин бетховенекую «Аппассионату» слушал.)

Комплименты петь министр и взаправду мастак. Я выпаливаю Александрову и про зарплату, и про квартиру — тревожусь, что недослушает. Он все убаюкивает, обещает мне молочные реки, кисельные берега. Выхожу обнадеженная. Секретарше улыбаюсь. Выше министра лишь Политбюро да Господь Бог. Не так уж дело мое безнадежно.

Но через четыре дня Александрова снимают. Кошке под хвост все мои унизительные хлопоты. Какая теперь цена котиным мурлыканьям. Неужто все сначала?

Отныне министром бывший комсомольский вождь Николай Александрович Михайлов. С кудрявым чубом, пролетарской внешностью, сухой, холодный человек. Судьба сводила меня с ним несколько раз на молодежных фестивалях. От этого ни да ни нет не добьешься. Будет ходить вокруг да около. Служака, верный солдат партии, чтоб ее…

Пока раздумываю, как и когда, что предпринять, на приеме у французов посол Дежан, грассируя, воодушевленно сообщает мне о приглашении в Париж.

— Вас очень ждут. В успехе не сомневаюсь…

Опускаю подробности и медленно текшие дни ожидания гастролей. Но все как по нотам. Вместо меня едет Ирина Тихомирнова. А я сижу дома. Чай пью. Локти кусаю.

Идиотизм, фантасмагория ситуации в том, что меня по-прежнему продолжают ставить на все почетные — с посещением знатных иностранцев и наших правителей — спектакли. «Лебединое озеро», «Бахчисарайский фонтан», «Каменный цветок», «Шурале».

С каждым гостем орава сопровождающих — журналисты, бизнесмены, влиятельные политики, вести по миру вмиг разнесут. Каждый такой визит мелькает в «Новостях дня» (наша кинохроника), перед каждым сеансом художественного фильма крутят кусочки моих танцев во всю ширь Советской страны. Слава множится.

И в дни высоких визитов — приемы, приемы. То гость дает, то наши тягаются хлебосольством. Теперь на все рауты меня уж обязательно зовут. А там похвалы и разговоры, разговоры, разговоры — почему Вы до сих пор к нам не выбрались, приезжайте, театр у нас хороший, публика Вас ждет, почему?.. А мне что отвечать?

…Эй, ты, племя молодое, незнакомое! Не подумай, что я зарапортовалась, преувеличиваю, выжила из ума. Вся наша жизнь той поры была гадостью, чудовищным абсурдом. Мне и самой трудно вообразить, поверить сегодня, что все это действительно было, и было со мной. Все магические фамилии, звучавшие как гимны и оды, как имена древнегреческих полководцев, сенаторов, богов — Александров, Михайлов, Храпченко, Беспалов, Кафтанов, Твердохлебов, Вартанян, Солодовников, Шауро, Зимянин, Кухарский, Захаров, — были простыми смертными, ничтожными, необразованными людьми. Трагическим недоразумением. Но у них была Власть. Приводные ремни ее вели к Кремлю, к Лубянке, к Старой площади. А мы были зачаты страхом, покорностью, молчанием, трусостью, послушанием, рабством. Мы вытянули свой жребий, родившись в тюрьме

…5 октября 1955 года танцую «Дон Кихот» для канадского премьера Пирсона. Пять, пять, пять — три пятерки! Успех. Как водится, на следующий день прием в канадском посольстве Тер зающие звонки — мне обязательно надо присутствовать. Являюсь. И сразу я — центр внимания. Пирсон и вся его свита расточают медовые похвалы. И тут же вопросы — почему бы не выступить мне в Канаде, не надо откладывать, кстати, и канадский импресарио тут, продиктуйте ему желательный для Вас репертуар. В самом деле, почему бы не выступить? Чем черт не шутит.

Присев за край стола, вывожу — «Спящая», «Лебединое»… Целая страничка получается. А многочисленные чекисты — топтались они кругом завсегда (рано поутру уже настучат по начальству) — навостряются: не иначе как план оборонных заводов передает… Но мне что делать? Сказать, что безграмотная, писать не умею?

Еще через несколько дней прием в мидовском особняке на улице Алексея Толстого — 10 октября. Все числа да злоключения датированы в моих дневниках.

Возле порога наш министр иностранных дел стоит. Вячеслав Михайлович Молотов. Фигура печально-историческая, что ее описывать. Пенсне поблескивает, усишками шелестит. Больно, долго жмет руку. Заикается:

— Рад приветствовать Вас, Майя Михайловна. Вы хорошо

танцевали. Наш гость только про Вас и говорит. Канадцам Вы очень понравились.

Прокисше улыбаюсь в ответ. Руке в самом деле больно.

Заметив меня, Пирсон прямиком движется навстречу. Опять хвалит.

Пирсон сегодня центр мидовской вселенной. Волна присутствующих перекатывается за ним. Рядом оказываются наши вожди. Впервые вижу совсем вблизи Маленкова, Кагановича, Шепилова, Первухина. Рассматриваю их откормленные, геморроидальные физиономии, виденные тысячу раз в газетах. Какие отталкивающие лица…

И вдруг, вот дожила, Молотов предлагает Пирсону поднять бокалы за мое здоровье и искусство. Вообще искусство, плане тарно говоря.

Пирсон чокается. Вожди согласно кивают головами и иссушают шампанское до дна. Тут Первухин — промелькнул метеором на советском партийном небосклоне и такой верный ленинец, промелькнул да канул в Лету, вытурили его вскорости — выговаривает канадцу сожаления (от усердия, что ли?), что тот моего «Лебединого» не видал. Я уловчаю момент — и скороговоркой выпаливаю Первухину, что меня за границу не выпускают. Тот опешивает. Приветливое лицо резко меняет выражение Спешит отойти. И уже удаляясь:

— Постараюсь поговорить с министром…

Проходят дни. Все тихо. Нет ответу.

Друзья надоумили письмо Ворошилову написать. Аудиенции у него попросить. Помог он кому-то, слышали. Через несколько дней звонят из приемной:

— Что, собственно говоря, Вы желаете? В записке Вы просьбы не изложили. В чем дело?

— А я для того и приема прошу, чтобы Клименту Ефремовичу все лично и рассказать…

— Хорошо. Мы доложим.

В трубке короткие гудки.

Но опять гробовая тишина. Опять нет ответу.

Торжественный прием в Кремле Теперь норвежский премьер в Москву явился. Его превосходительство господин Герхардсен. Норвежца угощали «Фонтаном»1 с Улановой и со мной.

Я была так смятена и подавлена всем происходящим, что решила с отчаяния вырядиться в театральный почти костюм. Пусть на меня посмотрят. Надела белое длинное — в пол — парчовое платье, с совершенно открытым балетным лифом, на который небрежно набросила широченный тюльмалиновый шарф.

Это было представление. Все взоры на мне.

Булганин принимал гостей наверху бесконечной лестницы перед входом в Георгиевский зал. Он был на «Фонтане" и, пожимая мне руку, отвесил положенный случаю комплимент. При этом он пристально вглядывался, и мне начало казаться, что все они в заговоре, все что-то знают и таят от меня. Или это мнительность?..

Днями позже в норвежском посольстве Булганин сам подошел ко мне Он еще и рот не успел открыть, как я — неожиданно для себя самой — вдруг сказала ему.

Меня сильно обижают, Николай Александрович. Очень сильно. Не пускают за границу. Чем я провинилась?

Булганин поднял глаза и ответил почти тургеневской фразой:

— А я думал, что Вы счастливы.

Я не слушаю, говорю свое. Столько во мне накопилось, требует выхода:

— На меня наложили запрет на выезд. Ездят все солисты, кроме меня. На мои персональные приглашения. Все вместо меня.

— А почему Вы раньше об этом мне не говорили?

Пойди скажи. Я второй раз в жизни живьем его вижу. Вблизи.

Говорю, что балет — искусство молодости, что если не сейчас пока кругом зовут, то потом поздно будет. Кому тогда нужна? И больно мне очень. За что так? Какая на мне вина?

Булганин хмурится. Но дослушивает до конца.

— Я все запомнил. Выясню это дело…

Прерву описания своих попыток правду найти. Сказочка была без развязочки. Надо глубокий выдох сделать.

В театре опять перемены. Новый директор у нас — композитор Чулаки. И Лавровского сменил Гусев — мой бывший щепкинский сосед. Через три года Лавровский вернется назад, но трехгодичный срок гусевского правления обогатил мой репертуар. Я начала репетировать балет Крейна «Лауренсия» на сюжет «Овечьего источника»' Лопе де Вега. В постановке Вахтанга Чабукиани.

…Сейчас я снимаю в Мадриде квартиру по улице Лопе де Вега, 47. Прямо напротив Прадо. Вот какие коленца выкидывает с нами жизнь. Соседняя улица — улица Сервантеса. Зря, что ли, для Пирсона «Дон Кихот» танцевала? И в горячечном бреду подумать тогда не могла, бившись как птица в клетке, загнанная, обманутая, непонимающая, сбитая с толку, правителей вопрошавшая, что придет время по Мадриду каблучками цокать, ни у кого ничего не спрашивая. Жаль только, что поздно. Проставлю многоточие…

Ну а что же дальше?

Накануне нового, 1956 года в Кремле новогодний бал. Меня

приглашают. Опять выряжаюсь броско, по-театральному. Вызывающе даже. Бальное платье мое из белого гитора. Обступают иностранцы. Вопросами донимают. Пронюхали уже что-то, дошлые люди. Отшучиваюсь.

Тут состоялся и мой первый разговор с Хрущевым. Подошел он ко мне с Микояном, ручку жмет, улыбается, водкой от него на метр разит:

— Сколько раз издаля Вас видел, вблизи хочу поглядеть. На сцене Вы большая, видная. А тут — тощий цыпленок.

Микоян подхалимски хихикает:

— Я прямо удивлен…

Хрущев — пьяно:

— Подумаешь, удивлен…

Микоян подлаживается:

— Я хотел сказать: восхищен…

Хрущев:

— Вот это другое дело…

(Это цитата из моего дневника. Я не переменила ни единого слова, ни запятой. Клятву даю. Судите о нравах и интеллекте большевистских вождей сами! Вот как они шутками пробавлялись.)

Может, и надо было мне ввернуть Хрущеву, что не выездная, мол. Но что-то удержало, одернуло. Мелко как-то, унизительно. А Булганин подходит, «барыню» приглашает сплясать. Выхожу. Танцуем. Все чиновные собачьи морды умиление изображают. Ах, как славно. Ах, как мило. Ну какой же молодец наш премьер. Как споро танцует. Не хуже именитой балерины Большого. Гоголевская сцена!

Николай Александрович про просьбу мою не заговаривает. Хотя времени вдоволь. И нужно-то полминуты. Бородкой седой трясет, одни междометия. Я зубами скрежещу — спросить, смолчать, напомнить, намекнуть?.. Гордость не позволяет. Так и ушла я с бала ни с чем. Золушкой… Но мои мимолетные встречи с вождями продолжались. Премьера «Лауренсии» подоспела. И в дни двадцатого антисталинского съезда партии заявились Хрущев, Булганин, Микоян, Ворошилов после спектакля с цветами на сцену. Дружков своих познакомиться привели. Торез, Тольятти, Ибаррури, ручки тянут, улыбаются. У меня тогда, видно, комплекс появился. Улыбаюсь в ответ, а сама думаю — сказать, что не пускают?.. Только это и на уме.

В мае я танцевала для французских «шишек» Ги Молле и Пино. В июне званием меня наделили. Но воз и ныне там. Приглашения горой сыплются, все по ним ездят — я, как Илья Муромец, сиднем сижу». Он, по сказке судя, так тридцать три

года сиднем и отсидел. У меня скоро лишь третий пойдет. Мучит гнусная неизвестность: что — причина, кто за этим стоит? Зачем увиливать, отмалчиваться, врать? Делаю невеселый вывод — КГБ. Доносы моего индийского «воспитателя» Щербакова.

Второй муж Миты, лихой спортсмен Гриша Левитин, гонявший в очкастом шлеме на ревущем мотоцикле по вертикальной стене и водивший дружбу с разным людом по моторным делам, однажды вечером ошарашивает:

— Один человек — из Органов — шепнул мне вчера на ушко: знаменитая родственница твоя, балерина Майя, никогда никуда не поедет. Это уж точно. Запрет на нее наложен.

И новое подтверждение. Большой балет в полном составе должен отправиться осенью в Англию. С несколькими спектаклями. «Ромео», «Лебединое», «Бахчисарайский фонтан», «Жиэель». Два из них — самые мои.

В «Литературной газете» в середине июня 1956 года напечатана обстоятельная заметка, оповещающая читателей о гранд-турне Большого в Великобританию. Перечислены спектакли Написано, что во главе с Улановой. И дальше — все, совершенно все фамилии солистов.

Меня в этом списке нет.

Глава 25
КАК Я НЕ ВЫЕХАЛА В ЛОНДОН

«Иностранцы нас спасут», — любил повторять в те годы Игорь Моисеев. Это было его девизом, заклинанием.

Этим афоризмом он утешал и меня.

Может, кого и спасут, а меня они только топили. На одном из приемов ко мне подошел светловолосый благообразный молодой человек. На бойком русском языке представился:

— Я второй секретарь английского посольства Джон Морган. Обожаю балет. Большой Ваш почитатель.

Мы разговорились. Не зная никаких иностранных языков, я могла общдться лишь с теми, кто говорил по-русски.

Морган был занятным собеседником. О балете — в первую очередь английском — он знал многое. Где какая премьера прошла, кто с кем рассорился, партнера поменял, про нашу Виолетту Прохорову-Элвин посплетничал. Мне все любопытно…

— А когда Вы следующий раз танцуете?

Говорю, что послезавтра, в зале Чайковского. Танцую вальс Штрауса в постановке Голейзовского. Морган заинтересовался.

— А как на концерт билет достать? Вы не поможете?

Оставляю два билета на фамилию «Морган» на контроле. Среди преподнесенных букетов один из белой сирени, с визитной карточкой секретаря английского посольства в Москве.

На следующем приеме мы встречаемся уже как знакомцы. Благодарю за сирень, Моргану номер Голейзовского понравился. И вдруг…

— Почему говорят, что Вы в Лондон не приедете? Как это может быть?

А потому, говорю, что КГБ красную точку над моей фамилией поставил. И над фамилией моего брата Александра. В театральном списке. (Эту новость под строжайшим секретом поведал мне Петр Андреевич Гусев как раз сегодня; она у меня бритвой в горле встряла. Как сорвалась, сболтнула…)

Морган — по-английски — невозмутим. Бровью не ведет. Будто не услышал.

— Разрешите, я Вас нашему послу господину Хейтеру представлю?

Что это — помощь? Новая обуза? Западня? Хейтер — немолодой, высокий джентльмен. Ни дать ни взятьанглийский лорд. Прилично говорит по-русски:

— Наша сторона очень хочет, чтобы Вы поехали. Английская

публика должна увидеть Ваше «Лебединое». Мы будем настаивать…

Ощутив «британскую поддержку», я делаю очумелый, опрометчивый шаг. Пишу на имя директора Чулаки ультимативное письмо. Если мой брат Александр Плисецкий будет исключен из английской поездки (про себя не упоминаю), то я прошу освободить меня от работы в Большом театре с такого-то числа. И уезжаю в отпуск.

Письмо, конечно, неумное, резкое, но пронзительное: неужто и брата — на шесть лет меня он моложе — через этот ад кромешный тоже поведут?..

Ясное дело, это истерика. Что я буду делать без балета? Кур разводить, капусту сажать? Но доведена я до отчаяния…

В полминутном телефонном разговоре Цабель сухо сообщает, что просьба моя удовлетворена. В театре я больше не работаю. Надо сдать пропуск.

Плохо дело.

Провожу август в Ленинграде. У двоюродной сестры Эры. Она всегда действовала на меня успокоительно, как валериановые капли.

Несколько раз вдоль и поперек Эрмитаж обошла. В пушкинском доме на Мойке, где поэт медленно угасал после смертельной дуэли, долгий час простояла. Сходила на могилу Вагановой. Обревелась, поплакалась ей…

В середине августа телеграммой меня вызывают в Москву. Со мной хочет говорить министр Михайлов. Поколебавшись, еду.

Но разговор был примирительный, не жесткий. Зачем я, дескать, условия ставлю. Брат — особый разговор. Надо забрать свое невежливое письмо обратно. И театру Вы необходимы…

Та же Цабель по моему ицепкинскому телефону, чуть я вошла на порог из министерства, оповещает, что с двадцатого августа начинаются предлондонские репетиции. Я должна быть в театре, я в нем работаю. Еду не еду, не ее дело, но репетировать надо.

В первый же день — вместо репетиций — многолюдное, горластое «совещание по поездке». Меня буквально под руки, но как бы ненароком, на него заводят. Шепчут, хорошо бы, чтоб выступила. О чем? Надо дать оценку своему поведению. Ох, как любили большевики, чтобы каялись люди! Себя унижали, растаптывали…

Теперешний парторг театра, валторнист Полех, всегда в бабочке, напомаженный, мол, я — артист, говорящий первую речь, обрушивается на меня со всей партийной силой. И такая, и сякая, и разэдакая, с норовом, зазналась, позорю звание советской артистки.

Битые три часа ерунду говорят, меня обличают. Пусть выступит, требуют. Я губы сжала, молчу. К концу и вовсе ушла, надоели.

Но две полные сценические репетиции «Лебединого» провожу. Перед началом третьей — опять Цабель:

— Репетирует Карельская. Вы не едете. Это решено.

В глазах темнеет. Изощренная китайская пытка. И, стремглав, начинаю из Щепкинского все телефоны накручивать. К Булганину, к Молотову, Микояну, Шепилову, Михайлову (с лета добрые люди номерами их приемных меня снабдили). Лишь к Хрущеву не набрала, берегу номер про черный день. А чернее будет? Но ни один трубки не взял, не отзвонил через помощника, секретаря ли. С отчаяния набираю в английское посольство к Моргану — телефон пропечатан на его визитной карточке с букетом сирени.

Это коммутатор. Прошу господина Джона Моргана, второго секретаря.

— Just a moment.

Щелчок. Морган берет трубку. Говорю что-то невразумительное. Бессвязный поток слов.

— А где Вы живете? Щепкинский, 8? Это сразу за театром? У меня для Вас как раз есть совсем новые книги. Об английском балете Можно сегодня завезу? Ну, скажем, в шесть тридцать, сразу после работы.

Позвонила.

Но подостыла — напугалась. Телефон-то в посольстве наверняка прослушивают. Бог знает, что вообразят. И одной молодого мужчину принимать не годится.

Смятенно звоню по приятелям. Наконец на гриппующего Николая Симачёва напала.

— Коля, милый, приходи вечером к шести. Мне новые балетные книги принесут. Про англичан. Вместе посмотрим.

Соглашается.

Был у меня Морган в гостях всего два раза. Этим вечером и тремя днями позднее. Оба кратковременных визита я была дома не одна. Есть на то свидетели. Живые, в здравом уме и твердой памяти. Про лондонские гастроли мы почти и не говорили. Успокоил меня Морган, дескать, все хорошо будет. Поедете. Да и только. Книги листали, глупые светские разговоры вели. Грузинский чай с вишневым вареньем пили.

Но последствия наших встреч были печально детективными. За мной по пятам стала следовать оперативная машина КГБ. Двадцать четыре часа в сутки.

Ездоков в ней всегда трое. Силуэты на осеннем закатном

московском солнце — как на ладони. Куда я — туда и добры молодцы. Зашла в Елисеевский гастроном, в мастерские, на выставку — притормозят в отдалении. Поджидают. Выхожу, в такси сажусь или кто подвезет — вижу в зеркальце: держатся на расстоянии, но из виду ни на миг не отпускают. До самого дома проводят. И опять стоят, часами стоят. На отдалении, но в окно — ясно видно. Дежурят. Лихие конспираторы. Совсем фильм.

По первоначалу я решила, что новые поклонники объявились. Встревожилась. Не разбойники ли какие? Но тот же Гриша Левитин, вычитав номер машины, тотчас убежденно определил. Это машина КГБ. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день…» Все завязалось в самый тугой узел.

Морган исчез. Больше не звонит, на приемах не показывается. Уехал или принудили? Струхнула не на шутку. Сама звонить англичанам теперь не буду. Обожглась. В самом деле страшно.

Лишь восьмью годами позже, когда я уже стала выездной, на гастролях в Лондоне мы с Морганом тайно свиделись. Не навостряй ушей, читатель. Тайно от КГБ, а не от розовощекой отутюженной миссис Морган с тремя морганятами, в вылизанном, выстриженном, ухоженном доме с газонами в предместьях Лондона. Выяснилось — подъезжая ко мне на Щепкинский, Морган оставлял свою машину у Малого театра. В достаточной дали от моего дома. Эта конспирация, не сомневаюсь, произвела тогда большое смятение в чекистских рядах. И окончательно меня сгубила. Вывод ясен — страстная любовь, и Плисецкая остается в Англии. Просит политического убежища. Либо — шпионаж: Плисецкая — новая Мата Хари…

Но в театре нашлись непокорные люди. Сорок пять человек подписали письмо на имя министра Михайлова в мою защиту: Плисецкая-де ведет репертуар и для успеха гастролей ее присутствие необходимо. Среди подписавшихся были и звучные имена — Уланова, Лавровский, Файер. Спасибо вам, люди. Знали бы только, наивные, что адресат должен был бы быть иной — председателю КГБ Серову, на площадь Дзержинского. Выручить меня письмо не выручило, но дров в костер подбросило. А то огонек надежды и вовсе затух.

Поздним вечером внезапно позвонил Файер. Просил тотчас быть у него. Я сорвалась, схватила такси. Машина сторожей КГБ двинулась вослед.

Глухим шепотом, сохраняя от собственного телефона внушительную дистанцию, Файер сообщил, что на письмо общественности пришел ответ. Не совсем ответ, но ответ… Не письменный, но устный… Файер финтил, темнил, уходя от всяческой определенности. Но мне стало ясно, что во спасение

свое надо написать покаянное письмо. Михайлову. И чем скорее, тем лучше.

Ночь не спала, голову ломала — в чем же и как каяться, достоинства не уронив? Письмо — худо-бедно ли — составила. А как бы вы действовали на моем месте? Искренне жаль, что черновик его у меня не сохранился, и я никак не могу припомнить, какие грехи, кроме моего и впрямь бестактного ультиматума, я могла поставить себе самой в вину…

И на следующий день, нарушив данный себе обет — в посольства больше нос не совать, — я отправилась к индонезийцам. Как раз Сукарно приехал. Меня одну из театра и позвали. Я теперь притягательный, крамольный персонаж!..

Первая физиономия в дверях, с кем сталкиваюсь, — Михайлов. Судьба, значит. Я ему сразу письмо из сумочки и достаю. Нате, мол, тешьтесь моим покаянием. Сгреб Михайлов письмо в лапу, пробурчал что-то нечленораздельное.

Через несколько дней к себе в кабинет вызывает. Длинную неспешную речь ведет. Сольная ария:

— Письмо хорошее. Мужественное. Умное. Вы — молодец. Но все ли в нем до конца изложено? Может, забыли, скрыли что? Вы действительно осознали поступки свои, Майя Михайловна? К Вам у иностранцев особый интерес. С этим надо считаться…

И все голосом ровным, тягучим, без точек, без запятых, лишь припадая на букву «р», которая у Николая Александровича в горле иногда застревала и булькала. Видно было, что самому министру собственная речь пришлась по душе. Складно течет. Кнопкой вызывает секретаря.

— Пригласите товарищей Пахомова и Степанова.

На ходу объясню читателю, кто есть кто. Василий Иванович Пахомов был замом Михайлова и был уже назначен свыше главой английской поездки. Позже несколько лет работал директором Большого. Он еще будет передвигаться по страницам моей книги. А Степанов, кстати, человек душевный, нечерствый, руководил иностранными делами министерства.

Речь продолжалась.

— У Вас большой талант, Майя Михайловна. Настоящий, большой талант. А чему учил нас товарищ Ленин? Учил, что талант беречь надо. Поэтому я и побросал все свои ответственные дела, чтобы с Вами встретиться. Понимаю, что Вы страдаете, возможно, ночи не спите. Но позволю себе усом ниться, кто из нас больше переживает. Вы или я, Министр культуры Михайлов?..

Я не держу на Михайлова зла сегодня. В сущности, он был таким же рабом на советских галерах, как и я. Только располагался двумя-тремя «палубами» выше. Не зависело от него,

поеду я в Лондон или дома останусь. Это решало другое ведомство. КГБ. Но Михайлова «подставляли» изображать хорошую мину при плохой игре. Он был видимая часть айсберга.

Уходя из приемной, я встретила в коридоре министерства жену Михайлова Раису Тимофеевну. Женщина она была совершенно взбалмошная, неуправляемая, но по-крестьянски жалостливая, сердобольная. Принимала самое деятельное, шумное участие в мужниных делах.

Забрав меня в охапку — жена министра была дамой крупной, в теле, — Раиса Тимофеевна стала прямо в ухо, так что в голове зазвенело, сбивчиво говорить:

— Николай Александрович тут ни при чем, мы Вас оба любим. Но в госбезопасности, у Серова, горы доносов на Вас. Надо Вам с ним самим поговорить. Он все решает…

Тоскливо направляюсь к вешалке. Плащ забрать. На улице дождь льет. Соответственно моему настроению и погода в Москве — слякоть, грязь, лужи, распутица. В висках стучит, в голове рвань словес, что за тяжкое утро наслушалась. В толчее многолюдия гардероба кто-то бодро меня окликает. Ба, да это Виктор Петрович Гонтарь. Зять Хрущева. Директор киевской оперы. Я у него в конце сезона «Лебединое» танцевала. Справляется, как, что. Помогает плащ надеть.

До престольного Киева уж докатилось, как Вас Москва истязает. Я даже за столом у царя Никиты (так он величал своего тестя) за Вас вступился. Бесстыжие хлопцы, чего к бабе привязались. Пусть поедет — куда она денется. Это все Ванька Серов мудрит. Усердствует. Говнюк этакий.

Опять это зловещее имя: Серов. Все на нем замыкается.

— Виктор Петрович, может, мне с Серовым поговорить? Мне уж сегодня Раиса Тимофеевна…

— А чего откладывать? Пошли, прямо из министерства по «вертушке» ему и позвоним.

Западному читателю надо объяснить, что «вертушкой» назывался в чиновном просторечье телефон правительственной связи. Кремовый, пузатый, с советским гербом в середине диска. Детище Эдисона, усовершенствованное для партийных нужд, водружалось только у самой высокой советской номенклатуры. У самых избранных. Самых «верных», «надежных».

С плащом под мышкой поднимаемся без лифта на третий этаж. Гонтарь, хлопая дверьми — церемониться он не привык, зять как-никак, — заглядывает в кабинеты. По-хозяйски вламывается в приемную Степанова.

— У Володьки «вертушка» привинчена. Он хлопец гарный, не трус, не откажет.

Но вышколенная секретарша, уважительно привстав, рапортует:

— Виктор Петрович, Владимир Тимофеевич у Министра. Доложить в приемную, что Вы тут?..

— Мы с Майей в кабинете подождем. Не торопимся.

Перечить Гонтарю тогда никто не смел. Заковыристая советская субординация! Гонтарь — лишь директор театра. Но… Родственник. Близкий. Муж дочери Хрущева от первого брака. А кто муж, кто зять, кто деверь, обитатели министерских паласов знали лучше святцев. Лучше Краткого Курса Истории ВКП(б). Тут промахов у них не бывало.

Притворив дверь, Гонтарь без раздумий снимает трубку «вертушки». По аккуратненькой книжке, величиной с записную, отыскивает четырехзначный номер (по счастью или несчастью моему, всемогущая книжица на самом виду, возле телефона). Набирает. И сует мне трубку в ухо, мимически поясняя, что его тут нет.

На другом конце провода сразу отвечают:

— Серов слушает.

От неожиданности я забываю, что Серова зовут Иван Александрович. Минуту назад, совсем не ко времени, крутилось в мозгу, что Хлестакова у Гоголя тоже звали Иваном Александровичем. Ну и маразм…

— Здравствуйте, с Вами говорит Плисецкая.

Серов на приветствие не отвечает, не здоровается.

— Откуда Вы звоните? Кто дал мой номер?

Голос хриплый, взбешенный. Трубка резонирует. Гонтарь слышит весь текст громче громкого.

— Звоню из Министерства культуры…

Серов резко перебивает:

— Что Вам от меня надо?

— Я хотела с Вами поговорить…

— О чем?

— Меня не выпускают за границу. В лондонскую поездку…

— А я тут при чем?

Мой голос начинает дрожать. Сдают нервы. Он разговаривал со мной как сущий хам!

— Все говорят, что это Вы меня не пускаете…

— Кто все?

— Все…

— А все-таки?..

Я теряю над собой контроль, теряю самообладание. Связки в гортани уже не подчиняются рассудку. Как со стороны, слышу свой чужой, глухой голос:

— Раиса Тимофеевна Михайлова…

И уж совсем как на рынке, как торговка солеными огурцами:

— А ей больше всех надо!.. Все решает Михайлов, я здесь ни при чем…

И бросает трубку. Разговор окончен.

Понуро смотрим с Гонтарем друг на друга. Не прошел номер. Серов — отпетый бандит…

Через полчаса у Степанова сняли «вертушку». Неповинная ни в чем секретарша была уволена, выброшена из Министерства на улицу. С чьего телефона я звонила, КГБ знал через миг. Степанов чудом удержался (моя «диверсия» произошла в его отсутствие) и, к чести своей, никогда, ни разу не укорил меня за безрассудство.

Гонтарь, мой милый, добросердечный Виктор Петрович, участливый, шумливый слон в посудной лавке, все равно — спасибо Вам. Вы были — рода человеческого. И Гонтарь, зять Хрущева, зять Хрущева, черт возьми, тоже пострадал. Что Серов доложил Никите Сергеевичу, неведомо. Но два с лишним года Гонтаря на порог не пускали в царские хоромы могущественного тестя. Закрыли поездки за границу. Карали, казнили нарушителя спокойствия…

А за мной по-прежнему каждый божий день колесила по Москве машина. Бензин государственный жгла, шины снашивала, чекистам штаны на колдобинах лоснила. И люди стали меня сторониться, избегать встреч, разговоров. Вроде я зачумленная стала. На приемы звали. Но я не ходила. А когда один раз выбралась в Кремль — вдруг кто из правительственных смилостивится, о судьбе моей заговорит, — то домой на свой Щепкинский через Москву пешком шла. Совсем одна. Никто не подвез. А раньше от «предупредительных» отбою не было.

1 и 2 октября 1956 года моя труппа в два приема вылетела в Лондон. В Москве балетного народу не густо осталось. Я в их числе…

Может быть, навязли, утомили вас даты, цифры, которые я не в меру густо рассыпала на страницах этих глав. Но, описывая свою лондонскую эпопею, я все время в дневнички свои заглядывала. Можно было бы рассказать все покороче, в общих чертах. Но я желаю, чтобы ты, читатель, неспешно, скрупулезно проследовал день за днем, день за днем путем моей маленькой Голгофы осени 1956 года.

Вот такая «Оттепель» стояла в тот год на Руси.

Глава 26
ПОКА ШЛИ ГАСТРОЛИ В ЛОНДОНЕ

Итак, «основной состав» балета благополучно открыл лондонский сезон Большого. Горемыки, предпенсионеры да кто с травмами — остались в Москве. И я тут сижу. Переживаю.

Две мои «умоленные» телеграммы Хрущеву, письма ему же, Булганину, Шепилову — остались без ответа… Никто из вождей говорить со мной не захотел. Слова не услышала.

Судьба моя не была единичной. На «скамье запасных» внушительная «армада» угрюмых невыездных. Словно павшие воины на поле неравной брани…

В последний лишь день, в великой суматохе со скрипом «выпустили» самого Лавровского. Хорошенькое было бы «Ромео» без хореографического автора. А лучшего Тибальда — Алексея Ермолаева — оставили дома. Кто-то «стукнул», что сбежать вознамерился. Или еще что. Солиста Эсфандьяра Кашани попридержали в последний момент по причине, о ужас, что отец родом из Персии. Поздно выяснили, нерадивые. Кто с мужем разошелся, кто с женой разъехался, кто соседям насолил, кто анекдот рассказал — все «неблагонадежные». И каждому ничтожному поводу политическая окраска придается…

Первые дни настырно верещал телефон. Докучливые английские журналисты жаждали сенсаций — отчего осталась в Москве?.. Я трубку не брала. Мать посильно отбивалась, плетя небылицы вокруг да около, а потом и ей надоело. Затем и телефон попримолк.

Чтобы занять себя, отогнать гадости мыслей, я решила станцевать «Лебединое» с оставшейся в Москве частью труппы. И еще одно тайное желание свербило. Показать миру, что здорова, в форме и танцую «Лебединое». Догадывайтесь, сообразительные, почему тут, а не там.

Наличествующая дирекция согласилась. Что было в их головах — неведомо, но согласились легко, покладисто. Скорей всего, думаю, что версия — «нужна в Москве» могла вместиться в наивные иностранные мозги легче, чем ссылка на мою лжеболезнь.

Вышла афиша.

Но просчитались чиновники…

Весть мигом облетела Москву. У касс ажиотаж, все рвутся на 12 октября билеты заполучить. Прослышали кружными путями, что вместо оперы балет пойдет. «Лебединое». С невыпущенной в

Лондон Плисецкой.

Наша советская жизнь выработала неисповедимую, неведомую доселе форму быстрейшей передачи информации. Стремительней скорости света! Как многомиллионный город вмиг узнавал, куда «попадать надо», где сегодня самая горячая точка художественной жизни, где сенсация? Может, нам кибернетики объяснят?..

Мои угрюмые сотоварищи воспряли духом. Встрепенулись. Репетировали вовсю. Не отлынивали. Кто какой партии не знал — осваивал молниеносно.

Но и наши «противники» не дремали. Вражеская команда. Ожил мой телефон. Опять звонок за звонком. И не только билеты просят, но и министерские крысы воркующими голосами «тревогу бьют»: «Вы должны предотвратить демонстративный успех, триумф «назло». И фамилии назову, кто звонил, — Аболимов, Целиковский, Вартанян, Апостолов… Так, для будущих поколений.

Потом от Фурцевой звонок. Она тогда членом Политбюро была.

Майя Михайловна, с Вами будет говорить Екатерина Алексеевна Фурцева. Соединяю.

Когда я звонила по всем проклятым приемным, секретари да секретарши холодили, морозили голоса. На заседании Совета Министров. Сегодня уже не будет. Очень загружен. Тяжелые дни. Готовится к докладу. Принимает делегацию. Завтра уезжает. И Фурцева тоже трубку не брала. А теперь — задергалась. Нашла время. И секретарша — такая приветливая…

Майя, нам надо повидаться. Посоветоваться. По-женски. Ваш завтрашний спектакль обсудить. Приходите ко мне к пяти. Сегодня. На первый подъезд ЦК. На Старую площадь. Пропуск Вам выписан. Не забудьте паспорт взять. До встречи.

И вот я в цековском чистилище. Первый раз переступаю порог партийного улья. Все основоположники марксизма с серебристых стен глаза на меня пялят. Ленин, сам Маркс, Хрущев, Булганин, опять Ленин…

Из-за заваленного бумагами широкого стола поднимается и идет мне навстречу миловидная, статная женщина. Средних лет. С усталой, чуть скошенной улыбкой. Тщательно причесанная. С тугим светлым пучком на затылке. В сером аскетичном костюме.

— Так вот Вы какая. Наша прославленная балерина… Мы говорили с ней полтора часа. Обо всем на свете.

Но нить рваного разговора, как чуткая крестьянская лошадь, все время возвращалась к своему скотному двору, к стойлу: надо что-то мне сделать, чтобы завтра не было успеха.

Я могу, Екатерина Алексеевна, только одно. Не танцевать вовсе…

И вот эта миловидная, привлекательная женщина начинает нести сущую ахинею:

— Вы должны обзвонить всех своих поклонниц и поклонников. Объяснить, что будет иностранная пресса. Возможна политическая провокация. Это во вред нашей с Вами социалистической Родине…

И, и, и, и…

А я свое твержу:

— Могу не танцевать, Екатерина Алексеевна…

Отвлекаться не хочется, больно горькие дни вспоминаю. Но приторможу ход. О Фурцевой нельзя между прочим, всуе. Это была яркая фигура в нашем загаженном ничтожествами государстве. Да и конец у Фурцевой был трагическим: она отравилась цианистым калием. Безмерное честолюбие уложило ее на смертный одр.

После членства в Политбюро Фурцеву «разжаловали» в министры культуры. Она сменила Михайлова. И жизнь моя добрых полтора десятка лет перекрещивалась, сталкивалась лбами, воевала, смирялась с Фурцевой. Ее нельзя писать одной краской. Черной. У Екатерины Алексеевны — множество оттенков.

Начну с фамилии. Внешность у нее была самая славянская. Но фамилия редкая, вроде пришлая, чужеземная. Много раз, особливо после спиртных возлияний на артистических банкетах, она любила в окружении подобострастной, рты пораскрывавшей российской толпы мило, обаятельно побахвалиться, как всеми любима. Но больше всего, говорила она, любят меня в Германии. Немцы толпами собираются вокруг, я как магнит их притягиваю, все улыбаются, рассказывала, ручки мне целуют, госпожа Фурцева, госпожа Фурцева… Не решились ее министерские оруженосцы изящно уговорить своего Министра пореже ездить в Германию. Прозрачно намекнуть, дескать, что фамилия Фурцева для немцев не самая благозвучная. Отвратить от нее посмешище. Не выставлять на глумление и позор. Открою словарь и процитирую: «FURZEN» переводится как «испускать ветры», «пердеть» («пернуть»). Это русско-немецкий словарь Лангештайдта. Страница 220. Самый распространенный. Желтый с синим. На каждом углу в Германии продающийся. Ан был кто-то у министра в роду из крепостных, батрачивший у немецкого, предположу, помещика. Злоупотреблял предок некими звуками, и прозвал его немецкий колонист Фурцевым…

Ну а серьезно, была она живым существом, не канце лярской

куклой из папье-маше. Ее можно было растронуть, увлечь, переубедить, пронять, прогневать. Она тут же, при вас, хваталась за телефонную трубку, вступала в перепалку с неким отпетым бюрократом. Повышала на него голос, сердилась. Но… Монстру КГБ и она перечить не могла. Этот приговор обжалованию в советской системе не подлежал…

На самый послед она сщурила свои серо-голубые глаза и, напрягшись, в упор спросила:

— Вы говорили, что в партию у нас вступают не из убеждений, а ради карьеры?

— Не помню. Но раз у Серова это написано…

Фурцева вздрогнула. Мое упоминание всемогущего имени было ей в неприязнь. Она бегло оглядела углы кабинета. Может, и там тоже микрофоны?..

…И вот еще одно мое «Лебединое». Опальное!

Театр набит до последнего предела. В железную дырочку занавеса, пока еще свет в зале не затух, вижу кипящий котел людей. Предспектакльный пьянящий рокот переговаривающейся публики, гул тысячи шмелей. Разыгрывающиеся пассажи усевшегося уже оркестра. В боковых ложах — виноградные грозди. Сплошные люди. В проходах верхних ярусов, словно монеты в тугом кошельке, — человек к человеку. В партере уйма знакомых лиц. Вся Москва пришла. Со мной солидарны. Поддержать хотят. Диссиденткой вроде я стала. Одной из самых первых…

Кто-то легонько барабанит мне в спину. Помощник режиссера. Саша Соколов.

Смотри, вон в первом ряду в центре слева Серов с женой сидит.

Разглядываю бесцветное, вошное лицо скопца, с белобрысым проборчиком редких волосенок. Молнией — жуткая ассоциация. Как он похож на сталинского наркома по Смертям Ежова (его фотографии перед Тридцать Седьмым сновали день за днем по газетам). Профессия палачей или природа делает их похожими друг на друга?

Большего успеха в «Лебедином» на мою долю за жизнь не выпадало. Может, лишь в далекой Аргентине было позднее что-то схожее. Но без политической окраски. Тамошняя публика царски щедра на овации…

С самого начала, на мой выход — после прыжка, когда я в первой лебединой позе в четвертой позиции застываю (стоп-кадр), — зал взорвался экстатическими приветственными аплодисментами. Сквозь их водопад проникали слога криков: «… ра-а-во», «ави-и-и-иссимо». Что-то еще на _А» и «О».

Пора делать «глиссад», сейчас ноги сведет. Но музыки не услышишь — гром такой. И насолить властям хочется. Пускай Серов с женушкой желчный пузырь понапрягут. Сволочи!..

Добрую минуту, а то и две (бездвижная минута в театре — целая вечность) — застыла, пальцем не пошевельну. Аплодисменты, крики — вот это да! — усиливаются. Наконец оживаю, подымаюсь. Пошел спектакль…

После адажио выходила «на поклон» шесть раз. После вариации — четыре. И дальше весь балет такие же цифры (по дневнику их привожу). Я совсем не устала, даже по-тинки не выпало, так как отдыхала на поклонах всласть, восстанавливая дыхание до самого нормального. А что было в конце актов и после последнего закрытия занавеса — описать невозможно. Шквал. Шторм. Извержение Везувия.

То, чего опасались власти, — произошло. Демон-страци-я!!

Позже друзья рассказывали, что в каждой ложе были мускулистые служивые люди, которые хватали чрезмерно хлопающих за руки, оттаскивали от барьеров лож. А кричавших во всю глотку и вовсе выволакивали в фойе. Те сопротивлялись, цеплялись за ноги остающихся и иные выступающие твердые предметы, брыкались, царапались. Словом, кутерьма была. К третьему акту «диверсантов» оставили в покое — возни и впрямь было чересчур. И лишь капельдинеры с золочеными галунами «ГАБТ» слезно, жалобно просили публику «не мешать ходу спектакля», а выражать свое удовлетворение дисциплинированно, после конца, когда занавес с вышитыми датами всех великих революций, словами «пролетарии всех стран, соединяйтесь» и нотной строкой сталинского гимна «союз нерушимый республик свободных» — закроется.

Самого Серова и его реакцию на происходящее мне со сцены разглядеть не удалось. Когда в зале зажигали свет, толпы беснующихся москвичей затопляли первые ряды партера. В том числе и малорослого Генерала. Те же друзья поведали, что он не слишком-то и на сцену смотрел. Пришел человек в театр «по работе». В штатском. Все озирался по ложам, где его люди советскую власть защищали. На каждый шорох приглушенной свалки и возни во тьме лож бельэтажа и ярусов (под элегическую музыку Петра Ильича) он чутко, по-собачьи реагировал. Уши и взгляд вострил. Каждое «ложное борение» вызывало у него мгновенный, живейший интерес. И он насупленно, с подозрением вглядывался в…доносившиеся звуки поединков. Не иначе пришел бравый генерал армии домой с простреломшеи.

На следующее утро меня опять вызвала Фурцева. Она была разъярена. Но умело сдерживалась.

Что же Вы, Майя, слово свое не сдержали. Не поговорили с поклонниками…

А я Вам этого не обещала, Екатерина Алексеевна. Вам почудилось…

Теперь разговор продолжался два часа с четвертью.

И все-таки, как можно забыть, что лишь двое из власть держащих набрались храбрости поговорить со мной. Пускай без толку. Но и просто распахнутая дверь, человеческий голос были для меня в те прокаженные годы бальзамом. Одним смельчаком была Фурцева, вторым — Поликарпов.

Дмитрий Алексеевич Поликарпов тогда состоял заведующим отделом культуры ЦК КПСС (после его смерти кабинет на все «застойные годы» занял Шауро). Это на склочной писательской жалобе на Поликарпова Сталин начертал игривую резолюцию: «Убрать дурака». Карательные органы порешили: раз «дурак», повременим расстреливать, наперво пошлем учиться. И отправили Поликарпова в соответствующую академию. Так он и выжил — пиши приговоры, дорогой товарищ, Сталин, без недомолвок…

Поликарпов избирался в Верховный Совет от Латвии. И когда приезжал в Ригу, то терявшие от умиления рассудок очумелые подхалимы отправляли за ним на вокзал весь автопарк черных правительственных лимузинов. Поликарпов, возможно, искренне сердился, отбрыкивался. Ехал с чемоданчиком в трамвае. А правительственный автопарк гусиным шагом волочился за городским транспортом в псковскую гостиницу…

И вот финальный вопрос Фурцевой:

— Когда Ваш следующий спектакль?

— Шестнадцатого…

— Ну, а в этот раз Вы сможете унять хлопальщиков и крикунов, чтобы не устраивали новых демонстраций?..

Я не отвечаю и выхожу из кабинета.

Но КГБ «унимал» балетоманов своими проверенными методами. Моих театральных поклонниц и поклонников стали вызывать в управление милиции Москвы на Петровку, 38. По одному. С вечера того же дня. Сам адрес, обозначенный в повестках, давал ясно понять, что дело вовсе не политическое, но по «хулиганской части». Нарушают-де крикуны заботливо охраняемый властями вечерний покой москвичей, пришедших отдохнуть в театр после трудового дня.

Их держали по многу часов. Стращали, запугивали. Сговор старались раскрыть. Злой умысел. Покупала ли я билеты им, домогались. Какие давала инструкции, напутствия…

Вели они себя, судя по рассказам, твердо, дерзко. Как

каменные истуканы на своем стояли. «Лебединое» Плисецкой — событие. Почему ее в Лондон не выпустили, с каких это пор в театрах хлопать нельзя?.. Да и признаваться было не в чем — билеты и цветы покупали на свои кровные, и не заставишь целый театр рукоплескать, здравицы выкрикивать, цветы кидать, когда слабо танцуют… Я сдружилась с некоторыми из них — после петровских допросов — на всю жизнь. С Шурой Красногоровой, Нелей Носовой, Валерием Головицером, Юрой Прониным… Шуру Красногорову, к примеру, «выспрашивали» восемь с липшим часов. К общим вопросам, как бы между прочим, втискивали откровенную крамолу — кто у Плисецкой бывает, о чем гости говорят…

Но второй спектакль — 16 октября — все же состоялся. Этому, не улыбайтесь, советская мироносная политика помогла — премьер-министр Японии Ициро Хатояма приехал, и Хрущев сопровождал его в театр. Давно, страдалец, «Лебединого» не смотрел. Соскучился (балет шел вместо объявленного в афише «Бориса Годунова»).

Спектакль вновь прошел с оглушительным успехом. Даже Хрущева расшевелил. Раскраснелся Никита Сергеевич, улыбается, из ложи не уходит, приветы на сцену шлет.

Недавно один журналист, старавшийся всю жизнь не пропустить ни одного моего спектакля, в беглом разговоре заметил, что те «опальные» «Лебединые» были венцом моей карьеры. Так они были тревожны, эмоциональны, нервны, что подняться выше их уровня мне позже уже не удалось…

Следующее «Лебединое» — через день — 18 октября. Теперь гостем король Афганистана Мухаммед Дауд. С ним в ложе — опять любимое правительство. Опять Хрущев (посочувствуем ему), Булганин, Первухин. Аплодисменты, улыбки, приветствия…

Но в те же дни, тем же октябрем 1956 года, те же правящие нами люди, вершители судеб и жизней наших, кто после спектакля стоя мне в ложах аплодировал, собираются на свое злодейское Политбюро, чтобы скудоумный доклад генерала Серова выслушать. О балерине Плисецкой, работающей на английскую контрразведку.

Никто вопроса не задает, что концы с концами никак не сходятся. Что домыслы Серова — несусветная чушь! Что балерина ни на одном иностранном языке не говорит. Глухонемая. Знать ничего об обороне Страны Советов не знает, в курсе лишь интриг театральных… Но постановляют: утвердить доклад, продолжать наблюдения, поста не снимать, за границу не выпускать. (На страницах мемуаров Хрущева есть глава с отблесками моей невеселой истории и схожей истории Святослава Рихтера,

которого тоже намучили вдоволь. Загляни в хрущевскую книгу, читатель, коли не поленишься…)

Мне стало известно об этом жутковатом заседании от девчат из ансамбля Моисеева, на которых дружно переженились все дети партийных бонз (они взаправду были красотки, одна к одной, Моисеев знал, кого принимать в ансамбль). И уж шепнули муженьки своим балетным женушкам про злосчастную их коллегу из Большого. Тоже танцует, но… А женщины в России никогда секретов хранить не умели. В переполнившем их через край возбуждении, одна за одной, все подробности мне и выложили. Большой-пребольшой Театр Советского Абсурда!..

Гастроли в Лондоне шли успешно. «Ромео» с Улановой имел выдающийся успех. «Лебединое» танцевали вместо меня Тимофеева и Карельская, а Зарему в «Бахчисарайском» — вызванная из Риги «спасать положение» Велта Вилцинь.

Мой партийный воспитатель-идеалист валторнист Полех тоже отличился. С другой, правда, стороны. Собрал, идеолог, с каждого гастролера по энной сумме на венок Карлу Марксу, коли похоронен старикашка в туманном Лондоне. Нужно почтить могилку приветом от артистов Страны Советов. Все нехотя, но раскошелились. Куда ж от мертвого основоположника денешься!.. Но не согрел останков усопшего автора «Капитала» щедрый венок от московских артистов. Испарились денежки, ту-ту… Утекли между пальцев идейного театрального лидера. В собственный карман. На удовлетворение личных комму ничьих потребностей. Разразился скандал. Марксу — куда ни шло. Но хитрому Полеху?.. Не будем оброка платить. Переизбрали секретаря. Сидел он теперь после Лондона, смирнехонький, в бабочке, как всегда напомаженный, в своей оркестровой яме, речей не произносил, не клеймил несознательных, дул свои валторновые соло.

А руководитель гастролей Пахомов, ваш знакомец уже, читатель, всю свою большевистскую энергию употребил на самый главенствующий, по его мнению, момент: кто в каком порядке в двери входить и уходить будет. Прием ли, пресс-конференция, встреча с активистами Общества советско-британской дружбы. Первым, ясное дело, должен переступать порог сам Василий Иванович Пахомов. Глава делегации сынов и дочерей великой советской родины. Второй — Галина (так по-простому, по-рабочему величал замминистра Уланову), третьей — Раиса (Стручкова, значит), четвертым — Леонид (это уж Лавровский), потом — все остальные. А все ли «стадо» в наличии, пересчитывали по многу раз на дню специальные счетчики (из органов, разумеется), кто в арифметике силен был и на эту

сверхзадачу профессионально натаскан. Все донесли до Москвы отточенные, как бритвы, балетные языки…

Хочу еще добром помянуть людей, кто выказывал мне сочувствие в те растерзанные «лондонские недели». Вахтанг Чабукиани, руководивший грузинским балетом, настоятельно звал побросать к чертовой матери все московские хождения по мукам и перебраться на работу и житие в Тбилиси. Но не помогло бы это. Власть-то везде была советская, мразная. Художник Фонвизин, старый, почтенный мастер, уже глазами болевший, нарисовал несколько моих портретов с натуры. Я ему охотно позировала. Марина Семенова, читая метания моих вопрошавших глаз, приободряла:

— Терпи, девка, мне хуже было. Под домашним арестом сидеть пострашнее. Те танцевать не давали…

А с Серовым встреча моя-таки состоялась. Через 20 лет только. Совсем по Дюма — «двадцать лет спустя».

Мы ехали с Щедриным на дачу в гости к скрипачу Леониду Когану в Архангельское. Леонид Борисович только купил эти владения и устраивал для друзей смотрины. В веренице беспорядочно разбросанных подмосковных строений за высокими заборами мы подзаблудились. То ли направо надо повернуть, то ли вперед ехать продолжать?..

На счастье, шустрый мужичонка вдоль дороги по обо чине ковыляет в линялом синем спортивном костюме. В руке теннисная ракетка в футлярчике подрыгивает. Затылок человечка аккуратно выбрит, крендельком. Мы останавливаемся. Щедрин приоткрывает боковое окошко. И, вежливо поздоровавшись, спрашивает:

— Здесь будет дача Леонида Борисовича Когана? Правильно мы едем? Направо не надо?

Спортсмен оборачивает лицо и… меня током бьет догадка. Такие лица помнишь до гробовой доски.

— Какой еще Коган? Нет тут таких. Тут дачи правительственные. Вы ошиблись.

Ощутив недоброжелательство, Щедрин дает машине ход. Я, страшась оглянуться — вот ведь рубец на сердце, — цежу:

— Это был Серов. Он еще живой?..

Добравшись до Лени Когана, прямо с порога кидаю ему вопрос. Возможно ли такое?

— Ну и память у тебя на лица. Персональный пенсионер союзного значения генерал армии Серов живет поблизости. Каждый день в теннис ходит играть с дружочками. Нас переживет, душегуб.

Ясновидец. Пережил Серов Когана.

Вернусь в пятьдесят шестой год. Сторожевая машина КГБ старательно продолжала ездить за мной по пятам, но я стала обвыкать. Мне это казалось теперь даже более смешным, чем страшным. Уж и силуэты парней примелькались. Какая бригада когда дежурит, вглядевшись, определить уже можно. Один страж как-то даже смущенно-ухмыльчиво улыбнулся через стекло — что поделаешь, служба…

29 октября танцую в Туле. На родине лесковского левши-умельца. Деньги зарабатываю. Их нету — нужду терплю. Я теперь выезжаю недалече от Москвы. Но часто. Рязань, Ковров, Брянск, Тамбов, Владимир… На дальние поездки времени не выкраивается.

Знаю, сегодня, 29-го же, в Лондоне «Лебединое» идет. А я здесь, в Туле, самовыражаюсь.

Ноги побаливают. Ото всех нервотрепок. Вконец перетружены. Вчера икру дернуло на лестнице, когда к поезду неслась. Будто собака цапнула. Не сорваться бы!.. 1 ноября у меня в Москве опять «Лебединое». Для сирийского премьера Шукри Куатли.

Вновь Хрущев явится.

Хорошо бы второй акт по-иному станцевать. Что бы придумать?.. ка, всегда думаю, как бы выглядели, воспринимались они, скажем, монашка — в глубоко декольтированном платье от Пьера Кардена или поручик — в измусоленной тамбовской телогрейке с масляными разводами на обвислых ватных штанах?..

Как многое значит для человека одежда!

Внешняя оболочка лепит образ. Только она. По ней мы строим свое восприятие личности. На ней основывается наше суждение о человеческой особи. Да одежда диктует и поведение. Манеры не выручат (ладони могут лишь в самой близи выдать…). На выяснение, кто есть принцесса на горошине, и то целая ночь спонадобилась…

Как же я одевалась? Во что? Где и у кого покупала свой гардероб? В ГУМе ведь пригожего платья не сыщешь. Отродясь его туда «не завозили».

Жила-была в Москве волшебница Клара. Не совсем волшебница, но… предпринимательница. Скажем так. Клара ходила по домам актеров — главным образом невыездных. При ней всегда была внушительных размеров сумка, в которую вмещался целый платяной шкаф. Платья вечерние и каждодневные, пальто, пелерины, туфли, кофты, нижнее белье, сумочки…

Все Кларины сокровища были импортные. Хорошего качества.

Жены советских дипломатов регулярно продавали ей свой ходкий товар. Контрабандная тропа была хорошо протоптана.

Вещи всегда новые, с радужными ярлыками и марками заморских магазинов. Только цены были нерадужными — стоили предметы роскоши баснословно дорого. Но в рубище не походишь. Надо одеться не хуже тех, кто ездит в загранку. Смотрят на меня. Я на виду.

Однако от неношеных вещей слегка потягивало горьким потком. Это юная дочь Клары примеряла на себя перед очередным маминым визитом по актерским берлогам весь гардероб.

Все, что я носила, я купила у Клары. Втридорога. Она не была альтруисткой.

Если пригожая вещь не подходила, не совпадал размер, было тесно, топорщилось, Клара аккуратно складывала платье обратно в волшебную сумку и торжественно провозглашала:

— Я с этим еще буду работать…

Она подразумевала, что вещь непременно найдет своего покупателя.

В Большом балете у Клары были и другие клиентки — из того же племени «невыездных», что и я. Мать моей театральной подружки Вали Пещериковой, надсадно страдавшая за свою невыездную дочь, в порыве слепой злости изрекла бессмертный афоризм. Он долгие годы — горькой ухмылкой — скрашивал ограниченность наших балеринских гардеробов. Тех, кто сидел в Москве.

Хуже их ходить не будем!..

И мы не ходили хуже. Но для этого пришлось «обтанцевать» тысячи крохотных клубных сцен, нетопленных, кривополых площадок, исколесить сотни растерзанных немощеных дорог, проложить множество тяготных маршрутов, настудить, намучить ноги, нахлебаться вдоволь неистребимого российского хамства. Элегантность давалась кровью.

Я уже писала, что моя полутеатральная броская одежда была моим бунтом, мятежом, вызовом системе. Даже наши тугоумные вожди чувствовали — что-то здесь неспроста, наряжена — как на сцене, не по-нашенски. Это в те годы Хрущев сказал мне с неким укором:

— Вы слишком красиво одеты. Богато живете?..

Сложнее обстояло дело с шубами. Сколько ни танцуй по клубам — Кларины меха не по карману. Так я исходила семь лет кряду по мерзлым снежным российским зимам в старом Митином каракулевом манто. Серые каракулевые шкурки совсем облезли, стерлись местами, образовав внушительные плешины. Мне

пришлось прибегнуть к помощи театрального скорняка Миркина, перебравшего подыстлевший мех. Клиньями вшить в бока серое же шинельное сукно. Так и каракулевая шапочка выкроилась!..

Люди числили меня модницей. Но ощущение моды, модности пришло ко мне куда позднее.

Вернувшись из Парижа — это был уже 66-й год, — где Надя Леже подарила мне опять же каракулевую, черную макси-шубу, прошитую кожаными аппликациями, и я, вырядившись в нее, вышла из дома на Горького, чтобы поймать такси, — первая же взбаламученная видом моим москвичка окрестила себя православным знамением и гневно взвизгнула:

— О, Господи, греховница-то…

По части шубы-макси я была в Москве Христофором Колумбом.

И еще позже, когда через Надю Леже я познакомилась с Пьером Карденом, великим, неповторимым, неистощимым выдумщиком Пьером Карденом, и побывала на его ослепительных коллекциях, я смогла нутром ощутить, что мода — это искусство. Полное тайн, недосказанности, волшебства — искусство.

Я твердо знаю, что благодаря костюмам Кардена получили признание мои балеты «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой». Без его истонченной фантазии, достоверно передавшей зрителю аромат эпох Толстого и Чехова, мне не удалось бы осуществить мечту.

В самый разгар работы над «Анной» я волею судеб вновь оказалась в Париже. За завтраком в «Эспас» я рассказала Кардену о своих муках с костюмами «Карениной».

В ту толстовскую пору женщины заворачивали себя в длинные, в пол, облегающие платья, да еще сзади подбирался тяжелый оттопыренный турнюр. В таком костюме и походить толком не походишь, а тут — танцуй. Перенести же действие в абстракцию — никакого желания не было. Какая же, к черту, Анна Каренина в тренировочном трико!

Безо всякой надежды, больше для размышлений вслух, я сказала Кардену:

— Вот бы Вы, Пьер, сделали костюмы для «Анны». Как было бы чудно…

У Кардена в глазах включились батарейки. Словно ток по ним пошел.

— Я знаю, как их надо решить. Тут нужно…

И уже через неделю я была в карденовском бутике на Avenue Matignon на примерке. Карден сам придирчиво контролировал каждую складку, шов, каждую прострочку. И все время просил:

— Подымите ногу в арабеск, в аттитюд. Перегнитесь. Вам

удобно? Костюм не сковывает движений? Вы чувствуете его? Он должен быть Ваш более, чем собственная кожа.

Пьер создал для «Анны» десять костюмов. Один лучше другого. Настоящие шедевры. Их бы в музеях выставлять…

— Последнее платье — саван. Как Плащаница Христа. Серое — на черном. Серое, как дымок паровоза… — так комментировал Пьер примерку финального смертного платья Анны. (Пожалуйста, не подумайте, что я внезапно так бойко заговорила по-французски. Это наш общий друг Лили Дени — добрая, редкая душа, владеющая в совершенстве обоими языками, была всегда рядом, всегда в помощь, в дружбу…)

К премьере Карден прислал мне в Москву несколько фирменных коробок с готовыми платьями-сокровищами. И коробки забыть не могу: под старину — в таких прадедовы выходные цилиндры хранить, — белоснежные, с широкими узорчатыми лентами, в бантах. И два слова — «PIERRE CARDIN».

Технический трюк решения Кардена был прост. Он приподнял к талии боковые сборки платьев петербургских модниц и… высвободил ноги, при этом не меняя женского силуэта той поры. Любое движение стало возможным. А вместо турнюров Карден обошелся широченными, но полувоздушными бантами с ветвистой тесьмой в пол. Так же сочинил он и мою шубку в ансамбле с вельветовой муфтой, увенчанной черной атласной розой. В этом одеянии в порывах снежной метели я являюсь впервые Вронскому на перроне московского вокзала…

Божественно лучится световая гамма костюмов. Черный бархат с газовым шлейфом на балу, сиреневые виньетки в салоне княгини Бетси, белые крылья, чуть скрывающие обнаженное тело в сцене «падения» Анны, желтая клетка со страусовыми перьями на «скачках», шоколадно-коричневая гамма сада Вреде, небесная лазурь итальянского счастливого па-де-де… Всех костюмов я не перечисляю.

А какие платья сделал Карден для моей «Чайки»!..

И еще — «Дама с собачкой». Всего одно платье. Но какое! Видеть его надо, мой дорогой читатель.

Все драгоценные театральные наряды (а Карден делал мне и кинокостюмы, например, к тургеневским «Вешним водам») были его царскими подарками.

Мой милый бессребреник Пьер! Как я могу словами передать тебе мои чувства…

Но в афише Большого театра имя Кардена не стояло. Выпало. Забыли. Наши костюмы все. Советские.

Это Министерство культуры панически запретило дирекции в перечислении авторов называть имя иностранца. Да еще такое:

Карден.

Пьер и ухом не повел. Аноним — пусть аноним. Придет время…

Лишь годами позднее, исподволь, сначала в гастрольном турне, мелким петитом упомянули создателя костюмов «Анны». Потом и в программе Большого пропечатали. Так черепашьим шагом раздвигался мало-помалу железный занавес… И раздвинулся до того, что летом 1991 года на Красной площади Москвы состоялся показ карденовских мод. Я стояла рядом с Карденом, глазам не веря, прося ущипнуть меня покрепче, желая убедиться, что явь-то — не сон.

А пока…

..Зимой 1957 года я трясусь в стылом российском поезде, монотонно считающем шпалы. За запотелым стеклом вьюжит взаправдашняя метель. Мелькают погнутые верстовые столбы. Стрелочницы с желтыми флажками. Я в своей серой каракулевой шубке с шинельными клиньями по бокам. Каракулевая шапчонка от тряской езды сползает на глаза. Дремлется.

В вагоне зябко, нетоплено. Накурено. Путь еще длинный. Вечером — а еду я в Ковров — у меня два концерта. По пять номеров в каждом (фрагменты «Лебединого», вариация Раймонды, «Мелодия» Глюка, третий акт «Фонтана» и воистину неумирающий «Умирающий лебедь»).

Неможется. Где-то грипп подцепила. Хорошо еще температуры нет.

Но деньги выплатят сегодня же. Будет на что Кларины туалеты покупать…

Глава 28
ЧТО ЧЕЛОВЕКУ НАДО

Мой дневничок пятьдесят седьмого года — одна печаль да сокрушения. До апреля пятьдесят девятого меня никуда не выпускали.

Я продолжала писать то гневные, то жалостливые письма-прошения, но все они остались без ответа. Все. Все…

Встречи с вождями — теперь пореже. Я уже избегала многолюдных сборищ с присутствием иностранцев. Глядишь, новые небылицы в досье мое насочинят. Хватит с меня и старой чепухи.

Без разговоров с сильными мира, ясно, не обходилось. Но в ответ была ложь. Меня «пасовали», как футбольный мяч, с правого края на левый, в центр, к судье… Чего перечислять поездки, куда я не поехала. Наскучит.

Сняли Петра Андреевича Гусева. За красные точки сняли. Точки против фамилий, кого выпускать нельзя. Просочилось неведомым путем до гэбэшных ушей, что не удержал Худрук тайны. Выболтал. Таким в обитом шелком начальственном кабинете — не место. Уехал Гусев в Ленинград. В театр вернулся Лавровский.

Тем временем Игорь Моисеев приступил к постановке «Спартака». Это был первый спартаковский заход Большого. Я репетирую Эгину.

Московский подневольный балетный люд не без умысла, думаю, позадвинул эту моисеевскую работу в дальний чулан.

Зря! Несправедливо это. А все потому, что бацилла подхалимажа многих полишила совести и памяти: «Не удался Моисееву спектакль, и все тут. На свалку…» Зато нынешний диктаторишка соорудил великий шедевр. Власть-то в его лапах. Его-то мы восславлять и будем. Конечно… пока на троне сидит.

Время все по местам расставит. Ждать только долго…

Роль моисеевской Эгины была необыкновенно хороша. С удовольствием рука о ней пишет.

Постановка была богатая, масштабная. На деньги не поскупились. Государство тогда в императорский театр пригоршнями их кидало. Счету не вело (чай, не свои, народные).

Я появлялась во дворце Красса из нижнего люка, на подъемнике, в радужных струях всамделишного фонтана. В гладиаторских поединках участвовала вся мужская часть труппы. Все переливалось красками, кипело, полыхало. Файер извергал на

публику такую мощь хачатуряновских тутти, что барабанные перепонки корежились, содрогались. Роскошными были костюмы. Они искрились перламутром, играли цветастой вышивкой театральных камней. Чуть ли не Голливуд на советской площади имени Свердлова.

Хореографическая пластика была сочная, земная, эффектная. Мои дуэты с Гармодием (Фадеечев) были на грани дозволенного, по тем временам, разумеется. Зритель таил дыхание: неужто не запретят?..

В финальной сцене я являлась в золотом шлеме с длинными перьями, в искрометной кольчуге, в изумрудном шифоновом хитоне. Подымалась по мраморной лестнице к ладьям пиратов (откуда там были пираты?). Афина Паллада с барельефов Акрополя…

Ахиллесовой пятой, это уж правда, был сам Спартак. Моисеев пошел по пути соответствия физического облика Спартака, многократно удостоверенного всеми римскими летописцами: предводитель восстания рабов был могучим, мощным атлетом.

Такой красавец-великан в театре был. Дмитрий Бегак. Только с танцами у него было… скверно. Моисеев решил спартаковскую партию в рамках танцевальных возможностей Бе гаха. И… просчитался. В опере петь надо. В балете танцевать надо. Иного — нету…

Более всего изобретательный ум Моисеева проявился в дуэтах. На репетициях Игорь Александрович предлагал в изобилии трюковые поддержки. С ходу, когда мышцы вдоволь разогреты, в азарте первооткрытия, — они удавались. Но на следующий день надобились многие усилия, чтобы без напряжения венчать ими кульминации всплесков хачатуряновских мелодий.

Одна поддержка, ну никак, вот пропасть, не выходила. Получившись единожды — на первой постановочной репетиции, вызвала общий восторг и желание обязательно исполнить ее. После сольных высоких прыжков я должна была последним вскочить на бедро партнера и оказаться в позе арабеск, перегнувшись затем буквально пополам. Разворот, смена рук, поцелуй через спину. А дальше…

Нет, рассказывать балет писчим пером — гиблое дело. Просто поверьте мне, что вязь комбинаций была головоломно трудна, но замечательно красива, эффектна, когда удавалось ее осуществить.

Все трюки Моисеева работали на образ Эгины. По сюжету она — куртизанка. Моисеев всласть использовал перегибы, томление тела, негу, объятия. При этом вкус его нигде не подводил.

Но спектакль длился вечность. Хачатурян не разрешил сократить ни единого такта. Началась баталия. Увы… Моисеев отступил. Четыре с лишним часа шел балет. Как ни хорошо блюдо, но переешь — вытошнит…

Перечла все и — задумалась… Не слишком ли зло обо всем пишу?

А со мной по-доброму обходились? До того затравили, что я ни дня тогда без мысли о самоубийстве не жила. Какую только дорогу на тот свет предпочесть, раздумывала. Повеситься, из окна выброситься, под поезд лечь — неэстетично больно. Вид будет мерзкий…

Читатель пожмет плечами: подумаешь, шесть лет за границу не выпускали. Да и только. Дело-то. Расхныкалась, слабонервная. В тюрьму не посадили, танцевать не запрещали, на приемы звали, титулами жаловали, заработок был, одевалась по моде… Чего еще надо?

А что и впрямь человеку надо?

Про других не знаю. А про себя скажу.

Не хочу быть рабыней.

Не хочу, чтобы неведомые мне люди судьбу мою решали.

Ошейника не хочу на шее.

Клетки, пусть даже платиновой, не хочу.

Когда приглашают в гости и мне это интересно, — пойти хочу, поехать, полететь.

Равной с людьми быть желаю. Если мой театр на гастроли едет, вместе с ним хочу быть.

Отверженной быть не желаю, прокаженной, меченой.

Когда люди от тебя врассыпную бегут, сторонятся, говорить с тобой трусят, — не могу с этим примириться.

Не таить, что думаю, — хочу.

Опасаться доносов — стыдно.

Слежки стерпеть не могу.

Голову гнуть не хочу и не буду. Не для этого родилась…

Каждый божий день я в гуще людей зарилась. В тысячах лазеров глаз, меня сверливших. Репетиция, класс, спектакль, мастерские, буфет… Я в театре служила. Улыбаться на людях была должна, беззаботность играть, беспечность. Все нормально, дорогие коллеги. Ничего страшного. Порядок. А душу тигры на части рвут. Неделю, месяц перебороть себя можно. А шесть лет? Если шесть лет так пожить? Две тысячи сто девяносто дней?..

Мне было очень больно и стыдно.

Нестерпимо больна Нестерпимо стыдно.

Время хорошо врачует, затягивает увечья, раны. Сегодня и я смотрю в свою жизнь тех лет поспокойнее, похолоднее. Но когда

не знаешь, что ждет тебя завтра, куда подеваться, как спастись, с искусством балета не разминуться, — кроме черной краски, никакой другой на белом свете для тебя нет…

…Новый, пятьдесят восьмой год я встретила в Тбилиси. Гостеприимном красавце Тбилиси, нещадно обезображенном теперь бессмысленной кровопролитной бойней. Все-таки я всерьез задумывалась, не перебраться ли из Москвы сюда. Пока Серов верховодит в КГБ, пощады мне не будет. Начала вести переговоры с Вахтангом Чабукиани о возможном репертуаре. Уже и срок наметили — после первых спектаклей мо исеевского «Спартака».

Но судьба распорядилась по-иному…

Глава 29
ЩЕДРИН

марта 1958 года на сцене Большого театра состоялась премьера «Спартака».

Репетиционный период московской постановки растянулся так надолго, что Якобсон, взявшийся за хачатуряновскую партитуру в Ленинграде позже Моисеева, пришел, однако, к финишу первым. Он так и сделал купюры. Пока Хачатурян «хватал» за руки Моисеева в Москве, уберегая свое детище от посягательств на сокращения, Якобсон изрядно подстриг пухлую партитуру в Ленинграде.

Когда Хачатурян увидел якобсоновский «Спартак», разразился громогласный скандал. Характеры упрямца Якобсона и гордеца Хачатуряна столкнулись на поле брани в Кировском театре. Брань взаправду была бранью. Хачатурян несколько лет не здоровался с Якобсоном, не подавал ему руки, говорил о нем в третьем лице и через своих доверенных лиц обращался словно к преступнику в зале суда: «Гражданин Якобсон…».

На премьере в Большом была вся Москва. Театральная Москва. Музыкальная Москва.

Я пригласила нескольких своих знакомых, оставив на их фамилии билеты в кассе. Два билета были забронированы на фамилию «Щедрин». За несколько дней до премьерного вечера мы виделись с ним у Лили Юрьевны Брик, и я увле ченно рассказывала о новой работе. Он попросил билеты. Я пообещала.

Впервые мы встретились в том же доме Бриков в пятьдесят пятом году, когда в Москву приехал Жерар Филип. Вот дословная запись из моего дневника, помеченная 25 октября: «Сегодня была у Лили Брик. К ним в гости пришел Жерар Филип с женой и Жорж Садуль. Все были очень милы и приветливы. Супруги высказали сожаление, что не видели меня на сцене, но я «утешила» их, подарив им свои фото с надписью (весьма плохие, хороших не было). Гостей больше не было (был еще композитор Щедрин)».

В этот осенний французский вечер Щедрин много играл на бриковском «Бехштейне» своей музыки, которая увлекла присутствующих. Какая-то искра обоюдного интереса пробежала между нами, но тут же затухла. Совсем в ночи мы начали расходиться, и Родион развез поздних гостей на своей машине «Победа» по домам. Маршрут пролег таким образом, что я вышла на Щепкинском последней. Уже прощаясь, я обратилась с

просьбой — не смог бы он с пластинки записать на ноты музыкальную тему чаплинского фильма «Огни рампы». Мне эта мелодия очень нравилась, и я говорила с Голейзовским о номере на сюжет фильма Чаплина. Голейзовский подхватил мой замысел, но где взять музыку?.. Щедрин согласился. И через несколько дней прислал мне клавир. Но что-то в последний момент помешало, и номер света не увидел.

Последующие годы мы несколько раз мимолетно виделись с Щедриным, мило перекидывались шутливыми репликами, но мне казалось, что он сердится на меня за чаплинскую работу впустую…

И вот март пятьдесят восьмого года. Премьера «Спартака» удалась. Все участники сорвали громы оваций. Я в их числе.

Утром следующего дня Щедрин позвонил мне по телефону и наговорил комплиментов. Потом продолжил:

— Я работаю с Радунским над новым «Коньком-Горбунком». Для вашего театра. Радунский просвещает меня по балету, как может. Настаивает, чтобы я пришел несколько раз в класс. Это правда поможет? А Вы когда занимаетесь? В одиннадцать? А завтра в классе будете?

Следующим днем мы свиделись в классе. Щедрин пришел с Радунским. Оба уселись на балетное классное зеркало. Урок начался.

Занималась я в черном, обтянувшем меня трико — была одной из первых, кто репетировал в купальнике-эластик. Черный французский купальник, ясное дело, был из волшебной сумки неутомимой Клары (тогда еще принято было делать класс и репетировать в хитонах).

Купальник к моей фигуре здорово подошел, выгодно выделив ее достоинства: удовлетворенно перехватывала свое отражение в зальном зеркале. То соблазнительные па Эгины, теперь часовая разминка в облегшем торс одеянии! На Щедрина обрушился ураган фрейдистских мотивов… А я еще и добавила:

— У меня после класса — плюс две репетиции. В первом зале. Хотите посмотреть?

Щедрин запнулся.

— Спасибо. Для одного дня впечатлений у меня предостаточно…

Но вечером он позвонил мне и предложил покататься по Москве. Старикашка Фрейд победил.

Я без раздумий согласилась. Кончилось все тем, что, когда я пишу эти строки, — мы не расстаемся уже тридцать четыре года. Точнее, тридцать пятый пошел.

Встречались мы в композиторском доме на улице Огарева,

где Щедрин жил с матерью, Конкордией Ивановной, и у меня, на Щепкинском.

Весна стояла в тот год холодная. И ночами мы, замерши, прислушивались, как продрогшие чекисты в по-прежнему исправно сопровождавшей меня машине слежки включали шумно детонировавший мотор, чтобы согреться. С моего второго этажа было здорово слышно. Клапаны в гараже КГБ ленились как следует регулировать…

Явившийся мне с неба головокружительный роман отвлек от мыслей о Тбилиси и от несостоявшейся поездки во Францию и Бельгию. Поездка-то состоялась, труппа «хорошо» поехала. Я — осталась дома. Мне не привыкать. Но этот удар был не таким болевым. Когда рядом есть человек, делящий твое горе и радость пополам, жизнь становится улыбчивее, светлее, брезжит надежда. Найдем выход из катакомб, вдвоем — обязательно найдем!..

За несколько дней до отъезда труппы в Париж — а улетели они 25 мая — министр Михайлов, напутствуя отъезжающих на собрании в театре, на чей-то вопрос, почему не едет Плисецкая, нагнал туману:

— Плисецкая, товарищи, возможно, едет в другую, не менее ответственную поездку…

По залу прошел настороженный гул. Что может быть ответственнее спектаклей в «Гранд-опера»? На Марс Плисецкую пошлют? Марсиан лебедиными танцами услаждать? Человек сорок, ранее совершенно меня не узнававших, дружественно заприветствовали Майю Михайловну Плисецкую по коридорам. Ох, вот она, махровая наша российская подлость!..

Логика Михайлова сшита была белыми нитками. Спектакли «Лебединого» в «Гранд-опера» прошли 31 мая, 2 и 7 июня. А я лишь 14 июня полетела в «ответственную поездку» в Прагу. И все равно, это был маленький сдвиг, сдвиг из безнадежной преисподней. «Курица — не птица, Прага — не заграница». По старой пословице (хвала Господу, прошлое это — теперь). Но новенький заграничный паспорт похрустывал у меня в руках. Таможня, пограничники, неродная речь, магазинчики, соблазнительное чешское стекло… Могу взять от Клары маленький отпуск.

Танцевальный вечер в Праге и других городах носил название «Вечер солистов балета Большого театра». Мы же именовали себя «штрафной батальон Большого». Сборная команда невыездных в братской стране народной демократии. Все до одного артисты, как на подбор, были не выпущены в Париж. А к чехам — поехали. Решили, наверное, не озлоблять людей до самой уж крайности. Из Чехословакии не убежишь. И здесь граница на советском

замке.

В этой поездке я танцевала, помнится, чаще всего три номера. «Мелодию» Дворжака, отрывки из «Лебединого» и — уже догадались? — «Умирающего лебедя».

Пленительная музыка Дворжака — сродни Чайковскому — мне сильно всегда нравилась. И за несколько дней перед самой поездкой я решила станцевать что-то из «чешского репертуара». Чехам должно быть приятно, так ведь? Конечно, Дворжак. Взяла музыку его «Мелодии» и сама за одну репетицию поставила танцевальный дуэт. Партнером взяла Диму Бегака, который в Париж не уехал и кавалером был весьма надежным. Номер сочинился на одном дыхании и публике пришелся по душе.

Щедрин на мой «чешский месяц» уехал в Сортавалу. Там, на берегу Ладожского озера, был у московских композиторов приют.

После‹ Чехословакии, набрав гостинцев, я отправилась в Карелию. Машина слежки проводила меня до Ленинградского вокзала и… испарилась. Тоже в отпуск? Или будут патрулировать меня по лесам и озерам?..

Щедрин, загоревший, веснушчатый более обычного, встречал на сортавальском перроне. Мы были с ним совсем одной масти — рыжей. Может, сама природа решила обручить нас крепче обычного?..

Сосед по купе тычет пальцем в растворенное окно:

— Вон Ваш брат с букетом.

Щедрин со снопом полевых цветов. Мы и вправду чем-то схожи.

Сортавальское лето было всплеском счастья. Жили мы в крошечном коттедже, прямо в лесу, среди гранитных валунов, в совершенном отдалении от людей. Коттедж был из одной малюсенькой комнаты. Метров семь-восемь. Туалет — весь лес. Ванная — Ладожское озеро. Комары не щадили. По ночам снаружи лоси терлись о наши дощатые стены. В дожди в домике было зябко. Коттедж не отапливался. Крыша чуть протекала. Но мы лучились радостью. Что человеку, мудрые философы мироздания, в конце концов, нужно — задам вновь извечный вопрос?..

К концу августа беспокойство иного рода охватило меня. Появились все признаки, что забеременела. В Москву надо возвращаться. А может, родить? И расстаться с бале том? Ан жалко. После «Спартака» и чешского турне я в хорошей форме. Худая. Повременю маленько. Срок еще есть. Танцевать или детей нянчить — выбрала первое. Щедрин без восторга, но согласился.

В Москве врач удостоверил. Беременна. Но аборт раньше октября делать не стоит. Не созрел еще плод.

Неожиданно для самих себя мы пустились в дальнее путешествие. В Сочи, вдвоем на щедринской машине. Заодно и Мацестой попользуюсь. Колено поднывает. Сбор труппы каждый год назначался на 26 августа. А в этом — из-за французских гастролей — явка балета сдвинулась на целый месяц.

В те молодые годы Родион много работал в кино. Писал к фильмам музыку. За это неплохо платили. Он и машину купил.

Мы отправились в путь.

Маршрут пролегал через Тулу, Мценск, Харьков, Ростов, Новороссийск. Между прочим, все эти города я ранее обтанцевала.

В гостиницы нас не пускали. В паспортах штемпеля о браке нету. Холостые, значит. Катитесь, путешественники, откуда приехали. Пришлось спать в машине.

На первом ночлеге у обочины в Мценске (это в том самом Мценске, где Катерина Измайлова Лескова — Шостаковича законного мужа и деверя на тот свет отправляла) мы выставили сумку с провиантом на холодок, под машинное крыло. Тесно в автомобиле больно, да жареные цыплята задохнутся. Вокруг нас — темень непроглядная. Глаза выколешь. Тишь, ни души. Сладко заснули.

Утром, чуть рассвело, отворили дверцу. Закусить перед новой дорогой надо. Хватились, а сумки след простыл. Как ночью, без малейшего шума сумели унести? Может, зверь какой? Или левша — лесковский умелец — новый способ хищений изобрел?..

Остались мы без еды. Покатили в железнодорожную столовую на вокзал. Говорят, там круглый день открыто. Открыто-то открыто, но угощение — из рук вон. Картошка с синевой, компот с мухами, хлеб черствый, посуда немытая.

Чувствую, смотрит на меня Щедрин испытующе. Закапризничает балерина, взбрыкнет, взнегодует, ножкой топнет. А я ем за обе щеки. Уплетаю. Аппетит у меня всю жизнь был зверский.

Отправились дальше. Прикупили на дороге арбузов с бахчи. Яблоками запаслись. Едем.

Теперь в степи заночевали. За Ростовом. Съехали с дороги к прудку засветло еще. Руки отмыли, фруктов наелись. А что не съели — возле машины сложили, ветками прикрыли. Но это более от вчерашней пропажи, как-никак маленькая травма была… Зазря, конечно. Кому арбузы понадобятся? Кругом бахчи. Людей не видно.

Занавесками окна прикрыли. Заснули сладко.

На рассвете решаем по кусочку арбуза съесть. Первый завтрак. Ветки раздвигаем — пустота. Ни арбузов, ни яблок. Ну

уж это слишком…

Третью ночь ночевали возле Архиповки в Джугбе. Прямо на пляже. В нескольких метрах море Черное плещет.

В этот раз жареными куропатками с новороссийского рынка рискнули. В багажник их не спрячешь — там канистры с бензином стоят, пропахнут куропатки (за всю дорогу лишь один раз в Белгороде нас и заправили — нигде бензина на дорогах не было).

Родион добрый час потратил на сооружение ловушки для грабителей, если покусятся и на наши куропатки. Смысл, помнится, был в том, что эмалированная кастрюля, в которой покоились куропатки, висела чуть над землей на толстом шнуре. Привод с колокольцем от кастрюли вел через ветровое стекло в кабину и был привязан на ночь к ноге Щедрина. Мы потешались и почли себя Эдисонами. Если посмеют — хотя на пляже ни души, — Родион тотчас проснется и пальнет в разбойников из стартового пистолета. Для острастки.

Спали слаще обычного от сознания полной защищенности нашего провианта.

Наступает утро. Мой первый вопрос:

— Висят? Целы? Завтрак будет?..

Щедрин проверяет натяжку шнура. Колоколец звонит. Радуется:

— Цела кастрюля. Ощущает ее вес рука. Попируем…

Встаем. Сначала — купаться. Потом куропатки.

Мамочка родная! Вместо кастрюли камень на шнуре висит. И записка карандашом: «Спасибо»…

Матушка Россия!..

Так мы и ехали до Мацесты. Десять ванн приняла. Ноге полегчало. Потом обратно.

Ни в Карелии, ни в сочинском променаде слежки за мной не было. Точнее, мы ее не ощущали. Никто не катил вослед, никто не караулил. Подумалось даже, что более опасаются моего общения с иностранцами в столице. Но все эти пропажи?.. Чертовщина какая-то. Неужто чекисты поедали лакомства? И по сей день не могу самой себе ответить на этот вопрос…

В Подмосковье нас уже осень ждала. Деревья в багряном убранстве. Поутру заморозки. Иней на полях. Красотища…

Это было наше свадебное путешествие…

Вернувшись в Москву, второго октября 1958 года мы отправились в ЗАГС. Бракосочетаться. Сегодня признаюсь, что это была моя инициатива. Щедрину не хотелось брачных официальных уз. Но мне интуиция подсказывала — власти меньше терзать меня будут, если замужем. Об этом не раз

намекали. А Фурцева впрямую говорила — выходите замуж, вам веры будет больше. Даже квартиру новую обещали…

Районный ЗАГС Москвы. Подслеповатое помещение без окон, канцелярский стол под сукном. Торопливая, суровая женщина сует нам формуляры для заявлений.

— Идите в коридор и заполните. Потом ко мне вернетесь.

Заполняем. Руки наши на анкеты привычные. И вопросы древние: отец, мать, год рождения, место работы… Других люди еще не придумали. Заполняем. Возвращаемся.

Дама на нас и не смотрит. В чтение наших бумаг погружена. Карандашиком по строчкам водит.

И вдруг… глаза подняла:

— Вы балерина Майя Плисецкая? Я никогда в Большом театре не была. А в Москве родилась. Как бы билеты на Вас получить?..

Обещаю. Телефон дамы беру.

Дама разгорячилась. Вышла из-за стола. Руки нам жмет.

— Чтобы вам на одной подушке состариться. Поздравляю!..

Шлепает в оба наши паспорта прямоугольные фиолетовые печати. Вписывает тушью «зарегистрирован брак с таким-то, такой-то… 2 октября 1958 года… город Москва»…

Теперь можно вдвоем в гостинице заночевать. Прогресс.

И еще брачное свидетельство получаем. На гербовой бумаге, с разводами. С советским гербом посередке.

Выходим на улицу. Слякотно. Ветрено. Мокрая московская осень. Мелкий-мелкий дождь моросит. Похлюпывая грязной жижицей, держим путь в ближайший гастроном. Надо водки, шампанского купить. Вечером несколько друзей зайдут. Это будет наш свадебный пир.

Нелюбезная старушенция в шерстяном платке — один нос да беззубый рот снаружи — сердито толкает меня в бок:

— Девушка, вы тут не стояли!..

Щедрин в благодушии назидательно отвечает:

— Это не девушка. Это моя жена…

Глава 30
ЖИТИЕ НА КУТУЗОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ

Начну с прозы. С дел квартирных. Все лето, пока я была в Праге, Сортавале, на Мацесте, мама занималась хлопотами. Квартиру «пробивала». Характер у нее, как я уже писала, был тихий, но въедливый и упрямый до самой крайности. Она нешуточно затревожилась, что из-за полночного грохота театральными декорациями под самыми окнами я всерьез стала страдать бессонницей.

И добилась своего! Подарком ее к свадьбе моей был ордер на новое жилище.

Вскорости мы с Щедриным перебрались в новую квартиру на Кутузовский проспект. Квартира была крохотная, немногим больше коттеджа в Сортавале. Две комнатенки и кухня. Всего 28,5 м (двадцать восемь с половиной метра).

Передней не было вовсе. И если чуть разбежаться, то можно с лестничной площадки без труда вспрыгнуть на наше брачное ложе в спальне. Но район был хороший. Рядом Москва-река. Напротив — гостиница «Украина». Магазинов кругом полно. Театрального шума под окнами нету. Свой малюсенький балкон, с которого Щедрин по красным праздникам выкрикивал непристойности на армянском языке (его научили музыканты в Армении), адресованные соседу по этажу трубачу Азаряну, приводя того в неописуемое смущение…

Расположились мы в новенькой квартирке втроем. Мы с Щедриным и домработница Катя. Екатерина Алексеевна Жамкова.

Работала она в семье Щедриных раньше, когда отец Родиона Константин Михайлович был еще живой. После, повздорив с матерью Родиона, она перебралась в какую-то военную московскую семью.

На второе утро нашей новой жизни, умудрившись опрокинуть на себя яичницу-глазунью, Щедрин, в сердцах, уселся в машину и покатил за Катериной. Ворвавшись в благочинное семейство безо всякого предупреждения, он побросал немудреный Катин скарб в чемодан, нацепил на нее пальто и под вопли офицерской жены, громко взывавшей к закону, уволок Катю к нам на Кутузовский. Русский человек склонен покоряться судьбе и напору…

Катя спала на кухне возле газовых конфорок, сооружая на ночь свою постель-раскладушку. Утром Катина опочивальня

превращалась в место жаренья-паренья. Наступала ночь — обратно в спальню…

Вся моя жизнь прожита вместе с Катей, и грех будет не рассказать о ней поподробнее.

Родом она из села Успенское, что под Арзамасом. Нижегородская, значит. Семнадцатилетней девчонкой, как началась только война, забрали Катю на оборонный завод. Патроны делать. Пошли бомбежки. А на заводе склады порохом начинены до краев. Неровен час, попадет бомба — все на воздух взлетят. В самую отчаянную бомбежку мобилизованные девчонки-колхозницы со страху поразбежались. Кто куда.

Катя, преодолев колючую проволоку, опоясывавшую оборонный объект (работницы жили за проволокой, как арестантки), вместе с товаркой-односельчанкой устремилась домой. В родную деревню. До дому — сорок километров. К следующей ночи, таясь от людей, беглянки до родных изб добрались-таки. Пешком, разумеется. Дома обрадовались, а… напугались. Дезертирка Катя Жамкова!..

И не зря. Стал по деревням патруль НКВД с милицией ездить. Дезертирок отлавливать. Многих поймали, а кое-кто долго еще по огородам и лесам прятался. На завод возвращаться боялся.

История эта длинная. Надо мне покороче повесть вести… Катя бегала от преследователей целых четыре года. Чудом не изловили. Ночевала в дровяных делянках, амбарах, сараях, в стогах сена. Рассказывала, как сыскная команда вилами колола стог, где она притаилась… Спасение еще, что два уполномоченных милиционера (Титов и Бодряшкин, для точности) болели сердцем, — сердечными пороками страдали. Догонять семнадцатилетнюю выносливую крестьянку им было не под силу. Палили ей вслед из наганов, но судьба миловала, не попали с сердечной одышки, служивые. Но сколько веревочке ни виться… Схватили Жамкову. Предстала Катя перед трибуналом. Держи ответ, преступница. Дали ей пять лет. Год из них просидела она в горьковской тюрьме (рассказ ее — страшен), но амнистия — после военной победы — выпустила Катю раньше срока на волю. Хотя воля — понятие в России всегда относительное.

Мобилизовывали «вольную» Катю на торфяные работы, лес валить, пни корчевать… Туда-сюда больно кидала ее жизнь. По подложной справке свата, работавшего счетоводом в колхозной конторе, за литр самогону была отпущена Катя из колхоза на все четыре стороны и отправилась в столицу в домработницы устраиваться. Ходила по деревням молва, что слаще этой жизни ничего на белом свете нет. Жребий привел ее в семью Щедриных.

Все свободные вечера проводили мы в том же доме — на Кутузовском: в другом подъезде поселились Лиля Юрьевна Брик и ее последний муж Василий Абгарович Катанян, разменявшие свою «безлифтовую» квартиру на Арбате на кутузовскую новостройку. Мы и раньше были очень дружны — Щедрин писал музыку к пьесе Катаняна «Они знали Маяковского», к одноименному фильму, а Василий Абгарович сочинил либретто для первой щедринской оперы «Не только любовь», — и житье по соседству сблизило нас еще более.

У Бриков всегда было захватывающе интересно. Это был художественный салон, каких в России до революции было немало. Но большевики, жестоко расправившиеся со всеми «интеллигентскими штучками», поотправляли российских «салонщиков» к праотцам, по тюрьмам да в Сибирь. К концу пятидесятых, думаю, это был единственный салон в Москве.

Последние годы у нас и на Западе вышло вдоволь литературы о Лиле Брик. Не буду повторяться, а отошлю интересующихся к книгам, в библиотеки. Лишь совсем телеграфно, пунктиром обозначу…

Лиля Брик — муза и возлюбленная Маяковского, великого поэта России: «…если я что написал, если что сказал, тому виной глаза-небеса, любимой моей глаза»… Лиле Маяковский посвятил полное собрание своих сочинений. Родная сестра Лили — французская писательница Эльза Триоле. Эльза — жена Луи Арагона, великого поэта Франции. Удачно выбрали сестрицы женихов!

Лиля дружила с Пастернаком, Пабло Нерудой, Шагалом, Фернаном Леже, Мейерхольдом, Эйзенштейном, Хлебниковым, Назымом Хикметом, Айседорой Дункан. Со всеми, кто был с «левого фронта искусств». Ваяла, снималась в кино. Была любовницей чекиста Агранова, заместителя Ягоды. Из пистолета Агранова Маяковский и застрелился. Гражданской женой Виталия Примакова, предводителя червонного казачества, расстрелянного Сталиным в 1937 году. Сама закончила жизнь самоубийством. Вокруг ее имени накручена уйма чертовщины, осуждений, ненависти, укоров, домыслов, сплетен, пересудов. Это была сложная, противоречивая, неординарная личность. Я не берусь судить ее. У меня нету на это прав…

И главное. Для меня. Лиля очень любила балет. В юности она изучала классический танец. Пробовала сама танцевать. Кичилась передо мной пожелтевшими, вылинявшими фотографиями, где была увековечена в лебединой пачке на пуантах. При первом просмотре Лилиных фото я ее уколола:

— Левая пятка не так повернута.

— Я хотела Вас удивить, а Вы про пятку.

Лиля и Катанян не пропускали ни одного моего спектакля. И всякий раз слали на сцену гигантские корзины цветов. Решением самого Сталина Л. Брик получала третью часть (мать и сестры другие две трети) наследия Маяковского. И денег у нее водилось видимо-невидимо. Она сорила ими направо и налево. Не вела счету. Когда звала меня в гости, оплачивала такси. Так со всеми друзьями.

Обеденный стол, уютно прислонившийся к стене, на которой один к другому красовались оригиналы Шагала, Малевича, Леже, Пиросмани, живописные работы самого Маяковского, — всегда полон был яств. Икра, лососина, балык, окорок, соленые грибы, ледяная водка, настоенная по весне на почках черной смородины. А с французской оказией — свежие устрицы, мули, пахучие сыры…

Но в один прекрасный день Лиля оказалась нищей. Хрущев, правитель взбалмошный, непредсказуемый, безо всякого предупреждения приказал прекратить выплаты наследникам Маяковского, Горького, А.Толстого. Стабильно на Руси только горе да слезы. Лиля внезапно оказалась на мели. Стала распродавать вещи. Беззлобно итожила:

— Первую часть жизни покупаем, вторую — продаем… И даже тогда Лиля делала царские подарки. Именно в ее безденежные годы она подарила мне бриллиантовые серьги, которые и сегодня со мной…

Ну а что с балетом?

На киностудии Мосфильм режиссер Вера Строева начала съемки «Хованщины» по опере Мусоргского, которую переоркестровал, сближаясь с оригиналом, Шостакович. Меня позвали на Персидку. Режиссер Строева. Болезненно толстая, малоподвижная женщина с доброй, обезоруживающей улыбкой задумала сделать решительный шаг в сексуальном просвещении советских людей.

— Майя, я хочу Вас снять с голой грудью. Говорят, Ваша грудь самая красивая в театре. Я хотела бы Вас просить быть завтра на студии к трем часам. Надо показать грудь нашему оператору. Ему нужно поставить волшебный розовый свет. Заодно и я полюбуюсь.

Я взмолилась:

— Вера Павловна, милая, мне очень хочется у Вас сняться. Но в шальварах и легком вышитом лифе — как в театре. Хватит моего голого пуза для соблазнения князя Хованского и советских трудящихся. Все равно худсовет Мосфильма голую грудь не пропустит. Вырежут. Зря буду морозиться. На студии холодище,

сквозняки…

Вечером на Кутузовском разразились дебаты. Щедрин сердился и предлагал отказаться от съемок. Ревновал. Лиля Брик, напротив, восторженно восприняла новации Строевой. Призывала снять и шальвары. Катанян держал нейтралитет.

Но ночью у меня поднялась температура. Глотать больно. Ангина. Репетиция розового света с оператором отпала сама собой. Через неделю, потяжелевшая от постельной лежки, закутанная в шарфы, я приехала на ночную съемку на Мосфильм. Откладывать дольше нельзя. Декорацию хором Хованского в павильоне ломать должны. Строева, хотя и видела мой жалостливый вид, все же слабо попыталась настоять на «TOPLESS». Я отказалась. Сексуальная революция бесславно провалилась, и я снялась в своем привычном театральном костюме.

В театре все текло своим чередом. Я много была занята в репертуаре. Время от времени услаждала именитых визитеров «Лебединым», другими балетами. Концертов теперь брала меньше. Начала репетировать вторую версию «Каменного цветка» Прокофьева. Все у нас в театре по два-три раза переставлялось. Делала новокаиновые блокады в институте Вишневского — опять свое колено лечила.

В театре стали возбужденно судачить о трехмесячном туре по США.

В Москву приехал Сол Юрок — наметить репертуар, определить солистов, собрать материал для рекламы. Знаю, что настойчиво спрашивал обо мне. Пустят ли? Уговаривал Министра. Думал, что в нем дело, не в КГБ. Дурачок!.. Предлагал поручительство. Отвечали: сложный вопрос. Можем подвести. Давайте рекламу на других…

И вдруг гром среди ясного неба. С треском снимают Серова. Проворонил, удалец, шпиона Пеньковского, открывшего противникам все сверхсекреты советского ракетного н топлива. Вместо слежки за матерым шпионом-полковником › упрямо гонял молодчиков КГБ по моим никчемным балетным следам. Дежурных дармоедов по три раза на дню ме-t нял!.. Во, ряхи нарастили, бездельники! Где ж твой нюх коммунячий, скотина?!

На трон предводителя КГБ посадил Хрущев Шелепина, следующего после Михайлова комсомольского фюрера. Этот самый Шелепин отплатит в 1964 году сторицей своему благодетелю Никите Сергеевичу. Отстранит его от власти, под домашний арест засадит.

Я с Шелепиным на один из молодежных фестивалей вместе ездила. В том же самом поезде. На обратном пути после

чемпионских пиво-водочных возлияний прогуливался комсомольский вождь по тамбурам поезда в одном исподнем и спущенных по щиколотку носках, шлепавших и хлюпавших, как ласты пловца. Инспекцию вверенного коллектива производил. «Посланцы советской молодежи», населившие фестивальный поезд, умильно поглядывали на своего руководителя и нежно величали его за глаза Шуриком.

И вот «железный Шурик» наверху большевистской иерархической лестницы, глава Органов…

Не начать ли мне по новой правду искать? Как-никак о моем «Лебедином озере» с «железным Шуриком» мы толковали…

За окнами Кутузовского — зима. Москва-река замерзла. Снег кругом. От людей и от машин пар валит. Новый год грядет.

Справлять будем на Кутузовском. У Бриков. С 1959 года новогодняя ночь у Лили Юрьевны стала для нас с Щедриным традицией. Добрых полтора десятилетия мы свято соблюдали ее.

Под самый Новый год в Москву приехал Луи Арагон с Эльзой. И они будут у Лили на Кутузовском.

31 декабря 1958 года. Вечер. Через несколько часов пятьдесят девятый пробьет. Поднявшись в лифте, заслеженном талыми снежными разводами и елочной иглой, звоним в 431-ю квартиру нашего Кутузовского дома. Катанян в черном приглядном сюртуке открывает дверь. Арагоны уже там. Потоптавшись в узкой передней, проходим к запруженному в переизбытке деликатесами столу. Кинто с кружкой пива на картине Пиросмани завидуще щурится на ломящуюся на блюдах снедь. Лилина работница Надежда Васильевна тащит из кухни гору дымящихся румяных пирожков собственной выпечки.

У каждого прибора подарок стоит. У меня — флакон духов Робера Пите «БАНДИТ». У Щедрина — мужской одеколон «Диор» и последняя французская пластинка Стравинского. Это Эльза Юрьевна — Дед-Мороз подарки из Парижа привезла. С тех пор я предпочитаю запах «БАНДИТА» всей иной парижской парфюмерии. И запах чуден, и память дорога…

В застольном разговоре не обходим молчанием и мой шестилетний «ЗАПРЕТ НА ЗАПАД».

Арагон негодует — темперамент у него взрывной и бешеный. Говорит, что намечается встреча его с Хрущевым. Связь с ним держит помощник генсека по делам литературным и прочим министерствам муз Владимир Лебедев (всю жизнь Лебедь от Лебедевых зависит).

Я кома раду Лебедеву все расскажу. Ответа потребую. Хрущеву пожалуюсь, — коверкая русские слова, сердится Арагон.

Его русский язык потешен и дробен. В начале слова, которое

западает в памяти, он стремительно перебрасывается на французский. Лиля тогда нам переводит.

Она со своей стороны полагает, что надо составить умнющее письмо Хрущеву, которое Арагоша (так она шурина величает) из рук в руки и передаст.

Серов против Вас предубежден был. Злодей! Глупец! Новый поначалу добрячка захочет сыграть. Для разговоров. По Москве…

Двенадцать ударов. В бокалах шипит и пенится шампанское «Вдовы Клико». Опять же из Эльзиного багажа. Все двенадцать ударов Арагон, не мигая, смотрит в глаза Эльзе. Лиля — на Васю. Мы с Родионом, обезьянничая, — друг на друга…

Чокаемся.

Целуемся.

Будет ли новый год к нам добр?..

Глава 31
Я ЕДУ В АМЕРИКУ

Хрущев Арагона в нынешний приезд не принял. У вождей для художников времени всегда в обрез. Государственные мужи!..

Выходит, «умное письмо» мы зря писали. Вернул его Арагон Л иле Юрьевне на Белорусском вокзале при расставании. Не вышло дело.

А как мы старались!

Это был плод коллективного труда. Что-то вроде письма запорожцев турецкому султану. Только с лестью вместо брани: не знает добрый батюшка-царь про злокозни своих министров.

Три писателя приложили руку — Арагон, Триоле, Катанян. И Щедрин, Лиля… От меня осталась лишь первая строка. Обращение: «Дорогой Никита Сергеевич!»

Рву на себе волосы. Затерялось это письмо при переезде на другую квартиру. Вставить бы его в полное собрание сочинений Арагона и Эльзы Триоле. Вот была бы пожива исследователям.

Я вовсю репетировала «Каменный». Старалась с головой уйти в работу. Про апрельский американский тур поменьше думать. Но как отключишься. Театр, как улей, верещит: тот едет, та остается, эта — в резервном списке… Терзания, слезы, жалобы. И чем ближе апрель, тем сильнее электрические разряды страстей. Театр только по названию Большой, а люди в нем маленькие, от обид незащищенные, уязвимые. Лиля Юрьевна лежать на печи и там страдать не давала.

С походом Арагоши сорвалось. Другой путь поищем!.. Втайне от меня Лиля, Катанян и Щедрин выработали план «весеннего наступления». Родион должен во что бы то ни стало допроситься на прием к Шелепину и гениально объяснить тому всю абракадабру и муку происходящего. Катанян давал маленького отступного:

— И к заму Шелепина, Лилик, было бы недурно…

Маяковский, по воспоминаниям, признавал, что Лиля всегда и во всем права, если скажет, что мы на голове ходим, — так тому и быть. По отношению к жителям Боливии — так оно и есть…

Никаких Замов. Только к Первому. У Советов дистанция между Первым и Вторым, как между Первым и Сороковым в Англиях…

Из-под земли раздобыла телефон шелепинской приемной на Дзержинского. Городской номер телефона, не «вертушки». Связи у Лили Юрьевны и тогда еще мощные повсюду были. И, не

откладывая, Щедрин из квартиры Бриков набирает таинственные цифры. Лиля у отводной трубки разговор слушает. Василий Абгарович тоже ухом прильнул.

Щедрин представился, кратко объяснил, кто такой, зачем, почему, и попросил приема. На другом конце провода пожелали, чтобы свой номер телефона на всякий случай оставил. Когда лучше звонить, справились. Вежливо попрощались.

Лиля недовольна. Сердится.

Вы робко говорили. Без огня. Так на прием не просятся, Вас не примут. Впустую телефон откапывала…

Но первый раз за жизнь ошиблась Лиля.

Через пару дней поутру раздался телефонный звонок. Низкий мужской голос попросил Родиона Константиновича Щедрина. Я протянула Родиону трубку. Звонили нам всегда вдоволь, и никакого значения раннему басовому голосу я не придала. Кроме того, что подумала: в театральный дом в такую рань звонить не очень-то принято. План «весеннего наступления» верстался сугубо в тайне, за моей спиной, и, что решается судьба моя, мне было невдомек. И седьмое чувство дремало — никакой подсказки…

Краем уха ухватила, что Щедрин переспрашивает неведомые мне имена-отчества и еще какую-то ерунду. Я отправилась на кухню к Кате чаевничать.

Щедрин, не дождавшись моего отъезда в театр, внезапно умчался к Брикам. Это было непривычно. Наши дружеские общения более всего происходили вечерами…

Теперь поведу рассказ со слов Родиона. Этот ранний звонок был с Лубянки. Из КГБ. Из приемной Шелепина. Председатель, как объяснили, извините, очень занят, принять не сможет, а примет его зам — Евгений Петрович Питовранов. Запомнили? Пропуск там-то, подъезд такой-то, снизу позвонить надо по такому-то номеру, Вас встретят. Прорепетировав последний раз у Бриков свой предстоящий гамлетовский монолог, Родион отправился на площадь Дзержинского.

Питовранов внимательно, ни разу не перебив, выслушал все «мужнины метания». Задал вопросы. Родион позже сказал мне, что Питовранов, как толстовский Хаджи-Мурат, умел слушать. И после конца чужой фразы выдерживал некоторую паузу — не скажет ли говорящий еще что. Что Родион говорил, расписывать смысла нету. Полистай все предыдущие главы, читатель. Всю мою «невыездную одиссею»…

«Заговорщики» ввели меня в курс дела. Щедрин рассказывал:

— Мне показалось, что Зам мне поверил. Убегать ты не собралась. Отсеките мне руку! Он так пристально в меня вглядывался. До самой печенки…

Резюме разговора было: я должна написать еще одно письмо Хрущеву. Очень личное. Искреннее. Критическое, как выразился Питовранов (к самой себе, разумеется). Убедительное (иди-убеди, я уже шесть лет убеждаю). Краткое (что краткость — сестра таланта, как философствовал Чехов, я познала уже у окошек московского телеграфа, откуда шли мои петиции-телеграммы правительству, не доходившие до адресатов). Ну и так далее.

Новым и, главное, человеческим было обещание Питовранова передать мое письмо прямо в руки Хрущеву.

Свое слово Евгений Петрович сдержал. Его институтский товарищ, помощник Хрущева Владимир Лебедев (я уже упоминала его влиятельное имя в предыдущей главе), лично вручил письмо «царю Никите». Но обо всем этом я узнала значительно позднее.

Письмо тотчас было написано, передано секретарю Питовранова. Оставалось ждать.

Сейчас на дворе, увы, время черной неблагодарности. В той стране, где я родилась. Люди напрочь позабывали все добро, сделанное им другими людьми. Плохим тоном стало считаться простое упоминание, что кто-то когда-то тебе помог. И учителей своих даже позабывали: я, мол, как Бах, — самоучка, никогда ни у кого не училась. Встала в пятую позицию и сразу затанцевала (вирус забывчивости особо обрушился на вагановских учениц… Бедная Агриппина Яковлевна…).

Я же не забыла и никогда не забуду, что Евгений Петрович Питовранов принял участие в моей запутанной судьбе. И тогда, в 1959 году, и позже… Да, он работал в КГБ. В чине генерала. Для нас сегодня КГБ — страшный безликий тарантул, жаливший насмерть миллионы людей. Это чудовище поубивало и моих близких. Но там были разные люди. Казните меня, но я убеждена в этом. Негодяи, кровопийцы, палачи, беспрекословно выполнявшие любые команды солдаты, садисты. Но были и исключения. С несколькими из них сводила меня судьба.

Питовранов недолгое время был начальником контрразведки Советского Союза. Наш советский адмирал Кана-рис, если хотите. Профессиональный контрразведчик. В 1952 году по злобному доносу его арестовали и приговорили к расстрелу. В подвалах той же Лубянки — пытали. Жена Елизавета Васильевна с тремя маленькими детьми жила на то, что распродавала книги из домашней библиотеки. Мужество, с которым он держался на допросах, и смерть Сталина сохранили ему жизнь. Я не знаю всех извивов и перипетий его биографии. Но знаю, чувствую, что трагизм собственной судьбы отозвался участием в моих злоключениях. А если бы у Шелепина был другой Зам? Отпетый,

бесчувственный, черствый негодяй? Безразличная сволочь? И мой гнусный шпионский хвост тянулся бы еще годы, подведя в черный день к прыжку из окна или горсти снотворных пилюль? У людей печенки, кишки, мочевые пузыри — одинаковые. А человеческие характеры да добродетели — разные. Не старайтесь убедить меня в обратном…

Попавшееся мне на глаза полтора десятилетия назад американское издание книги «KGB» прямо начинается с описания летнего вечера в Ницце. Обаятельный рослый русский, в отлично сшитом смокинге, только-только победивший всех соперников на теннисном корте, музицирующий на рояле, знаток поэзии, сводящий с ума всех влюбчивых французских женщин… Автор книги ехидно предупреждает: не торопитесь подпасть под чары этого русского, дамы. Это крупнейший советский разведчик генерал Питовранов. Не знаю, как по делам разведывательным, но обаяние в этом человеке взаправду немалое. Агент 007, но… русоволосый и в очках!..

Через несколько дней Питовранов позвонил нам домой.

— Майя Михайловна, говорит генерал Питовранов. Завтра в 10 утра Вас примет наш председатель Александр Николаевич Шелепин. Вы ведь с ним знакомы? Пропуск ждет на…

Вот он счастливый конец, словно в сказках Перро. Или нет?

За полчаса до назначенного срока выхожу из метро на площадь Дзержинского. Через площадь высится грозное здание. Насупленный, каменный, но «железный» Феликс в долгопятой шинели недоверчиво всматривается в московский люд. Кто там из метро выходит?.. Такой Командор своим каменным рукопожатием кого хошь со свету сживет. Я не фантазирую. В память врезалась моя мысль — сравнение Дзержинского с Командором. Куда уйдешь от театральных ассоциаций? Но нет теперь больше памятника. Умыкнули. Поделом ему…

Вхожу в мрачный грязно-красный подъезд. Расшаркивающийся, вышколенный адъютант поджидает меня с пропуском возле мраморной, аляповатой, грузной лестницы. Два юнца-часовых в новеньких фуражечках с синими околышками сосредоточенно сверяют мой паспорт с пропуском. Такие фуражки продают сегодня за немецкие марки любопытствующим туристам у Бранденбургских ворот…

Адъютант часовых не торопит. Служба. Учреждение серьезное.

Двинулись.

Руки и ноги зазябли. Какая-то жуть берет. Сколько же здесь…

Через какие подъезды?.. По этим ли коридорам?.. Этой ли лестницей?..

Где спуск в страшные подвалы преисподней?.. Где шли расстрелы?..

Или этот подъезд только для героев сказок Перро?.. ' Адъютант открывает внушительную дверь. Просторная приемная. Помощники, секретари у столиков с тысячью телефонов. От их обилия рябит в глазах. Небось, концы со всей страны сюда ведут. Двести двадцать миллионов тут «под колпаком»…

Ровно в 10 из дверей выходит высокий, стройный мужчина с внимательным взглядом серых глаз через стекла очков.

— Здравствуйте, Майя Михайловна. Я — генерал Питовранов. Вчера Вам звонил. Вы точны. Александр Николаевич Вас ожидает.

Вхожу. Из-под портрета Хрущева возникает железный… но не Феликс, а Шурик Шелепин. Улыбается. Пододвигает казенный стул.

На Шелепине черный костюм, белая рубашка, вишневый ˆалстук. Это уж вождистское наказание — члены Политбюро и самые важные другие партийные птицы всегда долж-ш в темном быть, при белой рубашечке. Запечатлят нена-›оком фотокорреспонденты — узрит народ любимого вождя во всем официальном величии.

На ногах черные полуботинки. С ненавистью к себе понимаю, что неуместно ерничаю: ожидаю привычных мне приспущенных носков, хлюпавших, как ласты, в фестивальном поезде…

Шелепин чуть кривит рот, очерченный тонкими недобрыми губами.

— Присаживайтесь, Майя Михайловна. После фестивалей давно вас не видел.

Присаживаюсь.

— Я всю нашу литературу, музыку по фестивалям знаю. И мужа Вашего по варшавскому фестивалю помню. Премию ему за «Конька-Горбунка» вручали.

Принято у советских боссов издалека начинать. Дело на самый конец отнести.

Но вот подступаем, кажется. Я вся напрягаюсь. Отлет в Америку через три дня. Опять мне нос утрут — или?..

— Прочел Никита Сергеевич Ваше письмо. Просил нас тут разобраться. Мы посоветовались и думаем — надо Вам с товарищами вместе за океан отправиться.

Душа моя в пятки уходит. Неужто выпустят?..

— Никита Сергеевич Вам поверил. У нас тоже оснований не доверять Вам нету. Многое из того, что нагородили вокруг Вас, — ерундистика. Недоброжелательство коллег. Если хотите, профессиональная зависть. Но и Вы много ошибок совершили. Речи свои и поступки контролировать следует…

Я все еще в свое избавление поверить не могу. Какого-либо подвоха жду. И вот неожиданно:

— Дядя Ваш, господин Плезент, умер 7 апреля 1955 года в Нью-Йорке… Два его сына с семьями… Можете повидаться… Чинить препятствия не будем… Ваше дело…

В общем, все то говорит, о чем я в третьей главе уже рассказала.

У порога Шелепин просит передать привет Щедрину. Растягивает тонкие губы в подобие улыбки.

— Пускай на роялях спокойно свои концерты играет. Мы ему рук в заклад рубить не будем. Вот если не вернетесь, — грозит Председатель пальцем…

Юмор мрачный.

Лихорадочно собираю дома чемодан. В этот раз загодя и зубной щетки не запасла. Сглаза боюсь.

…Рецензия Джона Мартина в «Нью-Йорк тайме» на мой первый спектакль в «Метрополитен» кончалась словами:

SPASIBO NIKITA SERGEEVITCH!

Глава 32
СЕМЬДЕСЯТ ТРИ ДНЯ

Апрель 1959 года. Мне 33 с хвостиком. Первый раз за свою жизнь со своим театром еду в настоящие гастроли. Весь тур должен занять семьдесят три дня. По главным городам Америки.

Уже сижу в самолете с балетной братией. В иллюминаторы шею тяну. Талые подмосковные поля обозреваю. Летчики греют моторы, рулят к взлетной полосе.

Но высадить, коли захотят, — не поздно. И такие случаи бывали…

Самолет взмывает в апрельское небо. Небо в апреле в России всякий год самое высокое. Летим, черт возьми!..

Щедрин в Москве вроде как заложником остался. «Рука на отсечение» — это литературный образ был? Или всерьез?..

Я танцевала в этих гастролях «Лебединое», «Каменный цветок», «Вальпургиеву ночь». Уланова — «Ромео» и «Жизель», концертные номера. Обе мы были в центре внимания. Ко мне интерес и политически подогревался. Балетный мир, журналисты знали, что меня долго не выпускали. Что советские власти страшились: того гляди — убегу.

Самым невероятным — почти по сказке Андерсена — было то, что мыслей о побеге на Запад ни у меня, ни у Родиона тогда не было и в помине. Это сегодня, задним числом, можно слукавить, прилгнуть, наплести, на страх перед тоталитарным чудищем сослаться. Но если хотите правды, только правды, то в те годы я о побеге не помышляла. Дура?

Дура! Теперь локти кусаю. Опять же, если по правде говорить.

Мы родились в бездонных болотных лабиринтах сталинской системы. Двадцать четыре часа в сутки нас окружала воинствующая ложь. Она лезла в уши, глаза, ноздри, поры, мозг. Нас пичкали ею до одури, до отупения. Один из тихих артистов Большого, истерзанный коммунистической пропагандой и попавший внезапно с труппой за океан, где на него лавиной обрушилось товарное изобилие магазинов, витрин (а он-то заученно знал, что вся Америка стоит с протянутой рукой и побирается милостыней), сошел с ума, свихнулся. Взаправду. Это подлинная история. Наша советская жизнь.

Помешательство «тихони» было буйным. Он истерично молил театральное начальство и слетевшихся на «скандальный огонек» работников советского посольства немедля вернуть его на Родину, в СССР. Там ему все ясно было. Все по логике. А тут?..

Его тотчас и отправили.

Летный маршрут пролегал через Скандинавию, с пересадками. Настроение в салонах праздничное. Эйфория. Шутки. Смех. «Пусть неудачник плачет…»

Летим, черт возьми!..

В аэропорту Нью-Йорка — тогда он еще имени Кеннеди не был — людная, шумная встреча. Корреспонденты. Вопросы. Блицы вспышек. Розы на длинных черенках. Запах сигар. Бесцеремонные таможенники. Первый раз Большой балет в Америке!..

Ко мне плывет Сол Юрок. В черной велюровой шляпе. Простирает руки. В щеки целует.

— Прилетела? Выпустили? Послушали меня?..

Неистребимая наивность иностранцев!..

Премьерный спектакль — «Ромео». С Улановой. Второй мой. «Лебединое». Старательно занимаемся.

Труппу расселили в гостинице «Губернатор Клинтон». (Кто такой?) На Седьмой авеню. До старого «Метрополитен» — близко. Пешком ходим. Но… группами. По одному не велено ходить. Кате-гс-ри-чес-ки! Нью-йоркское население — все агенты ФБР. Все до одного. Переоделись в штатское, беззаботность на лица понапустили, а сами норовят провокацию устроить. Коммунизм ослабить. Момент выбирают. Жертву целят. Вот кто один на Седьмую авеню выйдет — тут же за свое политическое легкомыслие и поплатится…

Только в гостинице эйфория выезда стала утихать. Начинаю замечать, как заблокирована я со всех сторон.

Поселили меня в «Губернаторе Клинтоне» с тонким, как думали, коварством. Надо балерине Плисецкой доверие Хрущева не обмануть. Но и малому дитяти в глаза бросится: один сосед за стеной — сопровождающий из органов КГБ. Другие — из Большого, но, как бы случайно, любопытнее кошек…

То утром постучат — зубную пасту в Москве забыл. То вечером чай заварить в номер напросятся — много соленого за ужином съела, то позвонить от меня нужно — телефон в собственном номере внезапно сломался… Про улицу, театр, приемы уже не говорю. Всегда я, опять как бы случайно, в человечьем кольце — не надо ли перевести с английского, Майя Михайловна? поможем купить что? вещи собрать и вниз снести подсобить?..

Так продолжалось всю поездку. Все семьдесят три дня.

Грубо работали. Топорно.

Но пора о балете поговорить.

Подошел вечер премьеры «Лебединого».

Волновалась я пуще обычного. Словно буду экзамен держать. Трезвонили, расписывали, сочувствовали: а вдруг неудачно станцую или не понравлюсь?..

В помощь была замечательная сцена старого «Мета». Пружинистая, просторная, с идеальным наклоном к рампе. Совершеннее сцены старого «Метрополитен-опера» только, пожалуй, сцена Большого. В Большом театре пропорции и конструкция — идеальны для классического танца. Может, поэтому я о бегстве не думала?..

К слову скажу, как важен наклон сценического пространства! В Большом он два метра. Глаз же зрителя этого не замечает. А тело (по закону земного тяготения) — замечает. Да еще как!

Старые балетмейстеры при постановках, без сомнения, принимали наклон сцены в расчет. Мудрые классики знали немало хитрых трюков. Гельцер говорила мне (это она слышала от Петипа), что танцевальные диагонали выигрышнее делать точно по линии от верхнего угла к нижнему. В противном — артист теряет в росте. Оптический обман.

Сцена миланской «Ла Скала» строилась для оперы. И наклон там очень завышен (зато певчий голос звонче летит в зал). В том же «Лебедином» в «Скале» в турах по кругу в конце «черного» акта мне бывало трудно взбираться «в гору». А «под гору» так несло, что требовалось собрать волю — не выйти из сетки темпа! Конечно, я говорю о микродолях, но каждой балерине на неизведанной еще сцене обязательно приходится корректировать «акценты» своего тела.

Сцену Большого Батюшки Российские Государи предназначали балету. Не зря Романовы амуры с балеринами вели. Но нам монаршие слабости — в воспомоществование…

Мое первое американское «Лебединое».

Спектакль прошел ровно, без огрехов. И я, и Фадеечев очень старались. Солисты, кордебалет из кожи вылезали. Файер — с американским оркестром — дирижировал удобно, горячо. Я сама была удовлетворена.

Что еще держит память про американский дебют? Публику. Она была квалифицированна и очень добра. Ладоней и глоток нью-йоркские театралы не жалели. После окончаний актов мы выходили за занавес «Мета» бесчисленное количество раз. Мой лебединый «уход» в конце «белого» акта венчался такой овацией, что я утеряла нить музыкального сопровождения. Напрягала слух, замирала, но, кроме канонады аплодисментов и шквала истошных криков, ничего слышно не было. Ни одной ноты из оркестра! Я так и закончила акт лишь на внутреннем слухе.

После конца спектакля у артистического подъезда собралась

толпа поклонников и поклонниц. Автографы. Улыбки. Все, как положено. Несколько человек из их числа сопровождали меня через все гастроли, через весь континент. А потом уже и через всю жизнь.

Святая душа — Алиса Врбска, царство ей небесное, она только умерла — вызвала у КГБ смятение и тревогу. Не будет человек из любви лишь к балету тенью следовать. Начали стращать меня сетями ФБР. Я не внимаю. Тогда один из сопровождавших (фамилию помню, Чернышов) сменил оружие:

— У нас есть сведения, Майя Михайловна, что Ваша новая поклонница Алиса — лесбиянка… Опасайтесь. Отстраните ее от себя.

— Но я не лесбиянка…

Отстали.

Вышла пресса. Меня хвалят. Уолтер Терри — кажется, он писал тогда в «Геральд трибюн», — сравнивает с Марией Каллас. «Плисецкая — Каллас балета». А это еще кто такая? Вопрошаю Ильющенко. Она у нас во всем самая осведомленная.

— Не позорь себя, темная. Это певица. Больше не спрашивай, свою необразованность не демонстрируй…

Ты ждешь от меня, читатель, верно, впечатлений от Америки, путевых заметок? Заждался, небось? Разочаруйся, их не будет. В свой первый приезд я, увы, как следует не рассмотрела страны. Нервотрепка с выездом, слежка, премьерные волнения, ожидания встреч (единственный раз за жизнь я даже не вела в поездке записей и должна теперь полагаться лишь на память). Конечно, я задирала голову на небоскребы, дивилась размаху жизни, приволью, ахала вослед автомобилям, оттаптывала ноги, позабыв обо всем на свете, как в детстве, в сказочном Диснейленде…

Америка — великая благословенная страна, и я не хочу походя похлопывать ее по плечу. Ясно было мне только — сразу! — что Америка — страна работающая. Не страна дармоедов, как нам назойливо внушали с детства.

Было множество приемов. Богатых, элитарных, торжественных. Вечерние платья, лимузины, смокинги, ледяное шампанское, знаменитости. Я была представлена артистической элите Штатов. Эх, по-английски мне бы говорить! Либо кто близстоящий (а стояли, ясное дело кто) переведет, либо расточаю улыбки вместо слов.

Подружилась с Леонардом Бернстайном. Добрые отношения продолжались до последних дней его жизни. Он играл музыку Щедрина. Я и Бернстайн вместе получали в 1989 году в Риме премию Виа Кондотти. И Ленни трунил над моим «полиглотством»:

— Что, Майя, так по-английски ты и не выучилась?..

С Артуром Рубинштейном общаться было легче. Он говорил по-русски. Когда Рубинштейн приехал в Москву, я после концерта заглянула в притемненную артистическую Большого зала консерватории.

— Думала увидеть Вас в полном изнеможении после такого концертища, а Вы свеженький как огурчик.

— У меня хватит еще сил станцевать с Вами па-де-де, — и недолго думая, Рубинштейн поднял меня на воздух и сделал несколько кружений…

Джин Келли, с которым я несколько месяцев назад вновь свиделась в Лос-Анджелесе в доме Грегори и Вероники Пек, напомнил, что в 1959 году в нас вселилась полусумасшедшая идея выступить вместе в одной занятной музыкальной пьесе. Но как выступишь, когда я каторжанка?..

Под головоломную импровизацию Эллы Фицджералд — она сотворила ее в мою честь — я натанцевала что-то дьявольское. Смесь буги-вуги с «камаринским мужиком»…

Джона Стейнбека в дни московского его паломничества мы потчевали с Родионом у нас дома на Горького холодцом из телячьих ножек с квашеным хреном. Это блюдо пришлось знаменитому писателю здорово по душе. И взаправду, на закуску к столичной водке ничего лучше люди еще не выдумали. А тогда в Америке, в 1959-м, Стейнбек втолковывал мне через переводчицу, что изнанка балетных кулис может стать основой интереснейшей конфликтной новеллы…

Это толика моих нью-йоркских знакомств в тот достопамятный год.

В Голливуде я повстречалась с Мэри Пикфорд, Хемфри Богартом, Френком Синатрой, Кларком Гейблом, Одри Хепберн, Генри Фонда, Иммой Сумак…

В Сан-Франциско известный американский художник, которого все рьяно мне рекомендовали (фамилию называть не стану, так как художник он взаправду хороший), вознамерился написать мой большой портрет маслом. В рост. Три раза уговариваю директора Орвида (он наш глава тут) разрешить мне с переводчицей и спецсопровождающим побывать в свой выходной день в мастерской живописца. Насилу уговорила. Разрешение получено. Выкроила время, вымыла специально голову, навела марафет. Обрядилась в пачку и пуанты. Аккуратно завязала розовые тесемки («если Вы — Майя Плисецкая, то почему не в пачке?» — как спросила меня однажды маленькая девочка в Вильнюсе).

Часа три позирую…

К концу сеанса, разминая затекшую спину, гляжу на мольберт: рваное бело-синее пятно во всю величину холста. Где вы мои прошампуненные рыжие волосы?..

А что же с моими американскими родственниками?

На второй день репетиций в «Мете» меня отозвал в сторону Эдвард Перпер — пасынок Юрока. Он работал в конторе отчима, свободно говорил по-русски. Лицо Эдварда выражало плохо прикрытое смятение. Ясно было, что Перпер хранит некую тайну.

— Майя, Вам что-нибудь говорят три имени: Михаил, Лестер, Стенли?

— Говорят. Михаил — мой отец. Лестер — его старший брат. Стенли — сын Лестера.

— Вы знаете, что в Нью-Йорке у Вас есть родственники?

— Знаю.

— Вы хотите с ними встретиться? Вам это не повредит?

— Уже повредило. Но я хочу с ними встретиться. Хоть сегодня. Родня…

У Эдварда навернулись слезы.

Следующим днем вместе с Перпером пришел за кулисы Стенли Плезент, мой двоюродный брат.

Он не говорит по-русски. Я не говорю по-английски. Что-то туманное, неясное доносили друг о друге через океан ветры эпохи да семейная хроника. Мы ровесники. Одногодки. Оба ноябрьские. Я родилась в Москве, он — в Нью-Йорке. Стенли — процветающий юрист. Глава многочисленного дружного семейства. Он сейчас в команде Джона Кеннеди в Вашингтоне. Приехал специально. Я — балерина Большого. Танцую для глав иностранных государств. На площади имени большевика Свердлова. Лясы точу с кремлевскими вождями. Ну и головоломки выстраивает за нас матушка-жизнь!..

Первое, что говорит брат мне:

— Мой отец восемь раз смотрел фильм «Мастера русского балета». Ему нравился твой «Бахчисарайский фонтан». Этот фильм у нас шел. Ты, верно, не знаешь — отец умер…

— Знаю. 7 апреля 1955 года.

Стенли столбенеет.

— Откуда?! Кто тебе сказал?!

После репетиции, которую Стенли очумело смотрит, мы отправляемся на ленч. У Эдварда Перпера дела. Кто будет переводить? Один из взвода московских переводчиков, не спускавший с нас глаз, берется нам помочь. А что еще было делать?..

Через полторы недели, уже после моего «Лебединого» и «Каменного цветка», после отменной прессы, нью-йоркская

колония моих американских родичей устраивает в доме дядюшки Филиппа (он мне троюродный, ему девяносто два) шумный, бесконечно-десятичасовой прием.

Родственники жестикулируют. Родственники спорят. Родственники говорят без умолку и громко. Родственники перебивают друг друга, не слушают. Лишь один из родных полон меланхолии и робости. Он застенчиво, приветливо улыбается. Родственный содом, кажется мне, угнетает его. Это мой второй американский брат Эмануэль, профессиональный, первоклассный спортсмен.

Родственники — перебивают, говорят, спорят, жестикулируют по-английски. По-русски говорю лишь я да преклонный дядюшка Филипп…

Большой дом в Гринвич Вилледже переполнен людьми.

Неужто все мои родственники?..

Пытаюсь пересчитать присутствующих. Сбиваюсь. Троюродный дядюшка удовлетворенно кивает: все… Вот радовалась бы моя мать, видя эту родственную идиллию.

Но понять, кто мне кем доводится, — нет никакой возможности. Мозг не вмещает темпераментных разъяснений.

На родственном апофеозе я наконец-то одна. Без сопровождающих. Но и без этого приема московским писарям было что донести по начальству.

Все хорошо.

И все-таки я считала дни.

Осталось еще 47, 46… 31, 30, 29… 20, 19, 18, 17…

Родион в Москве тоже дни считает. Катя сообщает: у телефона на Кутузовском висит таблица из семидесяти трех цифр. Он каждый день одну цифру перечеркивает. Этим ритуалом каждый день и заканчивается. Вот наша таблица Менделеева! Для нас она ценнее всех минералов мира.

Мы подолгу, чуть ли не через день, а когда соединят сердитые взвинченные московские телефонистки, то каждый, а то и дважды на дню, разговариваем. Те кагебисты, кто подслушивает наши разговоры, небось, перетрудились — сколько работы! Катя в отчаянии, с причитаниями ходит оплачивать астрономические счета в сберегательную кассу, что возле гостиницы «Украина». Там ее каждый раз подымают на смех. Не иначе как Плисецкая мужа приворожила…

И вот остаются — три, два, долгий один день… Мы возвращаемся в Москву.

Никто не убежал. Все целы. Целехоньки. Осенью меня милостиво пожалуют в народные артистки СССР. Это был высший титул для артиста Страны Советов. Вроде спасибо скажут, что не

улизнула.

А сейчас, в знойном июне, в душном, тесном Внуковском аэропорту, во взбудораженной, разгоряченной толпе встречающих нетерпеливо, жадно ищу родное лицо Щедрина. Мы не виделись ровно семьдесят три дня. Целую вечность…

Вон он стоит. С гигантским букетом светло-розовых пионов. Подмосковные пионы чертовски пахучи. Голова кругом идет.

С того дня терпкий, пьянящий пионовый запах возвращает меня в 1959 год.

В долгие, счастливые, поднадзорные семьдесят три дня моего открытия Америки.

Глава 33
КАК НАМ ПЛАТИЛИ

В Америке в 1959-м я получала за спектакль 40 долларов. В дни, когда не танцевала, — ничего. Нуль. Кордебалету выдавали по 5 долларов в день. Суточные. Или «шуточные», как острили.

А когда позднее я танцевала в Штатах «Даму с собачкой», то американской собачке, с которой я появлялась на ялтинском пирсе, платили 700 долларов за спектакль. Но это так, между прочим.

Денежные расчеты с артистами в советском государстве были всегда тайною за семью печатями. Запрещалось, не рекомендовалось, настоятельно советовалось не вести ни с кем разговоров на эту щекотливую тему. Особливо, как понимаете, с иностранцами.

Прозрачно намекали, что заработанные нами суммы идут в казну, на неотложные нужды социалистической державы.

Кастро вскармливать? Пшеницу закупать? Шпионов вербовать?..

Позже просочилось на свет божий, куда уплывали валютные денежки. К примеру, сын Кириленко — дважды Героя Социалистического Труда, бывшего секретаря ЦК и члена Политбюро — с разбитной компанией дружков-шалопаев регулярно наведывался в саванны Африки охотиться. На слонов, носорогов, буйволов, прочую африканскую дичь. Для забавы отпрысков партийных бонз лишали артистов в поту заработанного, продавали задарма собольи меха, древнюю утварь скифов, живопись. Отбирали гонорары у спортсменов.

Как просуществовать на 5 долларов? Удовлетворить нужды семьи? Купить друзьям подарки? Ребус.

Стали обыденными голодные обмороки. Даже на сцене, во время спектаклей. («Мы — театр теней», — потешали себя артисты.)

Хитрющий Юрок тотчас смекнул — эдак не дотянут московские артисты до финиша гастролей. Стал кормить труппу бесплатными обедами. Дело сразу пошло на лад. Щеки зарозовелись, скулы порасправились, все споро затанцевали. Успех!..

Когда поездки за рубеж стали делом вполне привычным, а таких расчетливых импресарио, как Юрок, больше не находилось, артисты Большого балета начали набивать в дорогу чемоданы нескоропортящейся «жратвой». Впрок. Консервы, копченые

колбасы, плавленые сыры, крупы. Сдвинуть такой продовольственный баул с места простому смертному не под силу была Поджилки лопнут. Только натренированные на поддержках танцоры легко расправлялись с непомерной тяжестью.

На пути запасливых вставала таможня. Тут на кого попадешь. Когда конфисковывали — когда сходило…

Так у всех нас это на памяти, что сомневаюсь — писать ли? Для будущих поколений напишу. Пускай узнают про наши унижения…

Гостиничные номера Америк, Англий превращались в кухни. Шла готовка, варка. По коридорам фешенебельных отелей сладко тянуло пищевым дымком. Запах консервированного горохового супа настигал повсюду надушенных «Шанелью» и «Диором» тутошних леди и джентльменов. Советские артисты приехали!..

К концу поездок, когда московские запасы иссякали, танцоры переходили на местные полуфабрикаты. Особым успехом пользовалась еда для кошек и собак. Дешево и богато витаминами. Сил после звериной пищи — навалом… Между двух стиснутых казенных гостиничных утюгов аппетитно жарили собачьи бифштексы. В ванной в кипятке варили сосиски. Из-под дверей по этажам начинал струиться пар. Запотевали окна. Гостиничное начальство приходило в паническое смятение. От дружно включенных кипятильников вылетали пробки, останавливались лифты. Мольбы не помогали — мы по-английски, мадемуазель, донт андестан. Ферштейн зи?..

Где-то у Лескова сказано, что российский люд проявлял всегда чудеса изворотливости, особливо во времена сильных прижимок (цитирую по памяти, только смысл). Вот вам, пожалуйста…

Каждый «суточный» доллар был на строжайшем счету. Один из моих партнеров на предложение пойти вместе в кафе перекусить с обезоруживающей откровенностью сказал:

— Не могу, кусок застревает. Ем салат, а чувствую, как дожевываю ботинок сына…

Саранчовая вакханалия обрушивалась на отели, где держали шведский стол. В течение нескольких минут съедалось, слизывалось, выпивалось все подчистую. До дна. Замешкавшиеся, проспавшие грозно надвигались на персонал, брали за грудки, требовали добавки, взывали к совести…

Позор. Стыдобище.

Я живописую то, чему сама свидетельницей была. Свой родной Большой театр. Но то же самое происходило с другими гастрольными группами. Разница могла быть в малых оттенках.

Вроде: в ансамбле народного танца Грузии суточные составляли 3 доллара в день…

Кто в срамоте повинен?

Нищенствующие, подневольные артисты — или те, кто выдумывал и писал безнравственные законы? Пока танцоры жарили собачьи бифштексы на гостиничных утюгах, наши вожди — члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС — отлучались из дома лишь с персональной едой. Спецеда была в оцинкованных ящиках под пломбами (неровен час, отравят верного ленинца, расстроят желудок). Специальная охрана на специальных автомобилях сопровождала вельможу повсюду — вдруг проголодается?..

Сольные гастроли «оформлялись» через Госконцерт. Госконцерт владел государственной монополией на всякого артиста шестой части света. Эта организация была сущим исчадьем ада.

Я не хочу чернить всякого, кто имел к Госконцерту отношение. Но это было воистину царство круговой поруки. Самая свирепая сицилийская мафия покажется в сопоставлении с мафией Госконцерта институтом благородных девиц, благотворительным богоугодным заведением. Сколько артистических судеб было изуродовано здесь. Сколько артистических надежд похоронено.

Длинная дорога начинается с первого шага. В Госконцерте — это прибывшее от иностранного импресарио приглашение. На балерину N, на пианиста NN, на певца NNN.

А сообщить ли таковому, таковой, что приглашение благополучно получено, неделю-другую лежит-полеживает без ответа на чиновьем столе на Неглинной, 14, в Госконцерте СССР? Достоин ли артист быть приглашенным? Политически зрелое ли он лицо? Ну и так ли уж приветливо улыбнулся столоначальнице, курирующей, скажем, Германию с Австрией, при последней встрече? Сообразит ли, что из милостиво оставленной после гособоров суммы нужно отчислить хорошенький куш на подарки благодетельнице-столоначаль-нице? Сообразит ли вежливым шепотком поинтересоваться, в чем особая нужда у благодетельницы сегодня вышла? Догадается ли, что нужно запастись размерами на зимние сапожки, летние лодочки, теплое пальтецо, плащик. Справится ли, какую из французских парфюмерии та более всего почитает?..

А контакты у застенчивых кураторш с далекими импресарио самые доверительные и рабочие. Коллектив коммунистического труда, да и только. Хочешь NN, согласны, дадим, но позови и NNNN. Это молодое дарование еще не заявило о себе в полный

голос на концертной эстраде. Но заявит, не сомневаемся, большие надежды возлагаем, впереди крупные свершения ждут… А уж догадливый, улыбчивый какой!.. А N — занят, вот досада, никак не может; или — зачем он вам, на него плохая пресса была, характер трудный, капризничает…

Несколько циничных импресарио, самодовольно похохатывая, вслух припечатывали:

— Этот госконцертовец-столоначальник у меня на ежемесячной зарплате, не в рублях, разумеется. Этой я квартиру кооперативную выкупил…

Примеров лезет мне в голову добрая тысяча.

При каждом директоре Госконцерта, а сменилась их на моем веку уйма, алчность губила, — замдиректор из органов КГБ, официально прикомандированный. Вот уж были персонажи, ценители изящных искусств, я вам скажу…

Помяну одного — Головин.

Замдиректора Госконцерта СССР товарищ Головин, придя на работу в учреждение культуры, внезапно оказался собирателем-коллекционером новых костюмов. Откуда у крестьянского сына такое барское хобби? Любил, пролетарий, материалец приглядеть, оттенки подобрать, на примерки походить. И все на Пятой авеню, на Стренде. Мне рассказывал Юрок, что после каждого визита Головина в Америку в юроковскую контору приходил кругленький счет за пошивку 7-10 дорогих костюмов. Юрок безропотно счета оплачивал. Бизнес так бизнес. Совсем чертовщиной было то, что в свой кабинет на Неглинную, 14 являлся товарищ Головин всегда в одном и том же сероватом залоснившемся костюме. Скромно. По-ленински. Ночами, что ли, примерял он свои новые костюмы, как гоголевский поручик сапоги? Брал человек взятки, брал. Но… борзыми щенками, по-сегодняшнему — новыми костюмами…

Каждого артиста перед всякой поездкой изнуряюще инструктировали. И не только как вести себя, куда, с кем ходить, что отвечать на пресс-конференциях, если таковые будут. Как ненавязчиво, ненароком изложить текущую политику партии, решения последнего исторического съезда КПСС, воспеть непостижимую мудрость нынешнего вождя, его ангельское миролюбие. Но и сколько, как, куда сдать полученные деньги. Это был целый университет. Но и это не все.

Мне рассказывал Давид Ойстрах, человек исключительных достоинств, вежливый, сдержанный, какие задания — в числе других — получал он от госконцертовской администрации. Закралось как-то сомнение, что недоплачивает некий импресарио Госконцерту, что залы, где выступал Ойстрах, вместительнее, чем

импресарио сообщал в Москву. И дают великому скрипачу простенькую задачу — пересчитать количество кресел в залах филармоний, где Давиду Фе доровичу предстоит ныне выступать. Он смущенно сопротивляется:

— Когда я это делать буду? Времени мало. Репетиции, г- А Вы во время концерта, Давид Федорович, когда оркестр один будет играть. Нам так важно знать, можно ли сотрудничать Госконцерту с этим импресарио в дальнейшем?..

Звучит анекдотом. Но не шутка это. Пакостная правда.

В девяноста девяти случаях из ста Госконцерт посылал с артистом сопровождающего. Из Москвы (Ойстрах, Гилельс, Коган — были исключениями). Вроде помочь в пути, в отеле, деньги пересчитать, от докучливых поклонников оградить. А по сути?..

А по сути — вот во что это обращалось. Всего два примера. Из собственного опыта.

Лечу на гастроли в Аргентину. Ко мне прикомандировывается девица. Слабо, в запинку цедит по-английски. По-испански — ни гу-гу.

Летим из Москвы порознь.

Импресарио прислал мне билет на «Air France», через Париж, кратчайшим путем. Девица летит за казенный счет, за государственные денежки. Летит «Аэрофлотом». Через Кубу, Мексику, Перу. Всякий советский человек обязан летать только советской авиакомпанией. «Аэрофлотом».

Каждый раз Госконцерт норовил заставить всех импресарио раскошеливаться и оплачивать дорогу, гостиницы сопровождающим. Шли торги. Если импресарио наотрез, насмерть; отказывался — путь больно дальний, в большую копеечку, как в этом случае, — Госконцерт отправлял соглядатая за казенный счет…

Девица прилетает в Буэнос-Айрес на третьи сутки. Обалделая, где ночь, где день — не разумеет. За мой отель платит импресарио. Отель комфортабельный, рядом с театром Колон, в центре города. Девица, по протеже работников советского посольства, с трудом размещается на самой окраине города в трехгрошовом отеле для сутенеров и проституток. На просто отель Госконцерт денег ей не выдал. Как же иначе? Каждый день вся страна умиленно цитирует высокопарную чепуху Брежнева: «Экономика должна быть экономной!»

Спи посему, девица, с дешевыми путанами в непристойном отеле на окраине Буэнос-Айреса. Экономика должна быть экономной.

Девица попадается стеснительная, теряющаяся. Ни в театр, ни в отель пройти не может. На пятый день тянет меня при

выходе после спектакля за рукав:

— Майя Михайловна, я Ваша сопровождающая… Меня Госконцерт послал. В чем помочь нужно?..

Потом толкуем с ней по телефону — сколько заплатил импресарио, сколько предстоит выступлений, какие бумаги требуются, куда и сколько сдать денег.

А сдавали мы каждый раз по-разному — ни точного процента, ни логики какой, ни закономерностей не сыщешь. Запутывали нас, ясное дело, намеренно, чтобы поменьше вопросов артист задавал: почему, зачем, с какой стати?.. Да был бы каждый раз напряжен, отягощен подсчетами. Что недосдашь в валюте — в рублях заплатишь в десятикратном размере. Пощады никому не было.

Пример с незадачливой девицей — курьезный. Мне было искренне жаль ее.

Другой пример, постраншее, потипичнее.

Лечу с партнером во Флоренцию. На флорентийский май. «Гибель розы» танцевать в гала-программе. С нами, как заведено, сопровождающий. Работник Госконцерта товарищ Виктор Березный. Рубаха-парень, шустрый, контактный, улыбчивый, голубоглазый…

Дирекции фестиваля товарищ Виктор Березный свалился как снег на голову.

Для синьоры Плисецкой и ее партнера номера в отеле зарезервированы. Для синьора… Госконцерт, увы…

Березный самостийно селится в номере Ефимова (Борис Ефимов был моим партнером в ту поездку). Номер одноместный, постель в нем одна.

Ничего, Борис, мы и в одной кровати уместимся. Мы ведь друзья, верно?..

Храпел синьор Госконцерт на весь этаж, стены дрожали, спать Ефимову никак не давал. Приходил Ефимов на репетиции измочаленный, вялый, невыспавшийся, все зевал. Поддержки срывал. Хорошо еще, что гомосексуальных склонно стей у бравого сопровождающего из Госконцерта не было. Зазря прислуга отеля на двух мужиков в одной постели косилась.

Перво-наперво выгреб товарищ Березный все содержимое из мини-бара в номере. Заставил весь холодильник банками с черной икрой.

Не попортились бы на итальянском солнышке…

— Как ты через нашу таможню, Виктор, провезти их умудрился? — дивится Ефимов.

— А у меня справка для шереметьевской таможни из министерства. Я через специальную дверь хожу. Там не смотрят…

Исчезал подолгу Березный, таяли одна за одной икорные банки, нашими репетициями, спектаклями не интересовался.

К премьере партнер мой вновь обрел силы, окреп, поддержки пошли гладко. Попривык Ефимов к храпу в своей постели. Оклемался.

После последнего выступления прием «а-ля фуршет». Березного на нем опять — след простыл. Занят чем-то по горло синьор Госконцерт.

Директор театра — деликатный, аристократичный Альберт и — зовет меня приехать вновь через три месяца.

— Но, пожалуйста, приезжайте соло, одна. Без партнера. Что из Вашего репертуара можно танцевать одной? «Айседору»?

Соглашаюсь на «Айседору».

— Госконцерт содрал за вас непомерные деньги: по семь тысяч двести долларов за каждую «Розу». Без партнера Ваш приезд, надеюсь, будет стоить дешевле. Фестиваль, публика Вас любят, но согласитесь…

— Какие семь тысяч двести долларов? У меня на руках копия госконцертовского контракта на четыре тысячи…

— Если бы четыре. Семь тысяч двести долларов за каждое выступление…

— Это недоразумение. Вот бумага…

Достаю из сумки машинописный контракт, перевод соглашения на русский, врученный мне в Москве.

Альберти по-русски не понимает, но цифры прочитать может: 4000 ам. долларов.

Зовет финансиста.

— Принесите контракт на Плисецкую (наш удивительный диалог переводит Женя Поляков, работающий уже несколько лет во Флоренции руководителем местного балета).

Бухгалтер приносит бумаги.

— А почему на Плисецкую два контракта? На четыре и три тысячи двести?..

Финансист в стремительном темпе бешено жестикулирует. Объясняет…

Обращаюсь к Жене. Что он говорит? В чем дело?

— Почему-то Госконцерт попросил разделить сумму надвое. И местному импресарио Джанкарло Каре на это удобнее.

Я в растерянности. Какая путаница!

Следующим утром Альберти собирает вроде бы как совещание. Требует, чтобы явился сопровождающий из Госконцерта синьор Бе…

Березный сидит красный, весь налившийся кровью. Хмурится. Теребит потною ладонью лоб. Плетет жалостливую ерунду:

— Я маленький человек, я маленький человек. Мне ничего не объяснили. Я маленький человек.

Когда мы прилетаем в Москву, нас с Ефимовым придирчиво расспрашивают таможенники — сколько мы везем денег, сколько взяли себе…

(Замечу в скобках — я имела право, как было указано в моем машинописном контракте, взять себе по триста долларов за концерт (шел уже 81-й год). А Ефимов получал суточные — вот уж шуточные — двенадцать долларов в день. И на обед с мясным блюдом не хватит. Иди потанцуй потом на кофе с сандвичами. И Березный — двенадцать, не танцуя, не репетируя, за икру с храпом в чужой постели…)

Глядим, кося взгляд, как через дипломатический выход прет наш маленький человек синьор Березный одиннадцать громоздких коробов, почти себе в рост (одиннадцать, пересчитали с Ефимовым, не поленились, одиннадцать), что-то толкует взмыленному носильщику, хлопочет, суетится, воровато оглядывается: прошли мы уже через таможенный пост или нет?..

Я резко потребовала объяснений. От Госконцерта, от Министерства культуры. Но ни тогдашний директор Госконцерта Кондратов, ни замминистра культуры Барабаш объяснить ничего не смогли. Отмалчивались, обещали разобраться, уводили разговор в сторону.

Ответа и по сей день я не услышала. Концы в воду — и все тут.

Рассказываю Кате Максимовой про эту мистерию-буфф. Та удивляется моей наивности:

— Вы это в первый раз обнаружили? Госконцерт давно на два договора перешел. Один — для казны. Другой — себе в карман. Добычей делятся между собой по высоким кабинетам министерства и Госконцерта.

— А в коробах?..

— А в коробах — видеотехника…

Министерским чинам о расцвете развитого социализма нагляднее с экранов японских телевизоров информацию получать.

Суди, читатель, сам, как «работала» государственная монополия на артистов в первой стране социализма.

А еще… заработанные деньги надо было таскать с собой, волочить из страны в страну, из отеля в отель. Упрятывать в запирающиеся чемоданы, без конца считать, пересчитывать, слюнявить бумажки. Чекам в Госконцерте тогда не очень-то доверяли. Cash'em — надежнее.

Легче было сдать свой гонорар в советское посольство.

Получить квитанцию с печатью: «Принято от такого-то столько-то…» Это разрешалось, но всегда добавляли — лучше бы в бухгалтерию Госконцерта…

В посольствах — за редкими исключениями, когда совработникам зарплату платить было нечем, — принимать кипы денег не любили. На пересчет внушительной кипы уходило несколько часов. Собьешься — себя обманешь. Под любым предлогом — у нас партсобрание, женский комитет, печать у консула — отсылали непрошенного визитера с деньгами обратно. И все угрюмо, недовольно, набычась:

— Приходите в понедельник после трех.

— Я боюсь деньги в отеле держать. Того гляди…

— Что поделаешь. Будьте повнимательней. Или везите в Москву.

Так и везла я однажды в Москву 40 000 американских долларов, французские франки, финские марки.

Совместные выступления с труппой Ролана Пети и телевизионные съемки в Марселе. Оттуда — в Финляндию на «Кармен-сюиту». Трое солистов Большого уже ждали меня в Хельсинки.

Французы заплатили мне гонорар в последний день гастролей перед отъездом. Снабдили всевозможными справками. В том числе справкой из банка: каков курс доллара по отношению к франку в день выплаты мне гонорара. Не привези артист такой бумаги, начет, то есть большой штраф, платить будет.

Была суббота. Советское консульство закрыто. Рыбу ловят. Волей-неволей, но пришлось положить деньги в свой чемодан, который, сдав в аэропорту Марселя, я получу в Хельсинки. По французским законам сумма вывозимых денег наличными не должна превышать пяти тысяч франков (или что-то около того). Держать при себе все заработанные за концертный тур деньги рискованно. Иногда таможенники заглядывают в ручную кладь пассажиров.

И отправлять деньги багажом — страшновата Что, если на пересадках чемодан мой затеряется?..

Все обходится благополучно. Деньги при мне, держу их в запирающемся чемодане, в гостиничном номере. Время от времени пересчитываю. После «Кармен-сюиты» добавляю к долларам и франкам финские марки. Все, что надо в Госконцерт сдать.

Возвращаюсь в Москву самолетом. Одна. Трое моих партнеров по воле Госконцерта поездку в Финляндию совершают поездом.

Вещей у меня за месяц поднабралось немало. Прошу Сергея

Радченко (неизменный Тореро) прихватить с собой в поезд мою вместительную балетную сумку. С костюмами, гримом, головными уборами, туфлями, тренировочными трико.

Вот я и в Москве. Рассказам нет конца. Впечатлений множество. Сидим на кухне, чаевничаем. Щедрин московские новости перечисляет. Катя про рыночные цены кудахчет. Настроение отменное.

Перед сном решаю выгрузить вещи из чемоданов. Завтра поутру надо будет первым делом в Госконцерт поехать, отчитаться за гастроли, деньги сдать. Жить легче будет.

В большом чемодане, где я всю поездку деньги хранила, их… внезапно не оказывается. Душа уходит в пятки. Холодею. Вдвоем с Родионом перебираем все содержимое. Вещь за вещью. Нет денег.

Нервно открываю второй, мягкий, матерчатый чемодан. Быть их там не может. Но вдруг?

Оба напряженно склоняемся над вторым чемоданом на коленях. Заледеневшими руками медленно разбираем. Все до дна. Нет денег.

Выворачиваю наизнанку сумочку, которая была со мной в самолете. Не могла я туда деньги положить. Да и не уместились бы они вовсе. Но вдруг? Чудо — вдруг?.. Нет денег…

Опять ищем в большом чемодане. На ощупь, как слепцы. Словно в замедленной киносъемке… Нет денег.

Еще раз. Вновь второй чемодан. Нет денег.

Нет денег!..

Где их смогли украсть? В тихом хельсинкском отеле? Та милая, светлоглазая горничная, что ласково улыбалась мне на пороге моей комнаты? Которая неспешно, прилежно расставляла букеты театральных цветов по вазам? Или хмурый финн-альбинос, чинивший позавчера кран в моем душе?

Или кража произошла в аэропорту? Вскрыли чемодан. Достали деньги. Вновь заперли. И все тут… Нет денег…

В каком аэропорту? В Хельсинки? Или у нас, в Шереметьеве?.. Скорее всего, здесь. В Москве. «В России — крадут», — говорил еще Карамзин…

Что теперь делать? Сказать в Госконцерте правду? Украдены деньги?..

Не поверят? Никогда не поверят. Ославят на весь мир. Авантюристка, воровка…

Но деньги-то мои? Я их заработала? Их мне заплатили? За мои танцы?..

Правда будет звучать ложью. Доброе имя — дороже денег. Выход один. Придется занять, взять в долг. Но общая сумма,

которую надо отдать Госконцерту, представляется нам астрономической. В Москве ведь мы, советские. Все вместе что-то около 65 тысяч долларов. Целое состояние. Долг придется выплачивать долго, до конца дней. Но другого пути нет.

У кого попросить?

Останавливаемся на Наде Леже. Она человек состоятельный и одновременно — добрый. Поверит в произошедшее, выручит.

Бессонная ночь. Сотни раз стараюсь припомнить, как все было, когда видела деньги в последний раз, в какой момент несчастье могло произойти.

Прокручиваю дни и так и эдак.

Говорим, говорим…

Все-таки самое вероятное — Шереметьевский аэропорт…

Утром мой брат Александр привозит сумку с моим балетным барахлом. Он встретил Радченко, Фадеечева и Лавренюка на Ленинградском вокзале. Поезд из Хельсинки приходит в Москву в самую рань. Рассказывает, что Радченко выдержал целую баталию с нашими таможенниками на границе. Он имел неосторожность сказать, что везет сумку Майи Плисецкой с балетными костюмами. Таможенники шумели, что возить вещи, предназначенные для передачи другому лицу, советскими пограничными законами — запрещено.

— Ну и что Майя Плисецкая, что балет? По закону не положено. Мы должны чужую сумку конфисковать.

Радченко еле уговорил строгих стражей закона. Сумка была на молнии, не запиралась, и таможенники долго перетряхивали все содержимое. Убедившись, что, кроме балетных аксессуаров, ничего в сумке предосудительного нет, с укоризной, ворча, отдали сумку Радченко обратно. Взяли слово, что впредь чужие вещи через границу он возить не будет.

Вынимаю из сумки балетные вещи для класса. Не пойду сегодня в Госконцерт объясняться. Отложу мучительный разговор на несколько дней. Надо наперво с Надей Леже связаться. А в класс пойду. В занятиях отвлекусь от мрачных мыслей.

Но что там в продолговатом вязаном баульчике с нитками, ножницами, балетной тесьмой?

А, это бутылка коллекционного, выдержанного французского «Фромбуаза», которую подарил мне в Марселе мэр Гастон Деффер, из его собственных винных подвалов. Совсем про нее забыла. Чтобы не разбилась, чтобы довезти до Москвы, я и обложила бутылку мотками ниток и тесьмы. Надо показать ее Родиону. Вечером откупорим с горя, попробуем старинное французское зелье.

Но под бутылкой что?..

О боги, мои добрые боги!

Чертовы госконцертовы деньги. Они тут, проклятые. Несколько пачек, перетянутых круглыми, цветными резинками. Вот они доллары Вот франки. Вот финские марки. Все расчеты и справки. Электрическим током память восстанавливает мотив моих действий. Получив за несколько дней до отъезда окончательный расчет с финской оперой, я вынула предыдущие гонорары из запирающегося большого, чемодана. Сложила все вместе. Но в этот момент в дверь номера постучался финн-альбинос, пришедший починить душевой кран. И я суматошно сунула госконцертовский капитал под бутылку. Потом, естественно, об этом забыла. А инерция памяти по-прежнему держала деньги в запирающемся чемодане-хранилище. О, мои добрые боги и бдительные, но бестолковые стражники советской таможни на границе, спасибо вам несказанное!..

Когда рассказала Радченко о своей счастливой находке, под ним закачался пол. Он побледнел и почти потерял сознание. Вот был бы скандал, целое валютное дело, контрабанда, а там суд, тюрьма, нащупай таможенная рука 65 тысяч долларов под бутылкой французского «Фромбуаза», заваленной нитками и тесьмой.

Глава затянулась. А мне хочется рассказать еще и еще про наши срамные переживания. Остановить себя не могу.

Бесчисленные мытарства, унижения заполняют память. Надо бы и это припомнить, и то…

Каждый день каждой поездки обязательно омрачался попранием, презрением твоего человеческого достоинства. Плевками в твое самолюбие, честь. Было страшным и то, что мы многое считали гадким, мерзким, но… почти в порядке вещей. Чтобы рабы ощущали свое рабство вроде как норму, Сталин и убил 60 миллионов. Это ведь не преувеличение, что не было семьи в стране, которой прямо ли, косвенно не коснулся топор сталинского террора. Цементом системы был страх. Он и вошел в генетический код следующего поколения, как главное составное.

А что же иностранцы, милые, расчесанные, намытые, надушенные, с иголочки одетые иностранцы? Свободные люди свободного мира? Они-то что? Протестовали?

Все импресарио всех континентов, рвавшиеся к сотрудничеству с Советами, могу поклясться на Библии, куда лучше нас знали, что творили Госконцерт, Министерство культуры с советскими артистами. Как измывались над нами…

Но импресарио прилежно участвовали в этой дьявольской бесчестной игре. Потворствовали, потакали тюремщикам.

Набивали себе на подонстве коммунизма карманы. Покупали острова, замки, яхты, отели. А Госконцерт тем временем числился в бюджете государства организацией убыточной, состоял по статье «убытки», получая от правительства миллионные дотации!

До чего же выгодный это бизнес — советские артисты. Пошить коллекционеру новый костюм, купить женам подарки-безделушки, тряпки в «Вулворте», кормить до пресыщения в дорогих ресторанах икрой, водкою, лангустами приехавшего заключить контракт советского чиновника — все грошовые затраты уйдут как миленькие в налог. И изобразить при этом царское гостеприимство.

Едва протрезвевший, полуобразованный, неотесанный совпартклерк, чуть вернувшись в Москву, докладывает по начальству, какой верный друг Советского Союза и бескорыстный пропагандист советского искусства сытно кормивший его господин. Ему и следует отдать предпочтение. Примитивная игра.

Теперь, когда коммунизм, слава Богу, сдох, развенчан, куда более бывших членов КПСС скорбят об отошедшем в историю монстре его идейные сторонники — наши добрые альтруисты импресарио. Как не скорбеть. Они лишились золотой кормушки. Потеряли возможность ловить золотую рыбу в мутной социалистической воде…

, Но и ныне изобразят хорошую мину при прокисшей игре.

› Интервью дадут, мемуары наплетут. Боролся, мол, за свободу, за права человека, защищал, поддерживал гонимого коммунистами артиста. На гастроли его приглашал… А что в это

, время твой счет в банке, голубь? На сколько нулей вырос?.. Умолчат, свободолюбцы. К чему такая проза жизни…

Когда будут вершить суд истории над злодеяниями коммунизма, когда наконец-то начнется нюрнбергский процесс над КПСС, но я, боюсь, не доживу до этого, не смогу подать голос, не забудьте, обвинители, коллаборационистов — соучастников преступлений. Без их помощи коммунизм покинул историческую сцену куда бы раньше.

Глава 34
ПАРИЖСКИЕ ВСТРЕЧИ

— семимесячная. Недоношенная.

Когда мать рожала меня в маленьком родильном доме в Большом Чернышевском переулке, в центре Москвы — напротив самой консерватории, — акушерка, чтобы подбодрить роженицу, сказала:

— Твоя девчонка — крепыш. Еще и в Париж съездит. Помяни мое слово.

Так донесла до моих ушей семейная легенда первый комментарий о моем появлении на свет Божий.

Как в воду глядела. Прибыла я в Париж. Был это 1961 год, октябрь месяц.

«Гранд-опера» пригласила меня с партнером (Фадеечев) станцевать три «Лебединых озера» в постановке Владимира Бурмейстера. Бурмейстер сначала поставил этот спектакль в Москве на сцене Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко в апреле 1953 года. А в 60-м перенес в Париж. Мне довелось танцевать его. И новый текст балеринской партии я помнила. Но Фадеечев этой редакции не знал, учить весь балет времени не было, и мы заменили бурмейстерское па-де-де третьего акта привычным для нас вариантом Большого. Остальное шло по Бурмейстеру. Хорошо, что нашего хореографа в Париже в те дни не было. Он был человек самолюбивый и никогда не принял бы такого вольнодумства. Французы, «чуть поколебавшись», сопротивляться не стали.

Хотя оркестру пришлось играть музыку нашего па-де-де Партитуру и оркестровые голоса мы предусмотрительно с собой захватили.

Жорж Орик, знаменитый французский композитор — вскорости он занял кресло директора «Гранд-опера», — даже поддержал наше нововведение, заметив, что музыка этого па-де-де крепче связана с общим целым.

Остановилась я не в гостинице Точнее сказать, первых два дня жила в отеле «Скриб» на бульваре Капуцинов, куда нас с Фадеечевым привезли из аэропорта. Но Эльза Триоле почти насильно привезла меня в свою двухэтажную квартиру на Rue de Varene. Работники нашего посольства кривились, словно с лимонного соку, что живу я у Арагонов. Но Арагон был коммунистом, главным редактором коммунистической газеты «Летр Франсез», другом Пикассо и Тореза, и к посольству пришло,

на мою радость, смирение. Я зажила привольной, почти французской жизнью. И казней после возвращения в Москву не последовало. Вот как!..

Эльза принимала самое деятельное участие во всей моей «французской жизни», включая даже репетиции в «Гранд-опера». Помогала с французским языком, переводила интервью, телефонные разговоры. С таким поводырем в Париже не пропадешь!

На первый спектакль явился весь Париж. Так уверяла Эльза. Я, конечно, волновалась, но — в меру. За день до «Лебединого» волею случая довелось подсмотреть, как репетировала мою же партию французская балерина Жозетт Амиель. То ли она репетировала вполноги, то ли эта партия ей не очень подходила, но я внезапно совершенно успокоилась и даже подумала — ну, покажу я вам… Самодовольство обычно кончается конфузом. Я и сама не раз становилась жертвой переоценки сил своих, собственного благодушия. Но этот парижский «заскок» оказал мне, к счастью, добрую услугу. Волнение не отняло у меня ни миллиграмма сил, ни капли настроения…

Не подтрунивай надо мной, читатель. Да, я опять напишу, что был большой успех, что аплодисментам не было конца. Но что же писать мне, если успех взаправду был, и был очень большой? И это был Париж, не Тула-Марк Захарович Шагал сказал мне однажды:

— Имя мне сделал Париж. Вообще — имя делает Париж. Или… не делает.

Похоже, что со мной произошел случай номер первый. Пресса назвала цифру наших вызовов за занавес после конца балета — двадцать семь раз. Для Парижа не так-то уж плохо.

Почему я понравилась французам? Пришлась им по душе? Впрямую задавала я этот вопрос десятку самых сверхфранцузов — Луи Арагону, Ролану Пети, Жану Вилару, Иветт Шо вире, Жану Бабиле… Все сходились на одном: мне удалось переключить внимание аудитории с абстрактной техники — на душу и пластику. Когда я танцевала финал второго акта, взгляды приковывались к рисунку лебединых рук, излому шеи; никто не замечал, что мои па-де-бурре не так уж совершенны. Немало балерин «Гранд-опера» могли исполнить па-де-бурре отточеннее, с лучшим вытяжением подъемов, выворотнее. А вот спеть руками и абрисом шеи тему Чайковского?..

Перекинусь в сегодня. Технических сложностей для двадцатилетних более не существует. Правильно выученная балерина (обязательно выученная правильно, это решающе важно) танцует теперь все. Без запинки, без сучка и задоринки.

Исполнить двойные фуэте — ничего не стоит. Пять пируэтов на пальцах соло — никаких проблем.

На рассвете «серебряного века» русской поэзии Александр Блок иронизировал — кто же, господа, в наше время пишет плохие стихи? Все наловчились писать только хорошие…

Разумеется, спорт способствовал техническому рывку классического балета. И видеозапись. Я и сама резко подвинулась вперед, после того как получила возможность отсматривать станцованное в классе и на сцене. Но я и по сей день убеждена, что одной техникой мир не покорить. И сегодня, и лет через сто пятьдесят — двести танцем надо будет, как и прежде, в первую очередь растронуть душу, заставить сопереживать, вызвать слезы, мороз гусиной кожи…

…Жить у Арагона и Эльзы было занятно. Оба писателя просыпались на рассвете, выпивали по чашке черного кофе и писали, полусидя в постели, до полудня. В эти часы я для них не существовала. На вопросы они не отвечали, на звонки у дверей — и подавно, к телефону не подходили. Когда я шла в класс, то первые дни старалась вежливо предупредить — ухожу, мол, дверь захлопну сама, до свидания… Тишина. Только скрип перьев да посапывания. Арагон работал в те дни над историей СССР, был весь погружен в свои изыскания и выводы. Однажды, вернувшись из театра, я долго звонила и громко стучалась. Никто не открывал. Наконец дверь отворилась. У порога стоял седой Арагон в чем мать родила. Он что-то бормотал по-французски, даже не удостоив меня взглядом. Продолжая бормотать, Арагон заторопился в свой кабинет, посверкав тощими, стройными ягодицами (ноги у него были ладными, годными для балета…). Одно слово в Арагоновых бормотаниях я все же разобрала: Бухарин, Бухарин-Вечером за ужином, когда домработница Мария, громоздкая, сутулая южанка, подавала из окошечка из кухни почитаемые в семье салаты, Эльза ворчливо заметила:

— Арагоша совсем помешался на дурацких большевиках (она их никогда не жаловала). Третий день негодует, зачем Бухарин вошел в конфронтацию с Каменевым или еще с кем-то…

Пару раз мы ездили в загородный дом Арагонов. «На мельницу», как называли они между собой уютную просторную дачу. Ее задворки густо заросли крапивой, и Арагоша неистово лупил жестокий злак сучковатой палкою. И мне казалось, что он опять сердился на Бухарина, вымещая досаду на крапиве.

На мельнице (а дом раньше и взаправду был мельницей, стоял на ручье, лениво крутившем дубовые замшелые жернова) был огромный камин, в котором долгими часами тлели и зычно постреливали долговязые сухие деревья. На тяжелом деревенском

столе всегда громоздились фрукты и непременные Эльзины салаты в грубых деревянных чашах. В старинных подсвечниках подмигивали огоньки массивных свечей. Под высокими стропилами крыши ворковали два белых голубя. Им аккомпанировал мерный шум воды. Арагоны завещали похоронить себя здесь, на любимой мельнице.

Теперь там две могилы. Крапива разрослась, некому на нее больше сердиться…

Я побывала в Париже много раз. Показала парижскому зрителю помимо «Лебединого» бежаровские «Айседору», «Леду», «Болеро», «Федру» Лифаря, балеты Ролана Пети, свои — «Анну Каренину», «Даму с собачкой», «Кармен-сюиту», концертные номера.

В первый же приезд с «Лебединым» посетил меня еще один зритель. Необыкновенный. Специально увидеть мое «Лебединое» приехала Ингрид Бергман.

А произошло это так.

Моей официальной переводчицей в те дни была мадам Лотар. Та самая Лотар (пишу это для русского читателя), которая в двадцатые годы в Париже, желая прекратить откровенные домогательства Маяковского, в целях самообороны сказала поэту:

— Владимир Владимирович, оставьте меня в покое. Я вам не отдамся. Я девственна. Я выхожу замуж за Вову Познера.

Маяковский спарировал:

— Лучше Познер, чем никогда.

С двадцатых годов времени прошло немало, и теперь, в шестидесятые, мадам Лотар стала глуховата, забывчива и временами могла понапутать. Я немножко сердилась, старалась больше прибегать к помощи Эльзы и, бывало, оставляла без внимания Лотаровы оповещения. В ее очередном невнятном сообщении было: некая кинодива (фамилию я толком не разобрала или пропустила мимо ушей) желает со мной свидеться. Для этого она специально прибывает на вечер в Париж — посмотреть представление и поговорить со мной.

Когда после последних поклонов я, усталая, медленно снимала грим, купалась в душе, Лотар нетерпеливо теребила меня, дескать, опаздываем, поторопитесь. За шумом воды имя кинодивы вновь прошло мимо моих ушей.

Погруженная в свои мысли, я вошла с Лотар в притемненную боковую залу «Maxim's», где никого, как мне показалось, не было. Из-за дальнего столика поднялась и пошла мне быстро навстречу… Ингрид Бергман. Обняв, заговорила по-французски. Лотар переводила десятую часть слов. Жизненные ритмы у Бергман и Лотар не совпадали. В глазах у Ингрид стояли слезы:

— Вы рассказали о любви без единого слова. У вас божественные руки. Меня покинуло ощущение времени. Я читала, что вас преследует русское правительство. Наши с вами фотографии были в американском «Бог», на одной и той же странице Вы в красно-кровавом хитоне, мое лицо — на обороте. Случайно на свету канделябра увидела нас совсем рядом, вместе. Мы должны были встретиться. Это судьба. Бегите от коммунизма. Я вам помогу…

Передаю смысл ее слов. Повторяю, так или почти так звучали они по-русски из уст мадам Лотар.

Говорю, что потрясена встречей, она неожиданна для меня, видела ее фильмы, как она красива и величественна…

— Какие фильмы вы видели?..

От волнения и внезапности — мы все еще стоим в центре притемненной залы — называю лишь один: «Газовый свет».

Я видела его дважды на закрытом просмотре в Московском доме кино. Смотрела, конечно, что-то еще — лицо Бергман отличила вмиг, — еще несколько фильмов… Но память позорно застопорилась. Мямлю, не могу вспомнить.

— Только «Газовый свет»? Это было так давно. А «Любите ли вы Брамса» — видели?..

Никакого «Брамса» я не видела, заграничные фильмы в те годы у нас показывали редко. Лишь на закрытых просмотрах в Доме кино что-то изредка шло. Но, отведя глаза, киваю: видела, конечно, видела…

— А «Анастасию» видели? Это же о России…

Теперь говорю правду: нет, не видела.

Бергман поникает. Ведет меня к столу. Там сидит сосредоточенный господин. Но кто он, что он — не выясняю. Муж? Друг?..

До конца ужина сосредоточенный господин почти не проронил ни слова. Говорила лишь Ингрид. Лотар еле поспевала за ней. Бергман рассказывала об Анастасии, ее мистической судьбе, о вере своей в эту красивую легенду, чудотворное избавление, о России, которая Ингрид постоянно манила, о мечте сыграть «Анну Каренину» — по-своему, по-иному.

— А вам хотелось бы ее сыграть? А станцевать ее можно? Без слов вы сможете рассказать ее драму?..

В шестьдесят втором, когда Джон Кеннеди принимал в Белом доме труппу Большого, Жаклин приветствовала меня словам и:

— Вы совсем Анна Каренина…

Это было второе небесное предзнаменование моего будущего. Может быть, меха, в которых увидели меня две эти женщины, навеяли им притягательный образ Толстого? На встречу с

Бергман я пришла в белой меховой накидке из гардероба Эльзы Триоле. Эльзе нравилось, когда я надевала «напрокат» ее наряды. Перед Жаклин же я предстала в черном пальто, отороченном черной норкой. Да черная же маленькая меховая шапочка…

Если совету Ингрид Бергман бежать на Запад я не вняла (а давала она его мне здорово вовремя, за створчатыми дверьми «Maxim's» «ворожила» ночь с шестого на седьмое октября 1961 года), то наш разговор об «Анне» запал в меня прочно и всерьез.

И когда в семидесятые я смотрела один из последних фильмов Бергман «Осенняя соната», любуясь ее уже, увы, чуть потронутым возрастом и болезнью, но по-прежнему пленительным королевским ликом, а премьера моей «Анны» была уже позади, за спиной — выстрадана и станцована, — волны щемящих чувств сжимали мне комом горло… Моя вещая, великая Ингрид!..

В том же самом зале «Maxim's» я была представлена чудаковатому художнику, с которым мы игриво поговорили… по-русски.

Семья Альфан — глава ее был министром Франции — пригласила меня в «Maxim's» на ленч. Метрдотель усадил нас за тот же стол, где я ужинала с Бергман. Или мне лишь мнилось, что тот?.. Свет был дневной… Спиной ко мне восседал породистый усатый месье немолодых лет с юнее юного спутницей — высокой красавицей-блондинкой, рассыпавшей пшеницу волос по обнаженной спине. Наш министр чуть припоздал к обеду и, направляясь к нам, поприветствовал нашего сотрапезника за соседним столом:

— Бонжур, Сальвадор…

Мы познакомились. Соседом оказался Сальвадор Дали. У его спутницы было имя Мишель, и я подумала, что мило, когда имя может равно принадлежать и женщине, и мужчине. Ох уж эти французы… Узнав, что я из России, Дали перешел на русский:

— Bojia korovka uleti na nebo dam tebe khleba…

Все рассмеялись.

— Balerina. Maya. Rossia…

— Вы говорите по-русски? Вот не ожидала…

— Galia. Zhensscina. Lenin. Rossia. Ballet…

Дали после каждого слова, с трудностью извлекаемого из испанской гортани по-русски, ставил точку. Знаменитые усы при этом вибрировали и покачивались. Красавица-блондинка терпеливо ждала, постукивая каблучками об пол, и, поигрывая, позванивала массивными браслетами на запястьях худощавых холеных рук. Вот так и поговорили мы славно по-русски.

Когда Дали, старомодно расшаркавшись и перецеловав всем

дамам ручки, торжественно, по-театральному удалился (совсем как уход короля в прологе «Спящей красавицы»), — его прямая спина резко контрастировала изломам позвоночников метрдотеля и гарсонов, провожавших художника до дверей, — Альфан сказал мне, пригнувшись и стишив голос:

— Вы поняли, что Мишель — мужчина?..

— Мужчина? Быть этого не может…

— Но… это для эпатажа, ничего между ними нет, для экстравагантности…

И еще был балетный мир Парижа. Пестрый, шумный, раскованный.

Серж Лифарь ворвался в мою артистическую уборную после «белого» акта «Лебединого».

Вы напомнили мне Оленьку Спесивцеву. Это лучшая балерина веков. Она, как Вы, танцевала душой, не телом. Впрочем, и телом тоже. Замечательным телом…

В первый миг я даже не поняла, что это Лифарь. Невежливо, ощетинившись, отстранилась от бесцеремонного, громогласного посетителя. Но скоро смекнула, кто передо мной.

Сколько раз я танцевал с Оленькой, столько раз понимал, что равных ей нет…

Тут Лифарь надавал тумаков всем именитым звездам балета прошлого и настоящего. Такт заставляет меня опустить имена его злосчастных жертв…

— Оленька, о Господи, прости мне согрешения, была страстно влюблена В М6НЯ* Но я не потому, поверьте, так восторгаюсь ею. Она была сущий ангел…

…Когда к концу нашей встречи с Ольгой Спесивцевой в доме для престарелых артистов толстовского фонда под Нью-Йорком я, злого любопытства ради, спросила Ольгу Александровну — хороший ли был партнер Лифарь, — та, мягко улыбнувшись, без раздумий, тихо произнесла одно лишь слово: «плохой»…

…После «черного» акта Лифарь вновь без стука вломился ко мне. Я была не одета и, прикрывшись полотенцем, поеживаясь, добрую четверть часа слушала продолжение панегирика Спесивцевой…

Внезапно, без всякой связи, Лифарь перешел на политику:

— Избегаю советских. Все они агенты НКВД. Все до одного. Мерзавцы. Доверяю только Вам. Такие руки-крылья не могут быть у доносчицы.

Я невольно кошу глаза на свои блеклые, вымазанные марилкой оголенные плечи.

— Читал я, конечно, что Вас боялись выпускать за границу. Терзали. Я приехал специально в 1956-м в Лондон вас

посмотреть… Посмотрел, нечего сказать. Какого черта Вы торчите в Москве? Оставайтесь. Пойдем утром в полицию?..

Я взмолилась.

— Сергей Михайлович, я не успею облачиться в белую пачку. Пощадите…

Лотар начинает внушительной грудью надвигаться на Лифаря. Тот ведет свое.

— Большевики никогда не простят мне телеграммы Гитлеру в день взятия вермахтом моего родного Киева. Но я же не знал, что немцы будут так зверствовать!.. У меня много писем Пушкина, его реликвии…

В общей сложности за все свои французские путешествия я провела с Лифарем добрую сотню часов жизни. Он наставлял меня в своей «Федре». Захватывающе интересно повествовал о Дягилеве, кузнецовском фарфоре, иконописи, водил по всему Парижу пешком — тайны каждой малой улочки города были ему дотошно известны, был моим Вергилием в длиннющих катакомбах переходов парижского метра. Танец Лифаря я не видела, и какой он был партнер для балерины — судить не могу. Но хореографию его я танцевала сама. Могу с убежденностью уверить, что, не будь его «Федры», «Икара», «Сюиты в белом», «Дафниса и Хлои» (он создал более двухсот балетов), не было бы ни Бежара, ни Ролана Пети. Впрочем, были бы, но были бы иные…

На следующий день после класса Лифарь подстерегал меня возле артистического входа «Гранд-опера».

— Нас ждет Коко Шанель. Я ей о Вас рассказывал. Едем…

Опешила. Очень уж внезапно новое появление Лифаря. Но свидеться с Шанель?..

— У меня назначена встреча. Неловко подвести…

— Я — беден, не имею денег на подарок, вас достойный. Все, что зарабатываю, трачу на пушкинский архив. Встреча с Коко — вот мой вам подарок. Едем, черт возьми. Нас ждут.

Покорно прибавляю шаг. Спускаемся в метро…

Лифарь сказал правду. В бутике Шанель нас ждали.

Прямая, изнуренно-худая, строгая хозяйка, окруженная долговязыми красотками-манекенщицами, приветливо протягивает мне две морщинистые сухопарые руки. Кожа запястий подло выдает возраст Коко. Ей за восемьдесят.

Для двух зрителей — меня и Лифаря — начинается демонстрация мод дома Коко Шанель осенне-зимнего сезона…

Это первая французская коллекция в моей жизни, которую довелось увидеть. Да так близко, совсем в упор.

Манекенщицы стараются. Тщатся попасть в ритм неясного

мотива, который Шанель сбивчиво напевает вполголоса.

Хозяйка недовольна. Раздражена. Гневная французская грассирующая тирада. Действо останавливается…

Коко поднимается с кресел.

— Изящнее ссутульте спину. Плечи вперед. Таз вперед. Укоротите шаг…

Коко показывает, как надо носить наряд. Чудо. Волшебство. Хозяйке бутика немногим более двадцати. Так элегантно, целомудренно она движется…

— Выбирайте, Майя, что вам понравилось. Все — ваше.

Я в нерешительности мямлю…

— Но тогда выберу я. Вот тот белый мундирчик, что на Жанет. Он ваш.

Подарок Шанель и поныне висит у меня в шкафу. Я надеваю его по торжественным случаям. Самое поразительное, что покрой, форма и сегодня не вышли из моды. Наваждение! Плотный, простроченный белый шелк. Темно-синие, узкие, прямые аксельбанты, вшитые в жатку пиджачка. Золотые полувоенные пуговицы, которые, как боевые медальки или знаки полковых отличий, украшают белизну одеяния. Под пиджак надевается прямой сарафан, складно облегающий фигуру…

— Жанет, снимите костюм, пусть Майя наденет на себя. И пройдется в нем перед нами. Посмотрим, как умеет носить изделия дома Шанель балерина из России.

…Облачившись с помощью кареглазой Жанет в белый мундирчик, выхожу к зрителям. Коко напевает. Стараюсь повторить ее походку. Делаю диагональ и два круга…

Шанель разражается аплодисментами.

— Теперь я верю Сержу, что Вы — великая балерина. Я Вас беру в свой бутик. Согласны?..

Замечаю, как Лифарь ликует, что я выдержала заковыристый экзамен.

Градус нашего общения стремительно скачет ввысь.

— Серж, Майя, поднимемся ко мне, на второй этаж.

Квартира Шанель — изыск и роскошь. Расписные китайские ширмы IX века (целая комната), мебель Бурбонов (другая), инкрустированное трюмо Марии Антуанетты, гобелены итальянского Возрождения. Всякая иная чертовщина, которую толком и не упомнила…

— Хотите посмотреть коллекцию моих браслетов? Я Вам, Серж, никогда о ней не говорила?..

Пригожий юноша-амур и миловидная молодая девушка-пастушка вносят старинный ларец. В нем — сокровища, целый остров сокровищ… Амур открывает перламутровую кованую

крышку. Пастушка, лицедействуя, словно факир, извлекает браслет за браслетом. Примеряет к кистям рук Шанель. Два-три — к моим. Воркует что-то приличествующе-томное…

В тонких платиновых, бело-золотых цепочках гнездятся бриллианты, изумруды, сапфиры, гранаты, рубины. Крупные, величиной с женский ноготок…

У меня закрадывается сомнение — не театральная ли это бижутерия? Больно чересчур для настоящих…

Коко прочитывает мое недоверие.

— Браслет с изумрудами — русский подарок. От Великого князя Дмитрия Павловича, кузена вашего самодержца Николая II. У меня с ним был длительный роман, — заговорщически оборачивается ко мне Шанель. — Этот рубиновый — с руки Марии Антуанетты. Ее же и моя любимая рубиновая нитка. Принесите нитку-бусы!..

Амур бесшумно, кошачьим шагом, истаивает за низкой закамуфлированной дверью. Рубиновое ожерелье, которое Коко тотчас надевает на себя, неслыханно, бесподобно красиво…

А теперь в продолжение этого парижского рассказа маленький детективный эпилог…

Через несколько лет после смерти Коко Шанель, когда я вновь приехала в Париж, в моем гостиничном номере зазвонил телефон. Женский голос на ломаном русском назвался мадам Конан Дойл. Ого, среагировала я, неплохо.

— Да, да. Я жена сына Конан Дойла. Звоню из Лондона. Меня интересует, помните ли Вы бусы-рубины на шее у мадам Шанель, когда Вы были у нее с Лифарем?

— Да, я помню их. Разве такое уйдет из памяти?

— Дело в том, — продолжал вкрадчивый голос, — что в ночь смерти мадам Шанель все ее драгоценности пропали. Их похитили. Исчезла и рубиновая нитка-бусы…

— Но Вы-то здесь при чем?..

— Мадам Шанель завещала нитку Марии Антуанетты моей сестре. Мы заняты поиском.

Может, меня разыгрывают? Если да, то весьма достоверно. А может?..

— Коли Вы взаправду мадам Конан Дойл, то продолжайте поиски. Удачи Вам.

Дама больше не позвонила.

В последний вечер моей парижской жизни мы отправляемся с Эльзой в «Фоли Бержер». Арагон собирался было идти вместе с нами, но, видимо, проблемы взаимоотношений Бухарина с Каменевым оставили его за письменным столом на Rue de Varene.

О лукавая, таинственная Муза парижской славы!.. Гологрудые

лошадки-танцовщицы узнают меня. Представляют публике. Одаривают букетом красных гладиолусов. Произносят спич. Лошадки аплодируют. Голые грудки содрогаются от оваций. Самая речистая, самая соблазнительная, самая неотразимая спускается по ступенькам сцены в зал, чтобы меня расцеловать. Эльза ворчливо переводит приветствия в самых общих чертах…

— Это наша Лилечка любит грудь оголять. Ей надо было в «Фоли Бержер» с Вами идти. А не мне. Я серьезная французская писательница, жена Арагона. Завтра будут в газетах уродливые фото с нелепыми заголовками…

Когда я прилетаю в Москву, Лиля Юрьевна Брик вместо здравствуйте выспрашивает:

— Ну, что, Элинька много гадостей про меня наговорила?.. А какие гадости подоносили на меня работники совпосольства после моей первой встречи с Парижем и Парижа со мной?..

14 апреля 1992 года московская газета «Комсомольская правда» опубликовала несколько документов-доносов из секретных архивов ЦК КПСС. Словно специально подгадала журналистская братия сию забавную информацию к дням, когда тружусь над этой парижской главой. Заголовок «секретного дела» такой — «О неправильном поведении во время зарубежных командировок»:

«6.7.77. Посольство СССР во Франции. Секретно. Министру культуры товарищу Демичеву П.Н. Уважаемый Петр Нилович, хотелось бы поставить перед Вами некоторые вопросы, связанные с публикацией буржуазными изданиями интервью М.МЛлисецкой, которые она дала французским журналистам во время своего пребывания во Франции в июне сг. в составе балетной труппы ГАБТ. Во-первых, М.М.Плисецкая высказывала мысль о застое в нашем балетном искусстве, его якобы косности и консерватизме. Во-вторых, М.М.Плисецкая подвергла критике Большой театр… В-третьих, М.М.Плисецкая осыпала похвалами (незаслуженными, на наш взгляд) современных западных балетмейстеров, и прежде всего М.Бежара… Как сообщила нам тов. Бутрова, она несколько раз беседовала с М.М.Плисецкой по поводу ее интервью. Реакция балерины была, к сожалению, несамокритичной. Видимо, в Москве было бы полезным провести беседу с М.М.Плисецкой на уровне ответственных лиц, которые являются для нее авторитетом, не предавая пока всей этой истории широкой общественной огласке… Посол СССР во Франции С.Червоненко».

Это было намарано в 1977 году!.. Когда я в двадцатый-двадцать пятый раз приезжала в Париж… Когда была удостоена высших регалий Советской страны… Когда была отмечена

наградами Франции (позже президент Миттеран еще прикрепит к черному карденовскому туалету орден Почетного легиона, и я получу торжественный диплом доктора Сорбонны…)…

Когда я была уже признана балетным миром… Когда я…

Что же, черт подери, понаплели посольские борзые про мой первый парижский тур в октябре 1961 года?!

…Останавливаю такси на углу Плас Опера и Рю де ла Пе.

Протягиваю пожилому, прямому — по-военному — водителю шпаргалку с адресом на другой берег Сены. Весь дальний путь — мы попадаем в кромешный трафик — молчим. Подъезжаем к цели. Достаю из сумочки скомканные, как у всех женщин планеты, деньги. И вдруг… на чистейшем русском языке, с ятями (так мне слышится):

— Я денег от вас, госпожа Плисецкая, не возьму. Это вместо букета цветов…

Париж признает меня…

Я — в Москве.

Иностранных визитеров — пруд пруди. Правительственные спектакли. «Лебединое» за «Лебединым». Великомученик Хрущев заучил уж весь балет наизусть! Что бы делала власть советская, не напиши Чайковский «Лебединого»?..

Опять же «Лебединым озером» с Фадеечевым я открыла 23 декабря 1961 года Кремлевский Дворец съездов. Аляповатое, казенное здание, присоседившееся к древним православным храмам Кремля, задумывалось для партийных съездов, юбилейных сессий Верховных Советов, международных конгрессов. Но не будут правительственные бдения каждодневно! Передали Дворец Большому. Шесть тысяч зрителей получили возможность смотреть там наши спектакли.

После очередного «Лебединого озера» для короля Лаоса — прием. Щедрин в престольном граде Киеве с концертами. Я прихожу одна.

Теперь властители наши вновь полны ко мне благосклонности и внимания. Не убежала балерина, вернулась — значит наша…

Бесшабашно настроенный Брежнев, кокетничая ямочками на щеках и поигрывая смоляными бровями, предлагает подвезти меня до дому. Флиртует вождь. Придется ехать. А то затаит вождь обиду. Нам с Брежневым и взаправду по пути: на Кутузовский.

Брежнев теперь второй человек в советском государстве — он Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Машина вождю положена бронированная. Черная, вместительная, как катафалк. Следом поспешает другая. С охраною.

Леонид Ильич заглотал по случаю советско-лаосской дружбы

«на вечные времена» хорошее количество спиртного. Зычным голосом читает мне стихи Есенина:

Все пройдет, как с белых яблонь дым…
Я не буду больше молодым…

Всхлипывает. Наш вождь очень сентиментален. Еще один охранник, сидящий рядом с шофером, обернувшись, сочувственно кивает мне: во, мол, какой образованный у нас в стране вождь пошел… И скользит беглым взглядом по моей сумочке — нет ли там динамита или какой гранаты. Чего доброго, лишится страна образованного вождя… От этих балерин всякого можно ждать, стервы…

Почитав Есенина, Брежнев затягивает песню — вождь тоже и меломан. С присвистом льется «Шумит и стонет Днипр широкий…» А сам — по-медвежьи — цапает меня рукой за колено.

Отодвигаюсь в угол и — приходится к месту — беспокойно вскрикиваю:

— Леонид Ильич, ой, здесь нет левого поворота! Водитель!..

— Мне, Майя Михайловна, можно, — самодовольно крякает любитель поэзии.

Движение останавливается. Постовой берет под козырек. И два черных лимузина на красный свет проскакивают перекресток. Взвизгнув шинами, сворачивают влево…

Вождь зачинает светский разговор.

— Чем новеньким порадуете своих поклонников в этом сезоне?

— Начала репетировать «Спартака»…

— Дак я ж «Спартака» видал…

— Вы видели постановку Моисеева, а это Якобсон…

— Юхансон? Хоккеист, что ли?

— Якобсон. Леонид Вениаминович. Замечательный хореограф.

Вот я и у дома. Сломя голову срываюсь к своему подъезду. И уже на ходу, вполоборота, прощаюсь:

— Спасибо. До свидания. Приходите на нового «Спартака»…

В театре денно и нощно репетируют «Спартак». Юрок, приглядев якобсоновский спектакль в Ленинграде, намерился взять его в нашу осеннюю поездку по Америке. Если Большой сыграет премьеру к апрелю, то декорации успеют доплыть через океан.

Второе условие Юрока — мое участие в этом балете. Два посланца театра — Преображенский и Никитина, вернувшись из

Питера, уведомляют дирекцию, что роль Плисецкой — Фригия.

Учу Фригию.

Репетирует со мной Мария Николаевна Шамшева. Она из Ленинграда, из Мариинки, у нее феноменальная хореографическая память. И школа что надо — вагановская.

Как водится у Якобсона, на каждую ноту — движение. А у Хачатуряна нот очень много, может, даже больше, чем следует. Значит, и движений — тысячи. Все предстоит запомнить. И никаких привычных — ни тебе пируэтов, девлопе, жете антурнан. Все первозданное, доселе не существовавшее, якобсоновское.

За целую свою жизнь я встретила лишь нескольких балетмейстеров-творцов, у которых был природный Божий дар к сочинительству танца. Господь Бог так скуп на балетмейстерский талант от рождения! Блистательный танцор, умница, образован, начитан, хороший слух, а балетмейстер… убогий, никудышный. Вот и начинает лжетворец перелицовывать, заимствовать, перетряхивать удачные постановки прошлого. Бессвязно заполнять музыкальное пространство примитивными классными комбинациями да добавить по моде — натужно вымученный некий танец-модерн, заимствованный с видеопленок или подсмотренный на сцене у современных столпов модерна. В итоге — Тришкин кафтан, с миру по нитке — голому рубашка…

Хотите, на себя сошлюсь? Мне довелось ставить, к примеру, в Риме «Раймонду», в Мадриде «Тщетную предосторожность», и я, начиная с самых благих новаторских устремлений, приходила к финишу к смирению — зачем от добра добра искать? Поставила испанский во втором акте «Раймонды» на пальцах, накрутила, навыдумывала трюков. А потом вернулась к Горскому, сохранив лишь свою идею характерного танца на пуантах. И положа руку на сердце скажу — не смогла я дотянуться до Горского. Хорошо еще, что понимаю это. А другие?..

Якобсон-хореограф был помечен Богом. А танцор он был как раз наоборот — средний. Видела его в отрочестве моем на сцене Большого в нескольких эпизодических ролях. Память удержала лишь рольку парня с балалайкой, где танцор отличился не прыжком, но юмором.

Изнурительная работа с Шамшевой прерывалась освежающими появлениями Якобсона. При заминках он предлагал несметное количество вариантов. Фантазия его была бездонна. И все — тут же, тотчас, без домашних заготовок, импровизируя. Взаправду, почти по-моцартовски…

Это не значит, что он не настаивал на неукоснительном следовании зафиксированному прежде тексту. Настаивал, да еще как! Был он — другая сторона медали — упрямцем и педантом.

Но… расточительным импровизатором, фантазером. Как уживалось это в одном человеке?

Осваиваю финальный плач Фригии. По тексту добрая половина — хождение, ползание, прыжки… на коленях. Шумно отказываюсь. Мое больное колено чувствительно к экстравагантностям. Перетрудить — ничего не стоит. А там…

Доводы убеждают Якобсона.

Начинает предлагать вариант за вариантом. Добрую сотню вариантов. Один лучше другого. Из его сегодняшних мимолетных прозрений можно новый балет составить. И прелестный балет. Теперь задержка лишь в том, на каком предложении в итоге остановиться…

Якобсоновская версия «Спартака», как и каждый его балет, безукоризненна чувством стиля. В «стиле» — равных ему не было. Якобсон, я всегда так думала про себя, буквально влезал в шкуру, в кожу, в печенку, в судьбу, в эпоху своих героев. Как еще могла — пластически, без единого слова — рыдать римлянка Фригия над мертвым телом возлюбленного? Рвать волосы, грудь, одежды, голосить, ломать руки, целовать доспехи, омыться кровью убиенного супруга?..

4 апреля 1962 года — премьера якобсоновского «Спартака» в Большом. Публика, театральная Москва раскалываются надвое. За — Якобсона. Против — Якобсона.

Для него это дело обыденное. Привычное. На одном полюсе — почитатели, на другом — кто отвергает, не приемлет. И вот ведь как повелось за всю творческую жизнь — те, кто негодует, — все начальники, распорядители, командиры от искусства. От них-то и натерпелся Якобсон мук и надругательств вдоволь.

Репутация у Леонида Вениаминовича в официальных кругах была сомнительная. Он числился леваком, формалистом. Талант — очевиден. Выдумки — прорва. Но устремления?..

Дар Якобсона трудно укладывался в привычную бюрократову схему. Да, интерес к теме революции есть: «Двенадцать» по Блоку, «Клоп» по Маяковскому. Это похвально. Но зачем тащить на сцену местечковые еврейские мотивы: «Свадебный кортеж», шагаловские сюжеты?.. И почему так много эротики?.. Разлагающий пример для советской молодежи, когда танцевальный дуэт любовным утехам на публике предается: «Роденовский триптих»?..

Первооткрывателю трудно во всякой социальной системе. Но в тоталитарной — муки ада.

Каждый новый спектакль Якобсон выцарапывал, выпрашивал, вымаливал у власти. А потом — отбивался, отругивался, отмахивался. Якобсоновская премьера — всегда, обязательно —

преодоление, скандал, нервотрепка…

Была у Леонида Вениаминовича рукописная книжица с оценками, суждениями о нем самом. То ли в шутку, то ли всерьез собирал он автографы. А может, добрые слова, попадавшие в книжицу, были для него бальзамом, компенсацией за все неурядицы, подзатыльники жизни? За дремучее непонимание современниками?..

Когда мы наконец-то показали «Спартак» Якобсона в Америке и автор был с нами — первый раз выпущен за границу, — то мне горше горького было слышать, как жестоко, изничтожительно обрушилась на Якобсона американская пресса. И все не по делу, по ерунде. Благополучные люди, свившие себе уютные гнездышки в критических отделах знаменитых газет, не увидели, не почуяли ни гениального дара балетмейстера, ни его неустроенной мученической творческой судьбы.

В который раз повторилась шаблонная постыдная историйка: пока жив художник, затопчут его в грязь, презрят, отвернутся, а умер — начнут умиленно вспоминать: что кому сказал, в каком погребу любил пиво пивать, какой улочкой прогуливался…

Теперь созданы по миру, в США в том числе, общества Леонида Якобсона, всякие фонды, мемориалы. А тогда, в 1962-м?..

Я переживала, как страдал, метался Якобсон, как злорадствовали сопровождавшие нас министерские начальнички — вот, мол, «раздраконили» ваши западные новации, господин Якобсон-Якобсон старался не показать на людях виду, что обескуражен, угнетен. Напускал на свое живое, переменчивое лицо маску безучастного равнодушия.

Лишь после последнего показа «Спартака» в Нью-Йорке, а в других городах спектакль уже срочно заменили, Якобсон присел у меня в артистической «Мета» на кургузую табуретку из реквизита и внезапно беззвучно расплакался. Из его голубых глаз закапали крупные тяжелые слезы:

— Майка, ты сегодня была бесподобна. Плач провела с такой силой, что я…

— Леонид Вениаминович, не обращайте на критиков внимания, видите, как рукоплескала публика, не хотела расходиться…

Мне страшно, что мои мучители в Москве и Ленинграде получили крупный козырь…

Портниха Нюра Зайцева зашла забрать мой хитон Фригии, но, увидя меня все еще в нем, тихо притворила дверь…

Критики пишут, что мало танцев. А тут только танцы, ни одного нетанцевального движения, ни одной пантомимы…

Они ждали фуэте и пируэты по кругу…

Это самый танцевальный из всех моих балетов! Послезавтра меня отправляют домой, раз «Спартак» больше не пойдет. Дай сниму тебя в артистической в хитоне на память. Твои танцы я поснимал сегодня из-за кулис. Света только маловато было. Как уж выйдет…

На все деньги — суточные, полученные в Америке, Якобсон купил маленькую восьмимиллиметровую кинокамеру. Да несколько кодаковских пленок. В запас.

Кинокамера здорово поможет мне в работе. В Союзе на эту роскошь денег у меня нету.

Всю свою жизнь Якобсон прожил в нужде. Какой достаток у забияки? Из-за перманентных сражений и препирательств с Министерством культуры, ленинградским обкомом постоянный заработок хореографа был скуден. Советская власть умела душить непокорного художника и рублем! Подсобляла зарплата жены Ирины, танцевавшей в Мариинке. Но палочкой-выручалочкой, когда материальное стеснение затягивало петлю туже, был народный танец: Якобсон отправлялся в Молдавию, в Кишинев. В знаменитый ансамбль «Жок». Зрители восторгались ароматом, подлинностью народных молдавских танцев, их первозданностью, но никому и в голову прийти не могло, что все они поставлены… Леонидом Якобсоном. Стилист он был виртуозный.

Молдаване щедро расплачивались с сочинителем, ставя одно лишь ему условие — анонимность автора. Якобсон безропотно подчинялся. И семья гения не святым духом питается…

Когда я вплотную подвигнулась к воплощению своей идеи танцующей Анны Карениной, то, страшась немного, не рассчитывая целиком на свои силы, завела разговор с Якобсоном.

Берись, Майка, у тебя получится. Если запнешься, я тебе помогу.

Начала я со своих сольных танцев — мазурка на балу, «Метель», финальные сцены…

Захотелось себя проверить. Созвонившись с Якобсоном, я отправилась к нему в Ленинград.

Л.В. вопреки всем и всему на термоядерной энергии своего неуемного фанатизма сумел наконец-то создать к концу своей жизни театр балета. Театр камерный — само название об этом говорило: «Хореографические миниатюры», — но свой, понимаете, свой балетный театр. Вообразите, что это значило для Якобсона! С кровью вырвал у городских властей тесное помещение по улице Маяковского с двумя репетиционными залами. Тесное, но свое, понимаете, свое помещение. На микроскопические ставки к нему в театр пришли неплохие артисты-

энтузиасты, верившие в его звезду. Даже премьеры Кировского Алла Осипенко и Джон Марковский, презрев благополучие и престижные зарплаты, влились в театр Якобсона.

Щедрин записал отрывки музыки «Анны» на магнитофон, и я привезла пленку с собою.

Прежде чем просмотреть мои наброски, Л.В. захотел прослушать музыку. Механик включил запись.

Однако на месте Якобсону не сиделось. На девятом-деся-том такте он встал и начал, прикрыв глаза тыльной стороной ладони, медленно отанцовывать звучащее. Ничего общего с тем, что сделала я, не было. Совершенно ничего. Мое творение внутри меня самой стало блекнуть…

Так он про импровизировал всю Родионову запись. Несколько человек, присутствовавших при сем, были заворожены необузданным потоком якобсоновской фантазии. Воистину творилось чудо. Замерший вместе с последней нотой Якобсон обратился ко мне:

— Майка, ты все запомнила?..

— Нет, конечно.

— Если бы запомнила, тут тебе и весь ключ к спектаклю. Но ты же лентяйка!..

Надо было размять ноги и начинать демонстрировать свое детище. Но упустить вдохновение Якобсона?..

— Л.В., сымпровизируйте еще разок. А мы заснимем Вас. Где ваша американская кинокамера? Еще цела?

Камера была в сохранности. И пленка нашлась. Не «кодак», конечно, но черно-белая восьмимиллиметровая «шостка» советского производства. Моя ленинградская сестра Эра, пришедшая вместе со мной, была в ладах с кинотехникой. Изготовилась к съемке..

Механик включил запись. Якобсон начал импровизировать, но все по-другому. Что-то спугнуло его вдохновение. Может, зудящий стрекот камеры, может, долгий поиск шосткинской кинопленки, может…

Что-то ушло. Чудо не повторилось.

Якобсон сам почувствовал, что не ладится. В сердцах сказал Эре:

— Засветите пленку. Выбросьте ее. Завтра повторим на свежую голову.

— Завтра я должна уже быть в Москве…

— Вот ты всегда так! Ну, тогда в следующий раз…

В голосе Л.В. была укоризна, которая до сего дня гложет мою память… Я начала свой показ. Якобсон сделал несколько малосущественных замечаний. Он был человек настроения,

заскучал и затух оттого, что видение его Анны ускользнуло в небытие…

Пленку, конечно, Эра не выбросила и, проявив, тут же переправила мне с проводником «Красной стрелы» в Москву. А заодно крохотный монтажный столик, чтобы можно было останавливать мгновения, «когда они прекрасны», и гонять каждое движение взад-вперед, взад-вперед. Добрейшая моя Эра!.. (Та пленка ссохлась, погорбилась, но до сих пор хранится в секретере нашей московской квартиры.)

Многое из Якобсона я все же использовала. Из той нашей ленинградской поспешной встречи на улице Маяковского. Помешала со своим. Развила, продлила некоторые танцевальные комбинации. И корю, корю себя, что не задержалась тогда в Ленинграде, сказавшись для репетиций в Большом больной. Что не употребила всю свою энергию, чтобы попытаться вновь вызвать видение якобсоновской Анны…

Следующая наша встреча состоялась не скоро. На съемках фильма «Синяя птица». Там я должна была станцевать с Годуновым хореографию Якобсона — партии Воды и Огня.

Резко бросилось в глаза, что Якобсон похудел, осунулся. Стал раздражителен.

— Вы здоровы, Леонид Вениаминович?

— Вконец издергался со своим ансамблем. Ленинградский обком совсем с ума посходил. Каждый балет наперво обязательно запретят. Потом торгуешься за каждую поддержку, клинья на трико телесного цвета пришиваешь. Как огня нагого тела, секса боятся. Сами партийцы в шубах, что ли, детей делают?..

С тревогой всматриваюсь в впавшие глаза Якобсона, утерявшие свою былую небесную голубизну. Кожа у него стала желтая, неживая…

— Вы здоровы, Леонид Вениаминович?

— Самочувствие не лучшее. Ходил по врачам. Обследовали — ничего не нашли, говорят, здоров. Верно, просто состарился. Исчерпался нервами. Но только физически. Ставлю же много и, по-моему, лучше, чем прежде!..

Работа над фильмом, к сожалению, не была доведена до конца. Хотя то, что предложил Л.В. Саше Годунову и мне, было чудо как хорошо. Наш дуэт изображал взаимоотношение воды и огня. Я пенилась, струилась, падала водопадом, заливала огонь брызгами. Огонь шипел, отступал, метался всполохами. И все это — только хореографически…

Якобсон слег в больницу. Палата на десять человек. Аппаратура для исследований — каменный век. Лекарств — никаких. Шприцы кипятят на электрической плитке. Они — на

всех. Грязь, запахи, стоны страждущих. Коридоры заставлены койками с больными. Безразличие, черствость медперсонала. Не приведи, Господь, попасть обыкновенному человеку в обыкновенную советскую клинику. И здоровый на тот свет-прямиком отправится.

Ира Якобсон — она, как могла, «амортизировала» все невзгоды, неурядицы Л.В. - бросилась в Москву. В министерство. Добралась-таки до самого Министра культуры Демичева (он пришел на смену Фурцевой, когда та свела счеты с жизнью через цианистый калий).

Петр Нилович Демичев отозвался на Иринин вопль.

Человек он был мягкий, незлобивый. Немало помог просителям. Но добраться до него было ой как нелегко. Два Геннадия — многочисленные телохранители в расчет не шли — Геннадий Геннадиевич и Геннадий Алексеевич безотлучно стерегли каждый бесценный миг времени своего Министра. Участливость Демичева представлялась им, видимо, порочащим человека недостатком — лучше сокрыть ее от людского глаза. И они проявляли виртуозную изворотливость, дабы оградить своего босса от излишних контактов с согражданами. Каждый гражданин СССР — в их разумении — потенциальный попрошайка!..

Демичев тотчас устроил Якобсона в московскую кунцевскую больницу. Он был кандидатом в члены Политбюро, и подобная акция была в его власти. Строжайшая субординация советской системы — что кому положено, что нет — была на сей раз обойдена. И Якобсон лег на повторные исследования.

Не могу не вспомнить, что и Щедрина Демичев дважды устраивал в ту же кунцевскую больницу, когда у Родиона были нелады с сердцем, нарушая тем придворный партийный этикет (членом партии Щедрин никогда не был). Я не намерена забывать добро, свершенное Демичевым для нашей семьи.

Первое же серьезное исследование показало у Якобсона запущенный рак желудка. Не прошли даром нервотрепки, запреты, глумления…

Теперь, наконец-то получив в свое распоряжение мобильную балетную труппу, Якобсон, обессиленный, раздавленный, все ясно понимающий, мучительно угасал. Угасал в кремлевской кунцевской больнице.

Нравится вам парадокс, добрые люди?..

Но и на больничной койке творческая фантазия рвалась наружу. Он перечислял Ирине, бывшей с ним неотлучно, сотни новых идей, хореографических проектов, мечтаний. Но было поздно. Мученическая жизнь мукой и кончалась…

В кремлевской больнице?..

17 октября 1975 года Якобсона не стало.

Его прах перевезли в Ленинград и захоронили на Серафимовском кладбище.

Зачем я выделила свою работу и встречи с Якобсоном в отдельную главу?

Я работала с ним больше и дольше, чем с кем-либо другим из моих современников-балетмейстеров.

Мое первое участие в постановке, первая роль, сделанная на меня, первый выход на публику с новым: «Конференция по разоружению», я — китаец, разжигатель войны, 1934 год. Хореография Якобсона…

Несколько балетов на целый вечер, концертные номера, постановочная работа над, увы, невоплощенным. Хореография Якобсона…

Мой восторг на премьерах «Хореографических миниатюр». Хореография Якобсона…

«Озорные частушки» Щедрина на сцене Кировского театра. Хореография Якобсона…

Съемки в фильмах. Хореография Якобсона…

Хореография Якобсона…

Но не только она, не только это…

Судьба Якобсона, впрочем, так же, как и судьба другого великого балетмейстера моей страны Голейзовского, представляется мне трагической. Не менее трагической, чем судьбы миллионов, сидевших по советским тюрьмам, гнивших в ГУЛАГах.

Горящий творчеством человек, не могущий себя до конца выразить. Не могущий сказать людям то, что видит, слышит, осязает его огненное воображение. С заткнутым ртом, со связанными руками. Каждодневно бьющийся, как в пытке, головой о запреты советской идеологии, о тупость и усердие ее проповедников, проводников. Вынужденный, чтобы выжить, чтобы сохранить свой талант, чтобы не повредить творческому будущему своего сына Коли, идти на компромиссы. Не на капитуляцию, слышите вы, западные аналитики, непреклонные судьи с жидкими заполитизированными мозгами, — а компромиссы. Вы-то их не делаете каждый божий день?..

А система безжалостна, смертоносна, открыто восставать против нее гибельно опасно. Теперь-то мы знаем, как кололи Солженицына ядом в сутолоке ростовского магазина, как подкладывали Владимиру Войновичу в гостиничном номере отравленные сигареты…

И при этом вариться в собственном соку, быть оторванным от человечества, от новейших открытий, достижений мировой

культуры, от осуществленных трудов своих западных коллег.

И еще ломать голову, как прокормить семью, где достать ботинки, фрукты, шницель…

И при этом, при этом всем рождать поразительные шедевры, которые переживут и невежественного Брежнева, и своего загнанного до смерти творца.

Обращаюсь вновь к Андрею Вознесенскому:

«ВОИТЕЛИ, ВАЯТЕЛИ, СЛАВА ВАМ!..»

Глава 36
ПОЧЕМУ Я НЕ ОСТАЛАСЬ НА ЗАПАДЕ

Начала я книгу в феврале 1991 года в Испании. Листала свои дневники, перечитывала письма к Щедрину и порешила ваяться за перо. Буду вторая Жорж Санд (муж тоже композитор)…

Время несется метеоритом. В дни меняются, крушатся эпохи. Мир сегодня уже совсем иной. Какой-то будет завтра?..

Нет теперь у меня ни одного интервью, где перво-наперво не спросили бы — почему Вы не остались на Западе?

Постараюсь ответить всем, самой себе в том числе, почему я все ж не убежала…

Воспитание моего поколения было таковым, словно мы на фронте, идет война — свои и враги, мы воюем. Бегущий в стан к врагу — предатель. Кара перебежчику — возмездие. Об этом вопили все фильмы, пьесы, радиопередачи, газеты.

Когда я спросила свою мать, почему в 34-м — ведь вы были в Норвегии всей семьей — не остались с отцом на Западе, та ответила мне:

— Если бы я только заикнулась ему об этом, он бросил бы меня с детьми в ту же минуту. Миша никогда не стал бы предателем.

Это было кодексом чести в эпоху наших обманутых отцов. Заграница казалась дальше Марса, иностранцы — пришельцами других миров.

Открыв для себя Америку в 1959-м — как бы ни была я отягощена надзором и слежкой, репетициями и спектаклями, — у меня достало разума понять, что американцы — свободные люди, а мы — невольники. Что их жизнь — в достатке, наша — в бедности. У них — удобства, у нас — тяготы. И что же — сразу бежать в полицию просить политического убежища?..

В Москве родня. Им за меня отыграется. В Москве Щедрин. Он вроде заложник. Я считаю дни до нашей встречи. Да возьму и побегу за комфортом, за узорчатою дверною ручкой?..

Сегодня я так пишу, а тогда все мысли в другое погружены были, о бегстве не думалось. Конечно, как у каждого, предположу, мелькала наивная мечта, секундное желание примерить себя к чужому бытию, — эх, как здесь привольно и красиво, заработать бы денег, купить бы тот дом на пригорке за каштановой аллеей и зажить с Родионом припеваючи. Да разве дадут припеваючи?

Подстроят автомобильное крушение, размозжат ноги, что ж, милостыню тогда в сабвее просить, если живой останусь?

Каждое подобное мечтание перечеркивалось страхом. Это первое объяснение, которое могу дать. Да, да, просто страхом. Я боялась, что меня убьют. Сколько таких случаев с перебежчиками было… Не перечесть…

В 1961-м молнией разнеслось по свету, что на Западе остался Рудольф Нуриев. Он попросил политического убежища в парижском аэропорту, когда его одного отделили от кировской труппы, улетающей в Лондон, и насильно пытались отправить обратно в Советский Союз. Это означало, что балетная жизнь кончена. Он никогда никуда не поедет.

В подобной ситуации я поступила бы точно так. Кричала бы, верно, истошнее…

Но моя жизнь еще не кончилась. Только началась. После шестилетних истязаний я стала ездить за границу. И с уходом Улановой со сцены оказалась первой балериной Большого. Положение завидное. Это тоже удерживало меня. Имей его наши именитые беглецы, может, и не побежали бы они вовсе?..

Но манили, искушали меня каждый раз…

Во время вторых американских гастролей в 1962-м я получила прямо в номер гостиницы сказочный букет оранжево-фиолетовых роз. Такой раскраски цветов я никогда доселе не встречала. К букету был приложен миниатюрный конверт. Внутри записка. Это было приветствие от Нуриева. Он писал, что поздравляет меня с успехом и надеется когда-нибудь станцевать вместе… Ни телефона, ни адреса Руди в записке не указал, и сказать ему ответное спасибо было некуда. Да и решилась бы я ему позвонить? Сама не знаю.

Наша пропаганда изображала беглеца таким исчадьем ада, что даже имя «Нуриев» вслух произносить советские люди боялись. Любая форма общения с несравненным танцором грозила самыми мрачными невыправимыми последствиями. Через десятилетия вообразить это нелегко. Но вы поживите тогда, а не теперь, смелые люди…

Попросив у горничной вместительную вазу, я подрезала каждый черенок и поставила цветы чуть в отдалении от театральных подношений.

Никому об этом букете я не рассказала. Держала в себе.

Следующим днем ко мне неожиданно наведался один из сопровождавших нас из Москвы. Ничего не значащий разговор, о том, о сем. Взгляды по сторонам. Дозор, значит. Ах, какие у Вас цветы. Эти оранжевые — самые красивые. От кого они? Я залилась краской. Плету в ответ что-то, уже не помню, говорю, но

имя Нуриева, ясное дело, не произношу.

Нюх у доглядая натасканный, абсолютный, как бывает слух.

А вы не слышали, говорят, Нуриев в Нью-Йорке объявился?

Отвечаю, не слышала.

Ах, как его жалко, такой танцовщик был. Пропадет он здесь на Западе…

А сам все Рудиного букета аромат вдыхает…

Вдруг тоже цветы Вам пошлет?.. Что с ними делать будете?..

Мне становится страшно. Провоцирует или что-то знает? Вот так мы и жили. Так и глодал нас страх.

Теперь всплыло в печати, что КГБ по указанию свыше намеревалось подстроить Нуриеву инцидент с переломом ног. Это слух, но такой реальный…

В 1963 году поездка в Англию. Вот когда я туда добралась. Через семь лет после первых гастролей моего Большого!..

Звонок Светланы Березовой, прима-балерины «Ковент-Гардена», и приглашение на поздний ужин. К ней домой. Тактично предупреждает:

— Майя, еще будут Марго Фонтейн, ведь вы знакомы, и… Нуриев. Вас это не смутит? Если да, я Вас пойму.

Сразу соглашаюсь. Прошедший год чуть самортизировал остроту первой реакции (позже я уже решалась сумки, Рудины фильмы его матери и сестре возить).

Но как понезаметнее выбраться вечером из отеля? Проблема вечная. Приглашаю в компанию Фадеечева. Он человек порядочный, не выдаст, а вдвоем от бдящих глаз уйти побезопаснее будет.

С Марго я уже познакомилась в I960 году в Финляндии, где она танцевала «Жизель», а я «Лебединое» на балетном фестивале. И отношения у нас сразу сложились простые, естественные, будто мы всю жизнь знакомы были.

Светлана заехала за нами в условное место к отелю, и мы отправились в путь. Марго с Руди еще не было. У них был вечерний спектакль.

Муж Светланы, гренадер-пакистанец, готовит ужин. Все специи Лондона идут в ход, в блюда. Фадеечев предвкушает — вот уж поедим…

Певучий звонок в дверь. Входит Нуриев, с ним Марго Фонтейн, которую я не замечаю.

Мы бросаемся с Руди в объятия друг к другу. Проходит вечность. Так самое обыденное вдруг становится — проклятые политики! — пронзительно эмоциональным взрывом.

Вы получили мои цветы в Нью-Йорке? Мы «на Вы». И были раньше едва знакомы.

Получила, получила. Спасибо. f — И письмо дошло? Будем танцевать вместе?.. Только тут я вижу терпеливо ждущую своей очереди расцеловаться — Марго Фонтейн. Руди улыбается:

— Я навожу такой страх на своих бывших соотечественников. Вы из них — самая отчаянная…

Коля — тоже не трус. Будут вешать нас вместе. Марго одета в черный, похоже, французский костюм.

Впрочем, писать гардероб и портрет Марго Фонтейн я не стану. Она была так знаменита, так общеизвестен каждый ее шаг, что решусь добавить лишь несколько слов к ее облику.

Мы бывали не раз на спектаклях друг друга, вместе участвовали в концертах в Японии и Австралии. Поражала всегда меня она, чем бы мы ни занимались, безукоризненностью манер, совершенством своего воспитания. Более воспитанную человеческую особь — и не только в нашем хамоватом балетном мире — я за свою жизнь не встречала.

Как умела она, на зависть мою, ладить с людьми. Даже с прессой. Как донимали ее, словно летние слепни, неизобретательные журналисты одним и тем же вопросом, каждый раз одним и тем же — и в Австралии, и в Японии: когда Вы уйдете со сцены? Теперь и мне его наперебой всякий раз задают. Мой ответ неучтив: в сто семь лет, не раньше.

Марго же всегда отвечала самой обворожительной улыбкой на свете, означавшей, что слышит подобное в первый раз за жизнь:

— Я еще не решила.

Мне же она как-то сказала, что будет выходить на сцену до тех пор, пока приглашают.

— Даже выезжать на инвалидной коляске буду. Мне нужны деньги на мужних докторов.

Да, с инвалидными колясками опыт у ее семьи, на беду, был.

Мы провели незабываемый вечер.

Руди подарил мне на память толстенную книгу репродукций живописи Гойи. Как донес он такую тяжесть до Светланиного дома? Роскошная книга цела и поныне — и я бережно храню ее.

Не желая вновь обременять Светлану Бе ре зову шоферскими обязанностями, мы поехали с Фадеечевым обратно в отель на такси. Коля нес мою пудовую книгу.

В холле гостиницы, несмотря на самый поздний час, нас поджидали знакомые персонажи.

— Где это вы так поздно, друзья, загуляли? Впрочем, знаем где — у Березовой. Верно? Угадали?..

Коля чуть не выронил Рудин подарок.

— Мы уж хотели к госпоже Березовой отправиться. Но

незваный гость хуже татарина…

— Но не хуже башкира, — скалится другой.

Эту неуклюжую шутку они загодя приготовили или это милый экспромт?

Отмалчиваемся. Делаем вид, что не понимаем лобового намека на Рудино национальное происхождение.

А что это за пузатая книга? Подарок, небось? «Гойя» с решительностью переплывает из рук Фадеечева к недремлющему оку. Око внимательно листает:

— Красота-то какая. Неужели не содрогнулась чья-то рука попортить — и подписать такую реликвию?..

Мудрый Руди конспирации ради ничего мне не надписал. Умница!

— У Гойи «Война», и у нас война. Ничего писать не буду. И так запомните…

Умница, Руди. Спасибо.

Потом успокаиваем себя — это нас берут на мушку. Если б знали наверняка, сидели мы бы отныне с Фадеечевым в Москве как миленькие. Отъездились бы навеки.

Я пишу обо всем этом, чтобы внятнее объяснить будущим людям, почему я боялась остаться на Западе, почему страшилась за свою жизнь. И Нуриев, и Барышников провели, не сомневаюсь, не одну ночь в кошмарах. Никто из них за свои беглянские западные годы недоброго слова не проронил о преступной советской системе. Только ограничивались репликами, что хотят танцевать новый, современный репертуар. И правильно делали. Укокошили бы их в два счета. За ними шла настоящая охота.

Помимо своих отечественных осведомителей, у КГБ была разветвленная сеть любителей, идейных стукачей на Западе. И те из кожи лезли от «сознательного» усердия.

В одном магазине русской эмигрантской книги в Европе прилежно служил Советам невзрачный очкарик-продавец. Не за деньги, за идиотскую идею он поставлял в соответствующие отделы совпосольства фотографии, незаметно сделанные им из-за прилавка, всех охочих до новинок русских зарубежных издательств «Посев», «YMKA-Пресс»… Дорого обходилось им потом любопытство к эмигрантской антисоветской литературе…

Тогда же в Лондоне мне было сделано и вполне серьезное предложение. Фонтейн представила меня господину, назвавшемуся мистером Сомером. Он бойко, хоть и с сильным акцентом, говорил по-русски.

— Вам не хотелось бы заключить контракт в Англии, скажем, лет на пять? В год Вам будут платить…

Мистер Сомер назвал сумму неправдоподобную для моих

московских ушей.

— На пять лет? А как же Щедрин? Я его не брошу…

— И для него мы что-нибудь подыщем. Ну как?.. Остаетесь?

Ох уж эти секретные службы. А может, он тоже из… С Лубянки?.. Запутали бедную балерину.

Таких мистеров Сомеров было у меня впереди еще много. Очень много! Менялись лишь подходы, акценты да… суммы (интересуетесь? угадали, к большим).

В те же лондонские дни, словно сошлось, меня подковыривала, резвясь, английская пресса. Привыкшая к обожанию московской публики, избалованная немедленным приятием американцев и французов, я не была готова к пассажам вроде: «К нам прибыла мадам ПЛИ» или «Дочь трактирщика ей, видно, ближе», «Не пора ли похоронить бедную птицу»… Сегодня я знаю, что реагировать на колкости прессы — значит быть просто дурой. Но будьте снисходительны к полному отсутствию у меня такого рода опыта в 1963 году. Публика неистовствует, а пресса дает игривые щелчки в твой нос. Я сгоряча рассердилась на всю английскую империю с королевской фамилией вкупе. А тут — не хотите ли у нас остаться?..

Совпадение? Судьба? Характер?

Может, следовало бы умолчать об английских синяках. Но я хочу писать правду. К черту розовый свет.

И Щедрин был одной из причин, почему я не осталась на Западе.

Вдвоем мы ездили мало. То я уеду — вернусь, то он… Я, естественно, куда более. Те редкие случаи, когда мы оба оказывались за границей вместе, обставлялись нашими властями всегда с такой исключительностью и разрешались в самом поднебесном цековском верху. Обязательно в последний момент, словно нежданный рождественский подарок. И просили-то мы обычно разрешения задержаться на несколько лишь дней сверх положенного, чтобы свидеться, скажем, в Париже, куда нас поочередно приводили собственные профессиональные интересы. Иногда с разницей всего в двое-трое суток…

Впрочем, мига хватило, когда решились бы мы перешагнуть фатальный рубеж. Но мы не решились! Поэтому ссылки на редкое пребывание вместе на Западе — чистое самоубаюкивание.

Суть глубже.

Если я легко приспосабливалась к «перемене мест», к гостиничному житию, к переездам, то Щедрин, напротив, был домоседом. Каждая поездка, даже самая завлекательная, была ему в тягость. К России, к русской культуре, истории, обычаям он был накрепко прикован чугунными, хоть и невидимыми нитями.

Оторвать Россию от него было непросто. Каждое очередное надругательство над своим народом больно отзывалось в его сердце. Сторонним наблюдателем он не был…

Куда ехать — сам сядет, всех заставит усесться, помолчать несколько секунд и, только сказав — «с Богом», тронуться в путь. Хоть и совсем ближний.

Еще — тысячи суеверий. То баба с пустым ведром наперерез — плохо, то чайника нос ненароком на тебя смотрит — болезнь, значит, то возвращаться за забытой вещью нельзя — пути не будет, то черная кошка на дороге, то поздоровались через порог — ой, батюшки, беда… Меня даже раздражала такая «русскость» в мелочах.

Впрочем, этому есть объяснение. Дед Щедрина был сельским священником в российском городишке Алексин, что на реке Оке, в Тульской губернии. Генетический код, выражусь по-научному, — тут как тут. Куда от него денешься.

Да зачем я это рассказываю. В музыке Щедрина вы все услышите сами. Слушайте только повнимательнее. Прошу вас!..

Но жизни без Щедрина я представить себе не могла. Даже в хрустальном замке на каких-нибудь Канарских островах. Мы и тратились на телефонные разговоры каждый день-деньской. Не в шутку страдал бюджет нашего семейства от них. Но родной голос давал силы жить дальше. Сокращал, скрашивал разлуку.

Оборвать нашу связь я не могла. И не хотела. Увезти Щедрина от России было жестокостью и мне, выходит, не по силам…

И совесть была одной из причин, почему я не осталась на Западе.

Не та совесть, что мучила царя Бориса у Пушкина. Без кровавых мальчиков в глазах…

Остаться значило обмануть людей, которые поверили в твою порядочность и искренность. А без обмана — не убежишь.

Кому-то будут колоть тобой глаза — ах, растяпа, идеалист, легковерная гимназистка. Видишь, мы были правы, что не доверяли бесчестной мошеннице. Как ликовал какой-нибудь Серов, как назидал бы: не верьте, никому никогда — не верьте, никаких сантиментов. Поправили меня, дурачье, — хвастался бы… Ох, не хотелось мне врагам радость приносить.

Знаю, что наивно, что по-детски. Но мне было неловко, совестно, стыдновато было… перед Хрущевым даже. Перед Евгением Петровичем Питоврановым.

В октябре 1959 года, после первого, со счастливым концом, американского тура, Хрущев подошел ко мне в городе Пекине на приеме, оставив в стороне всю китайскую партийную знать. Из

его прищуренных глаз залучились искорки. Удовлетворение, полное удовлетворение выражало его блиновое лицо:

— Молодчина, что вернулась. Что меня в дураках не оставила. Не подвела, значит. Я в тебе не ошибся…

Ну и довод, скажут бывалые люди. Перед Хрущевым неловко. Забыла, что ли, как он команды давал рабочих в Новочеркасске расстреливать, как ракеты на Кубу слал…

Нет, ничего я не забыла. Но есть в человеке — не в каждом, может — трудновыразимое словами чувство совестливости или по-другому его как-то назвать — стыдливости, что ли.

Мешает или помогает это чувство людям жить? Из сегодня вижу, что проку в нем мало. Наглые люди процветают и благоденствуют. Совестливым живется куда труднее…

В пушкинские времена дворянское честное слово было надежнее сейфа в швейцарском банке. Поначиталась я про искренность декабристов, как они были верны слову чести. Как не лгали царю Николаю, не изворачивались, не желали облегчить свою каторжную участь.

Вертится в голове, к месту ли, история, как в первые годы после октябрьского переворота в 17-м шеф ЧК Феликс Дзержинский выпустил из большевистской тюрьмы под честное слово группу российских дворян-анархистов. Они отпросились на похороны своего товарища дворянина на один лишь день, пообещав вернуться в тюрьму после окончания похоронного обряда. И все как один вернулись. Хотя слово давали шефу извергов. И хорошо знали, что участь их в тюрьме — расстрел. Тоже, скажете, дурачье?

Ответ я и сама не знаю. Просто рассуждаю вслух…

И может, зря коробит меня, когда вижу сегодня верующего католика, протестанта ли, бесстыже надувшего своего клиента, затем спешащего в кирху помолиться, чтобы тотчас по выходе благополучно надувать и обманывать дальше. Капиталец удваивать…

И еще сцена Большого, нечеловечески прекрасная сцена Большого тоже была одной из причин, почему я не осталась на Западе.

Перетанцевала я во всех престижных театрах мира. Но такой удобной, самой удобной во всей Солнечной системе, во всем мироздании сцены, как в Большом, не было нигде!..

Когда перед выходом, стоя в кулисе, я каждый раз с ознобом радости ожидала свою музыку, свое антре, чувство ни с чем не сравнимого счастья разливалось по всему моему телу. Еще три такта. Еще два. Еще один. Вот. Моя музыка. Ступаю на свою сцену…

Она была для меня родным существом. Одушевленным партнером. Я разговаривала с ней. Благодарила ее. Каждая дощечка, каждая щербинка была мной освоена, обтанцована. Сцена Большого вселяла в меня чувство защищенности, домашнего очага.

Я, словно футболист, лучше играла и любила играть на своем поле…

Ответила ли я вам на вынесенный в название главы вопрос? Себе — нет…

Может, следующие поколения заживут вольно и просто, как журавли и лебеди? Без виз, прошений, выездных комиссий, печатей, идиотских лимитов дней, муторных анкет?..

Может, изобретут лукавые японцы чудо-таблетки, облегчающие познание иностранных языков?..

Может, перестанут — от кого, да к кому — люди бегать? Надеюсь, вы понимаете, что говорю о восточном и западном мирах?..

Может, не будут ущербными, ущемленными люди, стреноженные, будто лошади, обкраденные в свободе передвижения лишь потому, что рождены были, на горе свое, в Восточной Европе?..

И тогда, может, не будут корчить из себя национальных героев, — гордо продефилировав из казенных «Чаек» к телевизионным камерам, чтобы помурлыкать с подобострастными, до неприличия, до ужаса подобострастными интервьюерами о рукотворном подвиге своем, — вовремя уехавшие, сбежавшие да просто расторопные, а теперь возвернувшиеся с раздольными паспортами и лопающиеся от величия собственного героизма?..

Может, не будут балеринам будущего задавать каждодневно назойливый вопрос: почему Вы не остались на Западе?..

Глава 37
МЕНЯ РИСУЕТ МАРК ШАГАЛ

— то первая позиция?

Нет, это вторая.

А какая же первая?

Показываю Шагал у первую балетную позицию.

Я тоже могу так встать.

Марк Захарович выворачивает ноги, но устоять в противоестественном для своего тела положении — не может. Спотыкается.

Кельке шоз. А что еще нужно танцору?

Еще нужен высокий подъем.

А у меня подъем высокий?

Сняв ботинок и засучив чесучовую брючину, Шагал демонстрирует свою ступню.

Ну что ж, меньше, чем у Анны Павловой, но… годится.

Вава Шагал, жена художника, в просторечии Валентина Григорьевна, увещевает:

— Поздно тебе, Маркуша, в балет идти. Рисуешь ты лучше. Пусть уж Майя танцует.

Шагала жадно интересует все. Художник любит выспрашивать своих визитеров. Так же дотошно рассуждает он с Щедриным о флейтах, скрипичных ключах, дирижерах…

Наш разговор происходит в Сан-Поль де Ване на юге Франции. Расположились мы в буйно цветущем саду под сенью апельсинового дерева. Плоды лакомо яркие, крупные. Но им еще зреть. Теперь лишь пик лета. Июль.

Вава приглашает чаевничать в дом. На календаре в прихожей — 1965 год.

Привезла нас к Шагалу на своем ревущем «понтиаке», лихо подрезая виражи узких приморских шоссе, Надя Леже.

Родилась Надя в белорусской деревеньке Зембино. Бегала, босоногая, в приходскую школу, пасла коров. Тогда еще не Надя Леже, а смуглая паненка Надежда Ходасевич, с торчащими хвостами-косичками. Почуяв в себе интерес к рисованию, паненка пешком отправилась в Варшаву. Прогулку совершила она в 1927 году, когда по крестьянским тропам еще можно было добрести из страны в страну. А оттуда в Париж. Сведущие поляки разъяснили Наде, что живописи учиться надо у французов, в Париже.

Вместе с молодым красавцем-живописцем Жоржем Бокье, за которого она без раздумий тотчас выходит замуж, посещает

студию Фернана Леже.

Как и положено французскому мэтру кисти, Фернан Леже сразу устремляет свой наметанный донжуанский взгляд на ладную, тонкоталую фигуру молодой славянки с выработанными, выпуклыми икрами. У Нади чуть монголообразный овал лица, туго затянутые в пучок волосы и пикантный — уточкою — носик. Такой ее изобразил Леже на множестве своих полотен.

В Варшаве Надя, как уверяла меня, успела позаниматься «супрематизму» у Казимира Малевича и… «пройти курс в балетной студии». Последнее оставляю на ее совести, ибо по широте славянской души любила дофантазировать свою жизнь, рассказав балерине, что была балериной тоже, хирургу, что ей приходилось вырезать больному аппендицит, летчику, что неплохо владеет штурвалом.

Надежда Ходасевич-Бокье становится мадам Надя Леже.

Что за мистическая сила влекла французских, испанских художников к русским женщинам? Пикассо — Хохлова, Сальвадор Дали — Галя…

Познакомилась я с Надей у Арагонов, еще в свой первый приезд во французскую столицу. Когда Арагоны к ужину ждали Надю, то Эльза, составляя меню, обязательно включала в него вареную курицу. Служанка Мария покорно шла в лавку. Без вареной курицы белорусский желудок оставался голодным. Если Надя пропускала визит, то Эльза говорила:

— Мы не виделись с Надей «одну курицу». Курица была мерилом встреч.

Той весной Надя — она, как и Фернан Леже, была оголтелой коммунисткой (расстрел в 37-м году родного брата за сестрины путешествия по Полыыам и Франциям не излечил Надю от коммунистического вируса) — прислала нам с Родионом гостевые приглашения. Адресовала их она Министру культуры Фурцевой, и та, исспросив везде, где положено, советов и разрешений, благословила нас на тридцатидневный приватный вояж. «Под ответственность Нади Леже». Наши власти доверяли коммунистическому семейству Леже, Надя была участницей французского Сопротивления, закадычным другом советского посла — и нас выпустили. Вплоть до середины восьмидесятых годов это была самая вольная наша поездка.

Помимо дружбы Леже и Шагала Надю сближали с Марком Захаровичем белорусские корни. От Витебска до Зембина — рукой подать. То, что мой отец тоже был родом из Белоруссии, приводило Шагала в восторг.

В октябре 1961-го Шагалы моих выступлений не видели — они теперь редкие гости в своей парижской квартире, — но слухи

донесли доброе обо мне. Благосклонная французская пресса о моих танцах им на глаза попалась.

За столом Вава замечает, что Шагал сегодня работает меньше обычного, ленится.

— На него это мало похоже, больше, чем на час, Маркуша от работы не отрывается, кто бы к нам ни приехал.

— Вот ты и ошиблась. Я работаю сегодня целый день. Подкрадываюсь к балету…

Я знала, что Шагал писал декорации к балетам Баланчина, Лифаря, Скибина. Макет «Дафниса и Хлои» видела в иллюстрациях балетных словарей.

— Как подкрадываетесь? Я не поняла…

Шагал рассказывает, что работает сейчас над панно для нового «Метрополитен» в Нью-Йорке. Это — как продолжение его плафона для «Гранд-опера», который он сделал в 1963-м по заказу Анд ре Мальро.

— У меня там будут разные искусства, звери, музы… И балет. Что, если Вы, Майя, покажете мне несколько движений?..

— Попозировать? Шагалу? Извольте…

Мы поднимаемся на второй этаж. Позднее для этой цели художнику пристроили лифт — грыжа донимала. Щедрин и Надя остаются с Вавой.

— Мы вас позовем.

Просторная светлая мастерская. Ничего отличного от других мастерских, в которых я побывала. Холсты на подрамниках, составленные в рядки. Брызги красок. Книги на полу. Лоскутки разноцветных материй. Замасленные кисти.

— Какая поза Вас интересует, Марк Захарович? Может, арабеск? Или аттитюд?

— Мне хотелось бы видеть движение. Самое простое. И пожалуйста, распустите волосы…

Начинаю незатейливо импровизировать. Делаю несколько пор-де-бра. Затем скидываю туфли и босиком, на высоких полупальцах, прохожусь в па-де-бурре. Повернулась вокруг себя. Фиксирую позы.

Шагал набрасывает угольком быстрые линии на ватман. Глаз его хищно прищурен. Как у целящегося охотника. Рот приоткрыт. Что он рисует, мне неведомо. Сквозь мольберт не подсмотришь. Краешком взгляда слежу за маршрутами его артистичной, легкой руки. Она мягко ведет свой танец. Рука задумывается. Я останавливаюсь.

— Пресно без музыки. Я очень скована. Это у Вас не радио, Марк Захарович?

Шагал не отвечает. Отстранен.

— Если это радио, Марк Захарович, давайте изловим какую-нибудь мелодию…

— Простите. Что Вы сказали?

— Включим радио. Мне будет легче…

Шагал ведет поиск годной музыки по станциям. Перебирает черное зазубренное колесико транзистора. Одна французская речь. Как понарошку. Или огрызки коммерческого джаза, сопровождающего рекламу. Опять речь. Последние новости…

И вдруг элегическая нежная мелодия. Скрипка с оркестром. «Печаль моя светла», приходит в голову пушкинская строка. Теперь моя импровизация осмысленна и поэтична. Как помогает мне музыка!

Я танцую. Шагал без единого слова делает наброски. Мы оба увлечены…

Сколько это длится — не знаю. Вдруг Шагал прерывает молчание.

— Какая замечательная музыка. Что это? Чье?

Я прекращаю танец и говорю, что музыка мне тоже незнакома.

— Позовите Щедрина, может, он знает…

Зову Родиона.

— Это концерт Мендельсона. Отличная запись. Кто играет? После конца должны объявить.

Диктор называет имя Менухина. Весной 1991 года, приехав в Лондон по приглашению маэстро на его юбилейный концерт, где Менухин дирижировал в числе других и новое сочинение Щедрина, я рассказываю о своем танце под его запись в мастерской Шагала. Как непредсказуемы и замысловаты таинства человеческих встреч и пересечений.

Шагал просит исполнить еще несколько поз. Самых, как он говорит, классических. Я выполняю его желание.

— Знаете, ваш танец под концерт Мендельсона был прелестен. Вот бы могла кисть передать, что видит глаз. А может, лучше, что не может?..

Слушать Шагала интересно. Мысль свою он излагает с библейской размеренностью.

Шагал рассказывает о своей юности, о родном Витебске. Как комиссарил, ходил в галифе и кожанке, раскрашивал мостовые, стены домов. Рассказывает, что увлечен был идеями мировой революции.

— Да разве я один? Фернан, — он поворачивается к Наде, — обратился к первому советскому правительству с письмом, в котором предлагал одеть по его рисункам всю советскую страну в веселые, цветастые прозодежды. Если труд — праздник, и одежды

должны быть нарядными. Он не просил за это ни одного сантима. Потом Шенберг собрался бесплатно учить всех музыке. Корбюзье желал построить в России солнечные города. Им, я слышал, даже не ответили. А я пришел к секретарю губкома в Витебске и сказал, что нам нужен музей. Нам нужен не музей, а мост, товарищ Шагал, объявил в ответ тот. Вот я и уехал. Вот я и здесь, в Вансе.

Я ненавижу мемуаристов-лгунишек, которым по необъяснимой причине едва знакомые мэтры начинают исповедоваться, изливать душу. И произносят длинные монологи, словно наговоренные на скрытый магнитофон. Мною записаны в дневнике лишь контуры тем, затронутые в тот жаркий июльский шагаловский день. Позже мне довелось немалое количество раз еще встретиться с Марком Захаровичем и Вавой — в Нью-Йорке и в Москве, в Париже и снова в Вансе… Увидели они мой настоящий танец на настоящей сцене. Но так обезоруживающе откровенен Шагал был лишь в день нашей первой встречи. Повторю, на календаре стоял 1965 год, железный занавес только сдвинулся с места, и мы с Щедриным были одними из самых первых вестников, что мир начинает меняться. Меняться к лучшему. И Шагалу должно было быть интересно общение на родном языке с балериной и музыкантом, у которых не французские, а советские паспорта. Через несколько дней, он знал, им надлежит вернуться домой, в Россию…

Лишь когда за окнами опускается густая южная темень, мы начинаем собираться к отъезду. Шагалы предлагают нам заночевать. Но мы обещали — еще засветло — вернуться в Надин уютный дом в Кальяне, где нас нетерпеливо поджидают художник Жорж Бокье, снова ставший Надиным мужем после кончины Фернана Леже, предупредительные слуги-коммунисты, угрюмая овчарка Ватан и разбойный кот Коклико.

Еще раз оглядываем светлые стены, на которых полыха ют сокровища — картины Шагала от самых ранних до нынешних. Плывут над городом рыбы, в небесах парят коровы, деревенские скрипачи с тоской выводят витебские пассажи, хмельно кренятся избушки, в немыслимых поцелуях сливаются вечные любовники. Мы, завороженные, задерживаемся у изображения беременной розовой лошади с жеребенком во чреве, впряженной в телегу, на которой лихо восседает мужик с кнутом, в картузе.

Вот и я ходил в таком картузе, — усмехается Марк Захарович.

Шагал дарит нам свои авторские литографии. Массивную академическую монографию, которую вдоль и поперек щедро расписывает цветными фломастерами — «Майе, Родиону… память… с любовью… Ване… Марк Шагал…» И ранние

керамические изделия.

В ответ достаю памятную медаль с собственным изображением, исполненную Еленой Александровной Янсон-Манизер.

Шагал долго и очень серьезно оглядывает медаль со всех сторон.

Реалистично… Но… красиво.

Резво пробегает год. Если быть точной — десять месяцев.

В мае 1966-го я обедаю вместе с Шагалами в Нью-Йорке. Откушать в шикарном ресторане пригласил нас Сол Юрок. Марк Захарович оканчивает свои панно для нового «Мета». А мне завтра надо будет закрывать «Мет» старый. Потому за столом разговоры о театре, о художниках…

Шагал сегодня сердитый. В ответ на неуклюжее суждение внезапно обрушивается на Юрока.

Юрок, вы совершеннейший профан. Вы ничего не понимаете в искусстве… Зачем вы им занимаетесь?..

Я возил Анну Павлову и Шаляпина…

— Лучше не делали бы этого вовсе. Юрок обижается.

Я в третий раз показываю Америке Большой балет. В третий раз привожу сюда Плисецкую.

— Кельке шез… Завтра иду смотреть Майю. А импресарио Юрока я впишу в свое панно в одеждах лихоимца. Последую за Микеланджело, — переходит на привычную иронию Шагал.

Наступает завтра. Воскресенье. Восьмое мая. Последнее представление на сцене старого «Метрополитен-опера». Девятого утром, в понедельник, — театр взорвут…

В большом концерте я участвую дважды. Танцую «Лебедя» и первый акт «Дон Кихота».

Мой «Лебедь» завершает первое отделение — торжественную часть.

Речь ведет знаменитый Джон Мартин. Он перечисляет всех и все, что происходило целый век в стенах этого славного театра. На огромном, во всю сцену экране мелькают знакомые — незнакомые физиономии — диапозитивы звезд, выступавших здесь. Старинные фотографии, увеличенные до гигантских размеров, распадаются на составные части, крупное зерно. Мне они напоминают картины французских импрессионистов, но в черно-белой гамме. Позабытый аромат чудных эпох. Где теперь эти улыбчивые красавцы и красавицы, горделиво выпятившие груди, с телесами, затянутыми в корсеты, в соломенных канотье и шляпках, усыпанных цветами?.. В домах для престарелых, в инвалидных колясках, на кладбищах?..

Я смотрю диапозитивы Мартина сбоку, скашивая глаза.

Одновременно приседаю на плие — остыть нельзя…

Наконец Мартин объявляет меня. Сен-Санс, «Лебедь». Соло на скрипке Айзик Стерн.

Стерн солирует в оркестре. Успех такой, что будем бисировать. Айзик, которого я вывожу на поклоны, остается на сцене. Оркестр в яме. Файер за пультом. Стерн в луче света у рампы Вторично плыву на па-де-бурре…

После перерыва мы рванули «Дон Кихот». В декорациях и костюмах. Я — Китри. Партнер — Тихонов.

Другого глагола, кроме «рванули», не подберу. Взаправду «рванули»! На двух «Лебедях» я хорошо разогрелась, за антракт не слишком остыла. Наэлектризованная, чрезвычайная атмосфера подхлестнула мое тело на большее, чем оно способно было доселе…

Венчает вечер большой полонез. Все, кто участвовал сегодня, старая гвардия «Мета», торжественными парами в последний раз ступают на легендарную сцену. В парах Марта Грехам, Алисия Маркова, Александра Данилова, партнер Анны Павловой — Владимиров, Антон Долин, Джером Роббинс, Агнес де Миль, Тамара Туманова, Игорь Юскевич… Публика встает. Вижу седую голову Шагала с Вавой. Они аплодируют со всеми…

Когда приезжаю в Нью-Йорк опять — тур 1968 года, — в новом «Мете», который уже открылся, идут спектакли. Нам предстоит здесь тоже выступать.

Тороплюсь на репетицию. Но на площади у фонтанов останавливаюсь как вкопанная. Задираю голову. Высоченное панно Шагала. Смотрю на левое, красно-оранжевое. Летящий солнечный ангел с трубою, васильковый Иван-царевич, музицирующий на зеленой виолончели, райские птицы, двуглавое существо с мандолиною у лошадиного подбородка, глянцевая скрипка со смычком на синюшном искрящемся дереве…

А в самой середине — полненькая грудастая танцовщица с распущенными рыжими волосами, с усердием держащая ноги по первой позиции. Вся напряглась, скривилась, того гляди — свалится…

В верхнем углу, слева, — пестрая стайка балерин. С тугими ляжками, осиными талиями, в различных позах: кто прыгает, кто замер, кто на пальцы встал, кто руки сладким венчиком сложил, кто с худосочным партнером к турам изготовился…

А одна, уж точно — я, бедро выгнула, накренилась, натянулась как струна, руки забросила за заплечья, ноги по второй позиции. Что-то такое я и взаправду изображала Шагалу под концерт Мендельсона. Ухватил Марк Захарович сей момент…

Провинившегося Юрока нет…

Сходства с танцовщицами на панно у меня немного. Но когда смотришь долго, пристально, внимательно, — уразумеваешь, что что-то мое рука великого художника схватила. Что-то тут есть- При новой встрече Шагал пристрастно выспрашивает меня: видела ли панно, узнала ли свои изображения…

Кельке шоз. Будете позировать мне еще?..

Буду, Марк Захарович, буду. Я Вас очень люблю.

Глава 38
ДВАДЦАТОЕ НОЯБРЯ

По мадридскому телевидению шла передача о Валентине Кошубе, русской балерине давних легендарных времен. С 1914 года она танцевала в труппе Дягилева. Была неотразимо красива, как сказали бы сегодня — «Мисс Дягилев балет».

Я участвовала в передаче. Говорила приличествующие событию комплименты. Журналисты наступали на Кошубу с «крутым» вопросом — была ли она возлюбленной испанского короля Альфонсо XIII. Кошуба решительно отказывалась. Да, он был немножко влюблен в меня, слал цветы, делал королевские подарки. Но чтобы близость!.. Не было такого… В конце концов некая знойная женщина-журналистка в сердцах отрезала: в Вашем возрасте, досточтимая сеньора (а Кошубе стукнуло 90!), лучше было бы солгать нам, короля в живых давно нет, зрителям было бы куда интересней.

— Но зачем же я буду говорить неправду? — горячилась Кошуба…

С семейством Кеннеди я познакомилась в 1962 году. В дни моего второго американского тура.

12 ноября Большой балет достиг столицы Америки. До Вашингтона были Нью-Йорк, Филадельфия, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго, Детройт, Кливленд. Карибский кризис.

Расположившись в чистеньком гостиничном номере, я открыла ванные краны — вся в предвкушении водяной неги. Но внезапно долгим будоражащим телефонным звонком была вызвана нашим руководителем Покаржевским вниз.

Успели отдохнуть с дороги?

И, не слушая ответа, цепко и бесцеремонно ухватил меня за локоть и потащил к выходу.

Едем на пресс-конференцию. Газетчики хотят Вас видеть. После Кубы это важно. Но в ответах, прошу вас, будьте сдержанны и благоразумны Наши переводчики вам в этом помогут…

После пресс-конференции всем гуртом покатили в советское посольство. Прием. Такой вроде этикет.

Наш посол Добрынин подводит ко мне стройного высокого американца, лицо которого кажется знакомым.

Министр юстиции Роберт Кеннеди. Министр попросил меня вам его представить. Майя Плисецкая…

Так это Роберт Кеннеди. Я как-то сразу не признала его.

Весь дальнейший разговор переводился Добрыниным.

Роберт Кеннеди сказал, что видел меня в Москве в 1955 году. Мое «Лебединое» запомнилось ему. И он узнал по газетам, что я буду танцевать в Вашингтоне.

Завтра я прийти не смогу, но будет Президент с супругой…

В ответ своему собеседнику я вдруг выпаливаю:

— Я тоже вас знаю. Кеннеди смущенно улыбается.

В журнале «Америка» я читала, что вы родились в ноябре 1925 года. Я — тоже. А какого числа?..

Роберт Кеннеди удивлен нежданному повороту разговора.

Двадцатого…

Двадцатого?! Так мы двойняшки. Я тоже родилась двадцатого ноября.

За всю свою жизнь я встретила лишь одного человека, с кем родилась год в год, месяц в месяц, день в день. Своего двойняшку. Это был Роберт Кеннеди.

Министр расчувствовался и неловко чмокнул меня в щеку. Совпадение производит впечатление и на Добрынина. Он надсадно теребит переносицу.

А где вы будете в этот день? — спрашивает Роберт Кеннеди.

Кажется, в Бостоне…

«В Бостоне, в Бостоне», — закивал рыжей головой босс нашей поездки Покаржевский, возникший возле меня невесть откуда.

Цепь совпадений продолжает занимать моего собеседника.

Бостон — моя родина. А что вы будете делать вечером двадцатого?

Кажется, танцевать опять «Лебединое»…

— «Лебединое», «Лебединое». Майя танцует двадцатого «Лебединое» в Бостоне, — ликует Покаржевский. Удачный случай продемонстрировать послу Добрынину свою осведомленность и служивую памятливость. Взяли Покаржевского в поездку со стороны, ведомо с какой, в театре он не работал. Но как споро вошел в дела!.. Доложит Добрынин куда следует, повысят вундеркинда.

— Я пришлю Вам подарок, — говорит Роберт Кеннеди.

— Я тоже, — ляпаю по инерции опрометчиво…

Следующим утром, в день своего первого вашингтонского «Лебединого», пришла в репетиционный класс. Разогреться. Старалась никогда не изменять своему правилу хорошенько размяться в день спектакля.

В зале были зрители. Жаклин Кеннеди с маленькой Каролиной. Жену Президента сопровождала свита, переводчики, телохранители, распластавшиеся в ненатуральной вежливости начальники Большого балета.

В тот день я чувствовала себя неприютно. Была чуть

простужена, да день моей вашингтонской премьеры совпал с первым днем нашего женского нездоровья. Однако, увидев большеглазую красавицу Жаклин, чье внимательное веласкесовское лицо множилось в балетных зеркалах, я подтянулась и довела весь класс до конца. Даже прыжковые комбинации…

После класса нас познакомили, и я дала маленькой Каролине черно-белую ленту моих балетных слайдов, бывшую у меня с собой в сумочке. Наступил вечер. Перед началом балета сыграли гимны. Присутствует Президент. После Карибского кризиса его посещение гастролей московских танцоров — очевидный политический шаг к примирению с Советами. Потому так наэлектризованы наши посольские, так суетливы корреспонденты советских газет, театральное начальство.

После второго акта, едва закрылся занавес, Президент Кеннеди приходит на сцену. Жест замечательный. Оба с Жаклин направляются прямиком ко мне. Мы целуемся с Жаклин уже как знакомцы. Я пачкаю ее загорелую щеку театральной помадой.

Похвалы. Восхищения. Президент говорит, что маленькая Каролина в восторге от моих слайдов.

Заявила нам с Джекки, что будет балериной, как Вы. Выходит, первая балерина в роду Кеннеди…

Президент говорит, что знает о моей вчерашней встрече с братом, о поразительном совпадении нашего летосчисления…

Но тут в компанию втискивается рыжая голова Покаржевского. Отдавливая широкими крестьянскими стопами мне ноги, плечиком оттирая помаленьку от Кеннеди, наш вождь вкладывает мне в руки, стараясь проделать сию манипуляцию понезаметнее, книгу «Большой балет». Книга издана в Москве с десяток лет тому назад. Тяжелая, нелепая, с нерезкими фотографиями артистов, которые уже на пенсии и более не танцуют. Типографская краска оставляет следы на ладонях, да еще книга источает некий запах клейких веществ, знакомый всякому. Весь III акт я обоняю, что от моих черных лебединых рук-крыльев сочится мерзкий дух советского клея. Вообразит, того гляди, партнер, что рокфору объелась дочь Злого Гения Одиллия. Как-то бедный Президент! Он держал книгу поболее моего…

Наутро Джон Кеннеди принял труппу Большого в Белом доме. Он вновь наговорил мне целый ворох добрых похвал. Я же начала разговор с наивных оговорок, дескать, танцевала я не слишком хорошо, скованно, жаль, что он с Жаклин попал именно на этот спектакль. Театр тогда в Вашингтоне был тесный, никудышный, со скользкой неудобной сценой.

Вы были бесподобны. Я был сражен наповал (именно так перевел похвалы Президента советник по культуре нашего посольства… Хорошенькое провидение!..).

Той ночью после спектакля мне не спалось, и я проглотила среди ночи снотворную таблетину, а теперь, осушив бокал президентского «Дюбонне» натощак, нешуточно захмелела.

Когда вы танцуете следующий раз? — поинтересовался вежливо Президент.

Завтра.

А что?..

«Баядерку» и «Лебедь». Приходите с Жаклин. Я станцую лучше…

На самом деле назавтра шла «Жизель». Я все перепутала. Во хмелю я жестикулировала с удвоенной горячностью, моя меховая шапочка сбилась набок, волосы пораспушились. Именно здесь, в Белом доме, Жаклин осенила мое будущее прогнозом: «Вы совсем Анна Каренина»…

Приближалось двадцатое ноября, наш день рождения. Администрация Большого стала проявлять ко мне «отеческий» интерес.

— Что бы Вам подарить Роберту Кеннеди двадцатого?.. А правда, что бы? И как?..

И сладкими паточными голосами: привезли мы тут, знаете, кстати, расписной русский самовар для одного нашего товарища, юбилейная дата у него, но, думаем, лучше будет вам его отдать. Для Роберта Кеннеди. Нашему товарищу мы что-нибудь иное подыщем с помощью работников совпосольства. Напишите дружеское поздравление своему одногодке — по-русски, разумеется, — а мы уж переведем и точно двадцатого вручим Министру вместе с самоваром… Он порадуется, полюбуется. Самовар-то выставочный.

А он — что, очень большой?

Не маленький, Майя Михайловна, не маленький, не дешевый.

А откуда он у меня может быть? Что Министр подумает? Покажите мне Ваше расписное чудо.

Самовар оказался, как я и предполагала, огромный. Величиной с рослого ребенка. Ну где такой я могла в Америке заполучить?.. А из дома этакий самоварище в подарок неизвестно кому не прихватишь…

Отказалась, как ни уговаривали.

Письмецо написала, точнее, всего несколько слов. И приложила полдюжины деревянных ложек. Пускай ценности никакой, но зато — мое. Мои ложки.

С сожалением, что самовар не подошел, — но передать мой

привет Роберту Кеннеди наши «деятели» берутся.

Двадцатого ноября меня разбудил громкий, продолжительный стук в дверь моего гостиничного номера в Бостоне (телефон на ночь я, как обычно, отключила).

Трудно продрав глаза, чертыхаясь, отворяю. За дверью стоит, чуть покачиваясь, гигантский букет белых пахучих лилий. Отельного посыльного, держащего цветы на руках, за ним не видно. Второй посыльный протягивает мне изящную коробку, зашнурованную широкими парчовыми бантами. И конверт с письмом.

От Роберта Кеннеди.

Он поздравляет меня сегодня первым.

Развязываю банты, раскрываю коробку — на малиновой бархатной подушечке прелестный золотой браслет с двумя инкрустированными брелками. На одном — Скорпион, знак нашего зодиака. На другом — святой архангел Михаил, поражающий копьем дракона.

Чуть попозже Роберт звонит мне сам. Я, мучаясь, отыскиваю в своей заторможенной утренней памяти несколько ответных слов по-английски: Thank you… Also… Best wishes… Это сущее несчастье быть неграмотной! Я неграмотна от советской системы, от собственной неизбывной лености, всегдашней мерзкой уверенности, что переведут, объяснят, помогут. А тут никого. Вот и блею, как дитя двухлетнее: Thank you… Also… Best wishes…

Бегу в класс. Но на пороге сталкиваюсь с новым посыльным, несущим от Кеннеди картонку с винными бутылями. Этак я свой всегдашний распорядок нарушу, в день спектакля поутру не разогреюсь.

В классе меня встречают на самой торжественной ноте. Вот какие пироги. Корзина цветов. Приветственный адрес, подписанный всеми вождями поездки. Поздравление от посла Добрынина. Покаржевский держит возвышенную речь: «Наша дорогая Майя Михайловна, Вы…» Переходит почти на пение — так я, оказывается, талантлива и неповторима. Золотой зуб во рту нашего вождя подобострастно улыбается мне. Бурные аплодисменты. Вот что значит родиться в один день с министром юстиции США!..

Вечером на спектакль приходит третий Кеннеди — Эдвард. После конца он поднимается на сцену, говорит «фантастик» и целует в обе щеки. Это по поручению Боба, объясняет он…

А потом Юрок закатывает прием. В мою честь. Передает телеграмму от Родиона. Мы пируем до глубокой ночи. Куплеты, танцы, все меня любят, всем я мила… Метрдотель мягкой поступью приближается к столу: «Телефон, мисс Майя»…

Покаржевский смолкает на полуслове — вот оно, — весь напряжен…

Беру трубку в тесной кабинке возле бара. Это опять Роберт Кеннеди. Долго и горячо что-то мне объясняет. Ничего не понимаю. Здравомыслящему западному человеку невозможно уразуметь, что я совершенно ничего не понимаю по-английски. Ни единого слова. Включаю свою пластинку: Thank you… Also… Best wishes… Подумает Министр наверняка, что я совсем дурочка. С таким репертуаром слов и не пококетничаешь…

За несколько дней до моего следующего дня рождения, который я на сей раз отмечаю дома, в Москве, Роберт Кеннеди вновь напоминает о себе.

Анастас Иванович Микоян, вернувшийся только из Америки, шлет мне на дом со своим помощником поздравление к 20 ноября. От Роберта Кеннеди. Пять фарфоровых бледно-сиреневых гвоздик — царственной красоты. С прожилками, пестиками, листвою. Совсем живые, совсем взаправдашние. По инерции тяну шею вдохнуть гвоздичный аромат. Спохватываюсь. Это — искусство, не природа…

С тех пор гвоздики эти навечно стоят в вазе на моем спальном столике нашей московской квартиры…

Через день после дня рождения — 22 ноября — у нас опять гости. Доедаем Катины яства — выйду на следующий спектакль толстая, в пачку не влезу, доотмечаюсь… Телефонный звонок: включите телевизор, в Джона Кеннеди стреляли!..

Приникаем к экрану… Ловим каждое слово… Президент убит… Несчастная Жаклин… Я и сейчас нервами помню чувство оцепенения, пустоты, охватившее меня в тот слякотный страшный московский вечер — кто? зачем? негодяи!..

Следующая поездка Большого балета в Америку произошла весной 1966 года. К 20 ноября — это уже стало нашей милой традицией — и Роберт Кеннеди, и я старались отыскать оказию, чтобы поздравить друг друга. Ясное дело, наши поздравительные «приветы» были на виду у… КГБ.

За неделю до отлета в Нью-Йорк меня пригласил к себе в кабинет Михаил Николаевич Анастасьев. Он был тогда первым заместителем директора театра и был назначен возглавить американский тур 1966 года.

Анастасьева я вспоминаю добром. Несостоявшийся музыкант, брат заметного театрального критика, человек приветливый и отзывчивый, тяготившийся, как мне казалось, чиновными веригами. Он и кончил совсем плохо, выбросившись из окна после публичной партийной порки за обнаружившийся страстный роман с женщиной вдвое его моложе. Кто-то всплеснет руками,

ах, Анастасьев, такой-сякой, мне он не помог, и прочая. Не буду оспаривать. Ко мне Анастасьев был добр.

Майя Михайловна, познакомьтесь, пожалуйста, это Михаил Владимирович, он будет одним из моих заместителей в поездке.

Конечно, у Михаила Владимировича была и фамилия, но, входя в исправление высокой руководящей должности, Михаил Владимирович оставлял ее как бы за скобками, в тени. Так и величали народного предводителя просто Михаилом Владимировичем — с почитанием и показной любовью… Путает память моя бесфамильных полководцев наших, Михаилов Владимировичей, Сергеев Ивановичей, иванов Даниловичей, но за мою жизнь их было пруд пруди…

Майя Михайловна, — наконец отворяет щербатый рот новый пришлый полководец, — был я позавчера на «Спящей красавице», знаете. Какая же вы замечательная артистка! Сколько вынес впечатлений!..

Излив вдоволь книжных восторгов, приступает к цели. Выражение его серого лица выдает немудреный замысел.

Листал я тут, знаете, энциклопедию, кто когда родился интересовался, и натолкнулся, знаете, на поразительное совпадение. Оказывается, вы с сенатором Кеннеди в один день рождены? Две значительные, знаете, личности…

Ну что за безмозглая игра: какая, к черту, энциклопедия, когда весь театр, пол-Америки об этом давным-давно знают!..

Разных людей командировала к нам Лубянка. И дельных, умных в том числе. М.В.Калинкина, Феликса Перепелова труппа приняла, отнеслась к ним с непоказным уважением, дружественно. Лошади за версту отличат толкового конюха от тупоумного истязателя… Но… и здесь не восторжествовало добро, зло победило. Настучали на них сами братья-артисты — душа горела, — что слишком мягки да незлобивы надсмотрщики. А Перепелов в довершение либерализма своего еще и в балерину влюбился, жениться собрался. Не место таким под большевистским солнцем на площади Дзержинского. Поменяли работу, мягкотелые…

— Как было бы, знаете, хорошо, Майя Михайловна, — продолжает бесфамильный Михаил Владимирович, — чтобы вы с Робертом Кеннеди сдружились…

Ну совсем маниловские мечты о нерушимой дружбе с Чичиковым, за что расчувствовавшийся батюшка-государь «пожалует нас генералами»…

Всем не по себе. Мне. Анастасьеву. Даже автору великого проекта о нерушимой дружбе через океан…

Поэтому, когда через несколько дней начинается новый тур

Большого балета по Америке, я стараюсь не попадаться на глаза Михаилу Владимировичу. И вообще, избегать всего, что можно избежать. Ничего не случилось, не произошло, но чувство неловкости меня не оставляет. Настроение мерзкое…

Представитель СССР в ООН Федоренко 20 мая устраивает прием в нашу честь. Кто был там? Выпишу имена из своего дневничка: Бернстайн, Джером Роббинс, Майкл Никлс, послы с послицами, Юрок, Анастасьев, Жаклин Кеннеди, Роберт Кеннеди… И я. Это те, кто попал в мои записки. И уж, конечно, Михаил Владимирович. Ни на каком языке, кроме своего русского отечественного (точнее, советского), М.В. говорить не мог. Даже «Best wishes» и «Also» не разбирал. Совсем дремучий был человек. Дремучее меня. Но активность на приеме стал проявлять великую. Лицо красными пятнами пошло. Пот со лба прямо в бокал с шампанским скапывает. Руки поддраживают. Закусочная сосисочка на спичке беспрерывно на пол падает. В довершение расплескал шампанское с потом на мое выходное платье. И дальше чем на четверть метра от меня не отдаляется. Ответственное задание выполняет…

Боб, войдя, тотчас примечает меня. Бросается навстречу.

Мы расцеловались и обнялись. С помощью Федоренко милый треп ведем. Пятнистый М.В. истуканом стоит. Возле нас. Прислушивается. Сопит. Волнуется. Шампанское разбрызгивает. Кеннеди все на него косится — это что еще за немой экспонат? Взаправду «подружиться» захочешь — спугнет старательный М.В. не только сенатора от штата Нью-Йорк, но и последнего гостиничного швейцара…

Боб договаривается заехать завтра в «Губернатор Клинтон» после репетиции, чтобы показать мне Нью-Йорк. К часу дня. Потом Боб держит речь. Или тост? За искусство. За дружбу народов. За посланцев России. За Майю Плисецкую, которая лучше дипломатов может…

Сдвигаем бокалы. Тут-то и заливает платье мое Лубянский сводник.

К часу дня я, как со мной водится, опоздала. Минут на двадцать пять, а то и тридцать. Но Роберт Кеннеди исправно ждал. Он приехал с шофером, и тот припарковался возле самой входной двери в отель. Заметив мое торопливое приближение, Боб вышел из машины с букетом белых тюльпанов.

В стеклянных дверях «Клинтона» мелькает сосредоточенное лицо М.В. Идет, кажись, дело на лад — выражает удовлетворение лицо щелями глаз.

Из приветственных слов Кеннеди разбираю слово «lunch». Наверное, спрашивает, успела ли я перекусить. Вот кстати! На

благотворительный юроковский обед в гостинице я сегодня не попадаю. А есть после класса и репетиции хочется нестерпимо…

— Lunch, lunch, — соглашаюсь.

Садимся в машину. М.В. по пояс высовывается из отельной двери. Поехали?..

Катим в ресторан.

После вкусного обильного завтрака идем пешком по Нью-Йорку. Вдвоем. Прохожие узнают своего сенатора. Останавливаемся у витрин «Тиффани». Боб, держа меня за руку, входит в магазин. Оглядываем внушительную залу. У отдела часов Боб замедляет ход. После реплик с продавщицей покупает мне будильник в кожаном футляре. Будильник без батареек, на старомодном заводе. Понимаю, что это молчаливый укор за мое опоздание. Разговор не клеится. Без переводчика мы ни о чем не договоримся.

Возвращаемся к машине и совершаем тур по городу.

Тюльпаны завяли…

В довершение застреваем в нью-йоркской пробке. Трафик. Начинаю нервничать — могу опоздать на вечерний спектакль. Кажется, и Боб стал тяготиться моим обществом. В салоне машины разливается скука… И все же мы встречаемся еще несколько раз.

Жаклин Кеннеди закатывает позднее суаре в мою честь. В строгом черном платье, очерчивающем, словно траурной каймой, ее драматический облик, Жаклин приветствует гостей. Я с пристрастием всматриваюсь в ее потускневшее, но чудесное веласкесовское лицо. И думаю — это еще вопрос, кто из нас больше Анна Аркадьевна Каренина…

Интересно пообщаться с Баланчиным. Он приходит на суаре с Люсей Давыдовой, его душеприказчицей и восторженной почитательницей. В тоне обихода аристократических интонаций первой русской эмиграции Люся величает Баланчина «боженькой». Тот без ропота отзывается на Люсин неземной клич…

Майя, кто ваш педагог? — спрашивает Баланчин неожиданно.

В этой поездке?

Нет, кто всегда. Кто за вами следит?..

Я заминаюсь. КГБ за мной следит. Михаил Владимирович доставил меня из театра до дверей дома Жаклин. Сам — без приглашения — войти не решился: вдова Президента. Хотя страсть как хотелось. А может, стоит еще, топчется. Кто знает…

Одного педагога не назову. Училась у Гердт. В класс хожу к Асафу Мессереру. Репетирую с Ильющенко, Семеновой. А по правде — сам себе я голова…

Сама голова — это недурно. Но хороший педагог, не сердитесь, Майя, вам нужен.

Свой вопрос задает и Люся Давыдова: успела ли я посмотреть боженькиного, Дон Кихота*?? Отвечаю, что не успела. А наши ходили…

Ну и как, что говорили?

,г ч — Говорили, что не понравилось, — выпаливаю в простодушии.

Люся Давыдова морщится. Утюжит губы. Насупливается.

Ах, я забыла. Советский вкус. Но вы-то, вы-то, Майя, обязательно посмотрите. Это вечный шедевр…

Одними из последних приходят Боб Кеннеди с Этель. В этот вечер мой английский язык — Люся Давыдова. Она переводит наш разговор.

В дневнике у меня записано, что говорили о Вьетнаме. Это была тогда самая больная тема. Боб спросил, что об этом я думаю издалека, из России. Я ответила, что мне очень жаль американских парней, гибнущих в рисовых полях и болотах.

А мне жаль и парней вьетнамских. Если я стану баллотироваться в президенты и меня предпочтут, то первым делом прекращу эту дьявольскую бойню. Стоит мне в 1968-м выставить свою кандидатуру?..

Я отвечаю — это цитата из дневника: «Why not?..»

Мой английский дает внезапную вспышку…

После суаре у Жаклин Боб и Этель подвозят меня к «Клинтону». Мы несколько минут прощаемся у освещенного подъезда. Замечаю, что невдалеке, стараясь не покидать тени, прогуливается, ссутулившись, Михаил Владимирович. Я даже успеваю углядеть, что он невесел. Сердится на недогадливую Этель — ну к чему она здесь…

Назавтра я пожалую к Роберту и Этель домой.

Дом полнится детьми. Звуками. Гомоном. Один из наследников простужен и надсадно, с оглушительным треском кашляет. Боб берет его на руки. Девочка теребит Этель — неотложная просьба. Двое старших отправляются кататься на пони. Идет обычная американская жизнь…

Я осматриваю нью-йоркскую обитель Кеннеди. Внимание приковывает фотография двух братьев — Президента и Роберта. Оба сидят в позе роденовского мыслителя, анфас друг к другу, профилем к зрителю. Головы склонены. Руки крестами сложены на коленях. Лица понуры. Невеселость подчеркнута светом — он притемнен и рассеян.

Хорошая фотография, — говорю я. — Только очень печальная. Словно Джон предчувствует, какая судьба ему

уготована. Но вы, Боб?..

А кто предскажет судьбу мою?..

С английским помогает сегодня Семен Семенов. Семенник, как все его звали. Веселый, картавый, беглый человечек, бывший танцор русского балета Монте-Карло. Теперь он служит в конторе Юрока. По балетной части.

— Я дарю вам эту фотографию. Возьмете?.. — Боб снимает со стены окантованное темным деревом пророческое фото-Боб Кеннеди еще несколько раз приходит в театр. Урывками посещает мои выступления. Прижимистый Юрок ворчит:

— Сенаторы должны покупать в кассе билеты. Зачем «протекать» без платы через служебную дверь? Эта дверь для моих артистов. Что торчать, как мальчишка, за кулисами? Отвлекать балерину от работы…

Так и пробежали мои нью-йоркские деньки… Что же это было?

Задумываюсь из сегодня. Флирт — не флирт. Игра — не игра. Зов — не зов…

Но тяга — была. Интерес — был. Любопытство — было. Новизна — была. Непривычность — была… Чудесное совпадение нашего появления на Земле — было. Изумление тому — было…

Я слышала салонные разговоры о близости Боба Кеннеди с Мэрилин Монро, что был он изрядный донжуан. Что правда? Что навет? Что просто зависть к неординарным, талантливым, броским людям? Что желание задеть, выпачкать?.. Не знаю… Но со мною — знаю. Со мною Роберт Кеннеди был романтичен, возвышен, благороден и совершенно чист. Никаких притязаний, никакой фривольности…

И я ему оснований на то ни разу не дала. Огорчу аудиторию, как Валентина Кошуба в мадридской передаче… «Не было такого»…

И еще — тень Михаила Владимировича, ступавшая за мной по пятам. Смутный осадок на душе, тревожное нытье под ложечкой. Словно я вовлечена в нечистоплотный заговор. Будто я подсадная утка. От одного этого станешь холодна, как Ледяная дева…

В 1968 году свидеться нам с Робертом Кеннеди было уже не суждено.

Тур Большого балета начался в тот год в конце мая. Начался вновь с Нью-Йорка.

Разместились теперь мы не в «Губернаторе Клинтоне», а в отеле «Эмпайр» на Линкольн-сквер. Совсем вблизи от нового «Метрополитен». Теперь прямо сквозь окно своего номера я любовалась шагаловскими панно и все искала неоспоримого

сходства с изображенными художником рыжими балеринами (для этой цели я даже номер в отеле сменила)…

В первый же вечер Роберт Кеннеди позвонил мне в гостиницу, и я разобрала, что он принял решение баллотироваться в президенты Америки и должен объездить многие штаты. Впрочем, тем пестрели все газеты, в том числе московские. В Нью-Йорке Боб будет в начале июня, и 11-го мы вместе отужинаем. Не занимайте вечер!..

Весть, что Роберт Кеннеди — кандидат в президенты, «до основанья и затем» переполошила интрижное ведомство незабвенного Михаила Владимировича. Началась окаянная возня еще в Москве: надо Майе Плисецкой везти кандидату к приличествующему великому моменту подарки. Поразить будущего президента российскою широтою. «Продолжить, углубить контакты, дружбу»…

Опять возник самовар (мало фантазии у советских шпионов). И — икра. Мно-о-о-го икры… Нынешний самовар был гигантских размеров — величиною с рослого тренированного юношу. Только потяжелее на вес. Старинный, пузатый, светло-медного цвета, с узорчатым краником. Мне его украдчиво показали в мастерских Большого, где я мерила балетные туфли, и мягко предупредили, что он будет отправлен на мое имя. Я рассвирепела:

— К черту ваши самовары! Отправляйте под директорским именем. Меня не касайте…

Занимались теперь самоварными делами люди из советского представительства в ООН. Эти работнички были совсем Другого класса, нежели незабвенный немой истукан М.В. Между сенатором и кандидатом в президенты есть некоторая разница.

Но не сгодился самовар. Зря через океан его волокли. Где он теперь? Куда запропастился? Икру-то, ясно, работнички сами съели… Мно-о-о-го икры…

…Пятого июня в Лос-Анджелесе в Роберта Кеннеди стреляли.

…Шестого он умер…

У меня на шестое июня назначен на вечер концерт. В новом «Мете». Должна танцевать «Спящую». Па-де-де. Но разрывается сердце. Надо что-то сделать. Закричать!.. Свою боль людям выплеснуть…

Перед началом концерта на сцену выходит представитель администрации «Мета». Он говорит:

— В знак траура, в память Роберта Кеннеди, вне программы Майя Плисецкая исполнит «Умирающего лебедя» на музыку Сен-Санса. Хореография Михаила Фокина…

Медленно открывается занавес. Зал встает. Тихо встает. Но я со сцены слышу, что он встал. Все встали.

Леденящая тишина. Четыре вступительных арпеджио арфы. Солирующая виолончель начинает петь мелодию. Я погружаюсь в танец. Луч прожектора выбирает из темноты мои руки, предплечья, шею…

Люди замерли. Никто не шелохнется. Приглушенные рыдания вслаиваются в музыку. С разных сторон. Как слезные ручейки…

Танец закончен. Луч долго держит мою последнюю смертную позу. Истаивает…

Аплодисментов нет. Горестная тишь. Люди стоят безмолвно. Занавес медленно-медленно затворяет темноту сцены…

«Тишина, ты — лучшее из всего, что слышал», — говорил Борис Пастернак. И самое страшное, думала в тот вечер я…

И вот опять июнь.

Теперь — июнь 1992 года. Двадцать четыре года позади.

Я — в Вашингтоне. Как жена. Как миссис Родион Щедрин. Завтра в Кеннеди-центре премьера нового фортепианного концерта Родиона, который — вы помните? — он писал в Нерхе, на юге Испании. Солирует Николай Петров. Дирижирует Слава Ростропович. Теперь в столице Америки замечательный театр, замечательный концертный зал. Кеннеди-центр!..

Все на репетиции. Я беру такси и говорю шоферу:

— Арлингтонское кладбище, please.

В руках у меня огромный букет белых лилий. Медленно иду по ухоженной дорожке вдоль бесчисленных белых близнецов-обелисков. Знойный солнечный день. Горстки японских туристов с фотоаппаратами.

Тропа устремляется чуть-чуть ввысь по склону широкого холма. Останавливаю шаг. Могила Джона Кеннеди. Вечный огонь почти не виден на слепящем солнечном свету. Лишь мерное дрожание горячего воздуха. На черной могильной плите имя убитого Президента и маленький выщербленный черный крест.

Я роняю одну лилию из своих рук. Она ложится на каменные плиты, поросшие травой, возле цепей, обрамляющих могилу.

Царство небесное, Джон!..

На близком отдалении могила Роберта. Я вижу ее впервые. На малой мраморной плите золотом по белому выгравировано — «Роберт Фрэнсис Кеннеди» и ниже — «1925–1968». Я не знала, что второе имя Боба — Фрэнсис.

В двух метрах от гробовой доски скупой белый крест. Резкая тень от него падает на мрамор, как острая карандашная линия, перечеркивая имя Роберт точно посередине. На имени Фрэнсис — одинокая белая живая гвоздика. От какой-то человеческой души или так положено по этикету?.. Газон тщательно выстрижен, но

след от стригшего траву трактора заметен, как шрам на лице.

Я сильным броском кидаю цветы. Они белым снегом покрывают гробовую доску и землю вокруг.

Царство небесное, Боб!..

Глава 39
КАК РОЖДАЛСЯ «КАРМЕН-БАЛЕТ»

танцевала я все старый репертуар.

Опять «Лебединое озеро», опять «Дон Кихот», опять «Спящая красавица»… Снова — «Лебединое озеро», снова «Дон Кихот», снова «Спящая»… Вновь — «Лебединое озеро», вновь…

Что ж, так и до конца моих балетных дней? Только «Лебединое»?.. Исподволь стала терзать тревога. Неудовлетворенность. Надо что-то новое, свое сделать. Обязательно новое. Обязательно свое.

За что и с кем взяться? И где?..

Танцевать Кармен мне хотелось всегда. Ну не с самого раннего детства, разумеется, но так давно, что первый импульс и припомнить не могу. Разве что выдумать?.. Мысль о своей Кармен жила во мне постоянно — то тлела где-то в глубине, то повелительно рвалась наружу. С кем бы ни заговаривала о своих мечтах — образ Кармен являлся первым…

Начала с либретто. Набросала по Мериме и бизевской опере наивным пунктиром контуры действия: Кармен, Хосе, цветок, любовь, тореадор, ревность, карты, нож, смерть… Совсем наивно…

Решила увлечь своей затеей — чем черт не шутит! — Шостаковича. Переписав от руки набело свое либретто, отдала манускрипт Дмитрию Дмитриевичу. Он, как мне показалось, неподдельно заинтересовался.

— Знаете, Майя Михайловна, очень хорошая, так сказать, тема для балета. И вы складно все, так сказать, сделали. Буду думать…

Шостакович снаружи был человек мягкий, застенчивый, отказываться — стеснялся. Но внутри у него был могучий стержень, тверже алмаза. Что решил сделать — сделает, что нет — не заставишь.

Через несколько дней Д.Д. позвонил и с запинками, многократными «так сказать», попросил приехать нас с Родионом к нему на дачу, в Жуковку.

— Хочу поговорить о вашем либретто к «Кармен». Мы отправились.

Лето 1964 года провели мы вместе с Шостаковичами, с Дмитрием Дмитриевичем и его женой Ириной Антоновной. В горах Армении, недалеко от озера Севан. Места там замечательные. Величественные, совсем библейские.

Мы и раньше были в добрых отношениях. Родион боготворил великого композитора, а отец Родиона, Константин Михайлович, даже работал короткое время в Куйбышеве секретарем Шостаковича. Шостакович много и верно помогал их семейству. Вызволял мать Родиона со сталинского трудового фронта, восстанавливал ее же после увольнения на работе, даже умудрился обеспечить квартирой дядю Родиона, Виктора Михайловича, в Туле… Проведенное вместе лето сблизило нас еще более. Потому и рискнула я обратиться со своей идеей-фикс прямо к Шостаковичу.

Дача Шостаковича в Жуковке располагалась почти напротив дачи академика Сахарова. По кустам и канавам любили прогуливаться некие мужчины среднеарифметического вида. Все посматривали — кто приехал, кто уехал. А когда позже на даче Славы Ростроповича — и она была по соседству — поселился отверженный Солженицын, то такими «любителями свежего воздуха» закишели все окрестности…

Писать музыку к «Кармен» Шостакович мягко, но непреклонно отказался. Главный его довод был (так записано в моем дневнике) — «Боюсь Бизе», — с полушутливой интонацией…

— Все так свыклись с музыкой оперы, что ни напиши — разочаруешь. Опера непревзойденная. Может быть, Родион Константинович что-нибудь особенное, так сказать, придумает?.. — Д.Д. предпочитал величать нас по имени-отчеству.

…1964 год запомнился мне еще одним событием. Я получила Ленинскую премию. Это была высшая награда для художника в советской стране. Решение принималось тогда тайным голосованием членов премиального комитета (в него входили писатели, архитекторы, музыканты…). Соискателю надлежало набрать более двух третей тайных голосов. Потом результаты голосования утверждались главой государства. Лауреаты торжественно объявлялись всей стране в день рождения Ленина, в апреле. Такой порядок был заведен Хрущевым в годы послесталинской «оттепели». А для самого Хрущева 1964 год стал годом насильственного устранения его от руля власти…

Две трети набрали лишь трое соискателей — Слава Ростропович, актер Николай Черкасов (Иван Грозный, Александр Невский) и я. Был выдвинут за «Ивана Денисовича» в тот год и Солженицын. Чувствуя, что художественные симпатии большинства членов комитета негласно на стороне писателя-бунтаря, официальная партийная газета «Правда» опубликовала в день голосования зубодробительную статью, обвинившую

Солженицына во всех смертных грехах, в первую очередь политических. Кандидатура писателя была снята…

Все пошло наперекосяк. Хрущев отказался утвердить тайное решение членов комитета, сетуя, что все трое прошедших — исполнители, а не творцы Было назначено повторное голосование. Поэт, редактор «Нового мира», Твардовский голосовать вторично шумно отказался. Неужели не стыдно будет, говорил он, носить выпрошенную у власти по неправде медальку?.. Несколько наиболее смелых его поддержали. Однако, с грехом пополам, в лауреаты прошли еще трое «творящих» — писатель, художник, журналист.

Из сегодняшних дней можно усмехнуться: Майя Плисецкая — лауреат премии Ленина. Как такое возможно!.. Но, получив этот высший знак советского отличия, я была в те дни горда и счастлива. Лицемерить не буду. Меня предпочли тайно, не обратив внимания на ворох подметных писем, отправленных моими «доброжелателями» в адрес президиума комитета. До меня Ленинскую премию в балетном искусстве получили лишь двое: Уланова и Вахтанг Чабукиани. Я стала третьей в этом ряду. У музыкантов это звание, вспомню, уже носили Прокофьев, Шостакович, Хачатурян, Ойстрах, Рихтер, Гилельс. А ныне в один год со мной — Мстислав Ростропович.

Сейчас вся мишура прежних советских регалий покоится на свалке смены времен. Но человек всегда живет настоящим. Только настоящим.

(Сталинской премии я не сподобилась. За «Хованщину» однажды попала в список претендентов — Голованов настоял. Но идейное неблагополучие моего семейства тотчас свело на нет его затею.)

Вновь вернусь к «Кармен». После отказа Шостаковича я стала подступаться к Хачатуряну. Наши дачи располагались по соседству — в подмосковном поселке Снегири. Дачники, как и положено российским дачникам, совершали моционы, и на прогулках я толковала Араму Ильичу о своей затее. Но дальше разговоров дело не ушло…

И вот новое действующее лицо. В конце 1966 года в Москву приехал на гастроли кубинский национальный балет. Моя мать, неутомимая московская театралка, побывала на их представлениях и увлеченно стала зазывать меня «посмотреть на кубинцев». Дело было зимнее. Спектакли шли в Лужниках. Снег, темень, гололед. Лень-матушка. Но я все ж выбралась. Шел балет, поставленный Альберто Алонсо. С первого же движения танцоров меня словно ужалила змея. До перерыва я досиживала на раскаленном стуле. Это язык Кармен. Это ее пластика. Ее мир.

В антракте я бросилась за кулисы.

Альберто, вы хотите поставить «Кармен»? Для меня?

Это моя мечта-Диалог — без «здравствуйте», без представлений. Сразу. В лоб. Как гром в ясный день.

Альберто предстояло днями вернуться на Кубу и, если к сроку придет официальное приглашение советского министерства, вновь прилететь в Москву…

С готовым либретто, — пообещал он.

В девять утра следующего дня я уже сидела в приемной у Фурцевой. Ее секретарь Любовь Пантелеймоновна (Любовь Потелефоновна, как ее прозвали посетители) поморщилась:

— Что же вы, Майя Михайловна, без звонка. Екатерина Алексеевна…

Но, на мое везение, Министр появилась на пороге своего кабинета и приветливо поинтересовалась:

— Это вы ко мне в такую рань? Вместо балетного класса?..

— Екатерина Алексеевна, мне позарез нужно вас видеть. Это так важно…

Сбиваясь, не очень-то внятно я стала просить Фурцеву пригласить Альберто Алонсо на постановку «Кармен» в Большом театре.

Иностранных балетмейстеров в императорском театре не жаловали. Точнее, на пушечный выстрел не подпускали. Заразят, поди, девственный Большой балет разными тлетворными западными влияниями. Развратят. Загубят. Но то был кубинец, народный демократ, чья труппа успешно укрепляла дружбу народов стран социалистического лагеря…

Вы говорите, одноактный балет? На сорок минут? Это будет маленький «Дон Кихот»? Верно? В том же роде? Праздник танца? Испанские мотивы? Я посоветуюсь с товарищами. Думаю, это не может встретить серьезных возражений. Хорошо укрепит советско-кубинскую дружбу…

Фурцева согласилась на «Кармен» так легко — после моей недавней Ленинской премии. Премия хорошо подкрепила мое положение. Год-два-три я могла стричь купоны. Отказать премированной прима-балерине в небольшом балете вне театрального плана было бы кляксой. Министры умели держать нос по ветру! Репутация моя, как классической танцовщицы, была безупречна — никаких подвохов со стороны танца-модерн предполагать было нельзя. Да, наконец братание с бородатым Фиделем достигло экстатической эйфории…

Свершилось. Альберто прилетел в трескучий морозный день в Москву. С месячной визой. В юности он танцевал в русском балете Монте-Карло и помнил кое-какие русские слова.

— Один месяц. Виза. Мало — балетам…

Альберто с тропическим легкомыслием отнесся к русской зиме и прилетел без шапки, почитая, что его роскошная испанская шевелюра укроет от всяческого мороза. Не тут-то было. В первый же день горячий Альберто так застудил голову, что его пришлось не только снабдить шапкой-ушанкой, но и везти к врачу, который с перепугу определил у застуженного хореографа Кубинской республики ни мало ни много как воспаление мозга.

Итак, новый балет… «Кармен»… Завтра начинаем. Но на какую же музыку?..

Музыку обещал написать для меня Щедрин, никак не веруя, что Альберто Алонсо удастся так легко «транспортировать» в Москву. Обещал, чтобы успокоить, чтобы не приставала. А завтра в двенадцать, в полдень, — первая постановочная репетиция. Что будет играть пианистка?..

Я понимаю, у Щедрина композиторских дел по горло. На письменном столе ворохи партитурных страниц. Увлечен своей «Поэторией», концертом для поэта с оркестром (поэт — Вознесенский). Да еще киноработы. А в кино всегда все срочно, все требуется — «уже вчера»…

Успокаивает. Делайте на Визе. Помнишь, что сказал Шостакович?..

А какие куски оперы взять? — спрашиваю.

До глубокой ночи сидим втроем у нас, на Горького. Альберто, Родион и я. Альберто на русско-английско-испанском силится разъяснить свой замысел. Он хочет, чтобы мы прочли историю Кармен как гибельное противостояние своевольного человека — рожденного природой свободным — тоталитарной системе всеобщего раболепия, подчиненности, системе, диктующей нормы вральских взаимоотношений, извращенной, ублюдочной морали, уничижительной трусости… Жизнь Кармен — коррида, глазеющая равнодушная публика. Кармен — вызов, восстание. Ослепительная — на сером фоне!.. Слов Альберто не хватает. Начинает показывать. Танцует. Передвигает по столу тарелки, рюмки. Встает на стулья.

А зачем стулья? — вопрошаем почти по-гоголевски в два голоса…

А что такое власть, ты знаешь? Власть, неволя, тюрьма? Знаешь? Власть — всегда смерть свободе… Ты это знаешь?..

Альберто пунцовеет. Волнуется. Глаза сумасшедше сверкают. Весь балет у него уже в голове, в сердце. Текст либретто — лишь крохотный замятый листок, исписанный убористо по-испански, который он оставляет у нас, прикрыв сгоряча селедочницей…

Родион успокаивает:

— Майя придет завтра с нотами. Не волнуйся, Альберто. По Бизе. За ночь я сделаю монтаж музыки по твоему плану. С нотами придет Майя! Не волнуйся!..

На часах два часа ночи…

— С чего вы начнете?..

Начали с дуэта. Кармен и Тореро. Я и Сергей Радченко. Альберто ставит самозабвенно. Мы оба, завороженные, погружаемся в мир его хореографической фантазии. Каждое движение — как слово, фраза. Все конкретно. Все «о чем-то». Серьезно. И совершенно по-своему. Ни на что, танцованное мною до сих пор, не похожее…

Заминка. В музыке Бизе убыстрение, порыв — это часть из «Арлезианки». А Альберто надо что-то затаенное, колдовское. Он показывает нам приглушенный, настороженный, шепотком, разговор ног, глаз, предплечий. Но с музыкой не сходится. Нет совпадения. Совсем нет.

После театра за обедом жалуюсь Щедрину. Вечером придет Альберто. Дело у нас застопорилось. Родион обещает. Завтра заеду к вам в класс. Разберемся. В котором часу?..

Когда мы показываем сделанное, то в зеркало вижу — наш отрывок производит на Щедрина впечатление. Мы танцуем и что поставлено после начинающегося убыстрения у Бизе. Поставлено на тишину, на паузу. Родион берет ноты и тут же набрасывает музыкальный текст, варьируя Бизе, нашему хореографическому состоянию подходящий.

Так и началась «Кармен-сюита» Бизе-Щедрина, ставленная, игранная, исполняемая и сегодня во всех уголках планеты. На соревнованиях фигуристов, гимнастов, в синхронном плавании… Прочтенная разными хореографами, до удивления, по-своему (последняя ослепительная постановка 1992 года Матса Экка). Началась во втором репетиционном зале Большого, на пятом этаже. На лавке классного зеркала.

В тот год — 1967-й — жанр музыкальной транскрипции был начисто забыт. «Авангард» самовлюбленно «пировал на Лысой горе». И сама судьба подтолкнула Щедрина к возрождению позабытого жанра.

Репетиции споро шли.

Боря Мессерер заканчивал ажурный, красно-черно-желтый макет. Хосе репетировал Фадеечев, Коррехидора — Лавренюк, Рок учила Касаткина. Три солистки-табачницы — Кохановская, Рыженко, Домашевская. Десять мужчин — аккомпанемент. Всех вместе восемнадцать. Полторы дюжины. Второго состава у нас не было. Театр не выделил иных артистов. Заболеет кто серьезно — вся работа под откос.

Но Небо было за нас. С величайшими трудностями сумели продлить Альберто визу — ой как же это было нелегко! Мы сами платили за его гостиницу, но платить частным советским гражданам за иностранца не разрешалось. Не положено, и все тут. Но изловчились и здесь. Альберто без конца выселяли, но так и не выселили. Ура!..

Не поспевали мастерские. На оркестровые репетиции времени выделили с гулькин нос. Костюмы дошили лишь к утру премьерного дня. Приладиться к ним танцоры не успели. Основную сцену мы получили единожды: это была и световая, и монтировочная, и генеральная репетиция. Одна — на все, одна — на всех. Балет делался в суетной спешке. За день до генеральной Щедрин попросил участников подняться на верхнюю сцену, чтобы услышать звучание оркестра. Вас ждут сюрпризы! Дирижировал оркестром Большого Геннадий Рождественский, и делал это отменно.

Родион говорил мне, что пишет свою партитуру на струнные и ударные (работа над сочинением заняла всего двадцать дней — вот чудеса, — из которых четыре Щедрин провел в Венгрии на похоронах Золтана Кодаи). Я танцевала в нашей тесной кухне — прямо посереди обеда, с куском курицы во рту — каждый новый эпизод, поставленный Альберто, — за себя, за партнеров. Щедрин внимательно всматривался в мои пунктирные движения и выискивал в них некие таинственные акценты. Зачем это ему?

Только на оркестровой я получила ответ на свой вопрос. Музыка звучала так непривычно, броско, остро, выпукло, со-| временно, сочно, тревожно, красочно, обреченно, возвышенно, — что мы остолбенели. Вот это да!..

— Гениально, — прошептала мне в ухо Наташа Касаткина.

Оркестр играл с непритворным увлечением. По физиономиям музыкантов — а в верхней сцене ты сидишь почти над оркестром, вплотную, на возвышении, — было видно, что пье са пришлась им по вкусу. Смычки старательно взлетали вверх-вниз, вверх-вниз, ударники лупили в свои барабаны, звонили в колокола, ласкали невиданные мною доселе экзотические инструменты, верещали, скрипели, посвистывали. Вот это да!.. Музыка целует музыку, как скажет позже о «Кармен-сюите» августейшая Беллочка Ахмадулина.

— Надо и нам постараться, — отечески поучает Радченко Фадеечева…

На премьере мы ах как старались! Из кожи лезли. Но зал Большого был холоднее обычного. Не только министр Фурцева и ее клевреты, а и добрейшая ко мне московская публика ждали второго «Дон Кихота», милых вариаций на привычную им тему.

Бездумного развлечения. А тут все серьезно, внове, странно. Аплодировали больше из вежливости, из уважения, из любви к предыдущему. А где пируэты? Где шене? Где фуэте? Где туры по кругу? Где красавица-пачка проказливой Китри? Я чувствовала, как зал, словно тонущий флагман, погружался в недоумение…

(Из тех, кто безоговорочно принял спектакль на премьере, назову великого Шостаковича, ругателя Якобсона, Лилю Брик с В.А.Катаняном, музыковеда Ирину Страженкову. И все. Больше никого. Остальные отмалчивались, говорили о постороннем, ранняя весна ныне, цены на рынке нешуточные…)

Перед началом в директорской ложе мелькнуло беспечное, веселое лицо Фурцевой — да здравствует новый праздник дружбы советско-кубинских народов, который ее усилиями родил ведомый ею кабинет Министерства культуры. На единственной репетиции из-за сумасшедшего цейтнота из чиновников почти никто не побывал. А кто из мелких блюстителей идейного порядка бдительно протрубил свое недоумение на верха, опять же, из-за спешки, услышан не был. Может, и был, но руки у властей, по счастью, не дошли. И Ленинская премия у меня в петлице… На медаль с лысым профилем основоположника руку поднимать?..

Когда на поклоны я вышла за занавес, то, бросив короткий взгляд в директорскую ложу, вместо министра Фурцевой узрела пустое красно-золотое кресло. Веселого, беспечного лица Екатерины Алексеевны там не было.

Второй спектакль по афише был намечен через день — 22 апреля. На 22-е мы определили банкет для участников постановки, арендовав для этой цели ресторан Дома композиторов. Был внесен аванс.

Однако завертелась история. Утром 21 апреля 1967 года в телефонной трубке забаритонил голос директора Чулаки:

— Майя Михайловна, Родион Константинович, я не должен бы Вам звонить. Но завтрашний спектакль «Кармен» отменяется. Вместо тройчатки (так назывался вечер одноактных балетов, последним из которых шла «Кармен-сюита») пойдет «Щелкунчик».

— Как так? По какому праву? — задаю я в смятении вопросы

— Распоряжение мне дал Вартанян. Ослушаться не могу. На меня не ссылайтесь. Но попытайтесь поговорить с Фурцевой. Вдруг уломаете. Удачи…

Вартаняном назывался маленький сутулый армянский человек, ведавший всеми музыкальными учреждениями советской страны. Выше него в министерстве культуры были лишь замы министра да сама Фурцева.

Не попадая в рукава пальто, дошнуровывая боты в лифте,

стремглав бросаемся в Министерство культуры. Любовь Потелефоновна опрометчиво выдает государственную тайну — реакция на «Кармен-сюиту» обошла ее пока стороною, — министр в Кремлевском Дворце съездов на прогоне «ленинского концерта» (каждый день рождения Ленина отмечался нуднейшим, длиннющим докладом и — после перерыва — «концертом мастеров искусств»).

Ослепшие с яркого дневного света, ощупью входим в притемненный зрительный зал. Министр со свитой заняты важным государственным делом — добрый час рассуждают, куда выгоднее определить хор старых большевиков с революционной песней: в начало или конец концерта. Мы тихо присаживаемся за склоненными к мудрому Министру спинами. Диспут закончен. Петь старым большевикам в конце, перед ликующим апофеозом. В зале зажигается свет. Улучив момент, вступаем с і Фурцевой в разговор. Все доводы идут в ход. Но Министр непреклонен:

— Это большая неудача, товарищи. Спектакль сырой. Сплошная эротика. Музыка оперы изуродована. Надо пересмотреть концепцию. У меня большие сомнения, можно ли балет доработать. Это чуждый нам путь…

Оставляю в стороне тягостный диалог. Мы говорили на разных языках.

Фурцева заторопилась к выходу. Клевреты в ожидании.

Уже на ходу Щедрин обреченно приводит последние доводы.

— У нас, Екатерина Алексеевна, завтра уже банкет в Доме композиторов оплачен. Все участники приглашены, целиком оркестр. Наверняка теперь «Голос Америки» на весь мир советскую власть оконфузит…

— Я сокращу любовное адажио. Все шокировавшие вас поддержки мы опустим. Вырубку света дадим. Музыка адажио доиграет, — молю я Министра подле самой двери.

— А банкет отменить нельзя? — застопоривает шаг Фурцева.

— Все оповещены, Екатерина Алексеевна. Будет спектакль, не будет — соберется народ. Не рождение отпразднуем, так — поминки. Пойдет молва. Этого вы хотите?

Никогда не знаешь, что может поколебать мнение высоких чинов. Поди предположи…

— Банкет — это правда нехорошо. Но поддержки уберете? Обещаете мне? Вартанян придет к вам утром на репетицию. Потом мне доложит. Костюм поменяйте. Юбку наденьте. Прикройте, Майя, голые ляжки. Это сцена Большого театра, товарищи…

Описать всю гамму переживаний в те два злосчастных дня мне не по силам. Нервам больно. Это лишь малый контур.

И Шостакович помог. Он позвонил в министерство и высказал свои восторги на «Кармен-сюиту». Вот вам!..

…«Щелкунчика» отменили, вернули «Кармен». Второй спектакль так-таки состоялся!

Но тысяча «если бы» — не позвони, струхнув, Чулаки, не проговорись Любовь Потелефоновна, не излови мы Фурцеву в темном зале Кремлевского Дворца, не потревожься Шостакович, не… Канул бы наш балет в вечность. Аминь.

А любовное адажио и впрямь пришлось сократить. Куда деваться? На взлете струнных, на самой высокой поддержке, когда я замираю в позе алясекон, умыкая от зрителя эротический арабеск, обвивание моей ногой бедер Хосе, шпагат, поцелуй, — язык занавеса с головой грозного мессереровского быка внезапно прерывал сценическое действие, падая перед Кармен и Хосе. Нечего вам глазеть дальше!.. Только музыка доводила наше адажио до конца: Вартанян, который до начала своей политической карьеры играл в духовом оркестре на третьем кларнете и посему слыл великим знатоком музыкального театра, старательно выполнил приказ своего министра. Секс на советской сцене не пройдет…

Московская публика начала помаленьку пообвыкать к нашему детищу. От спектакля к спектаклю нарастал успех. Николай Федорович Кудрявцев — импресарио из Канады, аристократичное дитя первой эмиграции, организовывавший летний тур балета по Канаде «Экспо-67», — побывал на спектакле и порешил включить «Кармен-сюиту» в репертуар предстоящих гастролей. Такой балет на «Экспо» как раз нужен.

Как водится на Руси — правая нога не знала, что делает левая. И декорации «Кармен» поплыли через океан к канадским берегам. Но ведомство Вартаняна не дремало и забило тревогу:

— Свистать всех наверх!..

В кабинете Фурцевой было собрано совещание. Человек пятнадцать-двадцать. План Министра прост: Плисецкая публично осознает ущербность нового балета, обличит его и себя в нем и попросит не включать в загрантур незрелый опус, заменив его чем-либо классическим. Ну хотя бы своим коронным «Лебединым». Вот истинное лицо Большого! По замыслу Фурцевой, мое саморазоблачение займет четверть часа, двадцать минут от силы… Кудрявцеву было велено дожидаться высокого решения в приемной, под крылышком и присмотром Любови Потелефоновны. Входя в двери министерского кабинета, я поприветствовала моего осунувшегося бледного импресарио, нервно теребившего свою пышную крапинистую бабочку.

Совещание у министра началось с резких наскоков: мы

разрешили показать весьма спорный балет, но это не означает, что экспериментальный спектакль следует показывать зрителю зарубежному. И опять про лицо Большого…

Понимаете ли Вы, Майя Михайловна, что Вам самой следует отказаться от показа и самой объяснить мотивы его господину Кудрявцеву, — припирает меня к стенке В.И.Попов, фурцевский зам по иностранным контактам.

Без «Кармен» я в Канаду не поеду. Мое «Лебединое» там уже трижды видели. Хочу новое показать, — отвечаю.

Сам-то я балет не видел, — подличает Попов, — но все в один голос говорят, что не получился спектакль, вы оступились…

А вы выберитесь, Владимир Иванович, что судить понаслышке.

Фурцева срывается:

— Спектакль жить все равно не будет. Ваша «Кармен-сюита» умрет.

— «Кармен» умрет тогда, когда умру я, — режу в ответ. Тишина. Все задерживают дыхание.

— Куда, спрашиваю, пойдет наш балет, если такие формалистические спектакли Большой начнет делать? — распаляется Фурцева.

Я уже тоже заведена. Остановиться не могу:

— Никуда не пойдет. Как плесневел, так и будет плесневеть.

Лицо Фурцевой покрывается пятнами. Она свирепо оборачивается к застывшему, как восковая фигура, Чулаки.

— Как вы можете молчать, товарищ Чулаки, когда вам такое говорят? Отвечайте! Пока вы еще директор…

Это угроза. Чулаки — массивный, с крупной облысевшей бычьей головой человек, прошедший еще в сталинские времена огонь, воду и медные трубы. Тертый калач. Его взбалмошным бабским криком не напугаешь. Через толстые роговые очки он близоруко, сумрачно смотрит на своего министра.

— Для того чтобы молчать, я принял две таблетки…

Пухлыми пальцами Чулаки шевелит лекарственную обертку.

— Куда вы смотрели раньше, товарищ Чулаки? Почему не сигнализировали? Вам что, нравится этот безобразный балет? — цепляется к Михаилу Ивановичу Фурцева.

— Там не все плохо, Екатерина Алексеевна. Сцена гадания сделана интересно…

— Ах, вот как… Вы соучастник…

Тут произносит наш культурный Министр свою историческую фразу:

— Вы, — молния в три лица: мое, Родиона и Чулаки, — сделали из героини испанского народа женщину легкого

поведения…

Это уж слишком. Это уже в мою пользу. Гол Фурцевой в свои ворота. Присутствующие потупляют взоры. Читал, вижу, кое-кто Мериме, читал.

Но помалкивают.

— «Кармен» в Канаду не поедет. Скажите об этом антрепренеру Кудрявцеву, — командует Фурцева.

Попов приподнимается…

— Скажите, Владимир Иванович, Кудрявцеву, что в Канаду не еду и я, — перечу в ответ.

— Это ультиматум?..

— Да.

— Вы поедете в Канаду, но без «Кармен».

— Что я скажу там, почему не танцую объявленный новый балет?

— Вы скажете, что «Кармен» еще не готова.

— Нет, я не скажу этого. Я скажу правду. Что вы запретили спектакль. Вам лучше не посылать меня…

— Майя Михайловна права, — раздельно говорит Щедрин. Фурцеву передергивает током. Она переходит на крик.

— Майя — несознательный элемент, но вы… вы — член партии!..

Мертвая тишина. Долгая тишина.

— Я беспартийный, — еще раздельнее говорит Родион. Фурцева плюхается в кресло…

— Если «Кармен» запретят, — подливаю в огонь масла, — я уйду из театра. Что мне терять? Я танцую уже двадцать пять лет. Может, и хватит? Но людям я объясню причину…

— Вы — предательница классического балета, — почти визжит Фурцева.

Я молчу. Что на это ответить?..

Все музыканты негодуют. Вчера уважаемый композитор Власов за голову хватался. Наш Вартанян в отчаянии.

Вартанян так терзал меня с пуританскими советами. Сейчас отомщу:

— Бездарности Вартаняну не нравится, а гений Шостакович в восторге. Что с этим делать, Екатерина Алексеевна?..

Фурцева морщится, но кидать камень в легендарное имя не смеет…

В Канаду «Кармен-сюита» не попала. Только декорации проплавали туда-обратно. Океанским соленым воздухом подышали. Шесть лет была я невыездной, теперь спектакль сделала — невыездной спектакль.

Я тоже в Канаду не поехала, как ни запугивали. Но из театра

не ушла, лишь погрозилась. Все лето у меня пропало. Я надолго и серьезно заболела. Нервный стресс. Исчез голос. Хорошо еще, что не певица. До начала сезона мы прожили с Щедриным на даче в Снегирях. Затворниками. Видеть людей не хотелось.

Бедный Николай Федорович Кудрявцев, прождавший в приемной Министра в тот день вместо двадцати минут добрых три часа (Любовь Потелефоновна чаем его запоила), заплатил крупную неустойку, что здорово пошатнуло его финансовые дела.

И в Москве из-за отсутствия декораций спектакль долго не шел. Да еще год юбилейный, пропади он пропадом, подвернулся. 1917–1967. 50 лет Великого Октября. Театрам надлежало советскому зрителю лишь нетленные идейные шедевры социалистического реализма показывать.

Когда канонада всенародного ликования отгремела, «Кармен-сюита» стала мало-помалу обосновываться в московском репертуаре Большого. Спектакль мобильный. Участников немного. Декорация не меняется. Оркестр — лишь струнные и пять ударников. Подобревшая к «Кармен» публика валом валит. Всем хорошо. Мне лучше всех.

Я до головокружения любила этот балет!..

И… счастливый эпилог. Happy end.

На один из спектаклей 1968 года пришел Косыгин. После конца он вежливо похлопал из правительственной ложи и… удалился. Как он принял «Кармен» — неведомо.

Через день Родион волею судеб сталкивается на приеме с Фурцевой.

— Я слышала, что «Кармен» посетил Алексей Николаевич Косыгин. Верно? Как он отреагировал?.. — не без боязни любопытствует Фурцева.

Щедрин спонтанно блефует.

— Замечательно реагировал. Алексей Николаевич позвонил нам после балета домой и очень похвалил всех. Ему понравилось…

Лицо Фурцевой озаряет блаженная улыбка.

— Вот видите, вот видите. Не зря мы настаивали на доработке. Мне докладывали — многое поменялось к лучшему. Надо трудиться дальше.

В следующем году гастроли в Лондоне. Английский импресарио интересуется у В.И.Попова, нельзя ли показать англичанам «Кармен-сюиту». И вдруг Попов, глазом не моргнув, приветливо отвечает:

— Пожалуйста. Если балет вам нравится… Мы возражать не будем. Спектакль дозрел. Плисецкая выросла. Это будет хорошая краска в репертуаре…

В английской дали от черных очей Вартаняна мы так осмелели, что восстановили финал любовного адажио. А через тройку лет исполнили его в Москве. Сошло, представляете? Наверное, и ход времени помог…

Хочу защитить Фурцеву. Не дивитесь. Она говорила то, что обязан был говорить каждый советский босс в стенах кабинета Министра культуры СССР. Скажи он, она другое — вылетят пулей. Идеология! Система взаимозависимости!

Но Фурцева и… помогла мне. Распорядилась в театре, пригласила Алонсо, похлопотала с визой, сняла запрет со второго спектакля, не заупрямствовала, решив тем судьбу рождения произведения, не удержала камня за пазухой после нашей небывалой для уклада советской жизни стычки в министерстве, с удовольствием поверила в немудреную ложь…

Я станцевала «Кармен-сюиту» около трехсот пятидесяти раз. В одном Большом — 132. Станцевала по всему миру. Последняя «Кармен» была на Тайване с испанской труппой в 1990 году. И может быть, это была лучшая «Кармен» в моей жизни. Поверьте!..

Меня хвалила пресса, меня ругала пресса. Но публика принимала спектакль с восторгом, упоением, радостью. Это ли не высшая награда за мое упрямство, веру, фанатизм, убежденность?..

Третьего сентября 1967 года сбор труппы Большого. Чуть позже обычного из-за «Экспо-67» в Канаде. Я начинаю свой двадцать пятый сезон… Двадцать пятый!..

Когда вхожу в класс, артисты устраивают мне овацию. В первый миг решаю — прознали о круглой цифре. Нет, что-то иное. Слишком долго, слишком горячо, слишком подчеркнуто. Неужто за мой отказ поехать в Канаду без «Кармен-сюиты»?..

Сергей Радченко наклоняется к моему уху:

— Это тебе за гражданское мужество хлопают. Поняла?..

Горло мое перехватывает спазм.

Глава 40
РАБОТА С РОЛАНОМ ПЕТИ И БЕЖАРОМ

Когда по советскому телевидению показали, как президент Франции Франсуа Миттеран вручил мне орден Почетного легиона, сказав при этом изящную, истинно французскую речь в мою честь, некий неизвестный мне шумноголосый высокий советский чиновник на Новом году в Кремле прокомментировал:

— Я думал, Майя Михайловна, что орден Почетного легиона дают только участникам движения Сопротивления. Вдруг Вам дали…

— А я всю жизнь и сопротивляюсь, — чистосердечно рассмеялась я в ответ.

Сопротивляйся не сопротивляйся, но мечтать о работе с западными хореографами я не смела. Видела фильмы с постановками Лифаря, Ролана Пети, Джерома Роббинса, Бежара, пьянела от новизны идей, лексики, форм, но мечтать ни-ни… не смела. Так далека была наша стреноженная, рабская жизнь от раскованных выдумщиков, ниспровергателей, смельчаков.

В очередной приезд в Париж, ненароком встретившись в магазине Репетто с Роланом Пети (его держала мать Ролана), я нежданно услышала:

— Мы должны поработать вместе. У меня для Вас, Майя, есть великая идея — сделать Вашу роль на одних пор-де-бра…

И, задевая прилавок, сваливая на пол отобранное мною у мадам Репетто трико, Ролан бурно начал свой странный танец: руки вязали узоры, петли, узлы, кисти переговаривались между собой, конфликтовали.

— А что делают ноги? — вопрошаю.

— Еще не знаю. Вы долго на сей раз в Париже?

— Только несколько дней.

— Я позову вас в Марсель.

Познакомилась я с Роланом Пети в свой второй парижский сезон. Ролан и Зизи Жанмер дружили с Арагонами, и именно Арагон навел Пети на мысль танцевать стихотворения Блейка. Он, как судили знатоки, упоительно перевел Блейка на французский. Отсюда, от Арагона, началась моя «Гибель розы».

Но в Марсель театр меня не пустил — дома было много спектаклей. И Ролан, наметив мне в партнеры своего танцора Руди Брианса, прилетел с ним в Москву «на смотрины». Подойдет

ли он мне, не мал ли ростом?

С первого мига Руди показался коротышкой. Пиджачок на нем кургузый, по тогдашней моде, скрывающий рост. Но, переодевшись в балетное, Бриане преобразился. Вытянулся, пост рой нел. Мы попробовали несколько поддержек. Руки француза были сильные, умные. Я люблю это выражение о руках своих партнеров: умные руки. С глупыми руками не потанцуешь. Обязательно завалят, передержат, поторопятся. Ну что ж, попробуем.

Назавтра в 12 репетиция. Ролан для историчности момента разоделся в белое с головы до ног. Заблагоухал духами. В Москву он явился — стояла прохладная осень, — вырядившись в меховую длиннополую шубу из енота. Такого французского месье москвичи отродясь не видали. С войны 1812 года!.. К тому же, готовясь к своему «Маяковскому», Ролан обрился наголо — те же Эльза с Арагоном, попутавшие его в эту затею, снабдили хореографа знаменитыми фотографиями Родченко бритоголового русского поэта. Ролан погрузился в образ…

По театру тотчас пронесся слух, что Пети приехал репетировать со мною, но вид его был такой диковинный, что театральные зеваки то и дело просовывали свои длинные носы в двери репетиционных залов. Когда такое еще увидишь…

Ролан поставил наш дуэт на едином дыхании. За несколь ко дней. Он приготовил его с Брианcом вчерне в Марселе, с моей дублершей. Хореография была сделана ладно, мы поменяли лишь несколько не подошедших моему телу поддержек. Музыка для «Гибели розы» использована малеровская. Отрывки из Пятой симфонии. Знаменитое «адажиетто».

Не на шутку всполошив таможню и пограничников Шереметьева, наполнив на сутки московский аэропорт терпким запахом французских парфюмерии, Ролан в енотовой шубе вместе с Брианcом величественно покинул Москву…

Как все просто. Захотела Майя Плисецкая участвовать в новом балете Ролана Пети — извольте, на подносе, с голубой каемочкой, доставим партнера в Москву, пожалуйста… Если бы не Арагон, мой наивный читатель, обратившийся с витиеватым, не очень-то и понятным простым смертным людям письмом-прошением «дорогому комраду Брежневу», не было бы никаких роз, пети, брианcов…

В Марсель я лечу 1 января 1973 года. В первый новогодний день. На мне белая минковая мини-шубка и белый меховой берет. Я — Снегурочка. Это мой ответ Ролану на длиннополое енотовое манто. Шубка мне к лицу и молодит. Безусый солдатик в окошке паспортного контроля Шереметьева долго, настороженно сличает

цифры моего рождения с моим обликом Снегурочки.

В Марселе зимы нет и в помине. Нещадно поливает дождь. Шубка в опасности. Плохо учила я в хореографической школе географию…

За несколько дней мне надо отделать с Руди Брианом адажиетто и выучить третью прыжковую часть балета с шестью мужчинами. В первой части, которая называется «Сад любви», я не занята. Премьера — в Париже во Дворце спорта. Там меня ждут и примерки костюмов, созданных Ивом Сен-Лораном.

Ролан репетирует со мной сам. Не доверяя репетитору. Он показывает движение досконально, в полную мощь. Висит на руках Брианса. Раздирает ноги. Я работать с таким исступлением не привыкла. Ролан сердится:

— Вы со мной такая ленивая — или всегда?

— Мне главное — запомнить текст, потом я прибавлю.

— Странная русская школа, — резюмирует Ролан.

— Что ж тут странного? Я хочу танцевать до ста лет.

— А если не лениться?

— Больше сорока не протянешь…

Но своей ленью я Ролана заразила. Когда мы делали позже балет по Прусту, он несколько раз говорил мне:

— Импровизируй, просто импровизируй…

— Но в каком хоть роде?

— Как тебе подсказывает русская школа…

На последнюю марсельскую репетицию приходит мэр Марселя Гастон Деффер. Под его патронажем Ролан Пети и создал свою труппу. Ролан заходит ко мне перед началом:

— Не ленитесь сегодня, Майя, Гастон ничего не знает про обычаи русской школы..

Первый раз я прохожу «Розу» в полную ногу. Кажется, улавливаю настроение. Ролан удовлетворен.

После репетиции зычной компанией поедаем в популярном ресторане дары моря — устриц, моллюсков, морских ежей, заглатываем горячий буйабес. Ролан сидит рядышком в белоснежных лайковых перчатках. Завсегдатаи ресторана узнают его, восхищенно бросают взгляды на лайковые перчатки.

Премьера в Париже. Первым идет «Маяковский». Сцена в красных знаменах. Войтек Ловский парит в прыжках буревестника революции. Дени Ганио — юность поэта, любовь к Лиле Брик — Барбара Малиновска. Сам бритоголовый Ролан — Маяковский последних лет жизни, лейтмотив самоубийства. Сдвоенные пальцы — мнимый пистолет…

Публика не увлекается революционным сюжетом, несмотря на превосходную, изысканную хореографию. Но Ролан не

обескуражен. Громко выкрикивает своей труппе «браво» из-за кулис, шлет поцелуи негодующим свистунам в зале. Как замечательно, что творец так верит в свою правоту и непогрешимость!..

Теперь наш черед. «Гибель розы». В первой части — «Саде любви» — участвуют три возлюбленные пары: юноша и девушка, две сладострастные гитаны, два чувственных отрока. Сад любви.

Вторая часть — я с Руди Брианcом. Замечательное двенадцатиминутное па-де-де, близко следующее сюжету стихотворения Блейка. Юноша, смертно влюбленный в розу, иссушает ее своей страстью, роза вянет в его объятиях, роняет лепестки…

Я люблю этот маленький шедевр Ролана Пети. С той парижской премьеры я станцевала его добрые две сотни раз. По всем континентам. В Большом, Аргентине, Австралии, Японии, Америке. После Брианса дуэт со мной танцевали Годунов, Ковтун, Бердышев, Ефимов.

Третья часть. Я в окружении шести мужчин. Их сильные прыжковые вариации. Потом — я. Потом — вместе. Прыжковый унисон. Ив Сен-Лоран сотворил занятные костюмы. Костюмы, рисующие голое тело. Мускулы, ребра, чресла. Я одна среди них в черном хитоне с пламенем на голове.

Судил Ролан Пети и мои хореографические опусы.

— Как Вам понравилась, Ролан, моя «Анна»?

— Там все хорошо, кроме хореографии.

С ним я говорила о своей мечте станцевать княжну Тараканову. Ту самую, которой страшилась в детстве своем на Сретенке. Снабдила его книгами, увы, на русском языке, литографиями. Ролан, любопытствуя, расспрашивал меня о Петропавловской крепости, о петербургских наводнениях. Я отсылала его к пушкинскому «Медному всаднику». Перевода под рукой не оказалось. Опять повернули в статистику — как высоко подымается уровень Невы в столетие. Но дальше статистики мы не ушли. Не состоялся балет…

Общение с Морисом Бежаром я начала с письма.

Побывав летом 1974 года один день в Дубровнике — там шел большой фестиваль, — я ненароком попала на балетный вечер Душка Сифнис танцевала бежаровское «Болеро». Это было невообразимо хорошо. Я сошла с ума. Бредила. «Болеро» должно стать моим. Пускай я не первая. Я стану первой. Это мой балет. Мой!..

Вернувшись в Москву, тотчас принялась за письмо: Дорогой Морис, восхищена, заболела, хочу танцевать, не могли бы Вы поработать со мной, «Болеро» — мой балет… И прочая, в том же

роде…

Наш полиглот-приятель перевел мое возбужденное письмо на французский, раздобыл приблизительный адрес Бежара (вся Бельгия должна знать, где живет автор «Болеро»), и поч товый ящик поглотил мои стенания. Не задержит же их советская цензура?..

Ответ не пришел. Ясное дело, не добралось мое письмо до Брюсселя. Перехватили, гады почтовые…

Московская жизнь мало-помалу остужала мой порыв. Реже мне стал сниться красный стол, сонм мужчин возле него и я, танцующая в ярких лучах на этом столе.

Прошел год. Вдруг… нежданное счастье. Анд ре Томазо, представитель парижского ALAP, предлагает мне сняться в бежаровском «Болеро» в Брюсселе. Французско-бельгийская продукция для телевидения.

Так я же никогда «Болеро» не танцевала. Только мечтала.

Но Вы его видели? Вам нравится?

Я помешана на нем.

Сам Бежар берется разучить его с вами. Недели хватит? Перед съемками четыре спектакля, — вроде уговаривает меня Томазо.

Согласна, согласна, согласна, согласна…

Телевидение платит хорошие деньги. Госконцерт, если вы примете это предложение, уже дал свое добро.

В брюссельском аэропорту меня встречает чета югославов Добриевичей. Оба бывшие танцоры Бежара, оба теперь в репетиторах, оба хорошо говорят по-русски. Люба Добриевич сама танцевала «Болеро», и Бежар остановил свой выбор на ней. Она будет показывать мне балет.

Трудная партия? — спрашиваю после первых «здрасьте».

Трудная по дыханию и по памяти. Завтра начнем. За полчаса до начала Бежар хочет Вас увидеть.

Мы встречаемся с Морисом, как знакомые. Хотя вижу его я вблизи в первый раз. В меня впиваются белесо-голубые зрачки пронзительных глаз, окантованные черной каймой. Взгляд испытующ и холоден. Его надо выдержать. Не сморгну… Всматриваемся Друг в друга. Если Мефистофель существовал, то походил он на Бежара, думаю. Или Бежар на Мефистофеля?..

Люба переводит:

— Вот Ваше письмо, Майя. На хорошем французском. Но мне сказали, что Вы им не владеете…

— Значит, Вы получили мое письмо, Морис? Полагала — не дошло…

Бежар закладывает письмо обратно в книжку, которую

держит в цепких руках.

— У вас всего неделя. Настройтесь. У предшественниц были заботы с памятью. Люба, расскажите Майе название эпизодов, которые вы давали музыке — себе в помощь. Начните с этого…

…Музыкальная легенда повествует, что у Равеля, писавшего «Болеро» по заказу танцовщицы Иды Рубинштейн, не хватало времени. И потому композитор — в спешке — бесконечно повторял свою испанистую мелодию, лишь меняя на ней оркестровый наряд. Так говорят. Сама в это не верю. Но танцовщикам Равель задал задачу!..

Бежаровские эпизоды назывались, «по случаю»:

«Краб». «Солнце». «Рыба». «Б.Б.» «Венгерка». «Кошка». «Живот». «Самбо»…

Всем шестнадцати провидениям мелодии (партия моя так и обозначалась в программке — «мелодия») были определены имена.

Имя «Солнце» дали распростертые, как лучи, руки с раскрытыми пальцами, словно возносящие молитву небесному светилу…

Имя «Краб» тоже шло от рук, превращавшихся — внезапно — в клешни и впивавшихся крестообразно в собственные ребра…

«Б.Б.» означало Бриджит Бардо. Она была тогда самой знаменитой женщиной планеты, и манеры ее походки и жестикуляции переплавились Бежаром в хореографический образ.

«Живот»… Впрочем, вам уже, должно быть, наскучило…

Но что за чем идет?.. Перед каждым появлением мелодии у Равеля два такта ритмического отыгрыша. На эти два такта Бежар укрощал фейерверк своей фантазии и стократно повторял простую формулу пружинистых приседаний на плие. В этот момент самое время припомнить танцовщице, какой эпизод следует дальше — «Кошка» там или «Венгерка»?..

Приседаешь, приседаешь — и панически стараешься вспомнить, что теперь, что следующее?..

Училось «Болеро» трудно. Все движения новы для моего тела. Бежар всерьез изучал восточные танцы — индийские, таиландские, персидские, — и что-то из их лексики вошло в его хореографический словарь. Плюс дьявольская выдумка. Асимметрия. Отсутствие квадратности. Полиритмия. У Равеля на три, у Бежара — на четыре. Даже натренированные на Бежаре танцоры сбивались. А мне — после «Лебединых» и «Спящих» — каково?..

Вконец теряю сон. В глубокой ночи, при свете ночника протанцовываю весь текст, освоенный за сегодня.

Помню.

Теперь повторим все по порядку. С самого начала. Вот отбивка, вот приседание, а теперь?.. Опять забыла. Кажется, «Краб»… Или «Солнце»?..

Анжела Альбрехт, моя брюссельская «предшественница» в «Болеро», дарит мне свою шпаргалку. Заветный листок. Крохотные рисуночки, каракули. И впрямь помогает.

Но на последней репетиции с мужчинами — их, аккомпанирующих мне, тридцать — шпаргалку доброй Анжелы уносит ветром. Ищи-свищи. В голове каша. Сбиваюсь. По лицу Бежара пробегает тень.

Нет, не получится. Надо сдаваться. За неделю тысячу движений в головоломной череде не запомнить. Надо сдаваться. Альбрехт говорит, утешая, что учила «Болеро» три месяца. Эх, мне бы еще три дня! Но первое выступление завтра…

Подхожу к Бежару.

Морис, я уезжаю. Не могу запомнить. Это выше моих сил.

Вы вернетесь в Россию, не станцевав «Болеро»?

Не знаю, как с этим быть, — цежу под нос свою любимую присказку.

Люба переводит.

Я встану в проходе, в конце зала, — говорит Бежар, — в белом свитере. Меня подсветят карманным фонариком. Я буду Вам подсказывать: «Кошка». Теперь — «Желудок». А сейчас — «Б.Б.»… Вот так… Понимаете меня?..

С таким суфлером я могу танцевать уже и сегодня… Меня иногда спрашивают, какой спектакль в моей жизни был самый необычный. Вот этот и был. «Болеро» в Брюсселе с сокрытым от публики суфлером в дальнем проходе, подсвеченным пучком света снизу. С суфлером, облаченным в белый свитер. С суфлером, которым был Бежар. Каждый равелевский отыгрыш, пружинясь на плие, я впивалась глазами в освещенное в конце зала пятно, намеком указывавшее, словно регулировщик дорожного движения, куда мне двигаться дальше. Рука по-кошачьи обволокла ухо — следующая «Кошка». Руки, взлетевшие в чардаше, — теперь «Венгерка». Руки, плетущие орнамент танца живота, — «Самбо»…

Я не сбилась, не заплутала. Суфлер знал балет. Хорошо знал. Мой остолбенелый взгляд, ждущий подсказки, придал ритуальность, молитвенность моей пластике. Это понравилось.

Второй спектакль я вела сама. Стресс от первого заставил мою память принять и усвоить все обилие информации. Подсказки более не требовалось. А манеру я сохранила. Точнее, отсутствие ее. Лишь исступленное моленье. Отстраненность.

Потом были съемки. Бежар корректировал мое «Болеро» для

фильма. Он подобрел ко мне. Поверил в меня. Поэтому, когда, прощаясь, я сказала Морису, что хотела бы сделать с ним что-то еще, что-то свое, новое, он расположенно ответил:

— Что ж, предложите тему. Я согласен.

У каждого города есть свой запах. Я всегда это обоняю. Уже в аэропорту. Мюнхен пахнет автомобильными лаками. Прага — каминным дымом. Токио — соевым соком. Мадрид — миндалем. Москва — мусором улиц («отечество почти я ненавижу», по Пушкину). Брюссель — запахом мокрой замшелой хвои…

Я танцевала и снималась в «Болеро» в ноябре. Третий спектакль — в день своего рождения. Мне исполнилось пятьдесят. Станцевать шестнадцатиминутный балет одной, на столе, босиком, без мига передышки (мужчины аккомпанируют солистке на полу, вокруг стола), все прибавляя и прибавляя накал энергии — надо соответствовать могучему крещендо Равеля, — мое гордое достижение. Да еще угодить непокладистому суфлеру…

Когда я послала с ближайшей оказией Морису целый реестр своих предложений, он выбрал «Айседору». «Айседора» была идеей Щедрина. Мы по очереди тогда запоем читали жгучую книгу Дункан «Моя исповедь», ходившую по Москве ротапринтной копией с давнего рижского издания двадцать седьмого года.

«Болеро» я репетировала по прохоженным тропам. Хореографические ноты были написаны, их надо было исполнить. «Айседора» ставилась на меня.

Я опять приехала в хвойный Брюссель, получив приглашение от дирекции театра Де Ла Монне. Опять добиралась каждое утро в класс в бежаровскую школу «Мудра», беря у шоферов такси «ресид» по инструкции Госконцерта. Опять торопилась, набросив на влажный купальник стеганый халат, перекусить в кантине «Мудры» бифштекс с жареным картофелем у зловредной буфетчицы Реджины…

Музыку к «Айседоре» отбирала бежаровская пианистка Бабе тта Купер. Морис намерился поставить весь балет на звучании сольного фортепиано, сделав пианистку участницей представления. После короткого пролога — гибели Айседоры — пианистка в черном концертном платье неторопливо входила в круг сцены, раздумчиво смотрела на распростертое тело и шла к роялю. Айседора, очнувшись, подымалась с пола и говорила в публику: «Не я придумала свой танец. Но рн спал до меня. А я его пробудила». И обращалась к пианистке: «Экзерсис»…

Звучал Шопен. Затем следовали отрывки из Шуберта, Брамса, Бетховена, Скрябина, Листа… Как была подобрана эта музыка?

Бежар объяснял Бабетте свой замысел, читал текст,

предваряющий каждый танцевальный номер Текст принадлежал самой Айседоре Дункан — цитаты из ее высказываний. В ответ Бабетта листала ноты со стопки на пюпитре, проигрывала несколько тактов и, замерши, спрашивала:

— Это подойдет?..

Бежар соглашался. Либо отвергал. Все очень просто. На отбор музыки ушло полчаса, не более. Как Бежар творил? Он импровизировал. Но он и готовился загодя. Музыка только была отобрана, и к ней он приспосабливал свои домашние заготовки. Когда заготовка не укладывалась в музыкальную фразу, Бежар сочинял отличный вариант, не уходя тем не менее слишком вдаль от своей первоначальной идеи.

Мы сделали «Айседору» за три репетиции. Четвертая ушла на малые детали и глянец. Один номер — «Марсельеза» — намеренно выпадал из камерного звучания фортепиано. «Марсельеза» шла под оркестровую запись. Это тоже была словно цитата, документальная врезка, аппликация. Айседора любила начинать свои концерты с эпатажа — «Интернационалом» или «Марсельезой». Этот отрывок Бежар показал мне за пять минут. Он был сочинен — без сомнения — загодя.

Как можно обойтись без Есенина? И Бежар просит меня:

— Майя, прочтите что-нибудь из Есенина. Что помните.

Я читаю первое, что приходит на память:

Несказанное,
Синее,
Нежное…
Тих мой край после бурь, после гроз,
И душа моя — поле безбрежное —
Дышит запахом меда и роз.

Бежар не понимает ни слова, но кивает своей мефистофельской головой:

— Подходит. Оставляем.

Мне нравилось, что Бежар определял на раздумья лишь самый минимум репетиционного времени. Если бы он транжирил его, как делают это наши московские полупрофессионалы, не создал бы Бежар такого количества разнообразнейших балетов.

Премьера «Айседоры» состоялась в Монако. Там, в Монако, Айседора и погибла, удушенная своим шарфом. Пятьдесят лет назад. Было ей — пятьдесят. Мы как бы отмечаем две даты: мне тоже пятьдесят, но теперь уже с хвостиком…

В конце балета на сцену выбегают дети. Бежар поставил им мизансцены, не танец. Но дети важны. Это выражает идею школы

Айседоры. Произношу в публику: «Я говорила о своей школе… но меня не понимали». Понимают ли меня? Все — мистерия. Белокурая девочка подает мне в книксене букет полевых цветов. Бежар сам выбирал их сегодня в цветочной лавке Правильный ли букет? Это тоже важно. С самого края авансцены я кидаю цветы в партер людям. Так делала Айседора. Цветы — это ее душа…

…Скрежет тормозов, двадцатишестиметровый шарф, шарф во всю сцену, опутывающий танцовщицу, словно шелковичный кокон. Темнота…

То, что я работаю с Бе жаром, будоражило балетную Москву. Я не упускаю случая — интервью ли, телевизионная передача — рассказать о великом хореографе из Брюсселя, открывателе новых миров. Чиновников это бесит, руководство моего театра тоже, но я упрямо продолжаю «просвещение народа».

Недавно мне поведали, что преступников в тюрьме «Алкатрас» у Сан-Франциско моют под душем теплой водой. Чтобы вовсе отучить тело от холода — воды в тамошнем заливе ледяные. Все беглецы, пускавшиеся вплавь, не достигали берега. Приученный к теплу организм замерзал и гиб. Нашу публику тоже полоскали в теплой водице. Скудные балеты Главного выдавались за немеркнущие шедевры. Нет других горизонтов, да и только. Моя пропаганда, помноженная на закон запретного плода, возымела действие. Имя Бежара стал окружать загадочный ореол…

Но после «Айседоры» была еще и «Леда». Двадцатидвухминутный балет с Хорхе Донном. Шел 1979 год. Но прежде небольшая предыстория.

За год до этого в своем творческом вечере, отмечавшем тридцать пять лет моих танцев на сцене Большого, мне с огромными трудностями удалось включить в программу бежаровское «Болеро». Буквально выцарапать его. Конфликт дошел до правительства, и финальное разрешение пришло за сутки до представления. Я опишу это подробнее в другой главе. Происшедшее с бежаровским творением не может не вызвать интереса…

Борение мое с властью за «Болеро» отозвалось годом позже, когда, получив приглашение Бежара сделать с Донном новый балет, я — в советской жизни ничего не поменялось — начала оформлять документы на выезд за границу. А выезжала я, должно быть, в сотый уж раз. Но как и всем, как и прежде, мне нужна была характеристика. За тремя злополучными подписями: Дирекция, Партком, Местком. Без характеристики театра Госконцерт оформить поездку бессилен.

Секретарем партийного комитета был виолончелист Щенков.

Он-то и стал выполнять чью-то злую волю воспрепятствовать моей новой встрече с Бежаром. Делалось это совсем просто, проще не придумаешь. Уехал Щенков. Сегодня уже не будет. Ах, не успел подписать. В ЦК срочно вызвали. Единолично не может, должен посоветоваться с другими членами партбюро. Партбюро в следующую среду… Когда мне пели эту песню в начальные годы моей карьеры, было гадко, но по-идиотски даже логично. Теперь же это издевательство стало непереносимо.

Я, как разъяренный лев, бросаюсь в начальственные двери. Но все — я немногих добилась, был август, отпускное время — возвращали меня вновь к неуловимому Щенкову. Мы не можем указывать секретарю парторганизации. Теперь у нас демократия (когда она в России была и будет!). Щенков подпишет. Стечение обстоятельств… Имя Бежара не помогало. Чиновные уши, казалось, его не различали.

Щенков характеристики так мне и не подписал. Все пропало. Не будет «Леды». В отчаянии — я одна, Родиона нет в Москве — бросаюсь к моему давнему спасителю Питовранову. Он (уже годы не в КГБ) связывает меня с Филиппом Денисовичем Бобковым, дает его телефон. Бобков — зампредседателя КГБ. Само исчадье ада — по логике советской жизни, но — вот вам… Я нападаю на него с первого же звонка. Он берет трубку сам. Не поторапливая, терпеливо выслушивает мой сбивчивый стон: все пропало, «Леды» не будет, послезавтра назначена первая постановочная с Бежаром… И сразу, безо всякой уклончивости, неопределенности, спокойно говорит:

— Вы поедете. Совершенно твердо. Это головотяпство вашего директора Иванова…

(Уж до Иванова-то я еще доберусь. Обещаю тебе, читатель…)

Я достоверно знаю, что Филипп Денисович Бобков помог многим, многих вызволил из бед. Позже и мне приходилось искать вновь его защиты, чтобы разрубить новый узел, который завязывала на моей судьбе наша подневольная советская жизнь. Чтобы порвать новую паутину интриг и мерзостей, в которую я не раз еще опрометчиво вляпывалась. Моя генетика призвала меня помнить добро. Я не изменила и не изменю этому зову!..

(…Когда я читала эту главу Владимиру Войновичу, он резко заметил мне:

— Помочь известной балерине Бобкову было несложно. А в это же время он делал зловещие дела. Задумайтесь.

Я запнулась:

— Бобков помог не только мне. Я Вам назову кучу фамилий — Белла Ахмадулина, Якобсон, Богатырев, Мягков… А будь на его месте какой-нибудь?..

— Верю Вам, что он помог. Но одновременно Бобков делал зловещие дела…

— Но мне-то он делал добро! Не будь его вмешательства, не было бы бежаровской «Леды»… Я вспоминаю, как все это было. Я хочу писать правду.

— Но Вы не можете писать лишь свою собственную правду. Была еще и правда страны…

Наш разговор закончился многоточием…)

И я таки полетела. Полетела! В Брюссель!! Без характеристики. Без ничтожной подписи виолончелиста Щенкова. Нонсенс… Без характеристики за границу? Первый, наверное, случай с 1917 года. Госконцерт благополучно вручил мне паспорт и авиабилет за час до вылета. Я успела на самолет…

Посольские борзые, встречавшие кого-то в аэропорту, изумились, меня увидевши:

— Как?! Вы прилетели?! Мы вас не ждали! Посол возражал. Плисецкая — балерина Большого, не труппы Бежара…

Кто надоумил посла на возражение? Дел, что ли, кроме репертуара московской балерины, мало?..

Вот такая и была моя жизнь. Всю жизнь меня куда-то не пускали. А я металась, надсаживалась, надрывалась, чтобы пустили, выпустили. Вот такая и была моя жизнь…

В аэропорту Брюсселя никто не встретил, не ждали уже. И я на такси добралась до «Мудры». Адрес я помнила — Rue Вага 103.

Бежар обрадовался. И — как ни в чем не бывало:

— Переодевайтесь, разогрейтесь, начнем репетировать…

Совсем уж к ночи секретарь Бежара Соня отвезла меня с чемоданом в гостиницу. И я, повторив только что поставленное Морисом, угомонилась под самое утро.

Мы репетировали по два захода в день. Как оголтелые. В 12.30 и в 5. Работа увлекла меня до чрезвычайности.

Музыка была японская, старинного театра «Но». Жалобно парила, всхлипывала одинокая флейта, бренчали барабаны. Под такие звуки я еще никогда не танцевала. Но начинался балет… с сен-сансовского «Лебедя». Потому Морис предупреждал:

— В один вечер «Леду» с «Лебедем» не танцуйте.

В сюжете Бежар объединил две древние легенды — всем известную греческую о «Леде и Лебеде» и японскую о юном рыбаке, влюбившемся в вещую птицу. Рыбак жаждет обнажить птицу и сбрасывает с нее перья. От Японии пришла музыка и мой костюм. Я начинала балет в лебединой пачке, потом партнер срывал ее с меня, облачая свои руки в мои лебединые перья (теперь рыбак — Лебедь). Я оставалась в короткой тунике. Но очередь доходила и до нее — Лебедь срывал тунику, и я — в

трико телесного цвета. Разумей — голая. Дальше шли такие поддержки, что, загляни товарищ Иванов с советским послом в репетиционный зал, остались бы товарищ Иванов и посол до смерти своей заиками…

Партнер — мой незабвенный, добрый Хорхе Донн — был чудесен. Он — красив. Скульптурен. Царствен.

В постановочные часы Донн был терпелив и крайне сосредоточен. Каждое слово Бежара воспринималось им с серьезностью и вниманием. Донн старался исполнить всякую мелочь, всякую малость пластического текста хореографа. Был покорен Бежару. Но Бежар замечательно, исчерпывающе знал природу и возможности танцора. Шапка льняных волос Хорхе щекотала мои запястья и шею, крупные капли пота влажнили мой репетиционный купальник, скатывались сквозь длинный его разрез по ложбинке книзу, холодя мне спину. Мы работали без единой передышки. Одно замечательное наблюдение. Я приходила на репетицию, как всегда это в нашей балетной жизни водится, то с подмывающей стопой, то с ломотой в спине, то еще с чем. Перед началом опасливо размышляла — не попросить ли сегодня у Мориса пощады, отступного. Но, видя строгое, нацеленное на работу лицо Хорхе, я оставляла свои капитулянтские намерения. Начинала вполноги, потом расходилась, увлекалась. И, о чудо, к концу репетиции боль каждый раз уходила. Изветривалась. Я вновь была здорова. Хореография «Леды» исцеляла меня. Словно йога.

Премьера была в Париже. Я танцевала «Леду» — всегда с Хорхе Донном, другого партнера в «Леде» у меня не было — в Брюсселе, Буэнос-Айресе, Сан-Пауло, Рио-де-Жанейро, Токио… Но никогда не смогла показать ее в Москве. Москвичи «Леду» так и не увидели. Слишком вольный, раскованный балет поставил Бежар. А теперь и Донн ушел из жизни…

Были у меня с Бежаром и другие замыслы. Мы чуть было не принялись за «Невский проспект» по Гоголю. Даже сроки нацелили…

Впрочем, увлечь Бежара было несложно. Чем неожиданнее, парадоксальнее предлагалась ему задача, тем легче было найти в нем отзвук. Сидя однажды после спектакля поздним вечером в брюссельском доме Мориса, я упомянула к слову «Смерть Ивана Ильича» Толстого. Бежар замолк на полуслове и порывисто заспешил в свою библиотеку. Через несколько минут он вернулся с раскрытой книгой — это была повесть Толстого.

— «Смерть Ивана Ильича» — мужской балет. Будь он женский… — пошутила я.

Но Бежар меня уже не слышал, он погрузился в чтение…

Труппа Бежара добирается до России. Наконец-то! Девятая симфония Бетховена, «Петрушка», «Весна священная»… Моего выступления в программе нету. А отчего не станцевать в Москве Айседору? Отчего не вспомнить ее на той сцене, на которую она столько раз выходила, не прочесть понимающему язык залу есенинское: «Несказанное, синее, нежное… Тих мой край…» Отчего?..

Мне втолковывают: программа давным-давно согласована с Госконцертом, менять ничего нельзя, добавлять — громоздко, публика устанет, не выдержит.

Я говорю с Морисом. Отмалчивается. Он не хочет конфликта. Мои поклонники — не по моей, возьмите себе это в голову, воле — засыпают Большой театр и Бежара письмами. Поляки в бежаровской труппе, знающие цену ностальгии, объясняют Бежару, что надо дать Майе возможность хоть раз станцевать с нами в Москве, здесь ее любят…

На третье представление в Большом Бежар таки добавляет мою «Айседору». Бабетта Купер осталась в Брюсселе, мне будет играть Наташа Гаврилова. Подбираем ей платье. Я срочно учу детей для финальной сцены. Букет полевых цветов уже стоит в моей артистической в эмалированном ведре. Мы готовы.

Спектакль я взаправду затянула. После «Айседоры» тридцать две минуты выходила на поклоны (по хронометру режиссера сцены). Одна, с детьми, с пианисткой, выводила взволнованного Бежара, вновь одна… С ярусов дождем стремились на сцену разноцветные лепестки роз. Это был счастливый для меня вечер. Москвичи выказали мне всю свою влюбленность, расположенность, радуясь вместе со мной свершившейся справедливости.

За эту московскую «Айседору» я получила два подарка. Бежар, чуть-чуть устыдившийся своего первоначального малодушия в отношениях с Госконцертом, подарил мне брошку с сиреневой эмалевой анютиной глазкой, украшенной посередине крохотным бриллиантом. Старинной российской работы Фаберже. Я держу ее сейчас в руках, Морис…

Хорхе Донн — мой незабвенный добрый Хорхе Донн — при нашей следующей встрече на «Леде» передает мне миниатюрную кожаную коробочку. Там — золотое кольцо с сапфиром.

— Это Вам, Майя, за Айседору в Москве. Помните ее?.. Я пишу эти строки с кольцом Донна на пальце. Я храню его бережно.

Ты слышишь меня, Хорхе Донн?..

Глава 41
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Лирическое отступление. Я скачу по своей жизни галопом. По всей своей суматошной жизни. Все яснее, что невозможно полно рассказать о прожитом. Лишь урывки. Размытые контуры. Тени… Разве это было? Да, было. Мой дневничок тех лет подтверждает. А память уже спутала, переместила в другие годы… Премьеры, цветы, борьба, суета, тщетность, порывы, встречи, сборы, чемоданы, каждодневная работа… Что тебе еще интересно узнать обо мне, читатель?..

Что я левша и все делаю левой рукой? Только пишу правой, а левой могу писать лишь в противоположном направлении, зеркально?..

Что я всю жизнь страдала бессонницей? Килограммами поглощала снотворное: нембутал, люминал, тазепам, рогипнол, валиум?..

Что я всегда была конфликтна? Лезла на рожон часто попусту? Могла обидеть человека просто так, бездумно, несправедливо. Потом раскаивалась…

Что во мне совмещались полюса — я могла быть расточительной и жадной, смелой и трусихой, королевой и скромницей?..

Что я почитала питательные кремы для лица и любила, густо ими намазавшись, раскладывать на кухне пасьянсы?.. Что коллекционировала курьезные фамилии, вырезая таковые из всякого печатного издания? Гордилась перлами вроде: Денис Непейпиво, Марк Петрович Блядик, Дамочкин-Визжачих. Или такие перемены: меняю Нина Глистё'нкова на Глистёнкову Элеонору, Евгений Негодяев на Евгения Онегина, Александр Потаскушкин на Маркса Потаскушки-на…

Что была ярой футбольной болельщицей (за клуб ЦСКА)?..

Что любила селедку, нежно величая ее «селедой»?..

Что никогда не курила и не жаловала курящих, что от бокала вина у меня разболевалась голова?..

Что была до глупости легковерна и столь же — нетерпелива. Ждать не умела никогда… Была резка, порывиста…

Что всю, всю свою жизнь обожала, боготворила Щедрина? И что исписала тысячи страниц писем к нему — из каждого государства, из каждого города, каждого отеля на всяком моем гастрольном пути? Письма эти оказали мне сейчас замечательную услугу — пестрые, поизмявшиеся листочки почтовой отельной

бумаги с гербами моих пристанищ: Холидей Инн, Палас, Интерконтиненталь, Меридиен, Осака Гранд, Савой, Виндзор… День за днем в них записана вся непричесанная, неприглаженная информация — от самого серьезного до полной ерунды. Летопись жизни моей!..

Или рассказать тебе, читатель, про свои балетные, профессиональные привычки? Что перед каждым классом, каждым представлением я заливала в пятки балетных туфель теплую воду (чтобы крепче сидела ступня)…

Что закручивала советские гривенники в свое трико на бедра, туго притягивая концы тесьмы на талии: трико тогда ладнее сидело…

Что более всего страшилась не забыть оглядеть себя перед выходом на сцену в зеркале — сочно ли намазан рот, хорошо ли подведены глаза, не то быть мне сегодня на людях бесцветной молью…

Как все это — белиберда, пустяки? Или пустяки дописывают мой облик?

Что вынесла я за прожитую жизнь, какую философию? Самую простую. Простую — как кружка воды, как глоток воздуха. Люди не делятся на классы, расы, государственные системы. Люди делятся на плохих и хороших. На очень хороших и очень плохих. Только так. Кровожадные революционеры, исступленно клявшиеся, что на смену плохим людям наконец-то придут одни хорошие, — брехали, врали. Плохих во все века было больше, много больше. Хорошие всегда исключение, подарок Неба. Столько умного, очевидного было произнесено в веках — с Христа, Будды, Конфуция, Аввакума… Разве услышали, вняли? Вот и льется кровь, губятся жизни, коверкаются судьбы, надежды. Так будет и впредь, нет в том, увы, сомнений. Человеческая биология такова. Зависть, алчность, вероломство, ложь, предательство, жестокость, неблагодарность… Разве устоит против — отзывчивость, сердоболие, участливость, доброта, самопожертвование?.. Дудки. Неравный бой. Но в каждом поколении, в каждом уголке земли, в забытых Богом пространствах рождаются и несут свой крест Хорошие Люди. На них еще и покоится наша земля. По-русски сказано очень точно: не стоит село без праведника.

Сводить свои тяготы и борения к одной лишь проклятой советской системе — легкомыслие. Было все это, было. Гадко, тошно было. Но как мешала мне и обыденная пошлая зависть, амбиции, надутые самомнения, клевета, нелепые слухи. Один наш музыкант, живущий теперь на Западе, в горьких сердцах воскликнул: «У примадонны Икс муж — директор банка. Это

пострашнее, чем секретарь райкома»…

Труднее всего давалась мне независимость. Вот что уж роскошь. Суетные люди без конца стремились затиснуть меня в свои группировочки, группировки, загнать под ничтожные знамена, упечь в свои ряды. Чем и грешна была, но не этим. Произнесу: я была независима. Усердно старалась быть таковой.

Никаких привилегий от власть имущих, ни пайков, государственных квартир, дач мы НИКОГДА не имели. Все заработали своим потом, своим трудом. Бредни западного журналиста, накатавшего пухлую книжицу о невеселой советской жизни, где — мимоходом ни разу ни меня, ни Щедрина вблизи не встретивши, — с чьей-то грязной завидущей клеветнической пасти наболтавшего, что мы питаемся кремлевскими пайками и яствами: клевета. Плисецкая и Щедрин даже адреса этого райского учреждения не ведали. Свои «кремлевские пайки» мы покупали на московских рынках. Да кое-когда что перепадало в буфете Большого театра. Сказать завистнику, сальеришке, что Плисецкая плохо танцует, что Щедрин музыку пишет плохо — ненадежно: посмотрят, послушают — еще разуверятся, поймут, что мелконькая клевета это да зависть. А про пайки услышат, про истеблишмент — навострят свои заполитизированные ушки, на черное-белое вмиг все разделят, на семь пар чистых, семь пар нечистых — все так хорошо, удобно, складно по двум полочкам раскладывается: после телячьих ножек с отварной спаржей, запитых бутылкой доброго бургундского. Я, леди и джентльмены, известный советолог, просвещенный специалист по России (а сам-то провел в России каких-то несколько месяцев, по-русски ни слова не говорит, что надули в уши у клеветника на дому между борщом и котлетами по-киевски, в книжицу свою и тиснет).

Презираю и тех и других — и клеветников, и лжеэрудитов…

Эх, родиться бы мне сегодня в какой-нибудь благополучной Исландии или штате Коннектикут. Начать все с нуля. С вольным паспортом, куда не требуется мучительно выклянчивать все на свете визы, обивать пороги консульств и посольств, натыкаться на сухость и неприязнь при одном лишь виде российского паспорта. Тревожиться, что в паспорте моем всего несколько страничек, еще два-три государства — и кончился паспорт, иди, моли новый. Все унижения, все мытарства, все нервотрепка…

И в Канаде или в Люксембурге было бы неплохо родиться. Но я родилась в Москве. В царствие Сталина. Затем — при Хрущеве жила, при Брежневе жила, при Андропове, Черненко, Горбачеве, Ельцине жила… И второй раз родиться не выйдет, как ни старайся. Свое живи!..

Я и жила. Себе говорю — честно. Ни детей, ни старцев, ни

меньших братьев наших — зверье — не обижала. Друзей не предавала. Долги возвращала. Добро помнила и помню.

Никому никогда не завидовала. Своим делом жила. Балетом жила. Другого ничего в жизни я делать толком и не умела.

Мало только сделала. Куда больше могла. Но и на том спасибо. Спасибо природе своей, что выдюжила, не сломалась, не сдалась…

Глава 42
МОИ БАЛЕТЫ

Есть у нас одна танцевальная комбинация, которая называется «Иван Аверьянович». Московская балетная легенда разъясняет:

— Жил-был некий танцовщик. Служил в Большом театре. Звали его Иван Аверьянович (и фамилия сохранилась — Сидоров). Танцевал. Репетировал.

На одной репетиции исполнял Иван Аверьянович большое жете, прыжок то есть. Только-только он завис в воздухе, напрягся, улыбку на лицо «набросил», собой в зеркале любуется, как кто-то из-за его спины резко окликает:

— Иван Аверьянович!..

Иван Аверьянович успевает ловко развернуться в воздухе на сто восемьдесят градусов, крикнуть в ответ «а?», вновь перевернуться и благополучно приземлиться на арабеск. Так и вошел в танцевальный обиход сей трюк под именем творца своего. Стал наш Иван Аверьянович хореографом по обстоятельству.

И со мной что-то схожее. Никогда не рвалась я в хореографы. Не жгла меня эта страсть муками. По всей натуре своей я более исполнительница. Хотя фантазий, идей всегда было в избытке. Мои малые хореографические пробы являлись на свет тоже силою обстоятельств. Я писала уже, к примеру, как поставила для своих чешских гастролей «Мелодию» Дворжака. Надо было танцевать что-то славянское, хореографа под рукой нету — берусь за дело сама. Не так чтобы шедевр получился, но не хуже, чем у людей, смотрит публика, хлопает.

На съемках драматического фильма «Анна Каренина», в котором я выступила в роли княгини Бетси Тверской, мысль о хореографическом воплощении толстовского романа стала ясно витать в воздухе. Давние вопросы ко мне Ингрид Бергман и Жаклин Кеннеди — стойко хранила память. Музыка, которую Щедрин написал к фильму, была театральна и пластична. Ее можно было танцевать. Это тоже провоцировало. Роль княгини Бетси — импозантна, но малозначительна. С увлеченностью я наблюдала, как Таня Самойлова сцена за сценой двигалась вослед толстовскому образу. Напутствия Самойловой режиссера Зархи, перед тем как включалась камера, меня часто сердили. Лучше было бы сконцентрировать внимание актрисы на ином, даже противоположном. Почти все съемки шел мой внутренний диспут

с режиссером фильма. В довершение и Щедрин в пух и прах разругался с Зархи: тот безбожно искромсал музыку.

— Будем делать балет. Совершенно по-своему…

Кто же хореограф? Перебираю имена по алфавиту, словно в телефонном справочнике. Этот — мог бы, но в Большой театр не пустят. Этого пустят, но кому он нужен. Потому и пустят, что ординарен. Этот — драматург слабый, а коли браться за знаменитый роман — без железной драматургии не сладится дело…

Первый, на ком серьезно останавливаюсь, — Игорь Вельский. Я люблю его «Ленинградскую симфонию» по Шостаковичу и «Конька-Горбунка» Щедрина, который он поставил в ленинградском Малом оперном. Созваниваемся. Игорь немедленно приезжает из Ленинграда в Москву. И мы говорим, фантазируем, спорим. Вельский соглашается — у меня есть кое-какие мысли, — лишь бы в Большой впустили. Провожаем «Стрелу», отправляющуюся в 23.59 с Ленинградского вокзала. «Завтра созвонимся», — кричит нам Игорь уже на ходу из тамбура, выглядывая из-за толстенной бесстрастной глыбы-проводницы. Но через день вместо звонка приходит телеграмма. Отказ. Вельский отказывается. Доводы формальные. Полагаю, что неизбежный впереди конфликт с Главным в Большом его останавливает. Тогда мы встречаемся с Касаткиной и Василёвым. Они тоже сразу соглашаются. Говорят, что сами будут делать и либретто. При следующем разговоре Василёв объясняет нам, что декорация будет напоминать стакан, из которого Анна весь спектакль не может выбраться. «Анна в стакане — идея спектакля», — ехидничает Василёв. Балет будет в одном акте, минут на тридцать-сорок. Весь конфликт любовного треугольника повторяют дети — девочка и два мальчика…

Нет, думаю, мне такого модерна делать не хочется…

И уже с отчаяния нахально провозглашаю:

— Я сама буду ставить балет.

Следующая ступень — встреча с драматическим режиссером. С Валентином Плучеком.

Плучек был когда-то актером в театре Мейерхольда, дружил с ним, участвовал в нашумевших постановках пьес Маяковского. После разгрома театра Плучек надолго пристроился в полусамодеятельной флотской труппе в Мурманске. Там он и переждал все долгие, страшные годы. И уцелел, черт возьми. Его двоюродный брат — английский режиссер Питер Брук (по сообразительности родителей кузенов-режиссеров — Питер Брук явно лидирует). И самое важное — Господь дал Плучеку талант.

Мы сидим в кабинете главрежа Театра сатиры В.Н.Плучека

несколько вечеров — «идеи кидаем». Одна из идей Плучека — взять в команду побольше толковых людей:

— Запаситесь хорошими продуктами. Суп сварится сам…

Называет Львова-Анохина — «он изложить проговоренное литературно сумеет». Рекомендует художника Левенталя: «Валерий — драматург от природы».

— Вам одной, Майя, и танцевать, и ставить целый балет не выйдет. Создать полнометражный спектакль — дьявольская трата сил. А вы хотите еще танцевать саму Анну. Возьмите себе обязательно помощников. Все массовые сцены им отдайте. Главное для Вас — собственно образ Анны. Ну и так же Вронский, Каренин. Их линии.

Я обращаю внимание на супружескую пару Рыженко-Смирнова-Голованова — оба танцовщики Большого балета. Их хореографический опыт — телевизионные фильмы.

«Озорные частушки» с Владимировым и Сорокиной в главных ролях — удавшаяся зрелая работа. Рыженко к тому же из моей команды «Кармен». Мы понимаем друг друга без натуги.

И художник Валерий Левенталь. Вот наша команда.

Команда есть. А есть ли футбольное поле?

Я пишу обстоятельное письмо-просьбу на имя Фурцевой. Излагаю свои доводы «за» Анну Аркадьевну Каренину на балетной сцене Большого театра. Нужно пространство, два оркестра (духовой на сцене и симфонический в яме). На сюжет романа Толстого написано семь опер и ни одного балета. Мы будем «первыми в космосе». У труппы в следующем сезоне есть «окно». В эти пустующие два месяца мы уложимся…

Но после «Кармен-сюиты» доверие ко мне решительно подорвано. И Фурцева задает логичный вопрос:

— А музыка у вас есть? Вот когда Щедрин балет напишет, тогда и поговорим. Вот тогда надо будет и прослушивание в театре устроить. Пускай специалисты разберутся. Мнение просвещенное выскажут. Там вы на просвещенных людях план свой и расскажете. А мне вас сегодня выслушивать преждевременно. Пускай коллектив решает. Мы должны, товарищи, доверять мнению коллектива…

Но Щедрин за лето оканчивает партитуру. Тогда же и родилась моя племянница, которую в честь окончания сочинения окрестили Анной. Только Александровной, как дочку брата моего Александра, не «Аркадьевной»…

Теперешний директор Большого Ю.Муромцев устраивает по команде из Министерства культуры прослушивание. В Бетховенский зал театра набивается полно народу. Перед началом я рассказываю общий замысел балета, поминутно

заглядывая в приготовленный дома конспект (мы сочиняли его всей командой — до первых петухов, накануне).

Львов-Анохин хорошо поставленным актерским голосом, мягко жестикулируя, вальяжно рассуждает об идеях Станиславского и Немировича-Данченко касательно детища Толстого. Такая ученая речь — тоже домашняя заготовка. Необходимая краска. Надо убедить аудиторию, что Лев Николаевич Толстой в момент написания романа интуитивно думал более всего о балете. Аудитория заинтересовалась…

Витиеватая речь Львова-Анохина возымевает действие. Особо «прошибает» собравшихся сентиментальная мемуарная история о зарождении замысла Толстого. Как увидел он в послеобеденной дреме черный локон на белоснежной шее графини Гартунг — дочери Пушкина. Мемуарист клятвенно утверждал, что этот пригрезившийся локон был для писателя первым толчком к «Анне Карениной». Несколько дам достают носовые платки. И прослушивание должно иметь драматургию!..

Мы навязчиво и откровенно акцентируем те строки Толстого, где романист говорит о пластике героини, ее легкой походке, поведении на московском балу. И конечно, об образе станционного мужика, кующего железо и приговаривающего грозное предзнаменование по-французски: «Родами умрешь, матушка, родами»… Этот образ воистину чуден, странен, необъясним. Я и сегодня совершенно убеждена, что воплотить в реалии тайну, загадку толстовских фантазий и взаправду под силу лишь только искусству пластики.

Потом Родион говорит о почитании Толстым Чайковского и Чайковским Толстого. Рассказывает, как плакал Лев Николаевич, слушая струнный квартет Петра Ильича с вариациями на тему «Сидел Ваня на диване, курил трубку с табаком». Объясняет, что использует в ткани своего сочинения микроцитаты произведений Чайковского, писавшихся в те же самые годы, что и толстовский роман. Связь и аромат времен!..

Потом Родион садится к роялю и играет весь балет. От начала — до самого конца… Того конца, где истаивает в небытии перестук железных колес на стыках рельсов. Эти звуки он извлекает косточками пальцев по дереву крышки инструмента…

Мы хорошо подготовились. Мы с серьезностью отнеслись к этому прослушиванию и выиграли раунд. Не нокаутом, но по очкам. Чего было достаточно. Большинство присутствующих, особенно музыканты, поддержали нашу затею, похвалили музыку и высказались за скорейшее включение балета в театральный план. Певица Ирина Архипова, имевшая значительный авторитет в театре — она была депутатом Верховного Совета СССР по

Свердловскому району Москвы, где располагался Большой театр и даже… Кремль, — горячо ратовала за немедленное начало репетиционной работы.

— Это так интересно. Нам бы в оперу такое…

Директор Муромцев пытался увести обсуждение в дебри неопределенности — так, видимо, набрасывался сценарий этого дня, — но поддержан выступавшими не был. Каждый прожитый год ослаблял узды партвласти в искусстве. Послушными были уже не все.

Я сидела рядом с Улановой и шепотком поясняла ей, что делается на сцене под эту музыку, а что под ту. При дискуссии Галина Сергеевна промолчала. Но раз она не возражала, значит, «за»?..

И вот первая постановочная репетиция. И число в дневнике записано, и номер репетиционного зала. 25 октября 1971 года, третий зал. Нас двое — пианистка Ирина Зайцева и я. Первая моя проба — сольная мазурка Анны на московском балу. С букетиком анютиных глазок в прическе, как нарисована моя героиня пером Толстого. Мазурку поставить несложно. Просто мазурку. Но эта мазурка Анны Карениной. Потому мучаюсь, терзаюсь, переделываю без конца, отбираю варианты.

Первый номер занял у меня четыре дня.

Потом набрасываю свою вариацию — «метель», эхо толстовской сцены на заснеженном перроне в Бологом. Непредвиденная встреча с графом Вронским. Потом принимаюсь за финальные сцены третьего акта. За мои монологи. И… устремляюсь в Ленинград, чтобы показать сработанное Якобсону. Об этом уже писала…

Постановка всякого балета — дело зыбкое. Назначена репетиция. Но актер внезапно должен заменить кого-то заболевшего нынешним вечером. Репетиция сорвана. Все дергаются, нервничают. Другой неумолимо уезжает в поездку. А полпартии поставлено на него. Учить в цейтноте нового танцора — трата дней. Кордебалет, что сделано вчера, все позабыл. Путает. Дни убегают так быстро, что в тебя начинает вселяться мерзкое чувство паники…

Но вот балет вчерне поставлен. Сама не верю. Репетиции из залов выносятся на сцену. Сначала по актам. Под рояль. Потом под оркестр…

Но самое трудное только начиналось.

На первый прогон «Анны» под оркестр внезапно нагрянула министерская комиссия. С ними сама Фурцева. Мелькают знакомые лица членов художественного совета театра. Все судьи загодя рассаживаются в партере зрительного зала. Я, уже одетая,

загримированная, разминаюсь на сцене. Настраиваюсь, словно оркестр. Вдруг меня начинают нервно одолевать запыхавшиеся люди, то из костюмерного цеха, то участники второго состава моего спектакля:

— Майя Михайловна, двери в зал заперты. У центральной — неприступный контроль. Никого не пускают.

— Рассаживайтесь в ложах…

— Какое!.. Они тоже заперты.

— Подымайтесь в бельэтаж…

— И там закрыто.

— Да что они, спятили?..

В театре полно капельдинеров, их нагнали, как на вечерний спектакль.

— Подождите меня. Я иду к директору…

Но дверь со сцены в директорскую ложу тоже наглухо заперта. Жму кнопку звонка, барабаню в дверь, кричу. Бесполезно. Что они, умерли там все за проклятой дверью? Растерялась. Может, бежать в комендатуру?

Саша Соколов, ведущий сегодня репетицию, нагоняет меня:

— Майечка, дирижер в оркестре. Мы начинаем.

Я сама уже слышу первые жалобные звуки балета, доносящиеся из-за закрытого парчового занавеса. Надо танцевать. В антракте разберемся.

Кончается мой дуэт с Марисом Лиепой (он — Вронский), который мы зовем «Падение Анны». А с ним и первый акт. Вижу на сцене Щедрина.

— Как это было?..

И, не дожидаясь ответа, вопрошаю:

— Двери правда заперты? Как ты попал в зал?

Родион усмехается:

— Перелез через оркестровый барьер.

— Ты шутишь?

— Хотел бы шутить.

— Но что происходит? Как можно не пустить второй состав? Им это необходимо видеть.

— Говорят, то распоряжение Кухарского.

— Они взаправду спятили…

Сразу после конца в кабинете директора Муромцева начинается обсуждение увиденного. Общий тон голосов мрачный. Попытка не удалась, роман Толстого танцевать нельзя, все сыро, неубедительно, музыка шумная. Анна Каренина валится в неглиже на Вронского: опять эротика (об эротике печется, как всегда, Фурцева).

— Но есть же и такой способ, Екатерина Алексеевна, —

старается перевести сексофобию в юмор Щедрин.

Министр начинает сердиться:

— Над балетом, товарищи, еще очень долго надо работать. В этом сезоне премьеры не будет. А в будущем — посмотрим, — говорит Фурцева.

Мы, однако, еще не сдаемся. Я иду в атаку:

— Почему были заперты двери зала? За жизнь свою не припомню случая, чтобы второй состав не мог увидеть прогон спектакля…

— Да, это распоряжение министерства, — шипит мне доселе молчавший зам Фурцевой Кухарский, — незачем слухами наполнять Москву.

— Какими слухами? Но это всего лишь Анна Каренина. Тут нет никакой политики. Чего вы боитесь? Каких слухов?

— Боимся дискредитации великого имени Толстого, Майя Михайловна.

От таких защитников Толстой не только бы из Ясной Поляны пешком ушел, из России бы в путь пустился.

Головкина, виртуозно умевшая войти в доверие и дружбу с каждым поколением сливок советской номенклатурной элиты («танцующие внучки» сближали Головкину крепче родственных уз), теребит Фурцеву за рукав, что пора расходиться. Обсудили, посоветовали и хватит, честь надо знать. Дела всех куда более важные ждут. Что-то шепчет в самое ухо. У Головкиной в училище и внучка Фурцевой Марина учится (кстати, эта девочка была способна к балету, но после самоубийства Фурцевой Головкина вытурила ее из школы).

Внезапно Фурцева обращается к Улановой. Уланова тоже здесь, но не проронила пока ни слова.

— Галина Сергеевна, скажите ваше мнение.

Обращение неожиданно, и Уланова тушуется.

— Я затрудняюсь. Не разобралась. С первого раза судить…

— Мы все «с первого раза». Вы же профессионал…

— Профессионал… Но нет, не берусь…

Фурцева — человек прямой, могла резануть правду-матку.

— А Вы скажите, Галина Сергеевна, хотя бы то, что говорили мне в антракте…

Фурцевой нужна авторитетная поддержка в неприятии моей Анны.

Уланова словно съеживается, будто ей зябко очень:

— Мы когда-то тоже пытались создать балет по «Утраченным иллюзиям» Бальзака… И тоже ничего не получилось, — смиренным голосом вышептывает приговор Г.С.

Я молчу, но меня сражает слово «тоже».

Сегодня устроили судилище на первом — заметьте, первом! — прогоне балета под оркестр. Комиссия завалилась совершенно внезапно. В зал не пройти. Зал заперт. У затворенных дверей — капельдинеры-часовые. Танцоры слышат звучание оркестра первый раз. Звенящая пустота пятиярусного двухтысячного зала сбивает артистический настрой. И оркестр — по древней лабушной привычке — тянет свои шеи из оркестровой ямы поглазеть на сцену, что там такое творится. Дирижер Симонов то и дело заглушает музыку выкриками, взывая к совести оркестрантов: «Играйте, не смотрите на сцену, еще наглядитесь». Декорации выставлены, но не высвечены. На сцене разлит грязно-серый дежурный свет. Канделябры лакеев — а они конструктивная часть хореографии — не зажжены, батарейки в них вставить еще не собрались. Двигают лакеи в полутьме какими-то тяжелыми трехпалыми фаллосами. Кто танцует в недошитом костюме, кто в измочаленном спортивном «Адидасе». Шубы пассажиров на перроне Николаевского вокзала сшиты мастерскими по эскизам Левенталя совсем всерьез. Они так тяжелы, неповоротливы, что Рыженко ножницами выпарывает прилюдно подкладки, подрезает подолы. Первая сводная репетиция зовется на театре «адовой». А у нас столько компонентов, столько участников. Выносить суждение после такой репетиции — удар ниже пояса.

До чего непоследовательна власть! Создавать балет сперва разрешили — теперь губят его до рождения, на корню…

Когда годом позже ставили «Анну Каренину» в Белграде, Родион рассказывал мне, что от репетиции к репетиции все ждал прихода комиссии. Разрешат, пропустят, придерутся?.. Чуть малый скрип в зале, все шею вертел — пришла-таки комиссия. А на последней репетиции, накануне премьеры, не выдержал и спросил у дирижера Душана Миладиновича: «А когда же прием спектакля будет, комиссия когда?..»

— А вот мы и есть комиссия — ты, я и хореограф Парлич.

Так изуродовали нас в родном отечестве.

Когда все расходятся, я задерживаюсь возле дверей кабинета директора. А вот и он — проводил Фурцеву до черного лимузина, подымается к себе по лестнице.

— Юрий Владимирович, мне больше не дадут репетиций «Анны»? — тоскливо уставившись в пол, спрашиваю директора.

— Почему не дадут? Вы можете продолжать репетировать.

— И оркестр дадут? И сцену?

— Оркестр и сцена заняты. Репетируйте в классах под рояль.

Подымаю на Муромцева глаза.

— Но спектакль не пойдет, Майя Михайловна.

— В этом сезоне?

— В следующем у нас нет для «Анны Карениной» места.

— Значит, никогда?..

Муромцев желает пройти в свой кабинет, не сказав ни чего в ответ. Я останавливаю его за руку.

— Так зачем же репетировать, Юрий Владимирович?..

Директор высвобождает руку и… исчезает за белесой высокой дверью.

Мы сидим всей притихшей каренинской командой у нас на Горького. Гоняем чаи с Катиными бутербродами. Репетировать? Или бросить? Все так смятены и выпотрошены, что разговора не получается. Завтра потолкуем. Охотники откупоривают бутылку «Столичной», будут «снимать напряжение»…

Утром следующего дня в классе меня зовут к внутреннему театральному телефону. Секретарь директора. Нина Георгиевна.

— Майя Михайловна, позвоните после класса от нас Кухарскому в министерство. Срочно.

Что еще меня ждет? Какая неприятность? Всегда Кухарский, как черный демон, приносил нашей семье мрачные заботы, тяготы. Уйдя в первые дни войны в ополчение, он был тяжело ранен. Ему ампутировали ногу. Естественно, что увечье сделало его раздражительным и недобрым.

Когда я в числе других из интеллигенции подписала антисталинское письмо, направленное Брежневу, — мы требовали остановить поползший процесс реабилитации Сталина после свержения Хрущева, — письмо получило широкую огласку, «Голос Америки» повторял его ежечасно. Кухарский невзлюбил меня. Он шел в атаку за Сталина, за Родину, и поднятый на его кумира кулак был Кухарскому ненавистен. Я попала в немилость. Это Кухарский, составляя пошлые икебаны из известных имен для коллективных писем-поддержек-осуждений-протестов, много раз засовывал мое имя в эти… нечистоты, не вздумав спросить разрешения, даже не информировав, не позвонив. В этих письмах всегда было что-то постыдное, вроде тебя раздевают прилюдно, и Кухарский, ощущая это внутренне, обязательно включал в алфавитную обойму «протестующих-поддерживающих» тех, кто был ему не мил. Своих же дружков он берег и ненароком забывал их имена, когда вершилась холуйская работа по выполнению очередной команды с высшего партийного уровня. Ввели войска в Афганистан — интеллигенция должна мигом поддержать «мудрость» преступного решения. В дерьме изваляться. Чехословакию душат — опять, интеллигенция, поаплодируй своему правительству. Совершенно убеждена, большинство коллективных писем в природе вовсе не существовало.

Сочинялись они в кабинете Кухарского, там же и подписи прилаживались…

Я звоню из ложи дирекции. Секретарь Кухарского жива интересуется:

— Вы из театра, Майя Михайловна?

— Да. От Нины Георгиевны.

— Сейчас Василий Феодосьевич возьмет трубку.

Замечаю себя мельком в зеркале, как нахохлилась, напряглась вся.

Дружеский, радушный голос Кухарского:

— Майя Михайловна, спасибо, что позвонили. Не могли бы вы к двум ко мне подъехать? Только одна. Не оповещайте о нашей встрече Родиона. Прошу вас настоятельно.

Как бы не так, говорю себе вслух, уже набирая номер нашего телефона. Только бы Родиона дома застать.

— Ну, что стряслось? Ты из ложи дирекции?

На одном дыхании пересказываю разговор с Кухарским.

— Через двадцать минут я буду у первого подъезда. Вместе пойдем в кухарскую берлогу.

Когда мы входим в кабинет заместителя министра советской культуры В.Ф.Кухарского, он старается перевести свою каверзу в шутку:

— Хотел без мужа Вам в любви объясниться, придется отложить до следующего раза…

Мы не улыбаемся.

— Вот что надо мне вам сказать. Екатерина Алексеевна улетела сегодня во Вьетнам. И поручила мне объяснить Майе Михайловне, что в этом сезоне театральные репетиции «Анны» надо прекратить. Вы можете продолжать лабораторную работу с вашими помощниками, но дать труппу, оркестр, сцену — мы не можем.

Я не буду пересказывать наш нервный, взвинченный разговор. Ты уже догадался, читатель, — «Анну Каренину» запретили…

На вечернем «Совете в Филях», вновь на Горького, мы решаем обратиться к Демичеву, в ЦК, где он ведал в те годы наукой и искусством, — фактически тоже министр культуры, но порядком выше. Вдруг поможет… Кухарского не разжалобишь, он и упрям, как гоголевский Голова. А Фурцева, поговаривают, из Вьетнама не то в Сингапур, не то в Малайзию дальше отправится. Когда ее дождешься…

Вся человечья жизнь состоит из случайностей, из везений и «невезух». Не улети Фурцева во Вьетнам, вряд ли решились бы мы через голову ее к Демичеву на прием проситься. Это уже — обида, ссора. Навсегда. На Фурцеву наступали бы. Ее уговаривали. А тут

сама судьба распорядилась. Но доберемся ли до Петра Ниловича? Так он высоко сидит. Секретарем ЦК КПСС называется.

…Дам вам совет, будущие поколения. Меня послушайте. Не смиряйтесь, до самого края не смиряйтесь. Не смиряйтесь. Даже тогда — воюйте, отстреливайтесь, в трубы трубите, в барабаны бейте, в телефоны звоните, телеграммы с почтамтов шлите, не сдавайтесь, до последнего мига боритесь, воюйте. Даже тоталитарные режимы отступали, случалось, перед одержимостью, убежденностью, настырностью. Мои победы только на том и держались. Ни на чем больше! Характер — это и есть судьба…

Демичев нас быстро принимает. Мы объясняем ему с Родионом бедственность ситуации. Солисты, кордебалет, оркестр, мастерские проделали гигантскую работу. Нам нужно собрать спектакль. Обязательно собрать. Выносить судебное решение — смертная казнь! — на первой «адовой» репетиции нельзя. Даже если к спектаклю в следующем сезоне разрешат вернуться — все-все позабудут. Сначала начинать придется. И остынут люди, охладеют. Ни политики, ни секса в «Анне» нет — платья на всех длинные, ляжки прикрыты. Мы лишь рвемся новый балет делать. Творчества нам надо, ничего более…

Демичев выслушал нас приветливо. Мы видим рядом его в первый раз. Вблизи он проще, мягче, чем изображен на своих портретах в руках участников первомайских демонстраций.

Демичев говорит тихо, неторопливо, убаюкивающе. Все на «пиано», все в одной интонации. Временами голос его так затихает, что разобрать речь нет никакой возможности. Мы напрягаемся, тянем шеи, угадывая временами смысл сказанного только по движению губ.

Открахмаленная официантка вносит душистый чай с сушками.

Я разделяю ваше беспокойство. Даже если попытка воплощения балетной «Анны Карениной» будет не очень удачной, министерству следовало бы поддержать вас за смелость. Надо довести дело до конца. Я распоряжусь.

Мы ушли окрыленные. Неужели взаправду спасение?..

В те годы в России еще не разучились слушать высокое начальство. Директор Муромцев вызывает меня к себе. Он был сегодня — сама предупредительность. Как легко, должно быть, живется людям без убеждений. Подул ветер с небес — говори прямо противоположное своим вчерашним речам.

Работу над «Анной», Майя Михайловна, надо довести до конца. В балете есть запоминающиеся сцены. «Скачки» кажутся мне определенной удачей. Я дал указание выкроить для Вас

время для сценических репетиций.

Завертелось колесо вспять. И у оркестра нашлось время, и у осветителей, и сцена внезапно опустела…

Радостью и удачей было участие в «Анне» отменных солистов.

Мои добрые друзья, мои славные единомышленники, мои единоверцы, мой родной балетный люд, подневольное племя танцоров!.. Как помогли вы мне в дни баталий за мою неугодную «Анну».

Марис Лиепа, Саша Годунов — пылкие Вронские… Коля Фадеечев, Володя Тихонов — сумрачные, графичные Каренины… Марина Кондратьева — вторая Анна… Воспарявший в воздухе грозный, казнящий Анну станционный мужик-обходчик — Юра Владимиров… Нина Сорокина, Наташа Седых — Китти… Сдержанная, надменная княгиня Бетси — Аллочка Богуславская… (Я вспоминаю тех, кто участвовал в премьерных спектаклях.) Спасибо, что не потеряли веру, не отступили, не вышли, не выскользнули из проигрываемой по начальству игры…

Но я забежала вперед. Лучше все по порядку…

Возобновились репетиции. Спектакль начинает выстраиваться. Генеральная. Вновь комиссия. Вновь Фурцева с замами. Но теперь в зале публика — мастерские, пенсионеры, родные, друзья участников, музыканты, критики, московские театралы. Нам на сцене танцуется куда легче — в зале есть дыхание, он сегодня не мертвый, не ледяной. Сегодня все ладится лучше, чем в первый «адовый» раз.

Вновь обсуждение в кабинете директора Муромцева. Но ныне речи не такие безнадежные, не всё за упокой, не всё в траурной виньетке. То, что сам Демичев приложил руку во спасение нашего детища, люди мигом прослышали. Ни худые, ни добрые вести в России без движения не стоят. Сам Главный балетмейстер театра сегодня не появился. Прошлое обсуждение подталкивать с обрыва нужды не было: мы сами валились в пропасть, как чугунные гири. Просто не прийти Главному — лучший исход…

Но времени мы потеряли в излишке. Уже июнь. Через полторы недели конец сезона в Большом. Нам бы порепетировать еще! Дать второму составу генеральную, но тогда надо переносить премьеру на осень. А это здорово опасно. До осени еще дожить надо. Вдруг, гляди, что произойдет…

Все такие добренькие стали. Покладистые. Говорят:

— Сами решайте. На ваше усмотрение.

Мы — вся «каренинская братия» — собираемся в опустевшем партере. Начинается галдеж. Я прекращаю споры:

— Пускай Щедрин решает. Как он чувствует, так и будет.

Все застыли. Родион молчит. Целую минуту молчит, «За» и

«против» прикидывает.

— Будем играть послезавтра премьеру. Откладывать, переносить не следует.

Сообщаем решение свое директору Муромцеву…

На стеклянной дощечке Большого, возле самых центральных дверей, впускающих зрителя в театр, за колоннами, там, где ловят последнюю удачу не запасшиеся загодя билетами (когда зажигаются огни театральных подъездов — и табличка озаряется светом лампочек), поименованы спек такли, идущие в ближайшие дни: «Царская невеста», опера, муз. Н.Римского-Корсакова; «Травиата», опера, муз. Д.Верди; «Евгений Онегин», опера, муз. П.Чайковского; «Чио-Чио-сан», опера, муз. Д.Пуччини… В месте, где стоит день — десятое июня: «Спектакль будет объявлен особо».

Из телефонной трубки захлебывающийся, прерывающийся голос Шуры Красногоровой:

— Майя Михайловна, «Анна» объявлена. Поменяли «спектакль особо» на — «Анна Каренина», балет, музыка Р.Щедрина, премьера…

— Когда поменяли? Вы сами видели?

— Пять минут назад. Я звоню из автомата на Театральной площади.

— Это точно?

— Куда точнее. Только читала. Я от касс звоню — прямо напротив.

Это так нормально. Так и должно быть. Но радость буквально душит меня. Счастье не дает дышать. Надо прожить еще два дня, только два дня и…

Мы, словно малые дети, визжа и толкаясь, набиваемся в машину. В нашу «Волгу». Родион мчит ее на недозволенной скорости к Большому…

Теплый июньский вечер. Еще светла Шумно бежим к колоннам. Прохожие оглядываются на нас с осуждением. Что за субъекты?.. Каменный Аполлон со своей колесницы заговорщически подмигивает мне… Можно ли от счастья с ума сойти?..

Все точно, как Шура говорила. Только не «музыка Р. Щедрина» написано, а «муз. Р. Щедрина». Впрочем, что одно и то же. Надо только прожить еще два дня!..

Я прихожу на спектакль обычно за два с половиной часа. В день премьеры «Анны» я пришла за четыре Сегодня из Парижа успел прилететь оповещенный нами Пьер Карден со своей японской спутницей-секретарем Юши Таката. Он приехал в театр прямо из аэропорта. Я должна показать ему на себе его великие

костюмы. Прежде чем увидит публика. Не рассердится ли только Пьер, что имени его в программке не будет?.. Об этом директор Муромцев и слышать не захотел: Министерство наотрез отказалось…

Скрипки с флейтами запевают свою печальную мелодию. Спектакль начался. Помоги нам, Господь!..

Я стою во второй кулисе в черной карденовской шубке, с роскошным бантом на талии. На голове крохотная шапка и легкая вуаль. Шапка и впрямь чуть схожа с той, что была на мне при встрече с Жаклин Кеннеди в Белом доме. Ау-у!.. Руки мои укутаны в карденовскую муфту — бархатную с черной розой. Вижу, как включается проекция падающего снега на сутулые фонари вокзала Николаевской железной дороги… Хлопья, хлопья снега… Вступаю на па-де-бурре…

Щедрин смотрит спектакль в комнате осветителей в бельэтаже. Балет сделан пока на «живую нитку». Родион подсказывает художнику по свету Борису Лелюхину смены положений по ходу звучания музыкальной партитуры. Валерий Левенталь тут же.

Мои помощники Рыженко и Смирнов — все по той же причине «живой нитки» — мечутся в кулисах: подстраховывают выходы артистов и перемены декораций. В руках у Рыженко клавир балета — она свободно читает музыкальный текст.

«Вокзал» — кажется, нормально… Первая встреча с Вронским состоялась. Станционный мужик с мертвым телом…

«Бал» — благополучен. Тяжелые люстры опустились вовремя, точно по музыке. Канделябры лакеев дружно зажглись. Моя сольная мазурка с лиловым пятном анютиных глазок — в порядке. Все туры свертела хорошо-Теперь «Метель». Танцую стремительную вариацию в темноте, в вихре снежных порывов. Лучи лобовых прожекторов нещадно слепят глаза. Не промахнуться бы. Нет, все проходит гладко.

«Салон Бетси» не труден. Лишь бы вовремя выкатили белый рояль. Ну, что там? Отлично. Не опоздали.

Слышу музыку «Кабинета Каренина». Хриплое соло контрабаса. Как-то там завертывает свои шахматные ходы Фадеечев?

Затосковала флейта. Теперь мой выход- Наша сцена. Все удалось. Сейчас мой длинный рапидный уход на па-де-бурре от самой авансцены до предельного заднего плана. Закрываю лицо руками: «Поздно, уж поздно»…

«Сон Анны» — с моими четырьмя дублершами. Мне — передых. Пристально смотрю из-за кулис с правой стороны. Гример Нина Нестратова промокает мое лицо казенным

полотенцем. Лицо влажно. Я отмахиваюсь: «Нина, отойди, не мешай смотреть». Молодцы девчонки, ничего не забыли, не напутали.

Новое положение света. Марис-Вронский один в своем будуаре…

И самое трудное для меня в первом акте — «Падение Анны». Хватило бы сил. Надо выложиться, вывернуться наизнанку. Это — кульминация акта. Марис хорошо держит. Все поддержки получаются. Ни одна не сорвалась. После взрыва эмоций — расслабленное затухание. Я качаюсь на руках Лиепы, как маятник на часах вечности…

Медленный занавес.

Застывший зал взрывается аплодисментами. А зал сегодня — трудный. Вся Москва. Верившие в наш замысел. Злоязычные скептики, холодные циники, все и вся наперед знающие. Беспечные, милые иностранцы, читавшие перед началом с переводчицами в программке сюжет балета: чем эта историйка закончится?.. И моя близкая, роднющая, нежно любимая мною московская публика. Моя публика. Публика, простоявшая прошлую ночь напролет у касс Большого, чтобы попасть сегодня на галерку… На мою премьеру.

Второй акт.

Скачки… Признание Анны… Сад Вреде… Болезнь… Сновидения… Отъезд в Италию… Третий акт.

Дворцовый церемониал… Встреча с сыном (по рисунку Врубеля)… Итальянская опера… Отвержение света… Ссора с Вронским…

Станция Обираловка. Моя казнящая совесть — станционный мужик-обходчик…

До последней сцены спектакль шел хорошо. На нерве. Все танцевали лучше, чем на репетициях. Остался только финал. Я — одна. Предсмертный монолог. Теперь все — на мне. Все дело — за мной. Надо собрать все силы. Как проведу эпилог, так и решится судьба спектакля…

Стробоскопы.

«…А в домах все люди, люди… Сколько их, конца нет, и все ненавидят друг друга. Зачем эти церкви, этот звон?.. Все неправда, все ложь, все обман, все зло. Где я? Что я делаю? Зачем? Господи, прости мне…»

Крестное знамение.

Я валюсь на колени.

Протуберанец прожектора паровоза. Уходящие вдаль огни раздавившего меня поезда.

Перестук колес.

Музыка шпал.
Спектакль состоялся.
Мы — кажется — победили!..

Глава 43
МОИБАЛЕТЫ (продолжение)

Танцую во французском городе Ре ни. Это в Бретани. Танцую «Безумную из Шайо». Два вечера подряд.

Какое сегодня число? Второе. А месяц? Апрель. Год, не ошибусь, — 1993-й. Значит, сегодня ровно пятьдесят лет, как я танцую. Танцую «в чине» балерины. Точно пятьдесят лет назад меня зачислили в труппу Большого. Это в самом деле неплохой рекорд — танцевать на публике пятьдесят лет. День в день — ровно пятьдесят. Впрочем, танцевать-то можно, можно ли меня смотреть? Раз зовут — значит, можно…

Здесь, в Ренне, продолжаю свои труды над этой книгой. Про «Анну Каренину» уже рассказано. Добавлю только, что дальнейшая сценическая судьба балета была вполне счастливой. Прошел он в Большом более ста раз. Вывозился на гастроли, ставился в других странах. Был снят в кино. И снят удачно. И не лучшая ли это кинематографическая попытка показать балет на экране?

Осуществляла фильм-балет режиссер и оператор Маргарита Пилихина. Это была ее последняя работа. Рак неумолимо пожирал ее тело и душу. На съемки ассистенты вносили Маргариту в кресле, на сложенных руках подвигали к глазку камеры, бережно поднимали с пола, когда она, обессиленная, рухла навзничь. Пилихина была сильным человеком и стоически несла свой предсмертный крест. Ее творческая мощь, невзирая на телесные муки, не пошла на убыль. И генетика ей в этом помогла — Маргарита была племянницей маршала Георгия Жукова. Две последние сцены она снять все же не успела. Смерть не смилостивилась. В фильм вошли кадры, сделанные на пробах. Но даже эти малые изъяны не повредили фильму.

В партии Вронского со мной снимался Годунов. Когда фильм уже домонтировался, мы, не дождавшись финиша, уехали в очередной американский тур. В самолете Саша сказал мне, что не намерен более возвращаться в СССР.

Но тогда наши съемки «Анны» пропадут. Подожди, пока фильм выйдет на экраны. А там… Следующий раз останешься…

Саша Годунов был человеком слова.

Хорошо. Подожду. А может, в следующий раз — вместе?..

И это слово Годунов сдержал. Остался. Но меня «в следующий раз» с ним не было.

«Следующей» была чеховская «Чайка»…

Пьеса Антона Павловича — вся загадка. Почему такой ошеломительный провал на премьере в петербургской Александринке? Провал с великой Комисса ржевской-Ни ной… Отчего такой экстатический успех двумя годами позже в Московском Художественном с неприметной Ниной — Роксановой? С какой стати «Чайка» — комедия? Герой стреляется. Что тут смешного? И еще — о чем пьеса? О любви? Об искусстве? О скучной дачной жизни?..

Пожалуй, это единственная пьеса на русском театре, в постановках которой режиссеры ухитрялись каждого из действующих лиц — а их у Чехова тринадцать — делать поочередно самым главным героем своего «смелого новаторского прочтения». Нина Заречная, Треплев, Аркадина — логично… Но беллетрист Тригорин, Маша, Дорн, Полина Андреевна, учитель Медведенко?..

А вот чего еще не пробовали. Есть у Чехова четырнадцатый персонаж, именем которого пьеса и названа. Чайка. Птица, убиенная жертва скучающего охотника. В драматическом спектакле — как чайку покажешь, изобразишь? Бутафорское чучело. Достовернее сделанное или аляповатее. И только…

…В балете я одна скольких птиц перетанцевала… Счету не сведешь. Лебедь, вещая птица Сюимбике, Жар-птица… И не мое — мужская «голубая пиша» в «Спящей красавице», «Печальная птица»… Птиц в балетах так много, ибо это лакомый кусок для всякого хореографа. Феи и птицы — вот наш хлеб насущный…

И ведь это интересно можно сделать Несколько полетов чайки, прерывающих ток действия. Полет раненой чайки. Мертвая чайка на зыби колдовского озера. Танец на поддержках невидимого партнера. Или партнеров? Может, белые руки-крылья и шея в пространстве, одетом в черный бархат?..

Конечно, это был лишь первый побудительный мотив. Безысходная любовная история Нины, любовь Треплева, Маши, Медведенко. «Два пуда любви» — по определению самого Антона Палыча. Все любят, все нелюбимы. Ревность Аркадиной. Приезды, отъезды. Декадентская пьеса Кости на подмостках дачной театральной сцены. Театр в театре Тоскливая игра в лото долгими осенними вечерами. Крокет. Приход Нины грозовой ночью. Изорванный дождями и ветрами занавес на старой дачной полуразвалившейся сцене. Самоубийство поэта… Все это можно воплотить в пластике. И если удастся, то воплотить убедительно.

Теперь я решила балет ставить одна. С «Анной Карениной» явился ко мне малый опыт. И массовых сцен тут нет вовсе. Лишь тринадцать чеховских персонажей. Только гогочущая, измывающаяся над автором публика, копошащаяся на фоне

левенталевского панно с идиотскими текстами тогдашних рецензентов-критиков. Эпизод этот совсем краток. Каждая интерлюдия по две-три минуты. Декорация сменится, а людишки будут мельтешить по-прежнему свое. Словно в первых киноопытах братьев Люмьер.

Но… мой привычный сюжет. Через какие препятствия надо было пройти, чтобы «Чайку» разрешили ставить на сцене Большого?.. Предыстория долгая. Нудная. Пожалею читателя. Ее последний этап — прослушивание музыки в кабинете Демичева. Теперь Петр Нилович — министр культуры. Фурцева самовольно ушла из жизни. А Демичева за какие-то партийные провинности разжаловали из секретарей ЦК в министры.

Да еще культуры. Самое последнее дело. Он отныне — наш прямой начальник. И для меня, памятуя «Анну Каренину» и его сочувственное участие в ней, — это, кажется, неплохо.

Показать музыку и сценарий «Чайки» в Большом нам не удалось. Там теперь непримиримый вражеский лагерь. Не подступишься. Культ Главного балетмейстера достиг хорошей вершины. Все, что не вписано в круг придворных славословий и здравиц, — на свете не существует. Никаких других балетмейстеров нет и быть не может. Гений у нас один. Один — как солнце.

Наша система, выпестовав Сталина, породила и маленьких тиранов, мини-сталиных. В самых разных областях. В биологии, авиастроении, даже в дирижировании.

Да плюс директор Большого — Иванов взялся исступленно опекать наше хореографическое солнце. Через такой заслон и мышь не проскочит. Я повела уже было переговоры с театром Станиславского. Но гордость-то у меня есть? Не хочу склонять головы. Поборемся. Большой театр — моя Альма Матер.

Демичев был в ту пору человеком свежим, со стороны (химик по образованию), не искушенным в театральных противостояниях. Что-то ему, сомнений нет, нашептывали, разъясняли, почему нельзя дать мне новый балет поставить. Но с «Анной Карениной» мы Демичева не подвели, и он вновь выказал свою веру в мой новый замысел. Потому и было организовано прослушивание не в театре, а в Министерстве. В нейтральных, так сказать, водах. Бог нам в помощь!..

Балетных людей пришло немного. Лишь отчаянные смельчаки да доносчики-прихлебатели, стремившиеся первыми принести, словно пес в зубах кость, свежую весть. Усердие и шустрость при царском дворе всегда в цене были. Может, лишний раз в загрантур возьмут?..

Пришли нас выслушать в основном музыканты, артисты

оперы, первые солисты оркестра Большого (побывать в кабинете Демичева оркестранта не каждый день зовут. Может, министерским чаем попотчуют, физиономию заприметят?). И еще — несколько независимых критиков (независимых от Главного).

Щедрин сыграл весь балет на рояле. Я объяснила хореографический замысел.

Выступления были вполне доброжелательны, в нашу поддержку. Балет надо ставить. Но ни один из немногочисленных балетных — не открыл рта. Демичеву, по наивности, это Показалось даже странным.

А что же балет молчит? Я хотел бы услышать и ваше мнение.

Бедный, запуганный балет, — говорит себе под нос Щедрин после томительной длиннющей паузы.

Демичев разбирает реплику.

Это правда?..

И вдруг Саша Богатырев, которого я в волнении даже не приметила, порывисто поднимается с места.

Я хочу сказать. Разрешите?

По лицам присутствующих разливается захватывающий интерес.

Мне очень понравилось. Я хотел бы станцевать партию Треплева…

Художник Левенталь, сидящий возле меня, шепчет в самое ухо:

— Саша — самоубийца. Теперь его сгноят. Московский камикадзе.

Александр Богатырев станцевал со мной Треплева. На премьере он был чудо как хорош. Достоверен. Его облик напоминал мне Александра Блока — благородство, аристократизм, одухотворенность. Это делало конфликт спектакля еще обнаженнее, еще нервнее. Но обошлось ему это в цену неимоверную!..

Я начала постановку с самого первого номера партитуры. Кроме Нины, Аркадиной и Тригорина одновременно заявляются все персонажи. Они в шаге друг от друга, но разобщены, трагически одиноки. Не одна ли это из главных тем загадочной чеховской пьесы?

Обычно в балете воздают дань симметрии. «Двойка», «четверка», «восьмерка», тридцать два лебедя. Вы много раз, конечно, милые, это видели? Когда танцоры достигают совершенной синхронности, это становится еще одним знаком высокого искусства (не говорю уже о классе труппы — это очевидно).

В своей «Чайке» я пошла от противного. Моих персонажей

должна объединить не симметрия движений, а только музыка. Это их внутренний мир, их тайны. Каждый танцует свое, ведет свою линию, рассказывает свою неудачливую судьбу. У Чехова все персонажи по-своему несчастливы. Все влюблены. Но влюблены без взаимности. Может, эта сверхнекоммуникабельность российского дворянства и интеллигенции и была главной причиной испепелившей страну кровавой революции? Или я зашла чрезмерно далеко в своих предположениях?..

…Крик чайки. Он в музыке. Почти стон. Треплев замирает на авансцене. Вздрагивает. Чайка реальна? Или это его поэтическое воображение? Персонажи шагом лемуров растворяются в темноте. Высоко, в самом небе, над колдовским озером взмывает чайка. Это — я. Я одета в купальник, выбеливающий мой торс и руки. Ноги затемнены. Чернильно-черного цвета. Четыре невидимых кавалера в черных бархатных костюмах, масках и перчатках возносят меня в замкнутом черном кубе. Боковой пронзительный свет. Я вырываюсь из их объятий, парю над озером, бросаюсь камнем вниз, в пропасть, мерно качаюсь, носимая озерным ветром.

Каждый раз — а я станцевала «Чайку» около шестидесяти раз — в этом первом полете ощущаю свое сродство со стихией, с вечностью, с водой, с небом.

Московский зритель встретил премьеру добром. Но те, кто судил по старинке — сколько туров наверчено, сколько шене скручено, были отторгающе разочарованы. В новом балете Плисецкой мало танца. А что такое танец, почтенные господа? Я видела гениальный бездвижный танец японской танцовщицы из Киото Иноуэ Яциё. Целый час, даже более часа, она магически застывала на месте. Выражали, танцевали лишь пальцы, брови, скулы, наконец, глаза. За такой «не танец», почтенные господа, я отдам все шене и фуэте мира. Но возьмите меня в плен, захватите, заворожите. Вот тогда поговорим.

Серьезное понимание балетная «Чайка» встретила у чеховедов, драматических актеров. Племянница Чехова Евгения Михайловна Чехова посещала спектакль за спектаклем. И каждый раз в поздней ночи звонила мне после представления, открывая все новые и новые подспудные смыслы пьесы своего дяди, отгаданные ею… через балет. Через мой бессловесный балет! Еще одним болельщиком стал знаменитый чеховед З.Паперный. Его статьи и письма ко мне уже задним числом объяснили мне самой многие невидимые ленивому уму связи, сочленения, выводы. Наталия Крымова, славная своей резкостью суждений, сразу после премьеры без раздумий приняла «Чайкуя-балет, поместив внушительную статью в «Литературной газете». Куда ж более? Я

должна быть удовлетворена.

И опять Чехоа «Дама с собачкой».

Когда «Чайка» ставилась в шведском городе Гётеборге, местные журналисты досаждали нам разными интервью. Ваш любимый напиток, какое блюдо предпочитаете, где проводите летний отпуск…

Один из музыкальных журналистов — по фамилии Борг — брал интервью у Щедрина. Неожиданно Борг нажал на клавишу «стоп» своего «Сони» и прервал беседу:

— Почему никто из русских композиторов, господин Щедрин, не обратился до сих пор к «Даме с собачкой» Чехова? По-моему, это великолепный сюжет и для оперы, и для балета…

— Действительно, почему? Не знаю. Надо будет перечитать повесть, — задумался Щедрин.

Наша «Чайка» прошла в Гётеборге удачно. Шведы умеют работать на театре. Ничего не надо было повторять дважды. Все помнилось, все осуществлялось без заминок. Из Большого участвовали в постановке лишь несколько солистов да художник Левенталь и мой верный корепетитор Борис Мягков.

В Швеции со мной танцевал Виктор Барыкин. Позже он сделал в моих балетах и Каренина, и Хосе. Его Треплев был отличен от Треплева-Богатырева. Саша сблизил драму Треплева с блоковской эпохой, с устремлениями русского декадентского искусства начала двадцатого столетия. А Барыкин играл современное, недавнее. У Барыкина был не Блок, а Маяковский. Или Есенин?..

Шведской публике «Чайка» пришлась по душе — пьесы Чехова там высоко ценимы. Количество объявленных представлений было даже увеличено. После нашего отъезда спектакль перешел в полное распоряжение гётеборгской балетной труппы.

Но путь до «Дамы с собачкой» не был кратким. Между двумя премьерами время отсчитало две тысячи дней. Точнее — 2003 дня…

«Чайка» — 27 мая 1980 года. «Дама с собачкой» — 20 ноября 1985 года. Прямо в день моего юбилея.

В день своего шестидесятилетия я станцевала на сцене Большого два балета. Премьеру «Дама с собачкой» и после перерыва — «Кармен-сюиту».

За всю свою творческую жизнь я никогда не репетировала столь прилежно и исступленно. Хотелось успеть точно ко дню своего рождения. Торжественный случай дал на сей раз мне возможность беспрепятственной работы. В первый раз за жизнь мне не надо было тратить океан энергии на преодоление

всяческих заграждений и препятствий. Проблемы были лишь творческого толка.

Впрочем, задача была облегчена и тем, что из балетной труппы в «Даме» были заняты лишь двое: я сама (Анна Сергевна) и Борис Ефимов (Дмитрий Дмитриевич Гуров). Остальные участвовавшие были взяты мною из миманса Большого. С одной стороны, не надо было попрошайничать в балетной канцелярии. С другой — здесь была и принципиальная затея. Любящие люди воспаряют над обыденностью, мелочностью жизни. Влюбленные всегда живут в ином измерении.

Эта подсказка пришла ко мне от Шагала. Его возлюбленные всегда парят в небесах над селениями, городами. У них словно отрастают крылья. А танец сродни полету…

Поэтому формальная конструкция балета была подчинена задаче выстроить все действие в форме пяти больших па-де-де («Дуэт-пролог»; дуэт второй: «Прогулки»; дуэт третий:.Любовь»; дуэт четвертый: «Видение»; дуэт пятый: «Встреча»). Остальное лишь фон, аккомпанемент, вспышки сознания. Променад ялтинской публики на набережной — миманс Анна Сергевна со шпицем на черноморском пирсе — миманс, дублерша. Ночной сторож, подглядывающий за героями, — миманс Картины зимней московской жизни — вновь миманс. Разноликая, как бы вальсирующая толпа обывателей-сограждан, которых ни Анна Сергевна, ни Гуров не замечают. Это хороший контраст, атмосфера. А нам с Ефимовым еще и отдых. И об этом думать надо. Мы танцоры, не боги.

Чехов писал свой великолепный рассказ в пору головокружительной влюбленности в Ольгу Книппер, молоденькую актрису Художественного. Потому, быть может, так пронзительна, кипяща страсть, так откровенно чувственны взмаимоотношения Анны Сергевны и Гурова, пошло связанных рутинными брачными узами. Любви давно нет. Или не было вовсе?..

У меня каждый раз невольный спазм стискивает горло, когда я перечитываю чеховские строки: «Анна Сергевна и Гуров любили друг друга как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья… и точно это были две перелетные птицы» (слышите, вновь птицы!)… Я могу на память читать и читать, почти петь вслух Чехова. «Дама с собачкой» — это мое восприятие — написана стихами, не прозой. Все образованные, все все знают, но, пожалуйста, послушайте еще немного: «…Анна Сергевна, эта «дама с собачкой», к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьезно, точно к своему падению… Она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной

картине…

— Пусть Бог меня простит! — сказала она, и глаза у нее наполнились слезами. — Это ужасно. — Она спрятала лицо у него на груди и прижалась к нему… Он смотрел ей в неподвижные, испуганные глаза, целовал ее, говорил тихо и ласково, и она понемногу успокоилась»…

И вот что еще. Каждый миг этой истории прошит, пропитан печалью. Как мне мечталось, бредилось танцем передать безграничность чеховских оттенков, неповторимый настрой рассказа, тон, поэзию его, подтекст, грусть, таинства и простоту чеховской музыки: Гуров «…привлек к себе Анну Сергевну и стал целовать ее лицо, щеки, руки… Она плакала от волнения, от скорбного сознания, что их жизнь так печально сложилась; они… скрываются от людей, как воры! Разве жизнь их не разбита?..»

Репетировать с Ефимовым мы начали в помещении Театра оперетты (бывший филиал Большого, театр Зимина). Встречались с ним в середине дня, когда в классах никого уже не было.

Борис входил в зал, деловито дожевывая свой дневной бутерброд, — танцор был еще теплый после проведенных утром в Большом репетиций. Я в ожидании его делала маленький станок, разогревалась — мы тотчас окунались в наши дуэты.

Работали до изнурения, до одури. Дуэт — значит, поддержки. Большую долю сценического времени я на руках Ефимова. Иногда Борис так измождался, что ложился в своем черно-красном спортивном костюме на несколько минут плашмя на пол. И когда вставал, то на полу оставался влажный рисунок его могучего тела. Даже струйки взъерошенных волос оставляли свой мокрый след: новый путь в живописи. Он насквозь был в поту.

— Здорово устал, Борис? — сочувственно тревожилась я. И подволновывалась — выдержит ли, не сломается?..

— Нормально, Майя Михайловна, — всегда односложно цедил Ефимов. — Давайте репетировать дальше.

Уже когда мы перенесли репетиции в Большой театр на пятый ярус и до премьеры было рукой подать, я ненароком коряво сорвалась с высокой поддержки, обрушив силу падения Ефимову на загривок. Терпеливейший, невозмутимый всегда Борис пронзительно вскрикнул. Его скулы вмиг побелели, выдались. Он плетью повис на классной балетной палке. Что-то внутри у него заклокотало, задвигалось.

— Очень больно, Борис? Прости меня.

Я свернула Ефимову спину, автоматной очередью пронеслось у меня в мозгу. Не будет премьеры. Пропала моя Анна Сергевна…

В растерянности пытаюсь массажем разогнать ему боль. Борис высвобождается из-под моих пальцев:

— Сейчас отпустит, Майя Михайловна. Сейчас пройдет…

— Прости меня, Боря, рука соскользнула.

Ефимов медленно-медленно распрямляется.

Это не ваша вина. Спина застужена. Вчера мне у театра четыре колеса на «Жигулях» прокололи. Пришлось долго повозиться. Простыл.

Узнаю подробности. Мерзкие на свете есть люди. Мои театральные неприятели надумали сорвать премьеру «Дамы». Ефимов на все сезоны — в легкой курточке. Натруженное тело переохладится и… По поручению делали или так — самоинициатива? А я-то думала, что первый раз творю беспрепятственно…

И все же назавтра мы вновь репетировали. Борис за ночь чудом смог восстановиться и прийти в себя после жестокой поломки. Железный организм! И воля небес? Господь Бог был с нами. С нами на репетициях «Дамы с собачкой». Мы оба работали без дублеров, малейшая травма — конец дерзкой мечте.

Все репетиции я проводила в балетном купальнике, цепляя, однако, сверху репетиционную изношенную юбку «Карениной». Для силуэта и навыков партнеру. Конечно, я просила Кардена сочинить мне платья Анны Сергевны. Карден избаловал меня царской щедростью одежд, созданных для «Анны Карениной» и «Чайки». Пьер твердо пообещал. Но время шло, а костюмов не было. Не желая быть навязчивой, я не терзала Кардена напоминаниями. Лишь однажды, не выдержав, я позвонила Юши Таката и на своем варварском английском вновь сказала о дне премьеры: «20 ноября». Из ответов Юши я поняла, что Карден не забыл ни про мечты мои, ни про дату.

— Не волнуйтесь, Майя, костюм будет в срок. Пьер работает.

Поздним вечером 18 ноября, накануне последней репетиции (я совсем уже отчаялась и ломала голову, как выйти из положения), некий господин, знавший по-русски только три слова: «большой-товарищ-блины», постучался в дверь нашей квартиры. Точно Санта-Клаус. Как только безрусскоязычный француз нашел в темном городе наше московское пристанище?..

Коробка от Кардена.

В коробке записка и приколотый булавкой перевод (работница бутика Кардена Наташа Янушевская свободно владела русским). Карден писал, что костюм у Анны Сергевны должен быть один. Но он будет разниться поясами. В зависимости от сюжета рассказа у меня три варианта выбора. Простроченный серебряной ниткой сверху и снизу строгий прямой пояс. Второй — чуть шире, вычурнее, с гигантским метровым бантом и длинными воздушными раструбами в пол. Третья возможность —

для ухода в абстракцию, как писал Карден, — вовсе без пояса, словно хитон.

Я померила подарок моего парижского Санта-Клауса перед зеркалом. Теперь ясно, почему костюм один. Надевать его надо вместе с трико, как скафандр космонавту. Чтобы еще раз переодеться, надо разоблачиться догола. Прикидываю предложенную режиссуру платьев. Первый дуэт — эпиграф спектакля — буду танцевать без пояса. И Ефимову легче, в эпиграфе десятки поддержек. В «прогулках» больше статики — надену бант. «Любовное» па-де-де — исступленная страсть. Тут, разумеется, хитон. «Видение» — со строгим поясом. Должна читаться линия талии. Встреча в городе С. (Чехов подразумевал Саратов?) и финал — возвращение к началу. Форма. Реприза.

Свое пятидесятилетие я отмечала премьерой бежаровского «Болеро» в Брюсселе.

Шестидесятилетие — премьерой «Дамы с собачкой».

Как водится, балерины празднуют этот сволочной возраст, горделиво восседая в лучах прожекторов в ближней к сцене драпированной ложе. И каждый из занятых в танцевальном вечере в честь юбилярши Абвгдеж чинно, с манерным поклоном преподносит оной пышные букеты. К концу вечера знатная дама Абвгдеж засыпана цветами по самый подбородок, словно покойница.

Мне же в свой вечер предстояло потрудиться вдосталь: «Дама» — пятьдесят минут, «Кармен-сюита» — сорок шесть. Я почти все время на сцене. Но — выдержала. Победила. И без пошлой скромности хочу написать об этом. Для будущих коллекционеров театральных хроник.

Слышу через сценическое радио режиссерское привычное, обжигающее: «Внимание, дирижер в оркестре, начали». Александр Лазарев дает ауфтакт скрипкам. Судьбу «Дамы», так же как и судьбу «Чайки», Щедрин доверил ему. Звучит первая щемящая фраза. Для меня она олицетворяет слова Антона Палыча: «Анна Сергевна и Гуров были точно две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках»…

Мы стоим с Ефимовым друг против друга в метре от закрытого еще занавеса. Я лицом в зал. Он повернут к залу спиной. Замерли. Не шелохнемся. Слушаем музыку. Вздох виолончелей. Капли пиццикато. Не ошибиться! Через такт занавес медленно начнет раздвигаться. Гуров подымает Анну Сергевну, прижав ее ноги к своей груди. Как я счастлива, что танцую этот лиричнейший, вершинный чеховский рассказ. Белый шпиц, которому вскоре прогуливаться с Анной Сергевной по ялтинскому

пирсу, тихонько поскуливает в кулисе. Значит, музыка Щедрина и его не оставляет равнодушным, действует на нервные окончания, тревожит, бередит.

…Той же первой поддержкой спектакль и заканчивается. Я простираю руки к крымскому небу, к Черному морю, к клубящимся облакам, ко всем людям, населяющим нашу божественную, бесподобную землю. Разве жизни Анны Сергевны и Гурова «не разбиты»? Как жить им дальше?..

…В вереницах поклонов выходят все участники: мы с Ефимовым, дирижер Лазарев, художник Левенталь, репетиторы Борис Мягков, Татьяна Легат, композитор, создавший эту хрустальную, чувственную партитуру.

Щедрин прилюдно обнимает меня на сцене и, улыбаясь, заговорщически говорит:

— Эта музыка — тебе подарок к дню рождения. Не кольцо же с бриллиантом дарить?..

Глава 44
«ХОЧУ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

На титульных листах четырех балетов Родиона Щедрина на стоит мое имя: «Конек-Горбунок» — Майе Плисецкой. «Анна Каренина» — Майе Плисецкой, неизменно. «Чайка» — Майе Плисецкой, всегда. «Дама с собачкой» — Майе Плисецкой, вечно… Расхожее жеманство вовсе не остановит меня сказать о музыке мужа своего, что я ощущаю, что чувствую.

Щедрин всегда был в тени прожекторов моего шумного успеха. Но, на радость мою, никогда не страдал от этого. Иначе не прожили бы мы безоблачно столь долгие годы вместе. Это — и по счастливой природе независтливого характера своего, и благодаря спокойной убежденности в силе своих великих изначальных творческих возможностей. Да еще постоянная погруженность в музыку. Елена Михайловна Ильющенко спросила меня однажды, когда я только вышла замуж за Щедрина: «Как можно лечь в постель с человеком, у которого в голове всегда музыка?» Можно, Елена Михайловна, можно, и совсем неплохо можно!..

Но, в сущности, непросто, когда два художника живут бок о бок. Кому-то одному день ото дня надо уступать дорогу. Если делать это постоянно, через усилие, стискивая зубы, — мнимое равновесие в конце концов непременно нарушится и… конец союзу.

А что же музыка к моим балетам?..

Обыватель сплетничал: муж — «балетный композитор», сочиняет балеты под диктовку своей взбалмошной примадонны, «карьеру делает». А по правде — все было как раз наоборот. Было, не побоюсь сказать, может, самопожертвование. Щедрин — профессионал самой высокой пробы. И балет мог сделать отменно, и оперу, и что угодно. И писал он балеты прямо мне в помощь. В вызволение от надвигающегося возраста: новый репертуар обязательно выведет в следующую ступень искусства, новый репертуар один сможет уберечь от театральных злокозней, от самоповтора, от втаптывания, погружения в инертность, в бездействие…

Конечно, каждая новая сверхзадача увлекала его, зажигала препятствием. Но была здесь и немнимая забота обо мне, боление, сопереживание, тревога. А может, проще говоря, любовь?.. Я пишу эти строки, и меня затопляет нежность.

Будет неполной моя книга, промолчи я обо всем этом.

Имя Щедрина в музыкальном мире знают достаточно хорошо. Только мне обидно, что имя знают лучше, чем музыку. Родион Щедрин? Да, конечно, «Кармен-сюита», «Кармен-балет». Вариации по Бизе.

«Кармен-сюита» взаправду удалась на славу. Виртуознейшая пьеса! Но если Щедрин смог так обойтись со знакомыми совсем каждому мотивами, неужели не интересно господам дирижерам полистать и иные, собственно его работы? Многое замечательное в них обнаружите!.. «Кармен-сюита» — лишь капля из того, что сделано Щедриным…

Я диву даюсь, почему балет «Дама с собачкой» прошел мимо внимания хореографов… Подлинно балетная тема. Магия Чехова. Чудный образ героини. Компактность: один акт. Длительность: три четверти часа. Состав оркестра: самый минимальный. Лишь струнные плюс еще три-четыре инструмента. И главное, пронзительная, до сердца бередящая музыка, свежая и сочная, как антоновское яблоко. Почему, черт возьми? Как разбудить мне вас, спящие красавцы?..

Где бы я ни танцевала этот балет в своей постановке, он находил молниеносный отзвук в зрительном зале. Когда-нибудь, мадам. Но почему не сейчас?..

Я была на премьере «Старинной музыки российских цирков» Щедрина в Чикаго. Знаменитый Чикагский оркестр, ведомый в тот вечер ослепительным Лорином Маазелем, буквально купался в изысках, лакомствах партитуры. Да эту пьесу каждый уважающий себя оркестр сыграть должен! Опять спят люди…

Премьера Четвертого фортепианного концерта в Кеннеди-центре с Николаем Петровым и Славой Ростроповичем. Признание. Похвалы со всех сторон. Добрая критика. И что же? Много охотников играть новый концерт объявилось?..

Хоровая литургия «Запечатленный ангел». Какая чистая, хрустальная музыка! А какой балет по «Ангелу» можно сделать (не обессудьте, что все на балет сноски, но я ведь…).

Конечно, есть у Щедрина сочинения, которые я воспринимаю трудно. Стремлюсь быть непредвзятой. Вот, к примеру, «Музыкальное приношение» для органа с духовыми. Мне бывало мучительно нелегко дослушать сочинение до конца. А длится оно более двух часов. Лишь женина покорность удерживала меня в кресле концертного зала до последней точки финала. Страсть как хотелось устремиться за беглецами, кто покидал аудиторию, протестующе скрипя половицами. Тут я начинала чувствовать, что соприкасаюсь во вкусах с нашей собакой таксой Бати (подарок Марии Шелл), которая внезапно нестерпимо завыла с первых же тактов телевизионной записи этого сочинения.

Я пишу эту главу в тайне, в строгой тайне от Щедрина. Знаю, он будет сердиться, увещевать меня вымарать, выбросить ее из книги. Но не послушаюсь. Ни за что не послушаюсь. Я так отчаянно хочу восстановить справедливость.

А справедливость была бы еще и в том, если 6 судили о музыке Щедрина только по музыке Щедрина. Если 6 не навешивали к его имени сальеристые коллеги черных завистливых шлейфов.

(Впрочем, сама-то я не верю, что Сальери в реалии отравил Моцарта. Оговорили старикашку его же собственные сальеришки. Все по зависти, все по подлости, все по человеческой сути. Но Пушкин так исчерпывающе обнажил механизм зависти творца к творцу, что ни один адвокат мира не в силах отныне обелить злодейскую репутацию подлинного Сальери.)

А завидовали Щедрину сильно. Завидовать и впрямь было чему. Хорошо завидовали!..

Блестящий, Богом, музами музыки помеченный человек, неотразимо обаятельный, источающий вокруг себя радиацию. Человек редкостной щедрости, точнее точного совпадающей со смыслом своей фамилии. Как мог он не привлечь к себе внимания? Даже в Союз композиторов двадцатилетнего студента консерватории Щедрина приняли за глаза, без собственной его просьбы, без формальных процедур, заявлений.

Он не карабкался по лестнице признания вверх. Оно само шло к нему… Как упрощают наше прожитое «эксперты по России»: черное-белое-черное-белое… Нет, господа, жизнь в натуре куда как сложнее…

В начале шестидесятых годов, на последней волне хрущевской «оттепели», Дмитрий Шостакович основал Союз композиторов России как альтернативную организацию к Союзу композиторов СССР. И стал ее первым Председателем. Он несколько раз говорил с Родионом, чтобы тот перенял из рук его эстафету этого доброго дела. Кстати, Шостаковича и Щедрина вдоволь натаскали вдвоем по высоким цековским кабинетам. Знаменитого классика и подающего надежды молодого музыканта. Ласковой, но мертвой хваткой, то суля пряники, то подступаясь с угрозами, склоняли к вступлению в Коммунистическую партию. Давление это продолжалось долго, и Дмитрий Дмитриевич в конце концов уступил и подал заявление. А Щедрин устоял и остался, как и был, беспартийным. Вы думаете, это было просто?..

Но я совершенно могу понять Шостаковича! Скольких истязаний пришлось ему натерпеться от советской власти. Когда Сталин в совсем еще недавнем прошлом устраивал

назидательные принародные порки, какие-нибудь четверть шага отделяли жертву от физического уничтожения. Шостакович боялся за своих детей, за свои творения. Разве могло исчезнуть чувство страха бесследно?.. И другие превосходные музыканты поколения Шостаковича тоже не избе жали этой участи. Ойстрах, Хачатурян, Гилельс, Флиер, Коган — были тоже членами партии. Наше поколение иногда решалось на смелые поступки. Бацилла страха не была уже так всеобъемлюще могуча. Но… очень «иногда».

В 1973 году в Колонном зале Москвы после двухчасовых уговоров Щедрина убеждают не снимать свою кандидатуру с голосования. Лишь два голоса из нескольких сотен — против него. Остальные — за. И Родион становится Председателем Союза композиторов России. Теперь он — «в кресле Шостаковича». К слову говоря, офис композиторов России лишь тремя этажами ниже московской квартиры Шостаковича, в том же доме, в том же подъезде. Д.Д. это было удобно: он трудно уже ходил…

Я знаю главный мотив мучительного согласия Щедрина.

Это — я.

Мне становилось в театре все труднее. Надо было бороться за место под театральным солнцем. А какие козыри в этой борьбе у меня есть? Широкий шаг, гибкость и прочее? Или артистизм? Или одержимость к балету? Или расположенность публики?..

Почетный пост в Союзе композиторов был нужен мне для острастки, для того, чтобы об меня пореже вытирали ноги, пореже ступали в душу. Неужто трудно это не понять? Если жизненный компромисс из-за стодолларовой бумажки — одно дело. А ежели из-за творчества, из-за родного человека?.. Есть разница?

«Шестидесятники» России (а Щедрин одним из них и был) все шли к правде творчества, к правде жизни извилистыми путями — те же Евтушенко, Вознесенский… И каждый шел к цели своей дорогой. Судьбы их не миновал компромисс — система была жестока. Надо было выжить, не дать наступить на горло своей песне, «вырулить» — этот глагол был у «шестидесятников» в ходу — и при том остаться порядочным человеком. «Шестидесятники» наивно тщились еще и изменить мир, разрушить систему, растормошить людей, воззвать к их совести. Из сегодня мы видим, как наивны они были. Донкихоты шестидесятых годов!..

И за годы своего председательства Щедрин смог сделать людям много добра. Воистину много. Но кто способен пом нить добро? Единицы. Счастье, что благодарные люди еще есть. Не вывелись с земли, словно динозавры и мамонты. А все же сегодня именно те, кому вершил он наибольшее добро, за кого хлопотал, вступался, глазом не моргнув, говорят: что Щедрин?

Истеблишмент.

Хорош истеблишмент, когда квартира наша куплена за наши деньги. А «гонимые композиторы» (такова уже повторяемая ныне эхом инерции репутация) получали квартиры, иные блага — бесплатно от Союза композиторов (проклинаемого теперь Союза композиторов). Вот вам правда.

У Щедрина всегда была позиция.

Он осмелился в шестьдесят восьмом году не подписать письма в поддержку ввода советских войск в Чехословакию. Радиостанция «Голос Америки» называла его в числе других отказавшихся смельчаков-писателей Твардовского и Симонова-Щедрин был с первых дней создания членом «Московской трибуны» и Межрегиональной депутатской группы. Того крохотного круга нетрусливых людей, где председательствовали академик Сахаров, Ельцин. Это была политическая позиция Щедрина, его политические убеждения, лицо. Щедрин был в числе открыто сопротивлявшихся режиму. Вот вам правда. Хорош истеблишмент!

А что делали тогда «гонимые композиторы»? Тоже бунтарскую трибуну посещали? Иностранцев от прессы блинами с икрой потчевали да на собственных машинах вместо такси по достопримечательностям Подмосковья транспортировали. Коломенское, Архангельское, Загорск… И нашептывали, нашептывали, что гонимые, мол, непризнанные, незамеченные, неотмеченные…

У нас теперь, кстати говоря, как-то внезапно обнаружилось, что полстраны в диссидентах были. А те, кто на заштатный вопрос интервьюера: «Ваша настольная книга?» — «Сочинения Ленина», — отвечали, теперь только и твердят одно в унисон: «Библия», «Библия»… У, хамелеоны!.. Но это только пока. Это пока лишь модно сие, пока на этой стороне сила. Впрочем, это так… Наблюдение.

Есть на свете несколько простых, веселых сказок гениальных творцов, написанных человечеству в назидание.

Сказки эти куда глубиннее с вое мудрых томов философов. «Сказка о золотой рыбке», «О попе и работнике его Балде» Пушкина. Андерсеновская — «Новое платье короля». Что-то схожее с историей о новом платье происходит и теперь. Но на музыкальный лад. Или мне мерещится?..

Впрочем, не мое дело судить, какой музыке лучше быть. Синей или фиолетовой. Евнуховой или экстатической. Места под солнцем всем хватит. И пишущим, и слушающим. Но доказывай свою правоту в открытом бою — музыкой. А не нашептывай, как бы между делом, между прочим, что «Щедрин советским

начальником был». Чтобы недобросовестные или легковерные люди с заполитизированными мозгами могли навет тиражировать. По музыке судите, не желающие мыслить самостоятельно люди, лишь по музыке. Не по ярлыкам ущербных (если этим заняты) коллег, завистников, тонких ценителей гениальной россиниевской арии о клевете. Да, в яблоню без яблок камней не кидают…

А еще туда же и «гонимый режиссер» Юрий Любимов, дружбу с коммунистическими главарями водивший, сам в партии состоявший, в клубе НКВД усердно служивший, почетные коммунячьи звания получавший, в любимом Сталиным фильме «Кубанские казаки» в главной роли фиглярничавший… Но теперь ретиво выдает подзатыльники направо-налево. Он-де, дескать, один сознательный борец за правду-матушку был. Другие все «прихвостни»…

Есть у Щедрина оригинальное симфоническое сочинение. Называется оно «Автопортрет». Посвящено самому себе (так помечена начальная страница). Год написания — 1984-й. До перестройки! До начала еще пробуждения от летаргического семидесятилетнего сна — это сейчас все смелыми, независимыми стали… Я хочу, чтобы вы услышали эту партитуру. Потому, что исповедь это. Музыкальная исповедь. И если не глухи вы, то разберетесь третейски сами — кто есть Щедрин, во что он тогда веровал, что ненавидел. Это так просто — послушайте!..

Я печалюсь, что спутал сегодня намеренно кто-то правду с ложью. Что сместились в иных головах сегодня акценты истины. Через поколение или два, в том сомнений не может быть, все разложится по своим полочкам, как кому было Богом отпущено. По мере таланта, не по мере политики.

Как поэт сказал:

Открыть хотя б один бы глаз,
Взглянуть хотя б один бы раз,
Что станет после нас…
Какие платья будут шить,
Кому в ладоши станут бить?..

Глава 45
РАБОТА В ИТАЛИИ

Дежурная у лифта нашего дома на Горького — у французов есть красивое слово «консьержка» — до того круглолицая, что каждый раз навязчиво мелькает сравнение, будто природа обвела ее физиономию циркулем, приветливая, вкрадчивая Вера Дмитриевна озабоченно поднимается со своего дежурного стула мне навстречу:

— Пока вас, Майя Михайловна, дома не было, почтальонка принесла телеграмму. И-но-странную. Из Рима. Я приняла. Вот.

Вера Дмитриевна была самая прилежная из дежурных нашего подъезда и всегда приходила в заметное возбуждение и покрывалась пунцовыми пятнами, если что-то связывалось с иностранцами в ее дежурство…

Затворив за собой дверь квартиры, я взглянула в иностранное послание. Телеграмма, похоже, по-итальянски, и, кроме города отправления и подписи отправителя, разобрать ничего не смогла. Подпись стояла, как я прочла, громкая: Антониони. Неужто я спонадобилась знаменитому кинорежиссеру? Ишь ты! Лишь позже, усилиями всех домочадцев, было прочтено: Антиньяни, директор оперы города Рима. Но как римский директор смог узнать мой московский адрес?..

В тексте, что мне перевели друзья, содержалось приглашение «прибыть в город Рим на предмет обсуждения возможности занять пост художественного руководителя балетной труппы римской оперы»… «Копия приглашения отправлена и в Госконцерт СССР»…

Все разъяснилось после звонка Паолы Белли, солистки римского балета, проходившей стажировку в Москве. Это она дала мои координаты в Рим:

— Соглашайтесь. Приезжайте. Будет интересно.

Но Госконцерт?..

Антиньяни уже говорил с депутатом парламента Корги, председателем общества Италия-СССР. Тот тоже послал приглашение. Нашему Корги ваш Госконцерт не откажет.

Паола, несмотря на молодость лет, была зрело умна и сообразительна. Позже она стала женой нашего виртуозного танцовщика Володи Деревянко и лихо сумела транспортировать его на Запад-Год на календаре стоял 1983-й. Подобное предложение из Рима было еще в диковину. Без Министерства культуры никуда не выедешь. И я принялась обивать пороги

начальничков и начальниц.

На вершине пирамиды моих препятствий восседал заместитель министра Иванов. Тот самый, кто еще недавно был директором Большого и хорошо сумел помузицировать на моих нервах…

Я обещала рассказать о нем. Что ж, послушайте. Иванов — это была машина, злая машина, у которой не работал задний ход. Козлиное упрямство, амбиции, божья непогрешимость, самодовольство ясно читались в его облике. Не повстречала я за целую жизнь людей, чья внешность не соответствовала бы чертам характера! Лицо все выболтает о своем владельце. Нос, уши, брови, ноздри, скулы, линия рта, родинки, зубы, морщины — все доносчики о своем хозяине-распорядителе. А глаза, кристаллики зрачков — то просто уж предатели-осведомители. Если вдруг задумают невесть с чего водрузить монумент чиновнику-бюрократу — вот вам натура, месье родены, товарищи шадры…

Вдруг меня попрекнут — ну зачем так, скажут, зачем столько о своих обидчиках из прошлого? Не поминайте зла, по-христиански прощайте. А зачем Микеланджело на фресках Сикстинской капеллы изобразил — и пристрастно — своих неприятелей, своих врагов? Раны со временем подживают, но рубцы от них остаются…

Мой более чем полуторагодовой роман с римской оперой весь был поединок балерины с высокопоставленным чинушей. Потому и начинаю свою итальянскую главу с Иванова.

После того как господин Корги убедил советского посла в Италии Лунькова поддержать без колебаний римское предложение, что тот энергично и сделал, Иванов решил загнать меня в финансовый тупик. Ничего, мол, Плисецкая сама откажется.

А было с чего отказаться. Министерство положило мне 18 долларов в сутки — на все про все. Остальное, что платила по договору опера, прямиком уходило в советскую казну. Театр должен был согласно ивановскому контракту переводить все суммы в советское посольство в Италии. А те выдавали мне на руки по 18 долларов в день (объективности ради отмечу, что к концу моей римской эпопеи, после моих письменных протестов, суточные балерины Плисецкой были удвоены — 36 долларов).

Итальянцы обязаны были платить за меня Советам все 12 месяцев в году. А я имела право на суточные лишь в дни своих приездов в римскую оперу. Хороши условия?.. И действовало еще — жестко действовало — правило «Девяноста дней». Советский артист не имел права находиться за границей в течение года более девяноста дней. А то, гляди, привыкнет к вольному ветру

Запада… Цифры дней пребывания складывались, и их сумма не должна была превышать числа 90. Летая в Рим, мне следовало ограничить мои другие по-ездки. Ну как тут самой не отказаться?..

Я не отказалась. Руководство собственной труппой — это так интересно, так внове, так увлекательно.

Я жила в доме у Паолы, и она возила меня на своей совсем крохотной, жучкообразной машинке в театр и обратно, в театр и обратно.

Для летнего фестиваля в Терме-Каракалла я принялась за «Раймонду».

Терме-Каракалла — это просторнейшая, прокаленная жгучим солнцем театральная площадка для римлян и, главное, для запруживающих в это время года столицу ненасытных туристов. Огромное сценическое пространство, которому от роду восемнадцать столетий, — под ночным бархатно иссиним итальянским небом, под бликующими от бесчисленных огней вечного города звездами, под Млечным Путем — ясным и ярким, как страница в астрономическом атласе.

Я почти ко всему, на горе свое, смогла привыкнуть в печальной России. Со многим умудрилась смириться. Но к холоду, зяби московских вечеров привыкнуть так и не смогла. Какая роскошь — жаркие ночи, когда в каждую пору твою проникает тепло, разливается по всему телу, наполняет все существо ликованием, восторгом, негою. Это — Терме-Каракалла!.. Три тенора-чемпиона бельканто — Паваротти, Доминго, Каррерас — именно тут, в Терме, явили миру свое голосистое супершоу. Климат для теноров здесь самый что ни на есть подходящий!..

Но как мне вписать в древнюю арену наивный, но вполне туманный сюжет «Раймонды»? Разыгрывать его вроде всерьез?..

Мой замысел заключался в вынесении сюжета как бы за скобки. Перед началом каждого акта в немых картинах я давала лишь контуры, наметки сюжета: рыцарь Де-Бриен отправляется в поход, прощание с Раймондой, нашествие сарацин, пленение, домогательства Абдерахмана, вестник — дама в белом, возвращение Де-Бриена, поединок, свадьба, счастливый апофеоз…

…Говорят, что в кафе прямо напротив «Ла Скала» так и стоит больше века нераскупоренная бутыль вина, обещанная давним владельцем кафе тому умнице, кто сможет толково перерассказать сюжет вердиевского «Трубадура». А не пообещать ли и мне дюжину нашенской водки мудрецу тому, который членораздельно объяснит нам содержание «РаймонДЫ»?

Музыка Глазунова так чиста, лирична, дансантна, что хочется ее просто танцевать, танцевать. Танцевать без потуг на строгое следование предложенному замечательным композитором путаному либретто. Может, что не то, не так было, но натанцевалась моя труппа в «Раймонде» всласть. Я передала кое-какие сольные вариации двойкам, тройкам, четверкам солистов, чтобы занять в представлении всех.

Исполнительниц самой Раймонды было три. Особенно самозабвенно, технично и изящно вела партию Маргарита Парилла. Ей моя интерпретация балета пришлась явно по нутру. Когда после премьеры (это было 20 августа 1984 года) я обняла ее и с искренностью похвалила, она так расчувствовалась, что внезапно отдала мне свой плащ. Почему в эту неисповедимую жару Маргарита пришла в плаще — кто бы мне ответил?..

На премьеру, для финального выхода на публику, я надела вечернее платье, сшитое и подаренное мне к этому случаю княгиней Ириной Голицыной. Платье было роскошное, пышное, все словно из газовых розово-золотых шарфов, шалей. К ночи на Каракаллах всегда поднимается ласкающий ветерок. И Ирина это хорошо знала. Тогда мое шалевое платье начинало жить своею собственною жизнью. Может, расслышала княгиня Голицына вещие слова Марины Цветаевой, что красиво на женщине лишь то, что летит на ветру?..

Надевать на дышащее платье Маргаритин плащ мне сильно не хотелось. Мы совали его из рук в руки и в конце концов оставили, как бы невзначай, в артистической. Все же утром Маргаритин плащ настиг-таки меня в квартире Паолы. Итальянки — сродни грузинкам!..

Пригласила я на постановки и иных хореографов. «Петрушку» поставил Николай Березов, отец Светланы, в лондонской квартире которой мы впервые тайно свиделись с Руди Нуриевым после его бегства на Запад. Березов славился необыкновенной памятью. Это был как бы одушевленный видеомагнитофон. Он не просто показал труппе фокинскую версию балета Стравинского, но и занятно прокомментировал множество движений: такой-то добавлял здесь субрессо, такая-то любила задержаться в выворотном пассе… Преклонный возраст никак не лимитировал желания и возможности Березова проделать каждое «па» самому. Вот она, закваска старой школы. Труппе Березов понравился.

«Федру» на сцену римской оперы перенес Жан Сарелли. Он долгие годы работал с Сержем Лифарем и знал почти весь его репертуар назубок. В балетном мире Сарелли числили ближайшим доверенным лицом Лифаря. Канонический текст «Федры» был сохранен в строгой неприкосновенности.

Однако при первой же встрече Сергей Михайлович приветствовал меня прохладнее обычного. Это еще с чего?

Почему, Майя, Вы не пригласили меня самого на постановку моей собственной «Федры»? Я знаю балет не хуже Сарелли.

Но я думала, что Вам некогда. Вы занятой человек.

Для своего любимого чада я всегда выкрою время. Запомните сие на будущее.

Балет «Лебиш» (музыка Пуленка), которым прославилась в начале двадцатых годов Бронислава Нижинская — сестра легендарного Вацлава, поставила ее дочь Ирина. Она безраздельно отдала свою жизнь творениям матери. Меня еще раз поразило, как современно, дерзко-атакующе был сочинен балет еще аж в 1923 году. Нещадно расточительно обошлась Россия со своими колумбами, Магелланами…

Другие постановки в тот сезон осуществили Брянцев, Альберто Алонсо. Я перенесла в оперу еще и бежаровскую «Айседору». Не такой уж бездеятельный год прожила со мной балетная труппа римской оперы.

Следующим по моему плану был «Щелкунчик». Этот балет на Западе принято давать к Рождеству. Рождественская история — елка, гости, подарки, новогодние сновидения.

Я договорилась с Ириной Колпаковой, что она возьмет на себя осуществление этой постановки. Вайноненский «Щелкунчик» издавна шел в Мариинке, и Колпакова много его танцевала. У меня же осень отведена на премьеру «Дамы с собачкой». И выездные «90 дней» мною уже полностью исчерпаны. Итальянцы согласились. Колпакова тоже. Сроки всем подходят. Все складывается отлично.

До Рождества еще далеко, но… мне снится пугающий сон.

На сцене римской оперы долгожданная премьера «Щелкунчика». Я в ложе в новом голицынском платье. Рядом Ира Колпакова. И на ней роскошное платье тоже, верно, от Голицыной. В волосах искрящиеся снежинки. Маша — кажется, это Маргарита Парилла — танцует необыкновенно хорошо. Получает в подарок куклу-щелкунчика. Публика очарована. В музыке тревога. Дьявольские тремоло, крещендо. Елка вырастает до гигантских размеров. Мне страшно. Сейчас выход Короля мышей. Кто его танцует? И… о ужас, на сцену в большом жете впрыгивает Георгий Александрович Иванов. Он в облегающем балетном трико, в балетных туфлях с розовыми тесемками. Но голова без привычной мышьей маски. Лысая, круглая, серьезная, совсем без грима; Точно такая, как в своем кабинете в Министерстве культуры. Публика недоумевает. Вскакивает с мест. Протестующие крики на итальянском. Иванов прекращает

танец и выходит на рампу. Складывает пальцы рупором:

— Синьоры, я здесь перед вами, чтобы не допустить тлетворных влияний Запада на наш великий русский советский балет…

Кто-то из партера метко кидает в него спелым помидором. Иванов не успевает увернуться. Я явственно слышу звук лопающегося овоща об аккуратно выбритую щеку товарища замминистра. Этот звук меня будит. Просыпаюсь. Щедрин приподнимается с подушки:

— Что, сон плохой приснился?

— Иванов сорвет мне «Щелкунчика»…

В руку был сон. Началась гнусная, тягомотная волокита с оформлением Колпаковой на поездку в Рим.

Ну за что можно зацепиться? К чему придраться? Чайковский. «Щелкунчик». Классическая постановка Вайнонена. Колпакова — Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР. Прима Мариинки. Выездные дни у нее в резерве еще есть. Казна получит с римской оперы свободно конвертируемую деньгу. Неужто просто месть? Мне месть? Что не пресмыкаюсь, не лизоблюдствую?..

У наших нелицеприятных взаимоотношений с товарищем Ивановым за спиною целая история. Плохая история. Моя собственная маленькая повесть о капитане Копейкине.

Пиком схватки с Ивановым был 1978 год.

Мой творческий вечер в Большом. 35 лет, как я на его сцене танцую.

Повсеместно принято, что юбилярша сама называет программу. Лучшее из прежнего репертуара и что-то совсем новое. Так заведено. Вот мой проект: второй акт «Лебединого озера» и бежаровские «Айседора» и «Болеро». В Москве — вообще в советской стране — моего «Болеро» еще не видели. Хотя партию «аккомпанемента» наши московские танцо ры знают. Для недавних австралийских гастролей по желанию импресарио Майкла Эджли в Сидней прилетал солист бежаровской труппы Петр Нарделли. И за несколько дней разучил с нашими мужчинами всю партию. Шесть раз мы станцевали «Болеро» в Австралии. Эджли не просчитался — оно имело успех. Впрочем, шло «Болеро» в Австралии, естественно, тайно, без разрешения Москвы.

Репы пареной проще догадаться, что директор театра Иванов не пропускает на сцену Большого «Болеро».

Станцуйте что-то другое.

Зачем другое?

Москвичам это чуждо.

Мой вечер. В мою честь.

В театре нет стола.

Стоимость постройки стола для моего танца я оплачу из своего кармана.

«Болеро» Бежара на сцене Большого театра идти не может.

Почему?

Исполните вместо «Кармен-сюиту». Вы же ее, кажется, любите?

Но я хочу в свой юбилей станцевать что-то новое. То, что я хочу.

Достаточно «Айседоры».

«Айседору» Москва видела.

«Болеро» Бежара на сцене Большого театра идти не может. И не пойдет!

Но почему?..

На наш диалог с Ивановым не хватит писчей бумаги.

Коли Иванов сказал «нет», значит, «нет» и будет. Задняя скорость в его круглой, серьезной голове не включается. Сломана. Упрям товарищ Иванов, до патологии упрям.

Через Петра Хомутова, теперешнего директора нашего балета (он бывший танцовщик), выясняю истинную причину столь категорического запрета на «Болеро»: «Этот разнузданный порнографический балет модерниста Бежара со сцены Большого театра показывать публике нельзя. Полуголая женщина на столе и мужики-ротозеи вокруг. Стриптиз какойто! «Болеро» для «Фоли Бержера» и «Мулен Ружа», но никак не для Большого. Пока я директор, я не дам осквернить наш храм искусства»… Приблизительно так звучали ивановские доводы в доверительном пересказе Хомутова.

А разве Иванов живьем «Болеро» видел? — недоумеваю.

Вряд ли. Но кто-то из ездивших с вами в Австралию написал ему докладную записку. И фотографии приложил.

Кто же это такой неленивый? Из танцоров? Мне аккомпанировавших?..

Не спрашивайте, Майечка. Этого я вам сказать не могу, — отвечал Хомутов.

Я ломилась во многие двери. Но всюду меня поджидал непреклонный отказ. После я выяснила, что Иванов заручился поддержкой своему мракобесию у Зимянина, секретаря ЦК КПСС по идеологии. Значит, все пути были мне перекрыты. Тупик. Надо было либо до конца стоять на своем и отменить юбилейный вечер, либо заменить «Болеро» «Кармен-сюитой». Я тянула с решением. Дни убегали. Дата концерта устрашающе приближалась. Театр замер в напряжении — чем у Плисецкой

юбилей закончится?..

Но выход все же нашелся. Кто в иерархии Системы выше Зимянина? Только Брежнев. Надо добраться до него. Или — до одного из его ближайших помощников.

Ценою неимоверных усилий удается встретиться с Андреем Михайловичем Александровым. Он — как бы правая рука Брежнева. Профессиональный политик. Человек достаточно образованный, знавший иностранные языки. Ему не пришлось, а это редкость, объяснять, что такое «Болеро», кто такой Морис Равель и при чем тут Морис Бежар…

Помогли мне — вот когда формула Игоря Моисеева сработала — и иностранные журналисты. Из театра в преддверии моего юбилея завеяло «запахом жареного», и журналисты активно стали домогаться интервью со мной. А телефон-то прослушивают… Это уже чистая политика.

Но главной силой, поколебавшей дремучий тандем Иванов-Зимянин, был, повторю, Александров. Со слов его дополню — Александров говорил о моем отчаянии Брежневу, тот что-то промямлил доброжелательное в ответ, и Александров получил основание сослаться на авторитет первого официального лица страны.

Я станцевала «Болеро»! И мой истязатель Иванов добрую неделю ходил по театру с пепельно-фиолетовым лицом утопленника. Крушение. Погребение Помпеи. Гибель «Титаника». Плисецкая подрывает основы устоев советского государства. Разве мог товарищ Иванов позабыть свое бесславное поражение, свой позор? Ведь моя схватка с ним шла на глазах всего театра.

И вот ныне матч-реванш. Вот чем провинился «Щелкунчик». Вот чем негож Петр Ильич Чайковский. Вот почему неприемлема Ирина Колпакова. Вот объяснение, сокрытый смысл происходящего…

Что ж, увы. Победил в этот раз Иванов. Я проиграла. Сорвал-таки «Щелкунчика». Не поехала в Рим Колпакова.

Ну, а римский театр? Уже реклама дана. Менять объявленный репертуар поздно. Абонементы на рождественские спектакли проданы. Детишкам мамы-римлянки рождественскую сказку в римской опере наобещали… Хочешь не хочешь, из-под земли извлекай «Щелкунчика», синьор Антиньяни, директор оперы города Рима. Пригласили балетмейстера из Праги. Как пожарника на пожар. Не из Санкт-Петербурга…

Да еще потеря. Приказал Иванов только телевидению (а он до театра там хорошо руководил) размагнитить пленку моего удачного, на нерве «Болеро». Вот и исчезло оно. Кануло в вечность. Жаль! А то, не дай Бог, сунут нерадивые работнички

мой вечер в эфир, и погибнет в одночасье советская страна от порнографических фантазий Бежара.

Устал римский театр от меня. От неопределенности, зыбкости: приеду-не приеду, пустят-не пустят, можно-нельзя. Гадай на ромашке. Но мой контракт с Римом впрямую расторгнут так и не был. Просто замолкло все как-то, застыло. Даже финансовые расчеты застопорились. Вот уж и, кстати, опять о них.

Когда я сама танцевала Айседору, Федру, театр платил мне гонорар отдельно. Как исполнительнице. Но опять же через Госконцерт. Тремя годами позже, я уже тогда работала в Мадриде, перестроечный журнал «Огонек» достаточно неуклюже выступил в мою защиту. От Иванова? От рабской Системы? И разразился пространной статьей М.Корчагина «Плисецкие миллионы» (июль, 1988 год). Несведущему все в статье было неясно, туманно. Улавливался лишь защитительный пафос и трескучий заголовок о миллионах.

Когда Миша Барышников прочел огоньковскую статью, то с тяжкой мрачностью сказал мне какое счастье, что меня там нет…

Появление сенсационной статьи в «Огоньке» было для меня полной неожиданностью, но я никак не была удовлетворена ее содержанием. Тотчас я написала письмо главному редактору журнала Виталию Коротичу. Он, как истинное дитя перестройки, гуттаперчиво старался усидеть на двух стульях, не ставить точек над i. Скажу резче — Коротич был смелый трус.

Мое письмо печатать не стали. Остереглись — Иванов все еще правил свой дьявольский бал в культуре И ограничились, опять же, уклончивым итожащим комментарием редакции по читательским письмам. Копия письма Коротичу у меня сохранилась, и я хочу представить ее тебе, мой читатель. Достоверность, подлинность наилучшим образом смогут прояснить хитросплетения произошедшего. Перенесись лишь на несколько лет назад. Вот это письмо. Может, мелкий шрифт смирит тебя с его протяженностью:

> Уважаемый тов. редактор, в статье М.Корчагина в № 31 «Плисецкие миллионы» упущены детали, составляющие смысл сюжета дела.
>
> 1. Речь идет о моей заработной плате — о плате за мою работу, — и о поборах, другого слова не подберу, Госконцерта. За долгое время своих зарубежных гастролей я сдала советскому государству свыше двух миллионов долларов. Вот где миллионы! Продолжаю это делать и поныне: моя зарплата в качестве

художественного директора Национального балета Испании составляет на сегодня 7500 американских долларов в месяц. Госконцерт «ссужает меня» суточными — день приезда, день отъезда, пересечение границы и т. д. Средневековая кабала, да и только. Или вот пропорция. За трехминутное выступление на телевидении мне платили 10 ООО долларов нетто. Госконцерт милостиво разрешает мне взять себе 160 долларов. При этом я должна привозить море бумажек, копий, заверенных счетов, квитанций, вплоть до справки из Мадридского банка — каков биржевой курс американского доллара в день получения своей собственной зарплаты-. От запроса этих бумаг у нормальных людей глаза на лоб лезут!.. Я не говорю уже о провозе через государственные иностранные границы целых саквояжей денег, подлежащих сдаче в Госконцерт, что карается законами, например, Франции, Италии, Испании,-

Никакого подобия стабильности моего крепостного оброка нет и в помине. Каждый раз сумма, надлежащая к сдаче, варьируется (а для иных артистов, например, пианист Андрей Гав рилов, закон поборов вообще отменен). Так было и в этот «итальянский» раз. Через несколько месяцев после моего расчета с бухгалтерией Госконцерта сумма задним числом внезапно была названа иная, большая. Я бурно среагировала. Тогда сумма стала принимать «карательные», угрожающие размеры — согнем в рог бараний, в порошок сотрем; почтальоны стали носить повестки…

Шесть раз на протяжении года госконцертовцы определяли шесть разных сумм — с 2000 долларов до 9000 и обратно… Вот так. Я сама наблюдала, как в недалекие былые времена проворные директора и их многочисленные заместители умудрялись заключать на меня с одним импресарио по два равноплатежных договора. Один официальный, другой тайный, и клали внушительные суммы в тысячах долларов на моих глазах себе в карманы, правда, справедливости ради, замечу, свойски деля добычу между собой и выше. (Когда я говорила об этом во всеуслышание, и замминистрам культуры тоже, все лишь потупляли глаза свои, никак не реагировали-.) Какие они дали мне основания уверовать в их точность, порядочность и честность?

Итальянские миллионы звучат звонка Но… 1

доллар, т. е. 67 копеек, на сегодня равен 1200 итальянских лир. Подсчитайте, нынешние итальянские миллионы сродни нашим нэповским — один звук. Но запутать доверчивого человека сладко.

Сама история вопроса. Мой трехлетний контракт с римской оперой после почти двух лет работы официально расторгнут не был. Просто бывший заместитель министра культуры СССР т. Иванов Г.А., курировавший Госконцерт, не пожелал «оформить» — у него на все были свои «государственные» соображения — на новогоднюю постановку «Щелкунчика» в Риме Героя Социалистического Труда, народную артистку СССР Ирину Колпакову, что было заранее обговорено и намечено планом работы оперы (я была занята в Москве постановкой «Дамы с собачкой»). Никакие десятки звонков, ни обращения к здравому смыслу, ни оставленные безо всякого ответа 11 панических телеграмм римлян, ни разговор самой И.Кол паковой с П.Н.Демичевым не возымели действия, вершитель судеб наших товарищ Иванов был непреклонен. Время уходила Не получив совершенно никакого ответа из Министерства культуры и Госконцерта, римляне вынуждены были пригласить на постановку «Щелкунчика» хореографа из другой страны. Контакты прекратились сами собой… К слову говоря, я тоже каждый раз «оформлялась» со скандалом и скрипом, с нервотрепкой до последнего часа, всякий раз держа в напряженном ожидании многочисленную римскую труппу — приедет или нет.

Если же действительно произошла путаница с расчетом, — в чем у меня и по сей день сомнения: факты — что восковой нос, куда повернешь, туда и смотрят, — то произошла она по вине т. Иванова Г А. Он автор сумятицы, он пускай и расхлебывает, и расплачивается… Почему высокий функционер не должен быть ответственен за свои поступки?

Последнее; печатая сенсационную статью, мне кажется, этически следовало бы ее предварительно показать герою повествования. Журналист — человек сторонний и вникнуть во все головоломные тонкости нашей многострадальной госконцертовской казуистики не сумел. Я благодарна Вашему журналу за желание встать на мою защиту, но лучше было это делать не в лихом жанре детектива, а со скрупулезной точностью

документа в тоне скорбной летописной повести временных лет.

С уважением

Майя Плисецкая, 28 августа 1988 г.

Но итальянцы не забыли моей краткой работы в римской опере. В 1989 году мне вручили в Риме вместе с Ленни Бернстайном престижную премию искусств «ВИА КОНДОТТИ». Приветствовавшие добрым словом поминали мой недолгий труд с итальянскими танцорами. Наверное, как обычно бывает, преувеличили, «подсластили» мои заслуги. А может, и впрямь я что-то смогла дать людям вечного города?..

Я вновь ступала по бурлящим улицам, подставляя лицо горячему римскому солнцу. Кроны пиний чертили на теплой земле диковинные тени. Был июнь. Знакомыми проулками добрела к пузатому зданию своей оперы. Уж хотела войти. Но что-то совсем глубинное, с привкусом горечи, остановило, удержало. Здесь у меня было столько надежд и планов, столько планов и надежд. Но я транжирила свою энергию на глупые, несуразные баталии с московским монстром. Ничто в тот момент не казалось мне серьезнее, значительнее. Какое идиотство!..

Тогда я заглянула в знакомый ресторанчик, что в пятидесяти шагах от моего театра. Хозяин тотчас признал меня: о, синьора Майя. Последовал поток слов, сопровождавшихся разгоряченной итальянской жестикуляцией. Волшебный язык. Уселась — посетителей почти не было — за столик у окна, где обычно перекусывала в перерывах репетиций неизменной мацареллой с томатами. Через минуту хозяин уже ставил передо мной привычное блюдо, даже не спросив на то моего желания. А может, в потоке слов вопрос и был?.. От тарелки исходил резкий запах свежайшего базилика.

Пожалуйста, «сатрап».

Один момент, синьора Майя.

Глоток горько-сладкого, красно-гранатового напитка. Ой как вкусно…

Разве жизнь не прекрасна, люди?..

Глава 46
РАБОТА В ИСПАНИИ

В мою молодость и даже позже Испания — для граждан Страны Советов — как бы не существовала на белом свете вовсе. Не было такой страны. Иногда лишь в газете «Правда» на последней странице известные художники Кукрыниксы малевали крошечного испанского человечка-лилипута с курчавыми волосами, неряшливо лезшими из-под ермолки пирожком, с огромным носом-крючком, в военном френче и со здоровым топорищем, с которого ручьем лилась кровь безвинных пролетарских трудящихся. Человечек-лилипут обычно стоял по колено в крови на бесчисленных трупах своих убиенных жертв. Это был, конечно, вы догадались, Франко-поджигатель, разжигатель войны. Изо рта генералиссимуса обязательно вылетала какая-нибудь человеконенавистническая, людоедская реплика. Вот и все, что мы могли знать об Испании…

Нынче в моде вера в многократное пребывание на земле. Кто, сильно напрягшись, вспоминает, что жил однажды китайским кули, борзой собакой, лесным ландышем, беглым австралийским каторжником. Моя добрая знакомая, известная голливудская актриса, уверяет меня, что была когда-то русской княжною, а затем японской гейшей. Я ей не возражаю. Может, она и впрямь была, всех обскакала. Но себя я в вековом прошлом вспомнить никак не могу. Впрочем… Откуда у меня такая страсть к Испании? Всему испанскому — фламенко, корриде, гребням, цветку в волосах, мантильям, монистам? Ничего определенного. Но какая-то тайная связь между нами есть. Все же есть…

Я упоенно наслаждалась в танце лопедевеговской Лауренсией, сервантесовской Дульцинеей-Китри, испанскими танцами Касьяна Голейзовского. Шла напролом со своей Кармен. Совпадение или судьба?..

Несколько раз, уже когда очертания Испании вновь, как на переводной картинке, начали проявляться для очей граждан Страны Советов на карте Европы, меня стали звать туда, слать приглашения. Но о них, посланных на мое имя в адрес Госконцерта, я либо узнавала с непростительным, безнадежным опозданием, либо не узнавала вовсе. И только теперь с прискорбием читаю пожухшие копии тогдашних телексов. И все-таки дважды я встречаюсь с Испанией, с испанской публикой. Я выезжаю на свою «Анну» и «Кармен» с одесским театром. А потом с частью расколовшейся — но об этом позже — труппы Большого.

Теперь с Большим — «Чайка», «Дама с собачкой» (это полные спектакли) и сольные номера: «Гибель розы», «Айседора», «Лебедь». И вновь, во второй раз — «Кармен-сюита». Мой испанский балет прошел в Испании успешно и был, хочу с гордостью подчеркнуть это, главной причиной повторного приглашения.

Показывать Испанию испанцам — один страх. Сколько раз мы морщились, сквернословили, когда иностранцы изображали нам на сцене российскую жизнь.

Перед первой «Кармен» я так волновалась, что попросила у портнихи настоя пустырника — случай для меня не типичный. Но когда в самом конце на мои финальные поклоны мадридский зал стоя скандировал «оле», глаза мои увлажнились…

А потом в Москву приехал заместитель министра культуры Испании сеньор Гарридо. Классическая труппа национального балета Мадрида осталась в тот год без руководителя, и было решено предложить этот пост мне. Коли соглашусь (разве это мне неинтересно будет?..).

Гарридо пришел к нам домой на Горького, сопровождаемый прямодушным, исполнительным Сережей Селивановым, курировавшим тогда в Госконцерте испаноязычные страны.

Уже второй год перестройки. И дело сладилось быстро. Вот контракт уже подписан. Госконцерт вручает мне памятку с его условиями (все опять Госконцерту, мне — фига на постном масле — суточные). Днями надо лететь в Мадрид.

Аэропорт Барахас. Я не раз видела его в видовых фильмах, фотоальбомах. Но как передашь вкус жаркого, сухого, как в сауне, мадридского воздуха, который, почти обжигая, врывается в твои закондиционированные легкие?.. Вышколенный шофер Карлос распахивает дверцы темно-синего «мерседеса». Путь держим в «Палас-отель».

Отсюда рукой подать до старинного театра Сарсуэла. Там под одной крышей уважительно уживаются — опера, старинная испанская классическая оперетта, балет Национал* де Эспана (фантастическая труппа фламенко) и балет Лирико-Националь. Это уже я. Это — труппа классического балета. Классики у испанцев раньше почти не было, не было и традиций. Труппа совсем молодая. Однако многообещающая. Заметно сразу мне, что все танцоры хотят всерьез работать. Внимательно, поглощенно вслушиваются в каждое замечание, реплику.

С чего же мне лучше начать?

Всегда бездумно повторяла я за людьми, если дело касалось чего-либо запутанного, интрижного: «О, это — тайна мадридского двора». А есть у фразы первоначальный смысл? Почему

мадридского? Мадридский двор то и дело приглашает меня на приемы, пиршества. Поглощая пузырящийся суп из бычьих хвостов, хрустя ароматными салатами с пиньёнес, я никаких таинств вокруг — про себя — не отмечаю. Кругом люди как люди. Милые люди. Но вот в театре…

С первых же дней меня неприметно, но основательно погружают в зыбкое состояние перманентной двадцатичетырехчасовой интриги. Мягко, нежно, преданно, с обезоруживающей откровенностью подводят к собственному вроде бы решению, что солист А. никак не подходит к роли Б. Но солист В. просто появился на земле лишь для того, чтобы станцевать эту партию. Станцует, потрясет мир, а там может и умереть спокойно. Запомнит его человечество. А балерина Г. так стара и совершенно неподходяща для партии Д. (а Г. всего 19 лет), что наша взыскательная критика, больше жизни любящая правду и только правду, будет в шоке до конца своих дней. Тут нужно поставить балерину Е., только Е., никого больше (а Е., между прочим, 27 лет, не ленюсь сравнить цифры). Каждый из моих помощников, а их у меня немало, принимается тихонько, но мощно тянуть одеяло на себя. Меня начинает покачивать, подергивать, потряхивать. Но пока держусь, сопротивляюсь. Хотя вскорости я все же окончательно запутываюсь — кто с кем спит, кто под чьей туфлей, кто с кем состоит в родстве и потому такой несравненный гений… Паутина интриг простирается и на грядущий репертуар. Мне нелегко. А может, это все и есть мадридский двор?..

Но терзают меня интригою мои помощники. Собственно труппа принимает своего нового руководителя сердечно, мне с нею мало забот. Меня понимают. Впрочем, какой-то знаменитый дирижер, кажется, Бруно Вальтер, отметил, что максимум, на что может рассчитывать главный дирижер оркестра, — это благожелательный нейтралитет. Благожелательный нейтралитет ко мне определенно был.

Мы разучили и показали публике балеты Фокина, Баланчина, Бежара, Мендеса, Альберто Алонсо. И старую классику — отдельные акты из «Лебединого», «Раймонды», «Пахиты». И конечно, несколько балетов современных испанских хореографов.

Мое внимание привлекают работы Хосе Гранеро. Его блистательную «Медею» я видела раньше еще в Москве, когда труппа «Балет Националь де Эспана» показала ее на сцене театра Станиславского. Языком фламенко Гранеро смог захватывающе рассказать сюжет древней драмы, отчеканить трагические характеры. Надо обязательно позвать Гранеро в нашу труппу. Он наверняка сможет создать что-то необычное, свежее и на базе

классического танца.

Мы сидим с Гранеро в нашей театральной кантине. Прихлебываем черный, как крыло грача, кофе. Запиваем ледяной мягкой мадридской водой — вода в Мадриде ой какая вкусная. Совсем некстати я заворачиваю разговор к Марии Стюарт. Перечитываю сейчас книгу Цвейга о казненной шотландской королеве, и меня будоражит драма ее жизни и гибели на эшафоте. Но не только это. Меня давно преследует еще сумасшедшая мысль — не Мария ли Стюарт создала великие пьесы, которые человечество приписало перу Шекспира? Гранеро заинтересовывается, но требует доказательств.

— Извольте. Стюарт увлекалась литературой, театром, играла на музыкальных инструментах, в долгом заточении писала дивные сонеты, поэтичные письма, дневники, а может, и пьесы?..

— Но не «Отелло» с «Ромео и Джульеттой»?..

— А почему бы нет? Стюарт бывала в Италии, знала итальянский язык, читала в подлиннике новеллы Банделло. А их сюжеты — это пьесы Шекспира…

— Но Шекспир ознакомился с ними в английском переводе.

— Дудки. При его жизни новеллы Банделло переведены на английский не были. Я останавливалась в Вероне, и никто не убедит меня, что «Ромео» было написано человеком, там никогда не бывшим. Более того, человеком, чья нога даже не ступала на землю Италии. Все знают, что Шекспир ни разу не покидал Англию и не знал языков. Того же итальянского…

Гранеро скептически усмехается.

— Хосе, давайте сделаем о Марии Стюарт балет.

— Ну, балет — это другое дело. Но только с вами в роли Стюарт. Это мое условие.

— Почему бы и нет? А похищенный у Стюарт ларец с пьесами там будет?

— Если так настаиваете — будет.

Уже назавтра я в кабинете директора театра Кампоса — откладывать дела и идеи в долгий ящик для меня всегда мука смертная. Кампос соглашается скорректировать план Сарсуэлы, если я получу в Министерстве культуры на то дополнительные средства. Вера в Гранеро у него тоже есть.

Гарридо идет нам навстречу. И вскоре мы принимаемся за работу.

По-моему, спектакль получился интересный. Музыку на компьютере создали давние соратники Гранеро — Эмилио Де Диего и Виктор Рубио, декорации и костюмы с абсолютным вкусом сочинил Хуто Де Ана — художник, прославившийся в Испании своими постановками опер Вагнера.

А какая была хореография?..

Женский танец весь в шнурованных сандалиях. Пуантов у Гранеро нет. Многое отдано пластике рук. У Марии Стюарт четыре тени, четыре Марии. Мы чередуемся, повторяем танцевальные фразы друг друга, как бы соперничаем. Сказать точно, кто тени есть — затрудняюсь. Тени — вестницы, вестницы трагических событий. Временами — маленький древнегреческий хор, аккомпанирующий действию. Тени: придворные дамы, услужницы королевских покоев, наконец, пряхи-вязальщицы. К концу спектакля их пряжа достигает величины человеческой головы, отрубленной головы Марии. Под звуки электронных лютней и волынок окровавленный клубок пряжи одна из теней швыряет мне под ноги. Я спотыкаюсь о собственную голову. Теперь плаха…

Более всего я любила драматическое чутье Гранеро. Он так умело соединял пестрые кубики действия, чередовал акценты. Елизавету, естественно, танцевала другая балерина (Мабель Кабрера), но и я мгновениями внезапно представала в ее образе. Были хороши все дуэтные танцы и большое па-де-труа. Мужей и любовников у Марии Стюарт было по жизни достаточно, и, следуя исторической правде — простите за неуместное ёрничество, — все лучшие танцоры труппы распределили между собой их роли: Рикардо Франко, Ганс Тино, Мануэль Арма с, Антонио Фернандес, Рауль Тин о.

Но к сольным своим эпизодам у меня были претензии. Видимо, стремясь досконально познать мою данность, Гранеро досыта насмотрелся видеозаписей моих танцев. И потом либо намеренно вмонтировал их мне в свою собственную лексику, либо сделал это бессознательно. От прямого ответа Гранеро ушел. Эти цитаты «из Плисецкой» внесли слегка пестроту и разноголосицу. Но целое, хочу верить, сложилось.

Суровая герцогиня Альба зашла ко мне после спектакля в артистическую с орхидеей невиданной величины и сказала очень строго:

— Сеньора, Мария Стюарт — моя родня, и, если бы Вы только покрутились, попрыгали на пуантах, я через суд запретила бы легковесные балетные эксперименты. Но Вы тронули мое сердце. Это так красиво и трагично.

«Мария Стюарт»… Был 1988 год.

В конце ноября девяносто первого года мой испанский друг Рикардо Куе повез нас в предместье Мадрида на презентацию нового балетного театра Гранеро. Мы долго плутали, часто сбиваясь с пути, по извилистым улочкам притихших пристоличных городков. Наконец из вечерней мги выплыл

освещенный фасад небольшого муниципального театра. У нас это называется районный дворец культуры. Запарковавшись на отдалении — машин с мадридскими номерами было немало, — мы поспешили к театру. На улице промозгло и зябко. На носу декабрь.

В Мадриде жить ни летом, ни зимой невозможно. Летом от зноя, зимой от мокрого холода, продирающего до костей, — поеживается, запахиваясь поглубже в плащ, Рикардо.

Свою новую труппу Гранеро собрал на собственные средства. Для этого ему пришлось не только потратить все свои сбережения, но и влезть в паутину банковских кредитов.

— Если у Хосе не будет успеха — он нищий, — беспокоится Рикардо.

Кто бы из хореографов так еще поступил? Гранеро из племени фанатиков. Его новая работа была, как всегда, неожиданна. Из стиля фламенко он вновь смог извлечь уйму нового. «Гамлет», перенесенный в наши дни, — на языке фламенко. На музыку равелевского «Болеро» Гранеро сочинил своего рода притчу о конце Света. Мне его новый театр пришелся по душе. Но как публика, критика? Я так не хочу, чтобы Хосе Гранеро стал нищим…

Из моих собственных работ припомню две. «Тщетная предосторожность» Гертеля и танцы в опере-балете Пуччини «Ле Билль». Вторая работа была интересна для меня сотрудничеством с Монтсеррат Кабалье. Это Монтсеррат откопала юношескую партитуру Джакомо Пуччини, который сам определил род своего сочинения как опера-балет. Через тире. Значит, мы равны.

Название по-русски звучит что-то вроде «Вилисы». Это как бы второй акт «Жизели», но без первого. Только куда длиннее. Всякая чертовщина в женском царстве Но и мужчины там действуют прытко. Из-за них — догадываетесь? — весь сыр-бор. Впрочем, сюжет вполне может претендовать на вторую бутыль вина в погребке хозяина-меломана кафе возле «Ла Скала».

Пока мы — балет — в лазурных хитонах изображали муки неразделенной любви, ревность, сострадание, певцы во главе с блистательной Кабалье на втором этаже сооруженной на сцене конструкции, в отменно сшитых концертных костюмах, под отлично слаженный оркестр пели про то же. И кстати, пели громко, но… замечательно.

Я слышала, что в дягилевских сезонах на подобный же манер оперы-балета был сделан «Золотой петушок». Не могу судить, как это выглядело. Но в теснейшем синтезе двух искусств что-то взаправду есть…

Приготовили мы «Вилисы» для летнего фестиваля в

Переладе. Перелада расположена в часе езды от Барселоны. Старые замки, постриженные парки, рядом море, знойные ночи. Яйцевидный, богатейший музей Сальвадора Дали в Фигерасе по соседству. Заезжих туристов — невпроворот. В театр на открытом воздухе публика явилась в бело-черных смокингах, в платьях в пол. Аромат духов заполонил всю округу, проник на сцену. Хлопали не скупясь…

Я немного подтрунила над «В или сами», но работа с Кабалье была наслаждением. В знак нашей дружбы Монтсеррат записала для меня фонограмму «Умирающего лебедя» Сен-Санса. Мне приходилось танцевать под соло скрипки, ансамбль виолончелей, флейту, а теперь я «умирала» под пленительный голос Монтсеррат Кабалье.

После премьеры мы отправились с Монтсеррат и ее братом Карлосом, который был продюсером «Виллис», в рыбный ресторанчик отпраздновать рождение спектакля. С нами несколько сегодняшних солистов.

В Испании распорядок жизни таков: работа поутру, затем еда и блаженный трехчасовой перерыв на сон — сиеста. После сна — вновь работа, но не долгая. Спектакли начинаются поздно, по среднеевропейским понятиям — очень поздно. А после — опять еда, смачная, обильная. Рестораны бурлят почти целую ночь напролет. Оттого и днем сиеста. Да нестерпимое летнее пекло донимает. Веселая ночная испанская жизнь!..

Сегодня наше меню — лишь рыба. От совсем крохотных, обжигающих нёбо в полмизинца мальков, сваренных вместе с косточками в благоуханном кипящем оливковом масле, затем другие сорта рыб — с указательный палец, с ладонь, в треть руки, — до зажаренного на вертеле внушительного куска рыбы-деликатеса Сан-Пьетро, который истаивает во рту, словно крем-брюле. Аппетит, разогреваемый благородными винами, раздразнивается до такой степени — не начать ли рыбные кушанья в обратном порядке?.. Испанцы любят и хорошо умеют поесть. И ночь для их желудков самое подходящее время суток. Но для режима балерины — это сущая напасть.

Вместе с труппой я исколесила всю страну. И дальние гастрольные поездки у нас были — Италия, Япония, Израиль, Тайвань. Но то было привычнее, накатаннее, чем выступления в Мурсии, Сан-Себастьяне, Альмерии, Аликанте, Малаге, Валенсии, Севилье, Гранаде, Заморе, Овьедо, Сантадере…

От каждого испанского города в меня западают впечатления. Словно в копилку монеты. Конечно, архитектура. Конечно, горизонты гор. Конечно, необозримые пастбища для быков корриды. Конечно, монастыри. Оливковые угодья. Рощи лимонов.

Дозорные башни древних арабов на побережье Средиземного моря. Последнее жилище Эль Греко в Толедо. Таинственные полотна Веласкеса в Прадо. Двойник фрегата Колумба на рейде Барселоны. Смертельный серпантин горной дороги из Гранады в Альмунекер. И конечно, гении фламенко…

Как захватили меня эти действа! Несколько раз, зная, что я в зале, в публике, звезды фламенко зазывали меня выйти на сцену, вступить в танец. Отказа быть не могло. Я в Испании. Вызов принимаю.

Лусера Тена, с которой меня уже сводила когда-то концертная сцена дворца спорта Парижа — мы обе были приглашены участвовать в юбилейном вечере Пикассо, — танцем вызывает меня на помост. Я встаю и подымаюсь по ступенькам. Звучит музыка — гитары, скрипка, кастаньеты, голоса. Лусера исполняет свой монолог. Замирает. Теперь моя очередь. Фламенко — всегда соревнование, дуэль. Начинаю им провизировать. Ноги чеканят дробь. Руки гнутся в испанистах пор-де-бра — я внимательно смотрела на движения Лусеры, кое-что запомнила… Мой позвоночник тянется, стремясь достичь пуповины. Изображаю надменное лицо. Круг. Повороты. Акценты. Кастаньет у меня нет, но пальцы ведут себя так, словно они есть. Высокие горловые ноты солиста. Про что он поет? Музыка убыстряется. Вихрь движений. Зал вместе со сценой ритмично поддерживает меня хлопками ладоней. Финальная поза. Ух! Неистовство присутствующих…

В шестьдесят четвертом году в ветреных горах Армении, в придорожной закусочной возле озера Севан, шофер перегруженного МАЗа, промочивший пересохшее горло бутылкой пива, начал вести узоры народного армянского танца возле нашего столика. Мы перекусывали там с Щедриным и его другом Арно Бабаджаняном. Я была одна женщина в прокуренной зале закусочной, затерянной в скалах горного перевала, полной проезжих шоферов и прочей дорожной публики. Делать нечего. Я встала, внимательно смотря на все движения моего внезапного кавалера, и начала свой ответный танец. Гомон трапезников, звон посуды, вилок прекратился. Кто-то уже затянул печальную армянскую мелодию. Танец, неведомо откуда, у меня получился. Мой маленький дорожный триумф!.. Дружные крики ободрения. Хмельная шоферня обращается ко мне с поощрениями на армянском. Арно, недоумевая, спрашивает:

— Ты где, Майя-джан, учила наши армянские танцы?..

А в девяносто втором году Лусера Тена заказывает Щедрину концерт для кастаньет. Она не знает, что он мой муж. О Боже, как тесен наш мир! Но Щедрин отказывается. У него много работы…

Вообще ритуал, музыка, театрализованные шествия — в крови у всякого испанца. Буду помнить, как праздновал весь люд крохотного андалузского городка Малага-Велес весеннюю Святую Неделю. Под гипнотический ритм низких барабанов, с тяжелыми — в человеческий рост — деревянными расписными скульптурами Христа и Мадонны на плечах мужское население Малаги-Велеса, разделенное на почти военные сотни — по десять в ряд, — то ли странно маршировало, то ли унисоном танцевало некий хореографический текст. А вослед стройным волнам танцующих, одетых в древние монашьи балахоны с прорезями для глаз, которых с узорчатых балконов дети и старцы засыпали лепестками свежих роз, шли, разбившись на группы, остальные жители городка. И женщины, и мужчины. Они искупали свои прошлые и будущие грехи. Кто босиком по холодной мостовой, а пройти надо замысловатыми кругами весь город, добрых три-четыре часа, кто с цепями, кто с горящей свечой в руке…

А наш друг Хосе Анд ерика, пригласивший на это празднество, человек добрейший, беззлобный, застенчивый, волок следом по камням громадный деревянный крест, взвалив себе на спину его переднюю перекладину. Когда шествие останавливалось — несшим скульптуры следовало передохнуть, — духовой оркестр, сопровождавший процессию, оглушал окрестные улицы медными звуками марша. Но марш был в миноре, с тоскою. Таких печальных маршей я доселе не слыхала.

Вечером следующего дня Хосе Андерика с миловидной женой Кармен (вновь Кармен + Хосе = лкхх›вь) навестили нас в деревушке Маро над Нерхой, где мы остановились.

Ну, что, Пепе, тяжелый был крест? — спросил Родион. (Хосе все друзья ласкательно звали Пепе.)

Да, тяжелый.

Значит, много грехов?

А разве ты безгрешен?

Может, грехи твоего фестиваля?..

Хосе Андерика был руководителем ежегодного фестиваля в сталактитовых пещерах Нерхи — «Куева де Нерха». Я несколько раз танцевала в этом подземном чуде природы, превращенном во вместительный уютный театральный зал. Застывшие века назад в немыслимых, абстрактных рисунках сталактиты, вытканные узорами фантазеркой-природой высоченные своды пещеры, мерная капель, гулко резонирующая в неземном пространстве, создают у участников и у публики настрой таинственности. Здесь играли Ростропович и Менухин, танцевали, пели самые престижные кампании Европы. В Нерхе бывать — в радость.

Но связано у меня с Испанией и недоброе.

Выступления в Бильбао. После последнего мне предстоит дальний вояж, которого я с нетерпением жду. Через несколько дней в Нью-Йорке благотворительный вечер в пользу компании Марты Грехам. У меня в кармане авиабилет Мадрид-Нью-Йорк-Мадрид и американская виза в паспорте. Это приглашение самой Марты Грехам. Она снабдила меня и видеокассетой с записью маленького сольного балета «Фимиам», созданного ее сподвижницей Рут Сен-Дени в 1916 году. В вечере будут танцевать в постановке Грехам еще два танцора из России, два беглеца оттуда — Нуриев и Барышников. Это будет их первое выступление вместе.

Целое лето я терзала себя разучиванием нового балета по видеопленке. Я всегда предпочитала живой показ магнитофонному. Но Грехам обещала мне подшлифовать номер в Америке, когда я туда доберусь.

Звонок. Из Мадрида. Мужской голос по-русски:

— Здравствуйте, Майя Михайловна. Вас беспокоит атташе по культуре советского посольства в Испании. Моя фамилия Пичугин.

Это из-за Америки, вздрагиваю я.

— Здравствуйте.

— Я Вас ни от чего не оторвал?

— Нет. Что-нибудь стряслось?

— Мне надо повидать Вас.

— Если вы хотите говорить со мной о выступлении в Америке, то не тратьте времени понапрасну. Я все равно туда полечу.

— И все же нам нужно встретиться…

Я все равно к Марте Грехам поеду. Чего бы это ни стоило. Но если свяжут, уколют? Зачем так переполошилась — время уже другое. Перестройка. Но от наших посольских можно ждать всякого. После спектакля, а он кончается за полночь, местный импресарио взялся отвезти меня машиной в аэропорт Барахас. Самолет утренний. Путь до Мадрида дальний. Целая ночь. А если импресарио запугают? Ни поездом, ни местным самолетом не успеть туда. Меня охватывает паника. Надо перестраховаться. Кого просить о помощи? Бегло перебираю местных знакомых, говорящих по-русски. И русский язык мне нужен, и автомашина.

«Испанские дети 37-го года», как назывались вывезенные пароходами в Россию в дни гражданской войны дети республиканцев, а потом, как только начала проясняться политическая погода, устремившиеся назад, домой, на Родину, — имелись и здесь, в Бильбао. Но первый же телефонный разговор с

одним из них ввергает меня в смятение. Ответ был: не делайте глупостей, не вздумайте ехать, это опасно, посольские вас и под землей разыщут, смиритесь лучше, я вам помочь не берусь, ввязываться не буду.

И второй разговор — копия. Где же восславленная испанская отвага, идальго? Вся растворилась в советском дерьме и страхе?

Надо искать отпрысков первой эмиграции. Они должны быть посмелее. Но прежде последняя попытка среди «испанских детей». Любительница балета по имени Гарвине (к стыду, фамилию запамятовала, а телефонную книжку, где все было, оставила в такси, все в том же Мадриде, теперь ищи-свищи…). Уже на половине фразы решительно соглашается участвовать в моем непослушании властям.

Мой племянник, Майя, у которого есть машина, он хороший водитель, сможет вас отвезти в Барахас Не переживайте.

Последний день в Бильбао. Никто из посольства не появился. Наверное, отвязались. Пронесло. Уф-ф…

Но не тут-то было. Ровно в полдень консьерж из ресепшен передает трубку Пичугину.

Добрый день. Я внизу, в лобби. Разрешите, Майя Михайловна, подняться?

Хорошенький добрый день!

Мне всегда труднее промолчать, недоговорить, затаиться, чем сказать, выпалить прямо в лицо. Безрассудно это, глупо, но поменять свой характер я не в силах…

Пичугин — растерянный, бледный человек среднего роста, среднего возраста. Вижу, что очень в тягость ему наша беседа. В тягость поручение.

Вы приехали меня отговорить лететь в Америку?

Да.

Это запрещение?

Да.

Но почему? Барышников и Нуриев вместе со мною?

Да.

Но кто вам дал эту команду?

В посольство пришла телеграмма от посла в США Дубинина и из Москвы. Из Министерства культуры. И наш посол в Испании товарищ Романовский тоже категорически возражает.

А где эти телеграммы?

Оставил в Мадриде.

А тогда я вам не верю.

И что же, вы поедете?

Обязательно поеду. Надеюсь, вы не будете меня связывать, делать уколы?

Пичугин совсем теряется. Мне даже становится жалко его.

Но что же я скажу послу?

Скажите, что я — за перестройку, а он — против.

Прямо так и сказать?

Так и скажите.

На землистом лице Пичугина появляются признаки жизни. Он опасливо оглядывает мой гостиничный номер. Бросает кроткий взгляд на потолок. И чуть слышно:

— Ну и правильно, Майя Михайловна. Только…

Моя непокорность на несколько месяцев обошлась мне запретом на упоминание моего имени в советской печати и по телевидению. Пришлось даже писать письмо Горбачеву. А Пичугина, безвинного Пичугина, за то, что не сумел предотвратить «идеологическую диверсию Плисецкой», сняли с работы. Воспользовались его московским отпуском и отправили вослед отпускнику багажом «КАРГО» за казенный посольский счет весь пичугинский испанский скарб. Но об этом я узнала много позже.

Точно восстанавливаю сейчас в памяти по дневнику наш разговор с Пичугиным. Героическая вроде я женщина. Но признаться должна — бил эти дни меня колотун, тряслись мои поджилки, нервничала, дергалась, металась я очень. Трезвонила без конца Щедрину в Тракай — он в тот месяц там был, — советовалась. Трезвонила, чтобы услышать себе в подкрепление в мембране ободряющее — «держись, подстрахуйся машиной, но обязательно поезжай, время на дворе уже другое, не посмеют к тебе силу применить. Побоятся».

И импресарио мой на высоте оказался. А может, его и не трогали? Не спонадобился мне водительский дар племянника Гарвине. Повез меня шофер импресарио ночью из Бильбао в Мадрид. Успела я на самолет. Вовремя.

И писали умницы провидцы-журналисты в американских газетах, как замечательно гладко идет перестройка в Союзе. Танцует Плисецкая как ни в чем не бывало у Марты Грехам с беглецами Барышниковым и Нуриевым. Наступило-де в Империи зла наконец-то солнечное царство свободы и гласности. О наивные! А скольких растрат нервных клеток эта наглядная идиллия перестройки мне стоила! До премьеры — и после. Вспомнить жутко.

Поглядывала я на продававшиеся у театра и в фойе белые кот тоновые майки с четырьмя профилями — Марты, Руди, Миши и мой, совсем как Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин, — и размышляла: не втолковать, не разъяснить никогда американцу, как за безоглядным индивидуальным поступком не стоит обычно

никакая общая политическая установка, линия или чья-то либеральная команда сверху. Рисковые люди перемены делают…

Из Нью-Йорка вернулась я в Испанию.

Тем временем мадридский двор моих помощничков, как мне ни грустно писать об этом, каждое мое отсутствие в Испании пользовал для наращивания, завихрения внутритеатральных интриг и интрижек. Каждый из них, видимо, строил свои расчеты на мой уход из Сарсуэлы и на собственное вхождение в высшую балетную власть в театре. Мое незнание испанского языка облегчало им действия. Как всем правителям на земле — большим и совсем малюсеньким, — мои помощники говорили мне лишь то, что считали нужным сказать. Знакомили с перепиской той, которую хотели до меня донести. Не ставя меня в известность, пользовались, моим именем, когда надо бывало кого-то снять с роли, наказать, не повысить кому-то зарплаты, словом, бяку сделать: это распоряжение Плисецкой, так хочет Плисецкая, Плисецкая поручила мне сказать вам… Плисецкая, Плисецкая… А я ведать не ведала. Иногда, случаем, правда всплывала наружу, оголяла механизм интриги, но чаще такие затеи удавались, работали против меня. Надо было засучив рукава ввязываться в бой, давать отпор, завоевывать союзников, лебезить перед ними. Нет, с тайнами мадридского двора совладать трудно.

Я начала уставать. Мне стало невмоготу быть одной, без Щедрина. Только телефона — мало. Жизнь подводила к тому, что надо расставаться с Испанией. Ну что же, значит, так угодно судьбе.

Мой контракт истекает. Два года подошли к концу. Еще полгода, о которых меня просило Министерство культуры, уже тоже на исходе. Надо собираться…

Но покидать Испанию больно. Это моя страна. «Моя Кармен»!..

Мне жаль расставаться с мадридскими друзьями. Нестерпимо жаль.

Мой верный Рикардо Куе, кристальный человек, стесняющийся говорить о деньгах, гонорарах, расходах, хотя быть менеджером — значит мерить всю жизнь по счету денег… и только.

Мой заботливый, беспокойный Фелипе Кайседо, первоклассный виолончелист, со своей прелестной женой — русской пианисткой Женей. Сколько тысяч раз ты помог мне советами, переговорами, помог с хитрыми испанскими циркулярами, инструкциями, анкетами. А как переводчик? Что бы я без твоего русского делала? Это мое везение, что ты учился в

Ленинграде и одолел наш заковыристый, но такой прекрасный язык. Я полюбила тебя уже даже за то, что ты сказал нам с Родионом однажды, как, играя в оркестре в Сарсуэле «Чио-Чио-сан», всю оперу ждешь последнего, не разрешающего, а вопрошающего аккорда Пуччини…

Мой мадридский спаситель массажист и хиропрактик Хе-сус Абадиа, вызволявший столько раз из каждодневных неурядиц с нашими ломкими балетными ногами…

Тихая, большеглазая Торе Канавате, врачевавшая меня спасительными инъекциями и возившая, как заправский шофер, по замысловатым мадридским маршрутам…

Хирург госпиталя «Рамон» Хавьер Де Ла Серна, изящно и виртуозно, словно Горовиц, делавший мне исцеляющие блокады и не взявший за это с меня ни одной песеты. Гневавшийся, если я заводила разговоры о плате. Он-то понимал в травмах, ибо сын его — известный тореро…

Добрая красавица колдунья-бруха Эсперанса Грасиа, гадавшая мне в наглухо зашторенной комнате при свете красной свечи. Читавшая до ужаса точно мое будущее. Хранившая меня по-испански от дурного глаза, заколдованных чертями предметов, от черной магии…

Распорядительница танцевальной школы, где я могла заниматься и денно и нощно, Анхела Сантос, открывавшая мне безбрежные горизонты бессмертного фламенко…

Мои участливые мадридские подруги — Хулия Милане дель Бош де Кавестани, Мерседес Ольмо, Африка Хусман (уж имена ваши, словно музыка), — как я буду теперь без вас?..

Сеньор Хосе Мануэль Гарридо, веривший всегда в мою хореографическую звезду, приходивший на помощь в решающие моменты моей сарсуэльской службы. Как смутили меня Вы однажды, ставши после моего спектакля на открытом воздухе в маленьком городке Сан-Хавиер (провинция Мурсия) прилюдно на колено с цветами в руках. Вот и есть еще идальго на Пиренейском полуострове…

И Ваше Величество Королева Испании София, Вы были добры и внимательны ко мне…

Я говорю вам всем: прощайте Благодарю. Не поминайте лихом…

Но, может, мы еще свидимся? Так нагадала мне бруха…

Глава 47
ГЛАВА БЕЗ НАЗВАНИЯ

Какое название дать этой главе?.. Рассуждаю вслух (я всегда громко говорю сама с собою вслух — люди, не знающие меня, в сторону шарахаются).

«Не мой Большой театр»? Или: «Как погиб Большой балет»? А может, такое, длинное- «Господа правители, не отдавайте своих внучек и внуков в Большой балет»?..

Предшественником нынешнего худрука или главного балетмейстера, как вам угодно будет, в Большом балете был Леонид Михайлович Лавровский. Был в два захода. Один раз пришили ему какую-то политику — и сняли. Второй — надо уступить место молодому, сказали. Молодому таланту! Нынешний же (бывший талант молодой) уступит свой стул не раньше, чем на тот свет отправится. И не скоро это будет, так как кардиограмма у него, по собственному отзыву, — хорошая.

Но и мой грех тут немалый. Я тоже говорила, горячилась — сколько можно Лавровскому возглавлять Большой балет, шумела. Только теперь поняла. Вечно, оказывается, можно…

Вершину Лавровского — прокофьевский «Ромео и Джульетта» — я много раз сама танцевала. И если хореография балета всегда казалась мне монотонной, не очень интересной, то драматургическая сторона спектакля была слажена заме чательно. Поговаривают теперь, что к драматургии балета приложил свою руку драматический режиссер Сергей Радлов. Но Радлов стал жертвой сталинского террора, и упоминать его имя было попросту запрещено. Однако и другие работы Лавровского не забыты. «Вальпургиева ночь» — танцы в опере Гуно «Фауст» — с успехом идут по миру и поныне Я любила танцевать этот балет и танцевала его бессчетное число раз. В первый американский тур моя вакханка удостоилась, быть может, самых высоких оценок критики и балетной аудитории.

Я упоминаю все это с целью оглянуться назад: что мы имели, но чем удовлетворены не были. Нам хотелось — за всех не скажу, но за себя могу быть уверена — новых идей, новых движений, иных горизонтов.

«Каменный цветок» в Москве не удался. Московские балетоманы были единодушны в оценке. Но вот добрался до Москвы слух, что на сцене Кировского молодой хореограф, сам танцор (в той же «Вальпургиевой» Лавровского он исполнял прыжковую партию Пана), поставил «Цветок» по-своему, очень

танцевально и неожиданно. Охочие до нового стали курсировать в Ленинград и возвращались оттуда полные радужных всплесков: вот какой балет в Москве нужен. Новое имя всегда зажигает энтузиазм среды, и, кто за глаза, кто, повидав спектакль Григоровича, начали кампанию по перенесению балета из Кировского в Большой. Я тоже помогала. Долгие годы такая практика — тот же спектакль в Москве и Ленинграде, в Ленинграде и в Москве — была в ходу.

Итак, постановка ленинградского «Каменного цветка» в Москве наконец началась. Лавровскому вряд ли приятно было, что через каких-то четыре года после малоудачной премьеры его, Лавровского, «Каменного» на той же сцене, в том же театре, — та же труппа, его труппа, он здесь главный, хозяин, — работает над тем же «Каменным цветком» начинающий, еще неизвестный хореограф. Но Лавровский — я только могу предположить, какие кошки скребли у него на душе, — держался достойно, с изящной лояльностью.

В премьерах обоих «Каменных» я участвовала. В обоих танцевала Хозяйку Медной горы. Тоже буду стараться быть лояльной, не с таким, может, только изяществом… Вы уж простите. «Хозяйка» Ленинград ца-два была мне много интереснее. Свежесть танцевальных комбинаций, очевидное спряжение их бажовскому образу верткой ящерки, разнообразие душевных состояний. Меня куда больше увлекла и захватила вторая работа. Новый спектакль был взят на гастроли в американский тур и прошел там хорошо. Я даже послала в Ленинград автору постановки приветственное письмецо, поздравляя его с удачей.

Еще несколько лет понадобилось, прежде чем автор второго «Каменного» пришел в Большой театр в ранге Главного балетмейстера, сменив Леонида Михайловича Лавровского. Это — 1964 год. Уже в этом ранге Григорович переносит из Ленинграда еще один свой удачный спектакль. «Легенду о любви», которую я с удовольствием тоже танцевала и любила. Так дружественно и безоблачно складывались поначалу наши отношения. И по сей день я не меняю своего мнения относительно «Каменного цветка» и «Легенды о любви». Это вершины Григоровича-балетмейстера. Все последующие его спектакли — это моя точка зрения — спуск с горы. Под откос.

Что же явилось — спрашиваю сама себя — главной причиной нашего раздора? Может, древняя банальная театральная историйка — жена солирующая балерина, и, кроме нее, другие танцовщики «хозяину» не нужны? Или — ставка на совсем юных? И я, и даже солисты поколения, следующего за мною, — уже

«ветераны», прошлое, театральная обуза? Тоже противостояние куда как банальное.

Нет. Иное.

За прожитое я много раз видела, какое испытание ставит жизнь, вручая власть человеку. Лишь считанные единицы это испытание преодолевают. Напишу Власть с большой буквы.

Как преображает, уродует, корежит власть людей. Как погружаются они в болотное месиво злопамятства, склок, мстительности, в охотку внимают подхалимам. Властолюбие иссушает создателя, капля за каплей отнимает, разрушает дар к творчеству, мельчит. Вот что постигло Григоровича!

И помножьте все это на власть в тоталитарной системе Маленьких Сталиных выпестовала немало наша рабская, а позже полурабская жизнь.

Строительным материалом советского общества был страх. Это был цемент, цепко державший всю систему. А оснований для страха и у нас, в Большом, было предостаточна.

Вся наша жизнь в театре с конца пятидесятых годов была сведена к заграничным поездкам. Даже нищенские валютные суточные, если танцор бывал сметлив, оборотист, давали возможность купить автомобиль, видеотехнику, пригоже одеться, пристойно кормить семью. Вырваться из коммуналки в отдельную кооперативную квартиру. Разница между рублем и долларом всегда астрономическая была. А не поехал в па ездку, в Москве остался — клади зубы на полку, на себя пеняй, трясись в забитом потными людьми автобусе, выслушивай слезливые попреки жены…

Если Органы тебя не выпускают — это как неизлечимая болезнь, от этого не поправишься. А если только Главному балетмейстеру ты не нужен? Если он тебя в ролях «не видит», из списков в загранпоездку вычеркнул? Постремись ему вовремя увесистый комплимент ввернуть, вчерашней репетицией безудержно восхититься. Между делом, но очень кстати, ворога его по матушке обложи. Путей здесь много. А что, если в быту подсобить? Новую мебель перевезти, машину на техосмотр сгонять, обед для званых гостей приготовить, посуду после помыть?.. Может, смилостивится тогда Главный, гнев на милость сменит, включит в поездку? Вот и режь правду-матку, если ты самопогубитель, самоубийца. Нет, уж пускай кто другой режет, а уж я… Поэтому очень великий у нас художник — Главный балетмейстер, нет ему в Солнечной системе равных. До него белое пятно было, и после него пятно будет. Мечтаю танцевать и буду танцевать лишь его бессмертные балеты. Только на них учишься, только на них вперед несешься…

Заметила я вот какую странную вещь. Ни на что наши карликовые Сталины так падки не были, как на лесть. Откровенную, неприкрытую, махровую лесть. Не от дурости ведь. И ребенку ясно, что подличают, врут, от подхалимства льстят. Но — срабатывает. Слышать, значит, лесть так сладко…

Утверждаю со всей убежденностью, что стержнем жизни Большого балета стали заграничные поездки. Они закабалили, развратили танцоров. В западных труппах тоже поездки, тоже гастроли. Но там не ставится от них на кон вся твоя жизнь, твое существование. Где купить танцовщице из труппы Бежара сапоги, колготки, лифчики — в Брюсселе, Лозанне или Детройте, — какая разница? А ты иди, милая, в Москве купи, да еще на свою нищенскую зарплату в рублях деревянных. Захочешь тогда в Детройт или Брюссель слетать. У нас даже новая премьера оценивалась участниками ее через возможность будущей поездки. Это — наиглавнейшее. Возьмут новый спектакль в поездку — надо участвовать. Интересная премьера. Не возьмут — гиблый спектакль…

Опять, черт возьми, все к политике сводится. Но именно наша советская система, именно она дала Григоровичу возможность поставить труппу Большого театра в полную зависимость от себя. На колени поставить. В страхе держать. А уж он, от безграничной власти пьянея, сумел этим хорошо воспользоваться. Григорович — прямой продукт советской Системы. Поэтому и переродился из сочинителя балетов в диктатора-самодура, крохотного сталинчика. Потому и без меры перелицовывал старые добрые классические балеты, наводя лишь некую легкую ретушь, но не забывая при сем указать свое имя. А потом уж Петипа, Перро, Иванов, Горский… Последний десяток лет и перелицовывать перестал. Просто ничего не делает. Возит по миру давние свои работы. Публике раскланивается, на приемах в смокингах представительствует. И жадно, неуклонно монаршью власть подбирает. Балетная энциклопедия печатается. Кто главный редактор? Григорович. Юбилейная книга о Большом балете выходит. Кто главный редактор? Григорович. Конкурс балета в Москве. Кто председатель жюри? Григорович…

Решился критик Гаевский в своей книге «Дивертисмент» покритиковать Григоровича. Да как он посмел? Если на солнце есть пятна, то на Григоровиче их нет, одно лишь божественное сияние исходит. Тут же в газете «Советская культура» — органе ЦК КПСС — два громобойных подвала, как в сталинские времена, придворного биографа Григоровича Ван слова (того самого, кто в прошлом книгу «Принципы марксистско-ленинской эстетики» состряпал) — идеологическая диверсия, клевета, вылазка. Тотчас

запрещают книгу Раевского. Тираж арестовывают. Редактора книги Никулина с работы снимают. Директору издательства Вишнякову — строгий выговор дают. И это, заметьте, не 1937-й, а 1981 год. Вот почему я Григоровича маленьким Сталиным называю.

По телевидению на всю страну Григорович плаксиво жалуется: давно ничего не ставлю? труппа бездействует? Да мне балетные оппозиционеры работать мешают. В творчество погрузиться не дают…

Ты, Юра, полновластный хозяин труппы в двести с лишним человек. Тысячу репетиций надо — бери, только ставь что-нибудь новое, две тысячи, год работы, два, три, четыре — советское государство за все платит, что хошь делай. Ты ж монарх абсолютный!..

То одну работу во всеуслышание наобещает, то другую. Молчание. Тишь. Будто ослышались люди.

Вот кому действительно работать мешали — не пятерка-шестерка несогласных фимиам курить балетных «оппозиционеров», а все советское государство, так это Шостаковичу, Ахматовой, Голейзовскому, Якобсону, Зощенко, Прокофьеву. Но — работали. Творили. А за тобой вся сверхдержава мира стоит, во всем тебе потакает. Держава, до зубов вооруженная, с ракетами, танками, авианосцами. Какого куля тебе еще надо?!

Когда вся энергия не на творчество идет, а на карательные расправы с балетными инакомыслящими, на божественное самоутверждение, тогда уже не до сочинения балетов!..

Был такой руководитель в Союзе писателей по фамилии Ставский. Он обзванивал советских литераторов, спрашивая, кто в чем нужду имеет. Один на квартиру жаловался — шумно, мол, работать трудно. Другой — что дача тесная. Третьему — машина нужна. И никто, совсем никто не пожаловался, что таланта мало. Но это к слову вспомнилось. Просто так.

А еще, что очень по-советски, полезно всегда носить при себе заявление об уходе. Чуть что — выложил его в министерском кабинете на стол — ухожу. Либо, дорогие товарищи, призовите к порядку — работать, творить совершенно не дают. И устремляются в атаку советские псы вроде новейшего министра Захарова на спасение обиженного, ранимого, незаменимого… Но ни разу-таки не ушел, как ни грозился.

И совсем без совести, что старается Григорович с остервенением вселить в мозги, что Большой театр — это он, Григорович (по Маяковскому: «партия и Ленин — близнецы-братья» или по Людовику XIV: «государство — это я»). Ничего на

гастроли вывозить нельзя, кроме святейших опусов Самого. Сплошные фестивали Григоровича.

Бежар зачал, родил, вскормил, выпестовал свой «Балет XX века». С нуля. У него есть право называть свою труппу балет Бежара. Но до Григоровича Большой балет двести лет уже был. Иванов — был, Горский — был, Тихомиров — был, Моисеев — был, Вайнонен — был, Захаров — был, тот же Лавровский — был. А вот и не были!.. Один Григорович 200 лет был.

По прошествии времени мне рассказал Сэм Нифолд из нью-йоркской конторы «Коламбия артисте», как желали они пригласить на гастроли труппу Большого с несколькими балетами Григоровича и моей «Анной Карениной».

Я не решался раньше рассказать вам, что сотворилось с Григоровичем, когда мы сказали ему об этом. С ним случилась истерика.

Я не удивилась.

Он стал весь белый, как мертвец, и, захлебываясь, закричал: или я, или Плисецкая. Мы еле привели его в чувство. Конечно, Вы, маэстро. В конце концов, он же руководитель труппы. Хотя жаль. Был бы красивый сезон. Американцы ждали «Анну»…

А еще по-советски очень — шумно изобразить демократию.

Процедура вот какая: кладется у балетной канцелярии на стол «расписной лист» (в нем артисты балета расписываются в явках на спектакли). Кто поставит свою подпись напротив напечатанной типографски своей фамилии — тот «за» Григоровича. Кто не расписался — тот, следовательно, против. Это не то что под лупой, а прямо под микроскопом мнение твое спрашивают. «А теперь послушаем итоги, дорогие товарищи, подсчет голосов». Все, конечно, с воодушевлением «за». Только несколько правдоискателей-самоубийц да наших театральных сумасшедших «против». А «подавляющее большинство» обязательно хотят и жаждут только Григоровича: иди-ка, пожаждай кого другого.

И восхищаться надо уметь. Кто не умеет — учись! Вяло и скупо славословить тоже опасно. Все припомнит тебе диктаторская голова. Немало способных молодых людей было загублено лишь за свой норов. Даже не за норов вовсе, а за невыветрившееся до конца чувство человеческого достоинства, за нормальное, но не угодническое поведение. Перед диктаторами рабам должно распластываться…

А на чем диктаторский режим в Большом балете держится?

Несколько лет назад редактор либеральной и по-настоящему смелой в годы перестройки газеты «Московские новости» все же отклонил просьбу нескольких причастных к балету артистов

напечатать их открытое письмо Григоровичу. Редактор все допытывался:

— Я далек от балета. Но объясните мне, пожалуйста, кто стоит за Григоровичем? Ну не опереточный же министр Захаров? Без суперподдержки, целые годы ничего ровным счетом не делая, — и гению не удержаться. А что, внучка Горбачева не учится ли балету?..

— Вы, редактор, — ясновидящий. Учится внучка Горбачева балету…

Внучки членов Политбюро — вот та непробиваемая броня, которая так надежно хранила Юрия Николаевича Григоровича и Софью Николаевну Головкину — директрису московской балетной школы (академии, училища — один черт).

Для шестилетней внучки Горбачева Ксюши Головкина открыла специальный подготовительный класс. При нашем безудержном российском подхалимаже можно было начинать учить балету внучку президента и пораньше. Зачем не в колыбели? Ну, а если бы Анна Павлова или Ольга Спесивцева были бы внучками — одна Горбачева, другая Андропова? Что тогда — не учить их балету?

В стране, где дедушка — президент, прошу вас, не учите. В стране, где государство содержит и школу, и театр, полностью финансирует их, — прошу вас, не учите. А если страна советская, партийная, изуродованная, втройне прошу вас, не учите!

Один просто приезд скромно, приветливо улыбающейся Раисы Максимовны на черном бронированном лимузине, с дюжиной охранников, дает такой капитал директору, такую безграничную власть, наводит такой страх на педагогов и соучениц маленькой Ксюши — вдруг отчислят, — такой перекос во взаимоотношениях между всеми, что теряется и здравый смысл, и всякое подобие объективности. А потом к месту и не к месту ввертывает Софья Николаевна в разговор, что были мы вчера с Раисой Максимовной в бане, и она очень настаивала… И Григорович на том же стоит (они с Головкиной в одной упряжи): был у Горбачева, и он мне говорит — делайте, Юрий Николаевич, все, что находите нужным, увольняйте, отчисляйте из театра, выводите на пенсию — словом, полный карт-бланш дал. От таких речей у советских чиновников всех уровней сердце в пятки падает. В струнку вытягиваются. За спиною ведь 70 лет подлостей, лизоблюдства. Вот вам и сановные внучки!..

Я пишу это со спокойной душою. Маленькая Ксюша — теперь она уж, верно, подросла, и дай ей Бог удачи и везения на балетном поприще, коли не бросит, — сказала в своем недавнем интервью немецким журналистам, что Анна Павлова и Майя

Плисецкая — ее идеал и мечта. Спасибо, Ксюша. Но я стою на своем. Вмешательство президента и Раисы Максимовны в наши балетные дела было вредным и губительным. Лучше бы вам, Михаил Сергеевич, в ответственнейший момент истории не в балет нос совать, а решительнее и попристальнее экономикой, а на худой конец охраной складов оружия заняться. Может, меньше крови по окраинам бывшего Союза пролилось бы тогда-Как заблуждались сильные мира советского, чистосердечно полагая, что коли высоко сидят, то разбираются во всем лучше всякого: советы, указания направо-налево сыпали. А партийные подхалимы головами кивали, поддакивали, рты притворно разевали — ах, мол, какой выдающийся лидер. Многое сумел преодолеть Горбачев в своей природной советской ментальности. Но тут и запнулся — мы с Раисой Максимовной уж в балете-то доки. Ну-ка, Большой, направо равняйсь!..

И совсем курьез. Переводят мне из немецкой газеты «Бильд» сенсационную заметку. Как спасла директриса Головкина Ксюшу от похищения (совсем «Похищение из сераля»). Вышла из своей славной академии танца и видит: стоит у тротуара машина, а в ней три угрюмых верзилы. Тотчас смекнула Софья Николаевна, что не иначе как три разбойника за Ксюшей охотятся. Смело подошла к злоумышленникам, тревогу забила. Они, ясное дело, наутек. До у серу испугались смельчихи Головкиной. А Головкина — бегом в школу. Прижала к груди Ксюшу, по голове гладит, слезы с трудом сдерживает — я тебя никому не отдам, моя голубка. А тут уж Раиса Максимовна на черном лимузине подоспела. Спасли Ксюшу. Слава Головкиной, многая лета!..

Эту главу я пишу в Литве. Эти дни как раз римский папа здесь. Я каждый день слежу за его литовским путешествием. Сегодня он на горе Крестов близ Шяуляя. Это там, где водружены в землю сорок пять тысяч крестов. Ни по чьему приказу. Лишь по велению душ и сердец. В сталинские годы тайно, ночами. Папа произносит возвышенные слова. О доброте. Чистоте помыслов. Всепрощении. И вдруг я резко соотношу сказанное папой с предметом моих размышлений в нынешней главе. Ни доброты нет, ни чистоты помыслов, ни всепрощения. Какое там всепрощение, если Григорович весь погружен в месть, в отмщение, в сведение счетов. Вот в какой сосуд перетекла вся энергия творчества.

Мстительность его еще ярче высветилась после нескольких премьерных постановок, осуществленных в Большом Васильевым и мною. Осуществленных вопреки желанию монополиста не впустить в свой «частный» театр новых действующих лиц на балетмейстерскую стезю. Все и вся должно принадлежать одному

ему.

Занятые нами олисты были потом покараны Путь им назад в труппу Григоровича был заказан. Так и образовалось в театре словно три труппы: Главная, многолюдная, — Григоровича и малочисленные, полуправные, — Васильева и Плисецкой. Но многие импресарио были заинтересованы показать западному зрителю работы не одного лишь Григоровича.

Тем более что от бесконечного «Спартака» и перелицованного «Лебединого» а чуть позже «Ивана Грозного» у критиков начало сводить скулы. И наш диктатор стал получать со страниц западных газет затрещину за затрещиной (чего стоил лишь один американский заголовок «IV AN IS TERRIBLE»: не «Иван Ужасный» (Грозный), а «Иван — ужасен».

Затрещины западной прессы бесили и без того злого Григоровича, и, как и положено диктатору, была усилена с удвоившейся свирепостью экзекуция с балетными инакомыслящими. А это, в самую первую очередь, солисты Васильевских и плисецких балетов. Вот вам и пример. Совсем молодой танцор Виктор Барыкин, приглашенный Васильевым на одну из главных ролей в своем «Икаре», был подвергнут Григоровичем остракизму навсегда. Попав в черный список, Барыкин отныне занимался лишь в чужих, читай: «вражеских» балетах: «Анна Каренина», «Макбет», «Чайка», «Анюта», «Кармен-сюита». Месть обрушилась на головы и балетные карьеры Богатырева (о нем я уже писала), Радченко, Буцковой, Лагунова, Нестеровой… Выходит, не слушал Григорович проповедей римского папы.

Меня не оставляет в безразличии судьба Большого балета. Большой — это вся моя жизнь. Вся без остатка. У меня взаправду болит сердце, что власть на театре и в училище забрали себе люди, для которых как раз Власть — самое главное, самое драгоценное, самое прекрасное, что есть на свете. Не творчество, не балет, а — Власть. И держат они ее мертвой, бульдожьей хваткой. Срок этой хваткой власти ох как длинен. Когда пишу, уже тридцатилетие прошло.

Марис Лиепа, которому от этой власти тоже не сладко было, как-то шуткой решил подсластить очередную пилюлю:

— Что ты волнуешься, Майя. Напротив, радуйся, что наша московская школа так мерзко учит. По крайней мере, в ближайшие двадцать лет не будет хороших балерин…

Их и взаправду, при таком вырождении душ, при таком цинизме, при таком выравнивании всей школьной системы на детей нужных родителей — «нужников», как окрестили их острые языки, — очень долго не будет. Самому Лиепе, увы, отшучивания

не помогли. После того как по распоряжению Григоровича (Юрий Николаевич талантливо умел расправляться с недругами чужими руками) комендатура не впустила Лиепу в театр, сославшись на то, что у него просрочен пропуск, Лиепа разрыдался, у него случился сердечный приступ. Это — тренированное, закаленное сердце! Скоро Лиепа умер. Умер от инфаркта. На панихиде несколько ораторов впрямую назвали виновника…

А мне вовсе не весело, что хороших балерин долго не будет. И я отчетливо вижу, как неправильно поставлены спины, как не работают колени, как затрудняют, а не помогают крутить пируэты несобранные руки. А куда задевались музыкальность, артистизм, стиль? Просто беда. Это не означает, что в школе нет профессиональных педагогов. Это означает, что и в школе — диктатура. Диктатура Головкиной, которой нельзя ни в чем перечить. Головкиной, чей мнимый педагогический дар без удержу воспет и восславлен. Коли в баню с Раисой Максимовной ходит, значит, и впрямь великий педагог…

Меняются времена. Новые приходят начальники. Ай, и у них внуки, да внучки, да внучатые племянницы… Люди ведь. Размножаются. А рецепты дружбы те ж: в баню с Фурцевой, в баню с Раисой Максимовной… Кто следующая попариться? Наина Иосифовна?.. И приходят в театр недоученные артисты. И мельчает, и блекнет слава Большого балета. И топчется балет годы на месте.

Сейчас, куда ни приедешь, с какой труппой ни встретишься, обязательно беглецы из Большого есть. От спертого воздуха, от творческой скучищи, от когтей Григоровича — тут они.

Мне задать вопрос себе жутко: неужто «до», до Григоровича лучше было? Или я скатываюсь в древнее — вот в наше время были люди?..

Нет, неладно нынче в датском королевстве…

Доколе коршуну кружить?..

Глава 48
ГОДЫ СТРАНСТВИЙ

Теперь — Германия…

Я перебираюсь со своим скарбом в Мюнхен, к Родиону. Он здесь обосновался. Есть контракты. Значит, и визы. В Москве еще перестройка — и такое возможна Но тревога, каким будет дальнейший путь отечества, не дает мне спать по ночам. Навязчивой жутью одолевает первые часы каждого утра. Должен быть взрыв. И скоро. Добром не закончится. Коммунисты не оставят сцену без крови. Не та публика. Грядет, логичнее всего, диктатура. Какой-нибудь безвестный да ныне генерал с убедительным лицом скажет крикливую речь по телевидению. Арестует Горбачева. Все перестроечные на вовведения отменит. Закроет аэропорты. Сиди, если замешкался, в Москве до скончания века. Второе пришествие большевиков надолго будет. Опять слушай идеологическую галиматью до самой смерти. Но на это сил уже нету. Совсем нет. Лимит на идиотства исчерпан. Потому мы и здесь. В Мюнхене.

Город чуден. Весь в зелени. Умыт. Начищен, как на парад. Я люблю склонность немцев к порядку, уюту. Их трудолюбие.

Мы снимаем двухкомнатную квартиру по Терезиенштрассе. Это самый центр. Все под рукою. Все рядом. Все удобно.

Люблю Мюнхен по воскресеньям. Хотя каждый город в воскресный день прихорашивается, снижает нервный ритм суеты, пустеет. А баварская столица празднично озвучивается колокольными перезвонами. Немцы семьями отправляются побаловать себя белыми сосисками со сладкой горчицей. Вкусить янтарного пива. Для балетной братии пиво — лучше всякого лекарства. Расслабляет мышцы. Приносит отдых мускулам…

Меня в Германии знают меньше, чем во Франции, Америке, Испании. Меньше, чем в Японии и Аргентине. И уж совсем меньше, чем в России. Впрочем, пока мало кто в курсе, что я в Германии, в Мюнхене. Может, еще спонадоблюсь.

Автографы просят лишь балетоманы. Жить легче. Но — непривычно.

Много поездок. Теперь лишь мое желание нужно да виза. Когда приглашение есть — выдают визы…

В Аргентине станцевала новый балет. В театре Колон. Название: «Эль Ренидеро» («Петушиный бой»). Это по книге Сержио де Кекко, но в сути — парафраз «Электры».

Действующие лица в вызывающе современных одеяниях — в

партикулярных костюмах, при галстуках, в уличных шляпах. Такие шляпы носили звезды Голливуда Гарри Купер и Хемфри Богарт. Когда шляпы однажды снимаются, мы видим, что волосы мужчин густо набриолинены. До слепящего блеска. На танцорах лакированная обувь. Женщины на современных каблуках-гвоздиках или в перепончатых сандалиях. Я разнюсь ото всех туфлями на пуантах. Они выделяют меня из сценической толпы.

Много раз действие перебивают персонажи совершенно условные — в масках, с непомерно большими лицами. Этакие уродцы-головастики, хромоногие придворные шуты. Их четырнадцать. Иногда половина (семерка) тоже облачается в современное партикулярное платье. В то же время другая семерка изображает что-то древнегреческое, трагедийное.

На всем очень сильный аргентинский акцент. Он яснее всего улавливается в музыке к балету. Бе написал и бесподобно сыграл сольную партию аккордеона знаменитый автор Астор Пьяцола. Над всем царит дух аргентинского танго. Он ясен и в музыке, и в хореографии.

Коллизия угадывается по «Электре»: убитый муж, жестокая мать (это моя партия; по балету я зовусь Нелида Моралес), вампир-любовник (на нем костюм цвета красной смородины), скорбящие, а в финале казнящие мать и любовника дети, теряющая рассудок дочь…

Балет ставит Хулио Лопес. Он человек скромнейший, тишайший, и при том замечательно талантливый. Но быть тихим в наши дни — самогубительно. Надо производить громкий шум, бахвалиться, совершать экстравагантные поступки, нахальничать. Тогда тебя признают, заметят, припомнят. Что за странное племя люди…

Мое первое явление публике — на быке. С него я озираю вереницу всех действующих лиц. И — первый танец. Танго. Танго на пальцах. Это хореографический язык всего балета. Музыка Пьяцолы подзадоривает меня нервными всплесками аккордеона. Весь спектакль она ни на минуту не ослабляет накал разворачивающегося стремительно действия. Мне удобно под нее танцевать. Мышцы ног, рук, спины слышат музыку как бы сами по себе, вне моей воли. Принимают ее…

Спектакль идет под фонограмму. Но я каждый раз с пристрастием вслушиваюсь, на каком делении микшера рука звукорежиссера остановится сегодня. Даже просто громкость — мягче ли, звончее — окрашивает мое поведение в разнящиеся тона. Но запись — одна и та же. Темп неизменен. Лишь полделения микшера. Только-то. А я другая, отличная от вчера… А представьте — когда новый дирижер, новые музыканты, — я

танцую совсем иной балет…

Астор Пьяцола на премьере не побывал. Он умирал в частной клинике Буэнос-Айреса. Долгая, безнадежная кома. Увидела спектакль лишь его жена — красивая полногрудая пергидрольная блондинка, спеленавшая свою пышную гриву светлых волос черной бархатной сетью. Телевизионная камера бесстрастно схватила слезы на ее страдающем лице.

Это моя первая встреча с аргентинской публикой, с театром Колон после страшной травмы спины, приключившейся с десяток лет тому назад, тут же. Я бессознательно сдерживаю себя, что-то даже делаю почти вполноги, ну, точнее, в три четверти сил. Тело не подчиняется приказу мозга. Оно помнит ослеплявшую нечеловеческую боль и не желает следовать команде сознания: что все позади, травма залечена, все о'кей…

Дирижер театра Колон Дастоли, когда-то удобно дирижировавший мне «Кармен-сюиту» и «Лебединое», заходит в мою артистическую комнату.

— Это чудо, Майя, что вы вновь здесь, вновь танцуете. Я страшился, что вы не сможете просто ходить…

Несколько раз я летаю из Мюнхена в Японию. Меня зовут участвовать в больших балетных гала. За жизнь я побывала там девятнадцать раз. Это тоже моя страна. Я нравлюсь японскому зрителю. Так, по крайней мере, мне кажется.

Японцы видели почти весь мой репертуар. От «Лебединого» до «Марии Стюарт». Теперь уже и «Безумную из Шайо» видели. Присутствовавший на парижской премьере импресарио Токиши Такада тут же, по горячему следу показывает новый балет в Токио и в Осаке. И опять вместительный театр Бунка Кайкан полон. Любознательные японцы дружно раскупают цветастые изящные программки. Склонив черноволосые головы, с замечательной серьезностью изучают перед началом представления содержание балета. Им обязательно следует знать, кто такой Жан Жироду, что за район Парижа носит название Шайо…

Японская кухня — вот идеальная пища для балерины. Сушими, суши, шабу-шабу, скьяки, темпура плотно насыщают твой желудок, дают телу энергию. Но не тяжелят, не клонят в сон. Сразу из-за стола можно идти на сцену.

Это здесь, в Японии, я установила свой личный рекорд, сбисировав «Умирающего лебедя» четыре раза. Правда, позже я повторяю его в Лиссабоне, Нью-Йорке, а затем и в Париже…

Замечательный ритуал ждет меня при выходе из служебного входа театра. Выстроившись в строгий ряд, любители балета берут у меня автографы. Испросив разрешения, фотографируются со мною, мигая электронными вспышками. Дарят платки,

косынки, куклы-колокольчики, свои рисунки. Самые смелые просят у меня на память изношенные балетные туфли. Если я обещаю захватить их завтра, можете не сомневаться, что этот коллекционер или коллекционерша будут у stage-door спозаранку.

…А в Москве напряжение накапливается все более и более. В короткие заезды, лишь только переступаешь порог Шереметьева, по-животному ощущаешь разлитое вокруг чувство страха и безысходной жути. С кем ни свидишься из не покинувших еще Москву друзей, обязательно слышишь совет:

— Уезжайте, не задерживайтесь здесь. Вот-вот мышеловка захлопнется…

И взаправду все устали от ожидания взрыва, катастрофы, контрудара. Хоть скорей бы это, в самом деле, произошло, — храбрюсь. Неопределенность выматывает.

Лечу в Мюнхен…

С чикагской труппой, совершенно экспромтом — я в Чикаго только мужняя жена — выступаю в спектакле тутошнего балета. Это постановка хореографа Гордона Шмидта. «BY DJANGO». Жанр, в котором мне давным-давно хотелось выступить: музыкальное сопровождение — джаз. Джанго Рейн бардт — звезда джазового мира 30-50-х годов. Трехпалый виртуоз-гитарист, кумир Парижа. Бельгийский цыган. Человек, сотворивший о себе занятную легенду. Мне подробно рассказывает о нем наш хороший друг дирижер Марио Ди Бонавентура. Марио учился в те годы в Париже и не раз бывал на концертах легендарного Джанго. Виртуоз, наркоман, транжира, забияка, пропойца, богема, гений, лишь за несколько дней до смерти разжившийся первым за карьеру выходным костюмом. Потерявший два из своих пяти золотых пальцев на пожаре. И фантастически обходившийся тремя на грифе своей бесподобной гитары.

Моя партия невелика — да разве выучишь за два дня что-то попротяженнее, — но выпукла и эффектна. Теперь и я наконец-то танцую на высоких каблуках в белых атласных туфлях. Платье в пол, с глубокими разрезами до талии. Волосы убраны струйками хрустальных капелей. Огромное концертное боа: я танцую звезду-певицу. Именно танцую. Но танцую, словно пою. Это — интересная задача.

Четыре партнера, как квартет джаз-гола, сопровождают, бережно конвоируют меня. Партия певицы сложена хореографом с юмором, убедительностью, достоверно. Подлинная запись Джанго, под которую я танцую, заряжает меня электрической энергией…

Лето 1991 года мы проводим с Родионом в Америке. Он — «композитор в резиденции» фестиваля в Ланкастере, штат Огайо. А потом отправимся во Флориду. Для обоих это первый визит в этот жаркий штат. «Атлантический центр искусств» позвал Родиона позаниматься с композиторской молодежью. У меня на эти сроки профессиональных приглашений нету, и я превращаюсь в сопровождающее лицо.

Не обходится без затора с американскими визами. Завтра уже надо лететь, а визы в наших советских паспортах будут готовы, как нам холодно и формально объясняют, лишь через несколько дней. В отчаянии, что все срывается, все пропало, горят авиабилеты, отменяется вступительный фестивальный концерт, я, осененная внезапной спасительной мыслью, звоню Ширли Маклейн в Калифорнию. Потом я несколько раз набирала этот номер, чтобы сказать моей доброй давней подруге простое «спасибо». И ни разу трубку никто не поднял. Молчание… А тут с первого же длинного гудка я слышу с другого конца океана ее знакомый приветливый голос:

— Хэлло, Майя, не дают виз? Из какого номера ты мне звонишь? Я позвоню нашему послу, потом тебе. Постараюсь помочь.

Через пять минут совершенно недостижимый для владельцев советских паспортов сам господин Йозеф Сапала, американский посол в Испании (скитания вновь занесли нас туда), на проводе.

— Это недоразумение. Конечно, вы поедете. Я вас жду с паспортами.

Совершается еще одно маленькое чудо в моей жизни. Нам впечатывают в краснокожие паспортины обетованные американские визы. И мы всюду поспеваем. Мы взаправду летим туда. В Америку. Спасибо тебе, Ширли.

И Ланкастер, и особенно Флорида приносят новые впечатления. В Нью-Смирна-Бич мы знакомимся с внучкой Льва Толстого Верой Ильиничной, которая, не глядя на свои почти девяносто лет, шустро разъезжает за рулем сигарообразной машины да не отказывается за обеденным столом от лишней стопки водки. Я показываю ей фотографии «Анны Карениной» в Большом, и Вера Ильинична припоминает, что ее тетка Александра Львовна уже рассказывала ей про мой балет. Обе толстовские родственницы, словно сговорившись, поначалу почему-то крайне удивляются, что знаменитый роман можно перевести в хореографическое действие. Но тут же начинают говорить о балете, как о чем-то давно подразумевавшемся…

Сдружились мы очень с четою Челищевых. Предки Марины по материнской линии восходят к Гончаровым, прямехонько к

Наталье Николаевне Пушкиной. А Виктор Челюцев помимо всех писателей, виноделов и полководцев имел в своем древнем знатном роду аж баварского монарха Вильгельма Лунеборга. Но знаменитые предки — не единственное достоинство этой хлебосольной чарующей пары.

Привольные флоридские деньки кончаются. Надо возвращаться восвояси. Домой. А где сегодня наш дом?..

Прилетев в Мюнхен поутру, мы садимся в такси. У водителя на полную громкость включено радио. Внезапно я вижу, что Родион меняется в лице. Что там такое говорят по-немецки? Я не понимаю.

…В России переворот. Танки на улицах. Горбачев — будто — заболел, не может управлять государством. Ну, вот оно и случилось. Вот чего мы с такой боязнью все последние месяцы ждали. Шансов на добрый исход никаких. У путчистов армия, милиция, КГБ. Значит, власти жаждут те, у кого она, по существу, уже есть. В России все всегда наоборот, вопреки делается…

Корреспонденты нескольких американских газет находят нас в Мюнхене. Мы костим путчистов в мать-перемать. Но разве это поможет? Прильнув к приемнику, ловим свежайшую информацию из Москвы. Да, дело плохо. И вдруг — о Божье провидение, не иначе — путчисты летят в Крым к Горбачеву. Ельцин подписывает приказ об их аресте. Армия не выступает в защиту коммунистов. Будь, впрочем, на месте этих политических импотентов кто-либо закваски посерьезнее — не сдобровать бы всем нам…

Два вечера в венской опере. Декабрь 1991-го. Меня приглашает Лена Чернышева, которая здесь с недавнего времени директорствует. Вновь — мой верный «Лебедь»…

Какой-то момент я что-то утеряла в нем. И несколько последних «Лебедей» (Лос-Анджелес, Лондон, Нью-Йорк) прошли поскучнее обычного. Я ощутила, что зал не захвачен полностью моим танцевальным рассказом. Четыре минуты не длятся как миг, как единое целое, а распадаются на составные части, на деления. То же и с хореографией: выплыли на поверхность просто движения, просто арабеск, вращение.

Сейчас перед Веной, отсматриваю видеопленку одного из неудачливых последних представлений. Надо либо найти толковое объяснение происходящему со мною. Ну хотя бы самой себе. Либо… бесповоротно бросать танцевать. Один раз может быть неудавшимся выступление. Но целая череда неудач?..

Мне кажется, я нахожу причину.

Мне стало скучным раз за разом буквалистски повторять свой же канонический текст… Да еще «Лебединые подражания Плисецкой», увиденные мною бессчетное число раз наяву и на

пленке, окончательно отбили у меня аппетит, спровоцировали на спонтанные перемены. Как понятно мне теперь восклицание композитора Клода Дебюсси: «Господь, упаси меня от дебюссистов».

Я и раньше, коли доводилось танцевать «Лебедя» на бис, намеренно старалась исполнить номер иначе, спротиворечить самой себе. Выходила из другой кулисы, меняла акценты. Финальную позу часто повторяла в зеркальном отражении или вовсе делала другой. И если — быть непохожей, новой быть — стало для меня самоцелью, то немудрено в запале утерять и суть. Я ее благополучно-таки утеряла. Вернусь-ка в Вене к своему началу!.. Добавлю, может, чуть пикассовские изломы линий, острый грифель карандаша его ворожащих, чародейских рисунков. Остальное по-старому, все как было…

Середина декабря. Сильный мороз. Вечерами и по ледяным утрам кромешные венские туманы. Родион на прокатном «опеле» еле поспевает к началу спектакля из Мюнхена, Я осуществляю свое намерение и ликующе чувствую, что зал венской оперы нынешним вечером в моей власти. Пожалуй, можно еще и потанцевать. Коли зовут.

Шестнадцатого декабря мы решаем отпраздновать — совсем вдвоем — день рождения Родиона, а заодно и мою по беду над собой… Отпраздновать в Айзенштадте. Это город Гайдна. Он тоже родился в 32-м году. Но на двести лет раньше Щедрина. А уж шестнадцатого декабря на свет появились сразу несколько композиторов. И хороших притом. Ну, например, Бетховен…

Вооружившись картой окрестностей Вены, героически преодолевая тягучий туман, мы пытаемся выехать на указанную в путеводителях дорогу к Гайдну. Но — тщетно. Три раза мы возвращаемся на перекресток, с которого отправлялись в путь. Что ж, не судьба. Идем пешком в японский ресторан. Японская кухня — идеальная пища для балерины…

Так текут эти годы. Занятно текут. Суматошно. Странно. Совсем не скучно. Насыщенно. Временами необыкновенно интересно. Но иногда в суете вдруг хочется вернуться домой. Отдышаться. Выдохнуть спешку. Но где мой дом? Наш дом?..

Москва отдаляется от меня более и более. Танцевать туда не зовут. В Большом — вражеский лагерь. Культ!! Все мои балеты сняты с репертуара. Декорации их гниют под снегом. Костюмы распродаются. Мое желание поставить новый балет встречается гробовым молчанием. Дирекция Большого делает вид, что мою заявку и не получали.

Я направляю беспокойное письмо Горбачеву. Объясняю, что в родном театре меня лишили всяческой работы. Безмолвие. Ответа

не приходит. В сорокаминутном разговоре с Раисой Максимовной Горбачевой Щедрин наталкивается на высокомерие и упрямство. Она не хочет обсуждать тему диктаторского участия президента Горбачева в балетном конфликте в Большом. Выплата заработной платы мне прекращается. Никакой пенсии не положили.

Так где же мой дом?.. Выходит, не тут. Так где же?..

Может, в Литве, где на хуторе Козелькишкес, на самом берегу озера, у нас есть любимое пристанище? В весенние, летние месяцы там раю подобно. И люди добрые, сердечные окружают. Но как суровеет пейзаж, ветры, туманы, дожди приходят, день короче становится, холод из каждой щели крадется, — надо съезжать на зимние квартиры. Не то захлестнет депрессия. Значит, не тут?..

Может, в Мюнхене? На комфортной Терезиенштрассе? В меблированной, как раньше говорили, квартирке? Где у меня даже нет письменного стола, чтобы писать эту книгу? И я, убрав после обеда чужие немецкие тарелки и вытерев досуха желтую — не мою — яркую скатерть, усаживаюсь за кухонный стол и… пишу эти строки?..

Третий день останавливаюсь у витрины магазина по соседству. На Туркенштрассе. Какое прелестное удобное трюмо из светлого средиземноморского ясеня. И сравнительно недорого. Так мне хочется его купить. Как пригодилось бы оно мне каждым утром для прицельного макияжа. А куда его притулить, спрашивается? Может, завтра снова в путь устремимся? И так половина моего гардероба, на Терезиен не уместившегося, у наших вернейших друзей Люды и Эрика Зориных (неизменных первых слушателей глав этой книги) в шкафах висит. Да в подвале в чемоданах мнется. А хоромы снять боязно — вдруг немцы не продлят нам виз?..

Или, может, не нужен дом человеку вовсе? Не нужна своя крыша на головой? Не было своего дома ни у писателя Набокова, ни у художника Бурлюка. И не плохо, бездомные, прожили. Сколько насочинили, нарисовали…

Выходит, я человек старомодный, несовременный. Не футуристка. Нужен мне свой дом, своя крыша. Нужен мне вместительный шкаф для платьев. И светлое трюмо нужно. И письменный стол… Впрочем, помню, как слыхала от Шостаковича, что писать и на собачьей будке можно, когда мысли есть…

Не знаю, не знаю…

Я только знаю, что всем сейчас трудно, всем несладко, кто в бывшей Стране Советов родился. С треском рушится злой колосс на глиняных ногах, в военные сапоги обутых. Землетрясение. А

землетрясение — всех затронет, всех коснется…

Я знаю это. Но все равно свою крышу над головой мне иметь хочется…

В самом начале января 1993 года, точнее третьего, в воскресенье, мы приезжаем с Родионом в аэропорт Шереметьево. Возвращаемся в Мюнхен.

К шестидесятилетию Щедрина в Москве и Санкт-Петербурге прошел маленький фестиваль его музыки. Он получил к тому же Государственную премию России. Новой России! Очень торжественно получил, в Кремле.

Настроение у нас приподнятое. Меня провожают друзья с цветами. Отдаем наши паспорта молодому пригожему пограничнику. Он, узнав нас, приветливо улыбается и сосредоточенно склоняется над паспортами в своем сторожевом закутке.

Вас я выпущу, — обращается он к Щедрину. — А вас, Майя Михайловна, не могу. Ваш паспорт с первого января недействителен.

Почему недействителен? Я начинаю волноваться.

Как это может быть? Срок его годности истекает лишь в ноябре 1996 года. Посмотрите. И выезд мне разрешен. Вот штемпель «многократно» до первого ноября 1993-го. Он еще действителен.

Но пограничник возвращает мне паспорт.

— Я все это вижу. Повторяю, ваш паспорт недействителен с первого января 1993 года.

— Как так? Вы ничего не путаете?

— 31 декабря — в мое прошлое дежурство — я бы вас выпустил. Паспорт был действителен. А сегодня выпустить не могу. Паспорт недействителен.

— Что же мне делать?

— Попробуйте обратиться к консулу в аэропорту Шереметьево. Номер его телефона…

Родион записывает цифры на посадочном талоне. Он взбешен:

— Теперь вы понимаете, отчего все бегут отсюда?..

— Не кричите на меня. Я выполняю инструкцию.

Мы звоним консулу. Вот такой диалог:

— Слушаю.

— Здравствуйте. С вами говорит Плисецкая.

Молчание.

Я продолжаю:

— Меня не выпускают. Пропадет авиабилет. Послезавтра объявлен концерт в Брюсселе. Как мне быть?

— Ничем помочь не могу.

Трубка на другом конце провода укладывается на рычаг.

Давненько таким ледяным, неприветливым тоном не говорили со мною в этой стране. Давненько не отвечали на приветствие…

Мы начинаем лихорадочно искать выход. Кому позвонить? Чей телефон наизусть помним? Но кого застанешь — вот вопрос — сегодня воскресенье?..

Разбираю по радио, что уже объявлена посадка. Через полчаса самолет взмоет в воздух. Раз так, пускай Родион летит один. Пускай захватит мой чемодан и лебединую пачку. А я с утра брошусь по министерствам паспорт менять. Авось, пойдут навстречу. Тянуть не будут. Как бы только немецкую визу в новый паспорт поставить? К немецкому посольству не подойдешь. Там многие тысячи жаждущих…

Наконец через знакомого, тот через другого, другой — до следующего — узнаем телефон дежурного по Министерству иностранных дел. Голос приветливый.

— Да, это так. Так. Ваш тип паспорта, Майя Михайловна, более не действителен. Надо будет поменять.

— Это можно сделать завтра?

— Нет, завтра нельзя.

— Почему?

— Раньше апреля новые паспорта еще готовы не будут…

Какая абракадабра! Ничегошеньки не поменялось в нашей жизни. Та же рабская зависимость от внезапных прихотей Властей. О страна абсурдов! О мать-Россия!..

Но тут в момент телефонных переговоров напротив меня внезапно оказывается немолодой пограничник в погонах майора. Он переминается с ноги на ногу, ожидая окончания разговора.

— Мне передали, Майя Михайловна… Вы говорили с консулом? Что он ответил? Я рискну Вас выпустить под свою ответственность. Пожалуйста, не беспокойтесь. Я старший в смене. Мне очень понравилась Ваша «Дама с собачкой», которую я видел по телевидению…

Через алюминиевую кишку мы входим в самолет «Люфтганзы». Успели.

Еще один стресс. Еще одно унижение. Еще одна идиотская нервотрепка.

Но и еще одна добрая мимолетная душа на пути моей жизни. Впопыхах я даже не спросила, как зовут отзывчивого майора.

А мы хотим совсем малого — уезжать и приезжать в Москву, когда нам того хочется. Всего-то! Неужто для этого другой — заграничный — паспорт нужен?..

А может, меня еще вернут?.. Знакомая трусливая мысль…

Но нет. Немецкий самолет, чуть подрагивая на швах бетонных полос, отчаливает от здания шереметьевского аэропорта. Заводит моторы. Вот взлетная полоса.

Отрываемся от земли.

Так где все ж мой дом?..

Глава 49
КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС

Пора подводить итоги. Эта глава последняя. Вчера я разговорилась с женщиной, которая убирает нашу квартиру на Терезиенштрассе. Фрау Штайнбайссер. Разговор глупый, бабский, мечтательный. Хотели бы вы, чтоб вам снова было двадцать? И вдруг фрау говорит:

— Нет, не хочу никаких двадцати. Опять только работать? Я и в этой жизни одну работу лишь видела. Весны не замечала. Мир не посмотрела. А мне двадцать нужно?

Для балета двадцать — самое подходящее дело. Но двадцать, когда жизненный путь уже определен? Когда ты уже в Большом? Когда позади балетная выучка? Когда «Щелкунчик» и «Раймонда уже станцованы? Когда несколько уроков с Вагановой состоялись?..

Если так — давайте мне двадцать. Возьму. Попробую пожить по-иному да поумнее. Постараюсь — твердо обещаю — избежать целой горы ошибок, которых я за жизнь столько понатворила. Но не наделаю ли новых? Характер-то мой не поменяется.

А если брать двадцать, то, верно, уж не будет ни Кутузовского проспекта, ни встречи с Щедриным, ни «Кармен-сюиты», ни «Дамы с собачкой»?

Нет, не согласна. Тогда Бог с ними, с двадцатью. Пускай останется так, как задано… Тогда отвечу, как фрау Штайнбайссер: «Нет, не хочу двадцати».

Конечно, двадцать лет тем сказочны для всякой женщины, что в двадцать выглядит она хорошо круглые сутки. А к тридцати, увы, хороша она уж часа этак три за день. Потом — того меньше. А к пятидесяти сверкнут пять-семь минут. Да и то в выигрышном освещении, со старательным макияжем.

На юбилейном вечере — возвращении Галины Вишневской в Москву, где я приветствовала ее своим «Умирающим лебедем», после концерта, на вечеринке в Хоровом зале Большого мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак полушутя-полусерьезно предложил мне отпраздновать мой грядущий сценический юбилей в городе на Неве. Я полушутя-полусерьезно согласилась. Что ж, пятьдесят лет на балетной сцене отметить можно. Вспомнилось только, как Игорь Федорович Стравинский, у которого я была в гостях в Лос-Анджелесе с моей американской подругой прелестной Леной Атлас (я привезла И.Ф., по просьбе его жены Веры Артуровны, целый гербарий сушеных целебных

подмосковных трав), зло язвил об артистических юбилеях:

— До небес товарища вознесут. А сами, кроме погибели в геенне огненной, ничего коллеге не желают…

(Слово «товарищ» Стравинский употреблял в старинном, Никак не в советском смысле; я отметила это в дневнике.)

Но если праздновать, то можно и без лукавых речей? Праздновать безо всяких приветствий. Один танец — и только.

Собчак предложил мне набросать программу вечера и прислать ее ему. Вернувшись в Мюнхен, я сделала это и, как казалось мне, с надежной оказией послала в Петербург. Но, как водится под российским небом, письма моего Собчаку не передали. Все заглохло. Потом устроить мой праздник вознамерились литовцы, но тоже заглохли. Был и проект француза Сарфати провести мой вечер на сценах «Гранд-опера» и «Метрополитен». Но Альбер Сарфати внезапно умер.

Что ж, обойдемся без юбилея.

Но июньским днем в мое нынешнее литовское лето

1993 года ворвался телефонный звонок из Москвы. Звонил Владимир Панченко:

— Как вы отнесетесь, Майя Михайловна, если ГОСКО совместно с Большим театром проведут в октябре ваш юбилей на сцене Большого?

— Большой вряд ли праздновать меня захочет. Там Плисецкую уже давно не жалуют.

— А если они все же захотят? Какая может быть программа вечера?

— Программа-то у меня готова. Даст театр сцену?

— Это наша забота, Майя Михайловна. Предварительное согласие я уже имею.

Я достала черновик своего пропавшего письма Собчаку и перечла предлагавшуюся программу моего вечера. Три отделения.

Первое.

Оркестровая увертюра.

«Умирающий лебедь» (четыре балерины, вступающие друг за другом вдогонку).

«Умирающий лебедь» (теперь я).

Два-три классических па-де-де. (Хорошо бы позвать гостей, из «Гранд-опера», например.) Фламенко. (Испанцы.) «Айседора». (Я.)

Второе отделение. «Кармен-сюита».

Но не целиком, а двадцатиминутный конспект балета. Дайджест, как говорят американцы. Мне нужна помощница — и силы сэкономлю для третьей части вечера, и публику развлеку: две Кармен, значит, два Хосе, маленький поединок.

Третье отделение. «Безумная из Шайо».

Моя последняя работа. Москвичи всегда были охочи до нового. Им будет интересно. Для этого надо привезти рейнскую труппу Джиджи Качиулиану. В полном составе, с декорациями.

А выдержу ли такую нагрузку? И для двадцатилетней это непросто будет…

Панченко принимает программу.

— Приветствия будут?

— Ни единого слова, Владимир Всеволодович, пожалуйста. Только танец.

— Хорошо, Майя Михайловна, будем работать…

Кармен да и Айседору я давно не танцевала. Начинаю вспоминать. Помню. Прочно помню. Память хорошую хореографию держит цепко. Когда логика связывает движения, словно звенья на нашейной цепочке, одна комбинация как бы подсказывает телу следующую. Но все же приехать в Москву надо пораньше. Заблаговременно…

А что сейчас кстати, творится там?

Мы прилежно не пропускаем ни одной передачи московских новостей. Благо обе российские программы в Литве принимаются. Но вести — дурные. Взбесившийся Верховный Совет, который почему-то упоенно величает себя Парламентом, его бесстыжий насупленный пастух под трехцветным российским полотнищем, — льют речи, от которых тошнота подступает к горлу. Речи знакомые. Наглость и мракобесие. Коммунизма им снова хочется. Значит, я ошиблась в одной из предыдущих глав, что коммунизм сдох. Не тут-то было. Здоров-здоровехонек.

Смотришь иногда такое парламентское светопреставление и еле сдерживаешься, чтобы не швырнуть в экран что-нибудь тяжелое. За каждым словом подтекст: дайте власть. И прямые угрозы тем, кто не хочет возврата к прошлому. Но такие наглецы часто побеждают.

Этой весной завел, к примеру, наш Верховный Совет новый закон. Надо опять менять советским гражданам заграничные паспорта. Старые опять недействительны — никуда не выедешь. Паспорта-то те же, знакомые с серпом и молотом, со словом «СССР' посередине. Не отличишь от прежних. Вся заковырина лишь в цифрах (серия другая). И печать на твоем лице иного министерства. Вот и вся новизна! Но маяты сколько, нервов! Подали и мы с Щедриным бумаги.

Месяц проходит. Второй на исходе. Не выдают нам новых паспортов. Что происходит? И официальный ответ: «Мы вас проверяем». Плисецкую два месяца проверяют. Щедрина два месяца проверяют. Что в нас нового, непонятного? Одно издевательство, унижения. Нет, не сдох коммунизм. Здоров-

здоровехонек.

Ощущение опасности возрастает. Неужто новая гражданская война в России? День намеченного отъезда в Москву приближается. Уже билет куплен. На 29 сентября. А вдруг начнется заваруха раньше? Пропал тогда мой юбилей. А если когда в Москве буду? Тоже плохо. Гадать нечего. Еду.

Вхожу в родной, но теперь вроде чужеземный, не мой Большой театр. Давно не касалась дверей первого подъезда моя рука… А если поточнее? Четвертого января 1990 года был мой последний спектакль здесь. «Чайка». А потом в марте 1992-го — «Лебедь» на вечере Вишневской. А сегодня 30 сентября 1993 года. Срок.

Мой пропуск в театр давно просрочен, да и не при мне он, дома где-то лежит. Чего доброго, не пустят еще, как Мариса Лиепу. Или, может, какие порядки новые завели?..

Незнакомый вахтер делает пол вопросительного шага навстречу. На лице строгость. Неприятно признаваться, но сердце мое дрогает. Так и есть. Не пустит. Надо объясняться. Раньше был столик, а возле него вахтер — всегда знакомый. А теперь построили что-то вроде невысокой загородки (мимолетная мысль, что такие дверцы сооружают в загонах для овец). Но сзади голос «Это Плисецкая». Незнакомый вахтер вполне искренне улыбается и говорит:

— Проходите, пожалуйста.

Через сцену — там распеваются оперные — иду в свою артистическую. В ту, куда пристроила меня пятьдесят лет назад Валя Лопухина. Балеринские поколения. Скоротечная балетная жизнь. Лишь я подзадержалась…

Пошли репетиции, классы. Первым делом прохожу «Айседору» с пианисткой Наташей Гавриловой. Мои темпы она помнит. Играет удобно. Завтра порепетирую с детьми. Дети не из московского хореографического. А, как объясняет мне Миша Крапивин, уже позанимавшийся с ними до моего приезда, «воспитанники хореографической школы фонда поддержки балетного искусства». Ишь ты, я и не знала, что такой фонд и такая школа теперь в Москве есть. Дети хорошие. Складные и трогательные. То, что мне надо. И Бежар был бы доволен.

Миша Крапивин — в недавнем прошлом блестящий премьер театра Станиславского — очень помогает в реализации моего замысла концерта. Помимо подготовки детей он тренирует четырех солисток «коллективного лебедя». Солистки (Рыжова, Попова, Макарова, Крапивина) тоже из театра Станиславского. Мне не хочется одалживаться у Большого. Рана обиды все еще свербит мою душу. Заживет ли она когда…

Какого числа приезжают французы? Чуть загодя? Или совсем впритык? Помимо балета Дю-Ренн, из «Гранд-опера» ожидаются две первоклассные пары. Что ж, кажется, вечер собирается.

Но наступает второе октября. Утром я вдоволь нарепетировалась. Дело продвигается. А вечером по телевидению показывают отвратительные кадры митинга необольшевиков на Смоленской площади. Кое у кого из митингующих в руках физиономия Сталина. Любители равенства и братства перегородили Садовое кольцо всяким хламом и подожгли. Полыхает огонь. С железными трубами красно-коричневые наскакивают на милицию. Кажется, впервые за жизнь я сердобольно сочувствую милиционерам, я на их стороне. Камеры выхватывают озверевшие лица, удары, кровь, гримасы раненых. Не началась ли заварушка? Пропал тогда мой юбилей. Или этим все закончится?

Третье октября. Вновь мое рабочее утро в Большом. Дело хорошо продвигается. А к вечеру меня охватывает нешуточная тревога. Милицейские заграждения сметены. Воинственная, клокочущая, разъяренная толпа захватывает мэрию и устремляется в Останкино, к телевидению. Передачи первой программы обрываются на полуслове. Что там? Неужели предчувствия не обманули? Черт с ним, юбилеем. Что будет со страною?..

Как развивались события, — известно очень широко. Идеальный летописец ныне — телевизионная камера. Многочасовой гениальный репортаж CNN о путче в мельчайших деталях рассказал о кровавых событиях миру. Что, если б была у нас видеопленка взятия Казани Иваном Грозным или крепости Измаил Суворовым? Как будет жить мир дальше под пристальным глазом телевидения?..

Введен комендантский час. Штурм Останкина, кажется, отбит. Бессонная ночь у телевизора. Звуки выстрелов, доносящиеся с улицы. Зарево пожаров вдали ясно видимо с балкона шестого этажа нашей квартиры. Толпы москвичей по Тверской прямо под моими окнами, идущие отстаивать демократию к Моссовету… Я слышу топот ног по асфальту проезжей части улицы.

Томительное утро следующего дня, утро штурма Белого дома…

Посмотрев по телевизору сражение и арест главарей мятежа, я пошла пешком в театр. Классы сегодня отменены. Но мне пропустить занятия никак нельзя. Впрочем, будет ли мой вечер?

Родион звонит мне из Стокгольма (идут переговоры с королевской оперой о постановке его «Лолиты») — выезжать в

Москву? Будет твой вечер? Или возвращаться в Мюнхен?..

Но я ответить ничего не могу. Никто ничего не знает. Действует комендантский час.

Спускаюсь пешком вниз по Пушкинской. Это параллельно моей Тверской. Здесь прохожих поменьше, поспокойнее. Баррикады вчерашней ночи еще не разобрали. У стен домов по тротуару заграждения пониже, и я преодолеваю их без труда. Но и по центру улицы пробраться можно, изловчись только. А уж танку какому-нибудь — смех один — препятствие чисто символическое. На углу Столешникова взъерошенная компания мрачных людей попивает чай из жестяного термоса. Жуют бутерброды. Уселись кружком, прямо на асфальт. Не холодно ли, господа-товарищи, для октября-то будет?..

В театр меня пропускают. Тот же вахтер, что был на подъезде в первый день. Меня теперь он знает.

— Заниматься пришли? Вы от Белого дома далеко живете?

И, не слушая ответа, продолжает:

— Я на Дорогомиловской. От нас все видно было. Как на ладони. Дым валил. Пальба…

Каждый хочет в эти дни как-то вписать себя в произошедшее. Ну, хоть географически.

В театре я никого не встречаю. Совершенно никого. Большой словно вымер. Значит, я одна такая старательная. Подобного ощущения опустелости за свои пятьдесят театральных лет я не упомню.

Класс сделан. Теперь душ. Надо возвращаться домой.

Иду тем же маршрутом. Чаепитие на Столешниковом закончилось. Пушкинскую улицу чуть подрасчистили. Идти легче. Миную театр Станиславского, из которого пришла мне помощь на юбилейный концерт… Но одергиваю себя: может, концерта вовсе и не будет?..

Однако на площади Пушкина, совсем вблизи от памятника поэту, появился весьма обнадеживающий знак. Вновь, как и до путча номер два, москвичам предлагают покупать бананы.

Теперь в Москве развелось несметное количество продавцов бананов. Но покупать их мне не хочется. Поговаривают, что хранят предприниматели бананы в московских моргах. Холодильные установки моргов вырабатывают как раз ту температуру, которая заморскому фрукту наиболее подходяща…

На следующий день я добираюсь до театра уже на такси. Улицы расчищены. Помалу восстанавливается обыденная суматошная московская жизнь. Лишь милицейские патрули в бронежилетах. С автоматами. Да докучливая гарь, доносимая ветром с Краснопресненской набережной Москвы-реки. От Белого

— до недавнего времени — дома. Панические рассказы о стреляющих с крыш домов снайперах…

Вечером перед самым сном ко мне домой неприятный звонок из ГОСКО. От Панченко. Его помощница: парижские звезды боятся лететь в Москву. Во время штурма мятежниками Останкино был убит корреспондент французской газеты. В Париже говорят и пишут об этом много. Вот и сдрейфили мои коллеги из «Гранд-опера». Кого-то не пустили родители. Надо подумать о замене. Возьму молодежь из Москвы. Но что, если рейнская труппа не прибудет? Тогда придется менять все построение вечера. А испанцы уже здесь. Они первые. Один лишь певец из группы «Фламенко» уподобился парижанам — дома остался. Но ничего, Хоакин Кортес и так станцует…

Впрочем, я все же не знаю окончательно, состоится ли вечер…

Артисты Качиулиану оказались посмелее парижан. Завтра они уже будут в Москве. Значит, «Шайо» москвичи увидят. Но опять же, если вечер…

Из Стокгольма прилетает Щедрин. Я еду его встречать в Шереметьево сразу после первой репетиции с Джиджи. Раз «Безумная из Шайо» пойдет, то программа вечера с перерывами между балетами займет более трех часов. А еще и поклоны, аплодисменты. Не успеют зрители добраться домой до начала комендантского часа. Комендантский час — одиннадцать вечера. А что, если начать в шесть? Надо только как-то оповестить владельцев билетов.

Окончательное подтверждение, что десятого октября мой юбилей на сцене Большого театра будет, — приходит накануне.

Значит, Десятого в Шесть… Генеральная репетиция.

Проходим весь концерт по порядку программы. Оркестр репетирует «Антракт» к третьему действию «Раймонды». Я сама отобрала этот эпизод. «Раймонда» мой балет. Музыка Глазунова празднична, приподнята. А сама кода. Антракта» оканчивается многоточием. Внимание зала естественно переключится от оркестра на сцену.

Появляется Ростропович. Он решил сделать мне подарок, сыграть «Лебедя». Для этого Слава и в Москве. Сегодня. Лебедь» прозвучит так, как написал его Сен-Санс. В оригинале. Никаких добавлений. Виолончель и фортепиано. Слава очень давно не играл эту пьесу. И я чувствую, что он чуть волнуется. Сосредоточен. На полупальцах, вполноги я прохожу весь номер. Замечательно удобно. Как значительна становится мелодия Сен-Санса под смычком великого музыканта. Лучше и быть не может!

Позже, как только театральный оркестр замолкает, я

приглушенно слышу из-за прикрытой двери оперного класса, что возле сцены, как Ростропович повторяет и повторяет Сен-Санса. Вот вам и разница между Мастером и подмастерьями. Подмастерья давно бы след простыл, сверкнув футляром. А Мастер и совершенством не удовлетворен…

Проходят под оркестр молодые, кто заменит сегодня вечером струхнувших звезд «Гранд-опера». Затем замечательный японец Морихиро Ивата. И еще один подарок мне от цеха музыкантов. Владимир Спиваков (сам он сейчас в Испании) записал в мою честь «Мелодию» Мае сне. Под эту превосходную запись балетмейстер Андрей Петров поставил поэтичное па-де-де.

Много времени уходит на установку света для «Фламенко». Рикардо Куе — он здесь, с нами в Москве, — подсказывает все перемены русским осветителям.

Потом я танцую «Айседору». От начала — до самого конца без самопослабления. Читаю стихи Есенина. Проверяю дыхание.

Теперь беремся за «Кармен-сюиту». Здесь работы поболее будет. Аранча Аргуэлес, молодая испанская прима-балерина, которой я неизменно симпатизировала и симпатизирую, станет сегодня вечером второй Кармен. Аранча не убоялась путча. Характер у нее взаправду испанский. Приехала загодя и в рисковые дни стрельбы снайперов бесстрашно облазила в любопытстве весь город.

Когда я задумывала свой конспект балета, идея представлялась мне занимательной. Но сейчас, на привольной сцене Большого, фантазия чувствует себя еще раскованней. Две Кармен. Два Хосе — Барыкин и Гедиминас Таранда. Неизменный Сергей Радченко — тореро. Мы увлекаемся, импровизируем, добавляем детали, от чего-то отказываемся. Получается, черт возьми! Какая это радость — погружаться в творчество с единомышленниками…

Взгляд падает на часы и на вопросительное лицо Джиджи Качильяну, стоящего в ближней кулисе. Боже мой, уже два. Мы не прошли еще «Безумную». А на половину четвертого я вызвала уже на спектакль дежурную театральную машину. Может быть, остаться в театре? пройти «Безумную»? домой не ездить?

Нет, прервусь. Хочу не утерять свой маленький праздник прихода в театр на вечерний спектакль. Это ощущение всегда приносило мне особую сладость…

И дам хоть на час передых ногам! Если сказать откровенно, то перед самым отлетом в Москву я потянула в классе мышцу бедра. Наш чудесный баварский друг гениальный целитель Рудольф Энглерт сделал мне снайперский укол в болевую точку. Помогло. Но на московских репетициях и пешеходных хождениях

через баррикады я опять натрудила бедро. О проклятое несовершенство наших мускулов! О вечная, верно, уже набившая вам оскомину присказка о травмах! Но разве избежишь их за пятьдесят сценических лет? Позавчера московский хирург Ефстифеев сделал мне укол. А сегодня минут за двадцать перед выходом прямо через трико обязательно заморожу бедро хлорэтилом. Застрахуюсь от боли. Колбочка с хлорэтилом уже заготовлена и ждет меня на гримерном столе в артистической.

Сколько спрашивали за жизнь, каков ваш режим, ваше расписание в день спектакля. Да вот такой — генеральная, час на отдых, заморозка. Но не всегда, конечно, так. Пожалуйста, не пугайтесь. Только раз в пятьдесят лет — это уж точно бывает…

Пора ехать. Машина пришла.

В театре спохватываюсь: ни белого трико, ни лебединых перьев не взяла. Дома остались. Забыла. Скорей к телефону. Пускай домашние в театр захватят. А все другое тут? Может, еще что забыла?..

Ну, начну, как обычно, как выработалось за пятьдесят лет: грим, прическа, трико, купальник, туфли, теплые гетры, надо начинать с разогрева тела…

Боюсь, не скомкать бы вечер из-за комендантского часа. Начнешь спешить, дергаться, сокращать антракты.

Но тут еще один мне подарок. Теперь от цеха военных: комендантский час в Москве с сегодняшнего дня начнется в полночь, с двенадцати. Ну, коли так — уложимся. Даже на послеспектаклевый банкет времени хватит.

Я готова. Стою в кулисе на мужской стороне. Фанфарные, ликующие звуки «Раймонды» громогласно озаряют театр. За спиной у меня одна из моих лебедиц в сороковой раз привстает на пальцы, разминая ступни перед па-де-бурре.

Мгновенных пятьдесят лет, долгих-долгих-долгих пятьдесят лет я ожидаю своего выхода в последней кулисе на мужской стороне.

Может, сегодня мой звездный час?.

26 ноября 1993 г., Москва